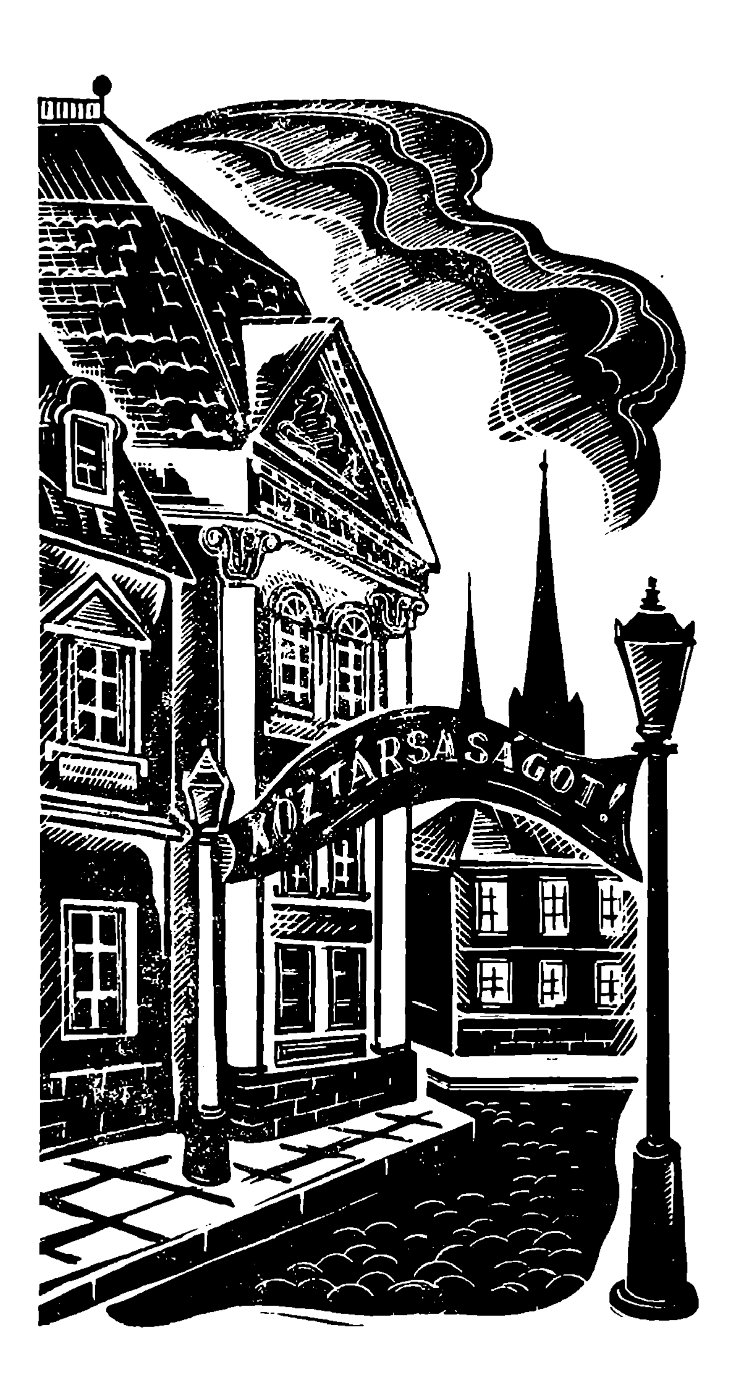
Ю. СТРЕХНИН

ВЕРНЁМСЯ В ПОЛДЕНЬ




KÖZTÁRSASÁGOT!

Ю. СТРЕХНИН

ВЕРНЁМСЯ В ПОЛДЕНЬ

РОМАН

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1984

Р2
С84

Рецензент О. В. Громов

Стрехнин Ю. Ф.

С84 Вернемся в полдень: Роман. — М.: Воениздат, 1984. — 368 с.

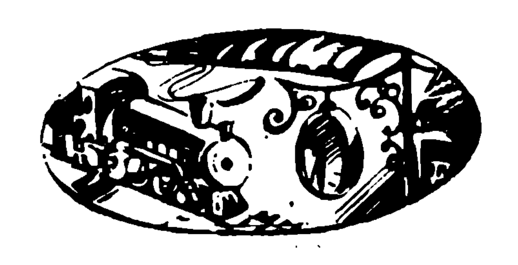
В пер.: 1 р. 60 к.

Роман о славной и трагической истории Венгерской советской республики 1919 года и событиях гражданской войны в России. Главные герои романа — русский солдат-большевик Кедрачев и венгерский унтер-офицер Гомбаш, вернувшийся после революции на родину из плена, где он подружился с Кедрачевым, и ставший одним из активнейших работников Венгерской компартии.

С $\frac{4702010200-012}{068(02)-84}$ 138—84

ББК84Р7
Р2

© Воениздат, 1984



Глава первая

КУДА СОЛДАТУ ПОДАТЬСЯ?

Ошалевший от толкотни по забитым сотнями тел залам и перронам, Кедрачев выбрался наружу через главный подъезд, выводящий прямо на шумный проспект. И здесь, на широких ступенях входа, и по сторонам было полно таких, как он. У вокзальных стен, на уже подсушенной весенним солнцем затоптанной земле, на плитах тротуара толклись, сидели, лежали заросшие, с тоскливыми глазами солдаты в истрепанных шинелях — кто со скудными пожитками в самодельных сундучках или вещевых мешках, а кто и совсем налегке. Все они, в свое время пленными попавшие в Венгрию, теперь, после того как с двадцать первого марта девятнадцатого года здесь установилась советская власть, уже не первый день осаждают Восточный вокзал Будапешта в тщетных попытках уехать на родину. Кедрачёв здесь тоже не новичок. Вот и сегодня снова протолокся по вокзалу полдня, а так и не смог узнать — будут ли поезда в Россию?

Присев возле стены на корточки и сдвинув видавшую виды фуражку со вспотевшего лба, Кедрачев вытащил из кармана шинели жестяную плоскую коробочку, в которой хранил табак, достал помятую газету, пробежал по ней глазами. Впрочем, он не очень надеялся разобрать что-нибудь: разговор венгерский за время плена научился кое-как понимать, а вот чтение никак не давалось. Хотя буквы непривычного алфавита уже запомнил, да что толку — больно мудреный этот мадьярский язык.

Оторвал от газеты клочок, стал ладить самокрутку. Не успел свернуть, как к нему подошел, чуть сутулясь, человек с дочерна заросшим подбородком и отвислыми усами, одетый по-деревенски: порыжевшая шляпа грубого фетра с витым шнурочком вместо ленты; распахнутый по случаю тепла, замызганный, когда-то белый, короткий овчинный

кожушок, из-под которого видна холщовая рубаха с черными и красными узорами на груди; на ногах — неказистые, самодельные наверное, ботинки из свиной кожи; на плече на матерчатой лямке — большая, но, видно, не очень туго набитая торба серого домотканого холста.

«Что этому здешнему мужичку от меня надо?» — удивился Кедрачев. А тот спросил его вдруг по-русски:

— Слышь, земляк, у кого тут узнать насчет отправки в Расею?

— В Россию? — Кедрачев улыбнулся невесело.— Сам бы узнал, да не у кого... Который день хожу сюда, а все без толку.

— А пошто так? — удивился его новый знакомый.— Здеся теперь советская власть, и у нас в Расее тож. Неужто не могут обе власти столковаться, чтоб поезда пустить да солдат по домам поскорее отправить? Весна на дворе, сеять скоро...

— Сеять! — Кедрачев поднялся, держа в руке скрученную цигарку. — Боюсь, опоздаешь... Говорят, Румыния поезда не пропускает. Так что кто его знает, когда домой доберешься. Ты какой губернии?

— Калужские мы. Козельского уезду, Никольской волости, деревня Захарьино. А ты откель?

— Сибирь. Город Ломск. Слыхал?

— Не...

— Темнота! Губернский город это.

— Значит, городской ты?

— Как сказать... Родом из деревни. А в малолетстве, как отец с матерью померли, меня и сестренку дядя взял — он в Ломске на спичечной фабрике работал. Ну и я потом там...

— Сколь же тебе годов?

— Двадцать четыре.

— Ну?! А на вид постарее...

— Война да плен — они не молодят.

— Это верно. А я думал — ровесники мы.

— По войне разве! — усмехнулся Кедрачев.— Звать-то как?

— Нас-то?

— А то кого же?

— Жуков Еремей Васильев. А тебя как величать?

— Кедрачев. Ефим... А я тебя сперва за русского не признал. Думал — мадьяр какой из деревни.

— Из деревни и есть. Под городом Папой у хозяина одного с осени пристроился, как из лагерей нас отпустили

Он нас, солдат, троих в работники взял. Куда было податься? Пить-есть надо...

— Вижу, и приодел тебя хозяин...

— Так моя мундировка уж совсем с тела слазила, одни рямки остались. Вот и оболокся в здешнее. Можно сказать, совсем омадьярился... Хорошо, хоть с дружками своими по-нашенски говорить мог. А то и вовсе забыть можно, какой он есть, русский разговор...

Показав на зажатую меж пальцев Кедрачева цигарку, Еремей с надеждой спросил:

— Не махорочка ли?

— Откуда? Табак здешний.

— Этот дохань[1] и у меня есть. Только он против нашей махорочки не стоит, нет!.. Эх,— вздохнул Еремей,— как до Расеи доберусь, так первым делом махры накурюсь досыта...— Он повел взглядом по сторонам:— Только когда же оно сбудется? Вон сколько нашего брата солдата здесь ошивается. Неужто так ничего и не слыхать, когда отправят? Может, к властям куда пойти узнать?

— Ходили везде. Здесь, в городе, есть русский Красный Крест, по делам военнопленных. И туда ходили.

— Ну и что?

— Ничего не обещают. Пока железная дорога перекрыта.

— Может, через какую ни то другую дорогу, вкруголя? Тут вона сколь этих дорог-то...

— Нет такой дороги, товарищ Жуков Еремей! Газеты читать надо. Если сам не умеешь — интересуйся. Тогда будешь знать, что Венгрия иностранными армиями обложена: с востока — румыны, с севера — чехи...

— Энто какие же чехи? Вроде не было такой армии...

— А теперь есть. Чехи под австрийским императором жили, а теперь сами по себе. Свое государство.

— Так чего ж им еще надо?

— Государством-то буржуи правят. А им здешняя советская власть — как бельмо в глазу. Да и земли у мадьяр оттягать целятся. Понял?.. А с юга — французы и югославы. Только с австрийской границы фронта нет. Через Австрию есть дорога на Германию, а оттуда — в Россию. Но немцы нас тоже не пропускают, хотя вроде и сдались Антанте, союзникам нашим бывшим. Может, те не велят?

— Мать их в Антанту, союзников! Из-за их, сволочей, баба моя с малолетками одна мается. А я тут, как бродяга, в чужой одеже...— Еремей, скривившись, потянул за ворот

[1] Табак (*венг.*).

кожушка, словно намереваясь сбросить его. Но, наоборот, оправил кожушок поаккуратнее, спросил: — Куда же податься, друг? Посоветуй. Ты вон газеты глядишь. И как это ты ихнюю грамоту одолел?

— Ее одолеть мудрено. Но я, если случается, свою газету читаю.

— Русскую?

— Как есть.

— Неужто выпускают?

— Выпускают. Наши, русские, здешние большевики. Только хоть и в газету глядишь, а что придумаешь?

— Неужто к хозяину вертаться? Я уж весь расчет взял, да, пока сюда добирался, вчистую истратился. Мне теперь, ежели обратно до города Папы, разве что христовой милостью... Ты-то сам где пристроился?

— Поблизости, на Чепеле. На заводе работаю, квартирую у мадьяр. А сюда каждый день на разведку хожу.

— Тебе хорошо — и работа, и фатера...

— Кой черт хорошо! Едва на табак хватает,— кивнул Кедрачев на свою все еще незажженную самокрутку.— Ты-то курящий?

— А то ж!

— Закурим?

— Давай! — охотно согласился Еремей.— Твоего!

— Свой бережешь?

— Да ну что...— смутился Еремей.— Я своим тебя потом угощу.

— Потом — суп с котом... Ладно, бери! — протянул Кедрачев свою табачную коробочку.

Еремей начал было свертывать цигарку, но вдруг заволновался:

— Гляди, куды это нашенские потянулись?

— Эй, братки, чего там?! — окликнул Кедрачев сидевших рядом солдат, которые, прихватывая шинели, сброшенные на припеке, поднимались и спешили в вокзал.

— Говорят, митинг там!

— Пойдем! — заторопил Кедрачева Еремей.— Может, насчет отправки обскажут?

— Айда, айда!..

Прикуривали они уже на ходу, от кедрачевской зажигалки.

В просторном зале вокзала, в углу, уже собралась толпа. Она росла с каждой секундой, сбиваясь вокруг двоих человек, стоявших на возвышении, невидном из-за сгрудившихся людей. Оба этих человека были с обнаженными го-

ловами, в пальто с красными повязками на рукавах. Еремей изо всех сил протискивался вперед. Кедрачев не отставал. На Еремея покрикивали:

— Куда прешь, с торбой!

— Эй, в шляпе, не пихайся!

Но Еремей упорно продирался. Следуя за ним, Кедрачев слышал, как поблизости говорили:

— Это кто такие, красным повязаны?

— Наши. Большевики.

— Из пленных, что ли?

— А может, из России присланы?

Один из стоявших на возвышении поднял руку.

Гул голосов затих. Только слышалось, как единое, дыхание сотен сбившихся вплотную людей, да кое-где вился над головами голубоватый табачный дымок.

— Товарищи! — заговорил тот, что поднял руку.— Все мы здесь ждем одного — поездов на восток. Но поездов не будет!..

— Утешил! — выкрикнул кто-то.— На хрена нам тогда твои речи!

— ...Поездов не будет, пока не сделаем все, чтобы они пошли. А сделать можем!

— Чего делать-то, говори! — послышался тот же нетерпеливый голос.— До коих тут вшу кормить?

— Тише ты! — гаркнули со всех сторон.— Слушай, что человек скажет!

— Я понимаю ваше нетерпение, товарищи солдаты! — не смущаясь шумом голосов, продолжал оратор.— Сам три года провел в окопах и тоже хочу домой! Но вы, наверное, знаете: Антанта кольцом штыков окружила Советскую Россию, а вторым кольцом — советскую Венгрию. Поезда смогут пойти лишь тогда, когда эти кольца будут разорваны. А голыми руками не разорвешь...

— Сызнова воевать? — выплеснулся крик.— Сыты войной-то!

— А что делать? — ответил оратор.— Антанта только силу оружия понимает. И придется нам взять его...

— Да кто нам даст?

— Здешнее советское правительство. Если встанем в ряды Венгерской Красной армии наравне со здешними пролетариями. У нас в России в Красной Армии много венгерских солдат, которые были в плену. Они ведь тоже хотят домой. Но воюют у нас.— Оратор возвысил голос, взмахнул рукой:— Так последуем их примеру! — В руке оратора мелькнул листок бумаги, он поднял его над головой:— Вот,

товарищи! Из Москвы по беспроволочному телеграфу только что получено. От нашего Советского правительства, подписано Народным комиссаром по иностранным делам товарищем Чичериным. Это нам адресовано!— Оратор заглянул в листок, прочел громко:— «Вы, военнопленные, пережившие все ужасы империалистической войны, на себе испытавшие эксплуатацию русской и венгерской буржуазии, всеми силами поддерживайте Венгерскую советскую республику...»

Телеграмму слушали в полной тишине, смолк шумок, бродивший в толпе.

Дочитав телеграмму, оратор сказал:

— Венгерская Красная армия сейчас спешно формируется. Она создается затем, чтобы отбросить со своей земли армии контрреволюции и соединиться с русскими и украинскими красными войсками.— Оратор сделал паузу, спросил: — Вы поняли, товарищи, что у нас только один путь на родину — в рядах Красной армии?

В зале зашумели. Выкрикивали разное, но чувствовалось, что оратор сумел убедить многих. И он поспешил добавить:

— Кто согласен — может записаться здесь, прямо сейчас. Или в крепости, на улице Ловарда, четыре. Запомните: в крепости, на улице Ловарда... Там формируются интернациональные части. Записывайтесь сами и убеждайте своих товарищей! Передавайте из рук в руки эти листовки, в них все объяснено! — Оратор сделал знак своему товарищу, стоявшему рядом, тот взмахнул рукой, словно выпустил стаю голубей,— белые и синие листки затрепыхались над головами.

Их стали подхватывать, поднялся гомон, толпа заколыхалась — кто ловил листовки, кто проталкивался к оратору, очевидно желая подробнее расспросить его, другие, наоборот, выбирались из толпы...

— Лови, лови! — засуетился Еремей, подхватывая синий листок.

Кедрачеву удалось поймать белый.

Выбравшись из толпы, они остановились, и Еремей, взглянув на свой листок, сразу же передал его Кедрачеву:

— Может, ты разберешь? Я в грамоте не дюже силен. Да тут навроде и не по-нашему написано.

— Давай! — Кедрачев взял листовку, прочел то, что на ней крупным шрифтом было напечатано:— «Товарищі українці! Записуйтесь до украинского відділу Червоної армії!..»

— Понятно, хоть и не по-нашенски,— кивнул Еремей.— А у тебя про что?

— Да про то же, только по-русски...

Мимо сновали солдаты с котомками, мешками и налегке, возбужденно гомонили, обсуждая услышанное, собирались в кучки, расходились, снова сбивались по двое, по трое и больше, спорили: как же быть?

— Ты-то как думаешь? — спросил Кедрачев Еремея.

— А ты?

— Что ж, надо записываться.

— А я считаю — надо переждать,— не согласился Еремей.— Раз не пропущают на Расею — ничего не попишешь. Ты вот при деле, кусок хлеба имеешь — чего тебе свербит сызнова под пули лезть? И я тоже, дай бог, с голоду тут не пропаду. К хозяину возвернусь или к другому наймусь. Мужиков здесь нехват: которые еще на фронте, которые в плену... Глядишь, к бабочке пристроюсь, какая с хозяйством не управляется. Звала меня одна... А бабы, я тебе скажу, здесь жаркие, сущий пламень...

— Значит, на худое время — под подол, а другие — вокой?

— Я других не неволю.

— Если всем так рассуждать, то советская власть ни здесь, ни у нас долго не продержится. Тебе на это наплевать?

— Ты меня не обижай! — вздернул голову Еремей.— Это — власть наша, землю дала!

— Увидишь ты землю, если так вот в стороночке будешь хорониться. Давай-ка запишемся — вон в углу стол, народ толчется. Пошли!

— Не, погоди...— медлил Еремей.— Записаться не хитро, а выписаться потом как?

— Побьем контрреволюцию — тогда выпишешься и катай к себе в Калужскую губернию!

— Правильно говоришь! — поддержал Кедрачева солдат в распоясанной шинели, остановившийся возле них. Кедрачев и Еремей и не заметили, что их спор привлек внимание уже нескольких солдат.— Правильно! — повторил солдат.— Надо записываться, скорее дома будем.

— Чего там «правильно»! — возразил другой.— И без того любая здешняя власть должна по домам отправить, раз война кончилась!

— Какая это — любая? — повернулся к нему Кедрачев.— Какая это еще власть о нас заботу поимеет, кроме советской?

— Другая-то, может, опять нас в лагеря запихнет!
— Да ведь лучше в лагере, чем в братской могиле...
— Эх ты, душа заячья!
Разговор, который вели сначала только Кедрачев с Еремеем, как-то само собой, быстро накаляясь, стал общим. Говорили все сразу, стараясь перекричать друг друга.
Наконец солдат в распоясанной шинели зычно, перекрывая остальные голоса, гаркнул:
— Кончай митинговать! Кто хошь — пошли записываться!
— Так что, Еремей, идем? — снова предложил Кедрачев.
— Обожди...— мялся тот.
— Чего ждать-то?
— Так... Подумать еще надо... Всяк Еремей про себя разумей.
— Ну и разумей. А я пошел!
...И вот Кедрачев стоит в протянувшейся вдоль стены недлинной очереди к столу, над которым на большом листе бумаги написано по-русски: «Вербовочный пункт в Венгерскую Красную армию». То же самое написано на плакате по-венгерски и еще на двух не известных Кедрачеву — не то на итальянском, не то на румынском, а может, еще на каком,— языках. И в очереди перед Кедрачевым стоят не одни русские—разговаривают на неведомых языках, да и по обличью не поймешь, кто они есть,— все больше чернявые, наподобие мадьяр, и одеты разно: на ком шинелька непонятно какой армии, на ком пальтишко немудрящее... Но больше видно своего брата русака. Народу много, но не все стоят в очереди к столику. Многие в стороне — размышляют, как Еремей, читают большое печатное воззвание на стене:

«Товарищи! Русскіи рабочіе и крестыане!

Пролетаріат Красной Венгри заключил Братскій союз с русским пролетаріатом.

Наш доль дорогіе Товарищи своими крепкими руками и твердыми сердцами укрепить эпют вечный союз угнетенных рабочих и крестьан наших стран!

И точно так, как там на дальних русских земмах рука об руку воюют рабочіе и крестыане из бывших Австро-Венгерских военнопленных с своими русскими братъами, также должны общіе интерессы и общіе идеали пролетаріев соединів нас всех водном революціонном военном лагере дме защиты пролетарской революціи и дме боробы с общеим врагом, с всемірной буржуазіей!

Товарищи! Всемірная революція зовет Вас в ряды Интернаціональной Красной Арміи!

Все которым дорого дело пролетаріев и революціи, запитутся в рът Будапештскій Интернаціональный полы!

Товарищи! Русская и Интернаціональная Красная Армія на гране бывшей Австро-Венгріи и приближается с каждым днем. Нам нада спешить им на встречу.

Записаться можно ежедневно от 9 до 2 ч.

Адрес: I. Вар (крепост) Ловарда-утца...

Да здраствует Всемірная Революція!

Да здраствует братскій Союз пролетаріев всех стран!

Да здраствует Интернаціональная Красная Армія!

С братским приветом

НАРОДНІЙ КОММИСАРІАТ
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ»

Кедрачев старательно прочел воззвание от начала до конца, хотя и запинался на опечатках. Он им не удивился. «Венгерские товарищи, которые печатали, видно, русский еще не одолели. Янош тоже поначалу слова наши перевирал, а уж потом как чисто наладился говорить! Где-то он теперь?..»

Ко времени, нет ли, вспомнился сейчас Ефиму, как вспоминался не раз, Янош, Янош Гомбаш. Познакомились еще в конце шестнадцатого в Ломске: туда по счастливой случайности — можно сказать, домой — попал Кедрачев в госпиталь с фронтовым ранением, а потом, как ограниченно годный, там же был оставлен на службе в караульной роте лагеря военнопленных. Как-то раз, стоя на посту, увидел: австрийские офицеры скопом избивают неизвестно за что какого-то молодого унтера. Пожалел, не дал убить. С того дня и подружились. Оказалось, били офицеры Яноша за то, что против войны высказывался. Выходило, думки насчет нее, что у Яноша, что у Ефима,— одни. Только Янош образованный, в политике получше разбирался. После того как царя скинули и первый раз праздновали Май, Ефим позвал Яноша к себе домой на пирог, что сестренка Олюнька испекла. Восемнадцать ей, а стряпать уже мастерица... Похоже, приглянулась она Яношу. Да и он ей, пожалуй... Был бы свой, русский,— чем не парень для нее?..

Кедрачева подтолкнули в спину: оказывается, подошла его очередь. И вот он перед столом, за которым силят двое — один в пенсне, в русской офицерской шинели без погон и петлиц, с красной повязкой на рукаве, а другой, похоже, мадьяр, с красным бантом на лацкане пальто.

— Фамилия? — спрашивает тот, что в шинели.

— Кедрачев.

— Здоровье?

— Годен я...

— Тогда, товарищ, отправляйся в казармы, в Келенфельд. Список сегодня будет там.

— А можно мне к завтрему? Надо же расчет взять, пожитки...

— Можно и завтра. Но с утра.

Отойдя от столика, Кедрачев огляделся: «Что же Еремей? Надумал или нет?» Но Еремея нигде поблизости не было видно. Да и как приметить человека в многолюдном вокзальном зале, среди сотен людей? «Может, еще встретимся когда, — подумал Кедрачев. — Да и что мне этот «Еремей — про себя разумей» в душу запал?»

Выйдя из вокзала, Кедрачев вскочил в нужный ему трамвай. Путь предстоял недальний — до Чепеля, южного пригорода Будапешта. Кедрачев обосновался там еще с осени прошлого года, когда после провозглашения республики объявили перемирие и пленных отпустили из лагерей, предоставив им возможность устраиваться кто как сможет. До этого Кедрачев пробыл в лагере более года.

В плен к австрийцам Кедрачев попал летом семнадцатого. Еще незадолго перед тем он и не предполагал, что может снова оказаться на фронте: из-за ранения в грудь давно считался ограниченно годным. Но Кедрачев не подозревал, что за приверженность большевикам и за деятельность в солдатском комитете он занесен в тайный список тех, от влияния которых решено избавить ломский гарнизон. Обманным путем, внезапно — так, что он не успел ни комитет известить, ни с сестрой проститься,— его в июне семнадцатого загнали в маршевую роту. В тот же день отправили с эшелоном.

В составе пополнения попал Кедрачев в пехотный полк, сидевший в передовых окопах за Тарнополем. Едва успели распределить вновь прибывших по ротам и взводам, как поступил приказ идти в наступление. Перед самым его началом в полку появились солдаты необычного вида — в стальных касках, в новеньком обмундировании, с трехцветными, углом, шевронами на рукавах, — с собой

они имели пулеметы. Прошел слух, что это — особая команда, ударники, что они в наступлении пойдут впереди. Но оказалось иначе. Ударников с пулеметами поставили позади окопов, а солдат предупредили: если кто побежит назад — ударники откроют по ним огонь.

...И вот наступление началось. Первую линию австрийских окопов, которую изрядно помолотила наша артиллерия, стянутая для наступления, удалось взять сравнительно быстро. Австрийцы начали откатываться. Форсированным маршем русские солдаты шли следом за ними.

Это были трудные дни — палящее солнце, тяжелая, жесткая скатка, пот, заливающий глаза, накаленная жарой, становящаяся неимоверно тяжелой винтовка, белая горячая пыль дорог, по которым надо шагать и шагать...

Но недолго так лихо шагали. Все чаще на пути черными деревьями, вырастающими вмиг, вставали разрывы снарядов, внахлест смертным свинцовым дождем били спереди пулеметы. Позади уже не слышались голоса своих пушек. Меж солдатами пошел разговор, что снаряды кончились.

Наступление, по приказу Керенского спешно начатое, но плохо подготовленное, застопорилось. Было приказано остановиться и рыть окопы.

В томительной неизвестности потянулись дни. Солдаты старались угадать: что означает затишье? Будет ли приказано снова наступать? «Главноуговаривающий», как прозвали Керенского, призывает воевать до победного конца, «до бедного конца» — так переиначили его призыв окопные шутники. Или дело идет к миру? С пристальным вниманием, волнением, надеждами ловили солдаты всякую новость, доходившую из Петрограда. Донесся слух, что там, после того как стало известно о неудаче наступления, все кипит, рабочие и солдаты требуют свержения Временного правительства, не желающего кончать ненужную народам войну. Как гром прогремело известие, что третьего июля в Петрограде казаки и юнкера стреляли в мирную демонстрацию, шедшую с лозунгами: «Вся власть Советам!», что начались аресты большевиков, а Ленин вынужден скрываться. В те дни и в полку, где служил Кедрачев, несколько человек были арестованы за большевистские речи и отправлены куда-то, и Кедрачев теперь уже не открыто, как еще недавно, толковал с товарищами о политике, объясняя им, чего хотят большевики, а с оглядкой, чтоб не услышал шкура-фельдфебель...

Девятнадцатого июля — Кедрачев запомнил этот

день — наступление после двухнедельного перерыва возобновилось. Опять шли солдаты под вражеский огонь, снова теряли товарищей, падавших в высокую траву долин, на горячие камни карпатских предгорий. Кедрачева судьба пока щадила.

Наступление, хотя и продолжалось, шло вяло: снова сказалась нехватка снарядов. А через несколько дней, выждав, пока оно окончательно застопорилось, немецкие и австро-венгерские войска перешли в контрнаступление. Поступил приказ отходить к Тарнополю.

В один из дней роту, в которой был Кедрачев, остановили на околице небольшой деревушки и приказали спешно рыть окопы. Целый день, обливаясь потом на жаре, долбили неподатливую, нашпигованную камнями землю. А к вечеру, когда уже заканчивали окопы, услышали:

— Бросай! Нас обошли!

Оказалось, австрийцы уже позади, Тарнополь взят, пути к своим нет...

Так Кедрачев, второй раз пробыв на фронте совсем немного, очутился в плену.

В числе других его привезли в лагерь возле города Секешфехервар. Лагерь находился в унылой, слегка всхолмленной степи. На каменистой почве почти ничего не росло, под сады и пашни она, видно, совсем не годилась, да и под пастбища не очень — только кое-где в степи виднелись вдали стада овец, бродившие по беловато-серым, выжженным солнцем пологим склонам. Одноэтажные длинные, как пеналы, серые каменные бараки, окруженные такой же каменной оградой с колючей проволокой поверху, стояли вблизи большой некрутой горы, на которой торчала похожая на маяк тонкая круглая башня — говорили, что она построена совсем недавно пленными. Склоны горы были испещрены выемками — пленные под бдительным наблюдением охранников, всегда дежуривших на башне, добывали известняк — строительный камень. Нагруженные им вагонетки вручную катили по рельсам узкоколейки к железнодорожной ветке, куда маленький паровозик время от времени притаскивал вереницу порожних платформ, а потом, когда они были загружены, увозил их — камень шел, как говорили, в Будапешт и в другие города.

Кедрачев вначале, как и большинство его товарищей, был назначен на работу в каменоломни. Это был тяжкий труд — с утра до вечера долбить киркой или ломом неподатливый известняк, дышать каменной пылью, ворочать тяжелые глыбы, обдирая ладони — пленным не давали ру-

кавиц. К тому же и еда была плохой: кормили в основном непривычной для русского желудка вареной кукурузой — тем же, чем кормили скот в окрестных деревнях.

Осенью Кедрачев, промокнув однажды до нитки на открытых работах, которые не прекращались даже в дождь, простудился и попал в лагерный лазарет. Когда он вышел оттуда, его уже не вернули в каменоломни, а послали работать на действовавший при лагере маленький заводик по изготовлению бетонных изделий — там делали плиты, столбы, кольца для колодцев, трубы для водостоков. Эта работа была полегче в том смысле, что велась она под крышей и воздух был почти чист от каменной пыли.

Одним из видов продукции заводика были бетонные надгробия для могил умерших в лагере пленных. Говорили, что сначала пытались ставить над могилами кресты. Но где взять дерева на это в безлесной степи? Поэтому перешли на каменные надгробия. Они были, словно военная форма, одного образца для всех: литой четырехугольный столбик, на передней стороне в простенькой рамке написанные латинскими буквами — так требовало лагерное начальство — имя, фамилия и, по-мадьярски, воинское звание умершего: писали не «солдат», а «катонак».

Умирали в лагере часто: делали свое дело недолеченные раны, тяжелая, беспросветная работа, скверная и скудная пища, тоска по близким, по родной земле. Лагерное кладбище росло, выровненные, словно на безмолвном параде, ряды серых столбиков с именами все дальше тянулись по пустырю, заросшему низкой колючей травой, которую и овцы не ели...

Чуть не каждый день на завод поступал заказ — сделать еще одно или несколько надгробий. Чуть не каждый день можно было видеть, как несут на плечах солдаты неструганый гроб, на котором лежит изношенная фуражка или шапка-ополченка. Многие сокрушались, что приходится хоронить товарищей без должного обряда, без отпевания — да где было найти русского священника для панихиды по всем правилам? Конечно, каждый русский полк имел штатного попа, да только попы, как видно, в плен не попадали. Поэтому обходились на похоронах без священника — прочтет знающий старый солдат заупокойную молитву, запинаясь на древних, малопонятных словах,— и царствие тебе небесное, братец...

Сколько раз, лежа ночью на нарах в душной тесноте и слушая, как мерно звучат наверху, под потолком, шаги часового, расхаживающего от одного конца барака до

другого по дощатому настилу, проложенному вдоль крыши, Кедрачев старался угадать: останется ли он здесь, под очередным бетонным столбиком, или вернется когда-нибудь домой? Часто уносился мыслями к себе в Сибирь, в далекий, до боли родной Ломск. Сколько раз в мучительных снах входил в свой дом, видел жену, дочку, сестренку!.. Наталья с Любочкой, наверное, все еще у ее родителей. Что ж, там им лучше. А сестренка, Олюнька? Может, уже и замуж вышла? Интересно, за кого? Стоящие парни все больше в солдатах. Но у нее-то, верно, ухажеров хватает...

Как они все там живут? Если б весточка какая... Солдаты, которые в лагере с начала войны, рассказывали: раньше посылали родным через международный Красный Крест открытки, получали и ответы. Но с тех пор как Кедрачев попал в лагерь, уже никто вестей через Красный Крест не получал, да и к отправке открыток не принимали. «Это что же получается? — досадовал он.— Второй год минул — ни я про своих, ни они про меня ничего... Наталья, поди, извелась по мне. А вдруг — нет? Что, если и ждать перестала?.. Папенька ее, язви его в душу, поди, даже рад, что я пропал. Уж как не хотел, чтобы за меня пошла... Как же, конторщик, благородным сословием себя считает, и дочку желал бы выдать не за такого, как я. Еще бы, самого хозяина племянник Наталье предложение делал, барыней могла стать. А выбрала меня... Отец, верно, бубнит ей теперь: «Не жди, не губи годы». Да не послушает она. А что, если... не будь Любочки?.. Да что это я? У нее и мыслей таких быть не может! Любит же меня! Конечно, любит... Верно, последнее время неласковой стала, вроде злоба какая-то появилась... На меня? Скорее, на жизнь, на войну проклятую, что нас разлучает. Я-то чем виноват?.. Будет ли ждать меня?»

Мучился неизвестностью Кедрачев, ворочаясь на нарах... Может, уже и похоронили его Ольга и Наталья. Одна Любочка не переживает— кроха еще совсем, да и видела отца всего ничего... Сейчас ей уже четвертый годик. Глянуть бы! Даже карточки нету — не успел взять...

В лагере Кедрачев встретил нескольких человек, таких, как он,— насильно впихнутых в маршевые роты и отправленных на фронт, чтобы не вели большевистской агитации в гарнизонах. Узнать их было просто: здесь, в плену, никто не препятствовал никаким разговорам — нельзя было ругать только австрийского императора. Постепенно в лагере сложился небольшой, но тесный круг

единомышленников — тех, кто держался линии большевиков. По вечерам в бараках часто беседовали о политике, о том, чего хотят большевики для народа. Бывало, спорили до хрипоты, иной раз и до полуночи не могли успокоиться. Может, споров было бы меньше — знай они лучше, что происходит в России. Но вестей оттуда не было. Только через солдат караульной команды иногда удавалось узнать, какие новости о России пишут венгерские газеты. Эти солдаты уже давно перестали видеть в пленных врагов, помогали, чем могли.

Великой радостью прозвенела в лагере весть о том, что двадцать пятого октября в Петрограде власть перешла к Советам и правительство Советской России призвало все воюющие державы немедленно установить мир. Доходили вести: по всей Венгрии — забастовки, солдаты австро-венгерской армии на русском и на итальянском фронтах не хотят воевать. В лагере ждали-гадали: скоро ли и у венгров произойдет революция? Уж тогда-то непременно кончится война, и можно будет покинуть опостылевшие бараки, уехать домой...

Но увы! Этим радужным надеждам не суждено было сбыться так скоро, как мечтали исстрадавшиеся на чужбине солдаты. Все оставалось по-старому: и тяжкая работа в каменоломнях, и тесные нары, и шаги часовых над головой по ночам... Но теперь все это казалось еще более томительным, чем прежде.

Прошел еще почти год, пока наконец осенью восемнадцатого года не произошла-таки революция —Австро-Венгерская империя рассыпалась. Венгрия стала республикой со своим временным правительством, с множеством партий, среди которых, дошел до пленных слух, будто бы объявилась и партия, схожая с партией большевиков. Это укрепило надежды пленных: может, мадьярские большевики, как и наши, добьются мира?

В ноябре восемнадцатого Кедрачев, как и все, покинул лагерь. Надо было где-то жить, чем-то кормиться.

По примеру других пленных Ефим решил пристроиться где-нибудь на вольную работу. Поискав, вместе с одним товарищем по лагерю устроился в помещичье хозяйство, где не хватало работников-мужчин. Кедрачева определили на скотный двор — подтаскивать корма, вывозить навоз. «Завидую тебе, Ефим,— подшучивал над ним приятель, попавший на другую работу.— И молочка — залейся, и насчет женского полу — раздолье». Но «раздолье» не прельщало Ефима, первое время он словно и не замечал,

сколько пригожих женских лиц вокруг. Однако не замечал, не замечал — да и стал замечать. Все чаще его взгляд останавливался на одной из доярок — совсем молоденькой, стройной как тростинка, большеглазой и крутобровой. Он так и прозвал ее про себя — Тростинкой. Всегда задорная, смешливая, она, с кем бы ни встречалась, бросала шуточку, а с коровами разговаривала так, будто они ее понимали.

Сначала Ефим подумал, что эта хохотушка с искрометным взглядом — еще девушка. Но, узнав, что ее зовут Тиборне, понял, что ошибся,— она замужем. Ему уже был известен венгерский обычай, согласно которому женщина при замужестве теряет собственное имя, обретая взамен имя супруга. Если ее зовут Тиборне, значит, муж ее — Тибор. Почему-то это показалось Ефиму несуразным: совсем еще девчонка! Какая из нее жена? Впрочем, он знал, что в венгерских деревнях, как порой и в русских, девушек просватывают рано — бывает, и с шестнадцати лет. А Тиборне уже, верно, лет девятнадцать. Так что, возможно, она и не первый год замужем.

Выйдя из лагеря, Ефим почти ни слова не знал по-венгерски. Но когда стал работать в господском дворе, да еще в окружении говорливых работниц, стал быстро свыкаться с незнакомой речью. А через пару недель уже мог даже перекинуться словечком. Охотнее всего беседовал с бойкой Тиборне — с такой и не зная языка заговоришь... «Наверное, легко муженьку с ней живется», — подумал как-то. В шутку сказав ей об этом, смутился: пошутил-то невпопад. Оказывается, уже два года, как муж ее убит на войне. Девятнадцатилетняя вдова! А о муже, видно, не очень-то грустит. Отгоревала свое? А может, не любила? В деревне это обычное дело: не по сердечной приязни зачастую выходят замуж — выдают по хозяйственному расчету. Как понял Кедрачев, с Тиборне случилось именно так.

После этого первого меж ними серьезного разговора, в котором жесты участвовали наравне со словами, Ефим стал нередко ловить себя на том, что думает о Тиборне. Встречаясь с ней, он замечал, как веселые искорки вспыхивают в глубине ее темных глаз. Его тянуло к ней. Это и радовало, и смущало. Он верил Наталье и хотел остаться чистым перед ней.

Однажды случилось так, что они встретились вдали от посторонних глаз, между ометами соломы, в момент, когда Ефим надергивал ее вилами, а Тиборне пришла

взять охапку коровам на подстилку. Бросила, как обычно, что-то шутливое и глянула при этом так, что у Ефима вилы выскользнули, а руки сами протянулись к ней. А Тиборне словно ждала этого движения — подалась навстречу. И совсем близко от своего лица он увидел ее влажно заблестевшие, в упор смотревшие на него глаза. Нет, Тиборне не опустила взгляда, как, помнится, делали это девушки, которых ему приходилось целовать до женитьбы... Он уже почти положил ладони на ее плечи, но неожиданная сила удержала его. Отодвинулся, пробормотал что-то смущенно — и тут ему в уши кольнул негромкий смешок Тиборне. Она смотрела на него лукаво-язвительно, что-то спросила насмешливо — кажется: «Что, меня испугался?» — и, быстро схватив охапку соломы, ушла. И этот смешок показался ему очень обидным.

Только через несколько минут он почувствовал, что стоит без шапки — она свалилась, что ветер леденит лоб и уши — на дворе-то уже зима...

«Свяжусь — сам не рад буду! — подумал он, нахлобучивая шапку.— Ну добьюсь своего — и, видать, без труда,— а потом? Как Наталье в глаза погляжу?»

Но стоило ему вновь увидеть Тиборне, гулко застучало сердце...

Неожиданно для всех, да, впрочем, и для себя, он через день взял расчет и, вскинув за плечи котомку, пошел искать другого места, подальше от господской усадьбы. С Тиборне перед уходом он даже не повидался, чтобы сердце не растравлять. Да и что они значили друг для друга? Ушел — как и не был.

Походив по ближним селам, он нанялся работником в богатый крестьянский двор, хозяином которого был старик Пал Мадач. Когда сговаривались, Ефим, с трудом разбиравший мадьярскую речь, понял старика так, что тот один в хозяйстве трудится, потому и нужен ему работник. Потом хозяин, показав Ефиму каморку, где он будет жить, позвал его во двор и велел нарубить на соломорезке сечки на корм скоту. Занятый этим, Ефим вдруг увидел, что с улицы во двор входит женщина, закутанная в черную шаль, за руку ведет малыша лет двух. Закрытого шалью лица женщины он толком не разглядел, но по осанке, по тому, как легко шагала она — казалось, чуть касаясь земли ногами, обутыми в сапожки, обычные для здешних деревенских женщин,— сразу догадался, что она молода.

Проходя мимо, женщина без особого удивления по-

смотрела на Кедрачева, сдержанно улыбнулась ему, быстро спросила что-то, но он не разобрал что. Несколькими минутами позже женщина вернулась во двор уже без малыша и, взяв корзину, стала молча наполнять ее соломой, нарезанной Кедрачевым.

— Те хазашсоня?[1] — спросил Кедрачев, нещадно перевирая незнакомые слова.

Женщина все же поняла вопрос, покачала головой:

— Нэм![2] — И медленно, чтобы Ефим понял, стала объяснять: зовут ее Лайошне, она приходится хозяину невесткой. Муж погиб на войне, она осталась с маленьким сынишкой Ене — слава богу, других детей нет — и вдвоем со стариком тянет все хозяйство. Свекор уже давно собирался нанять батрака, поэтому она, увидев Ефима, обрадовалась: работник уже есть! Правда, старик хотел работника постарше да и поопытнее в хозяйстве, местного, а пленных долго брать не хотел, но вот взял все-таки русского, молодого. Но это заботы старика, улыбнулась Лайошне, ей-то все равно какой. Лишь бы дело делал.

— Фелешеген ван? — спросила в свою очередь Лайошне.— Дермек ван?

«Женат ли? Есть ли дети?» — уловил Кедрачев знакомые слова. Ответил:

— Йген, йген![3]

Лайошне улыбнулась понимающе, хотела сказать что-то еще, но в это время ее сердито окликнул вышедший на крыльцо старик, и она, оглянувшись на него, сразу прервала разговор и продолжала работу уже молча.

Так началось их знакомство. Потянулись однообразной чередой дни, наполненные непрерывной, никогда не имеющей конца работой по хозяйству. Мадач держал много овец, свиней, в хлеву стояли четыре коровы. Со всей этой скотиной да к тому же с тягловыми быками и с лошадьми было немало возни — Кедрачев, Лайошне и сам хозяин работали с утра до вечера не покладая рук. И Кедрачев немало удивлялся, как с таким обширным хозяйством они обходились без работника.

Кедрачев трудился старательно, хозяин был им доволен, даже стал питать к нему определенное расположение. И часто после ужина, когда Лайошне, закончив домашние дела, уходила к себе в горенку, где помещалась вме-

---

[1] Ты хозяйка? (*искажен. венг.*)
[2] Нет! (*венг.*)
[3] Да, да! (*венг.*)

сте с сынишкой, старик, присев к печурке, коротким движением головы приглашал сесть и Ефима. Старик раскуривал свою короткую трубочку, Ефим ладил самокрутку. И обычно старик начинал неторопливый, с паузами от затяжки до затяжки, разговор. Они еще не очень хорошо понимали друг друга, часто дополняли слова жестами, но разговор все-таки получался, тем более что спешить было некуда, можно переспрашивать вновь и вновь.

Пал Мадач оказался довольно любознательным и словоохотливым. Вопросы политики мало интересовали его, он считал, что к его хозяйству она отношения, в общем, не имеет, но любил расспрашивать Ефима о жизни в России. Охотно, не ожидая вопросов, старик рассказывал и о себе. Ефим узнал, что Пал любит внука и мечтает дожить до времени, когда Ене вырастет и примет от него хозяйство — других наследников нет, убитый на войне сын был единственным. Однажды, разоткровенничавшись, старик поделился с Ефимом своими опасениями, как бы Лайошне не ушла: к ней уже давненько приглядывается пожилой вдовец, тоже весьма крепкий хозяин,— ему нужна хозяйка в доме и мать для его двоих детей. Этот человек уже сватался, но Лайошне не хочет принимать его предложения. Вообще-то Пал ничего не имел бы против того, чтобы она вышла замуж и оставила его двор: после смерти сына она ему — чужая. Но все же, если она выйдет замуж, он не будет рад, и только потому, что, уйдя, она, конечно, возьмет с собою и малыша — ведь мать с ребенком не разлучишь,— а расставаться с внуком он никак не согласен.

Сначала Ефим удивлялся, что хозяин так откровенен с ним, но потом понял, что был, пожалуй, для него самым удобным собеседником: старик нелюдим, сам ни к кому не ходит и в доме у него никто не появляется. Поделишься сокровенным с кем-нибудь из односельчан — могут пойти пересуды, а от работника никто ничего не узнает...

В отличие от старика Лайошне куда меньше была расположена к разговорам с новым работником. И не только в присутствии хозяина. Даже когда им случалось оставаться за каким-нибудь делом вдвоем, Лайошне держалась с Ефимом сдержанно, пожалуй, настороженно, и он это постоянно чувствовал. Даже сердился порой. «Боится она меня, что ли? Может, думает — ухаживать начну? Больно-то нужно!»

Думал так, а сам, того не желая, с каждым днем все пристальнее присматривался к Лайошне, хотя и замечал,

как смущается она, более того — хмурится, почувствовав на себе его взгляд.

И все-таки его так и тянуло взглянуть на нее... А взглянешь— она глаза отведет, сделает вид, что вся поглощена делом. Почему она поступает так?

Нет, нельзя сказать, что Лайошне стала неприветливой. Просто скованная какая-то... Это удивляло Ефима и вызывало досаду. Она почти не разговаривала с ним, а ему так хотелось пожалеть ее, посочувствовать! Ведь старик неласков с нею, только из-за внука ее и терпит. Както в разговоре с Кедрачевым хозяин обмолвился, что Лайошне не очень годна для крестьянской работы — силы мало, и было бы лучше, если бы его сын женился на девушке покрепче. Именно такую невесту отец ему в свое время нашел, так ведь не захотел... А с этой красавицы спрос невелик: два ведра нести не может, наливает неполные.

Как мог, старался Ефим, да так, чтобы старик не замечал, облегчить работу Лайошне, особенно когда надо было таскать что-нибудь тяжелое. И был очень рад, когда слышал от нее слово благодарности.

С каждым днем все большей жалостью к Лайошне проникалось его сердце, все чаще хотелось ему сделать для нее что-нибудь хорошее. Все сильнее тянуло его к ней, и — что уж греха таить! — приходили порой и грешные мысли, но он гнал их. Так же, как гнал подобные мысли в господском дворе, когда встретил Тростиночку-Тиборне. Но тогда сделать это было легче: никогда не думал он по-серьезному об этой хохотушке, да и она над своей судьбой не задумывалась. Нет, Лайошне — совсем другое дело...

Все чаще, даже в момент самой напряженной работы, старался он взглянуть на ее маленькие, но быстрые и ловкие руки, на обычно сосредоточенное, всегда как бы печальное лицо, обрамленное тяжелыми складками теплой шали, оттеняющей нежность смугловатых щек. В этом лице ему нравилось все: и высокий чистый лоб, на который всегда, как бы гладко ни причесывалась Лайошне, во время работы выбивалась непослушная прядка темно-каштановых волос, и опушенные густыми ресницами карие, почти черные глаза, иногда пробегавшие по нему быстрым и как бы робким взглядом, и маленький рот со слегка приподнятой верхней губой, придававшей облику Лайошне что-то наивно-девчоночье, почти детское... Но сквозь эту детскость видна была ему и незримая мета, наложенная

на ее лицо материнскими заботами, пережитой потерей и всем ее нелегким, после смерти мужа, положением в доме свекра.

С каждым днем все сильнее одолевали Кедрачева мысли о Лайошне, все более радостным становилось ему быть с нею — на работе ли, за общим ли столом, или длинным зимним вечером, когда она, уложив малыша, вязала возле крохотной керосиновой лампочки, не вмешиваясь в неспешный разговор, который вел возле печурки старый хозяин с работником.

Незаметно для Кедрачева привязанность его к Лайошне распространилась и на ее сынишку, которого Кедрачев называл на русский лад — Еником. Мальчишка, который поначалу дичился, постепенно не только привык к нему и без страха шел на руки, но и рвался повозиться с Кедрачевым, когда видел, что тот не занят. Лайошне к этой возне относилась вначале укоризненно, выговаривала сыну, а потом — только улыбалась. Но однажды вечером, когда мальчишка, расшалившись перед сном, вскочил Ефиму на колени, Лайошне вдруг гневно крикнула Енику что-то, схватила его и, несмотря на бурные протесты, унесла в горенку, быстро уложила в постель. С той поры каждый раз, когда Еник хотел повозиться с «дядей», Лайошне отзывала его. «Не хочет, чтоб парнишка ко мне привыкал,— объяснил себе Кедрачев.— Ведь понимает — не навек же здесь останусь».

Иногда, чаще всего в вечерний час, потягивая цигарку и слушая старика, а краем глаза наблюдая за Лайошне, занятой вязаньем, Ефим ловил себя на мысли о том, что чем-то Лайошне напоминает ему жену. Но чем? Не внешностью, не повадками и тем более не характером. Они совсем, совсем разные: Наталья нравом крутовата подчас, любит на своем настоять, а Лайошне — кроткая, ее всякий обидеть может. И все-таки чем-то они схожи... Может быть, в Лайошне увидел он то, что всегда хотел видеть в Наталье, но чего в ней совсем нет? Схожи непохожестью? Так и не сыскал Ефим ответа на этот вопрос.

Однажды, было это уже глубокой осенью, когда на полях прочно улегся снег и совсем короткими стали дни, старик собрался в город — продать пару только что забитых свиней, купить кое-что по хозяйству и показаться доктору: старику уже давно не давали покоя непонятные боли в пищеводе. Старый Мадач рассчитывал, что управится со всеми делами не раньше чем через два-три дня. Дав Лайошне и Ефиму указания по хозяйству, он уехал.

Вечер этого дня начался обыкновенно: Ефим вместе с Лайошне напоили скот и задали ему корм, заперли двери хлевов и вернулись в дом. После ужина, когда Лайошне прибрала посуду и уложила сынишку, она, как обычно, присела с вязаньем к лампочке, возле которой уже устроился Ефим, чтобы выполнить наказ старика — починить порвавшуюся сбрую.

Ефим попытался заговорить с Лайошне — все равно о чем, лишь бы услышать ее голос,— но она, как это часто случалось в последнее время, не поддержала разговора, и он, чтобы не показаться навязчивым, замолчал.

Занятый своим делом, орудовал он шилом, большой шорной иглой и дратвой. Прошло с полчаса, и словно кто-то тихо, но решительно подтолкнул его: он взглянул на Лайошне и увидел слезы на ее глазах.

— О чем ты плачешь? — встревоженно спросил он, не замечая, что спрашивает на своем родном языке и Лайошне может не понять его.— Что с тобой? — спросил он снова, метнулся к ней, инструмент выскользнул из рук, недошитая сбруя, тяжело прошумев, свалилась с колен на пол.

Ефим не знал, что предпринять: Лайошне беззвучно рыдала, уткнувшись лицом в скомканное вязанье, свалившийся с ее колен клубок шерсти медленно раскручивался на полу, выкладывая по нему беспорядочные петли.

Ефим нерешительно приблизился к Лайошне. Его ладони осторожно опустились на ее плечи, и он через ткань платья почувствовал их тепло. Лайошне сделала слабую попытку освободиться, но он плотнее прижал ладони к ее плечам. Она шептала что-то бессвязное, он не успевал разбирать непривычные ему венгерские слова, но все же общий смысл их доходил до него: пусть он оставит ее, она не хочет беды...

— Ну что ты, о какой беде речь, успокойся, милая ты моя! — бормотал он смущенно, мешая русские слова с венгерскими; одной рукой он обнимал Лайошне, пальцы другой неловко двигались, стирая слезы с ее щеки.

Он чувствовал, как она затихала под его руками, как расслаблялись ее напряженные плечи. Но вдруг она, мягким движением отстранив его протянутую ладонь, выскользнула и, подхватив спутанное вязанье, быстро направилась к двери в горенку. Полуразмотавшийся клубок, подпрыгивая на покрывающих пол петлях пряжи, покатился за ней.

— Куда ж ты? — смешался Ефим.— Я ведь жалею тебя...

Он не заметил, что сказал это опять по-русски. Не подумал — поняла ли она? И вообще, имеет ли здесь это слово тот смысл, как в его родных краях? Жалеть — значит любить. Так он привык понимать с детства.

А может быть, догадалась? На пороге она обернулась. Он порывисто шагнул к ней. Но Лайошне уже закрыла дверь за собой.

Растерянно остановившись у двери, Ефим постоял-постоял и вернулся к столу...

Долго в эту ночь пролежал он в своей каморке без сна, ворочаясь на неудобной, как ему казалось на этот раз, постели. Наконец усталость взяла свое.

На следующий день работа валилась у Ефима из рук. Он не мог не заметить, что Лайошне казалась подавленной и старательно избегала его — за весь день они перемолвились лишь несколькими самыми необходимыми словами. Вечером Лайошне стряпала, подавала ужин, занималась уборкой, но Ефиму ни разу не удалось встретиться с ней взглядом. А ему очень хотелось этого.

Попытку Еника повозиться с Кедрачевым она пресекла самым решительным образом и уложила малыша спать даже раньше обычного.

Когда домашние дела были закончены, она не уселась, как всегда, со своим вязаньем в комнате, а ушла с ним на кухню, засветив там другую лампочку, хотя старик строго-настрого следил за тем, чтобы лишнего керосина не жечь.

Ефим сосредоточенно орудовал иглой, протягивая дратву сквозь тугую кожу хомута. Изредка взглядывал на дверь кухни, закрытую неплотно. Сквозь оставшуюся щель сочился слабый, как робкая надежда, розоватый свет. Ефиму очень хотелось зайти к Лайошне, поговорить с ней. Он недоумевал: «Обидел я ее чем? За весь день ни разу не глянула... Может, сидит там, слезы льет. Вот пойми их — я же к ней со всей душой... А она?»

Руки словно перестали слушаться. А, черт! Палец иглой рассадил. Неглубоко, а кровищи сколько! Надо смыть. Да вода на кухне... Зажимая раненый палец другой рукой, он локтем решительно нажал на дверь.

...Эта ночь была самая короткая из всех, что прожил Ефим под крышей дома старого Мадача. За незакрытой дверью его каморки тускло светила забытая на столе лампочка, подслеповато помаргивала — в ней выгорел почти весь керосин. Значит, прошло уже несколько часов. А Ефиму все это представлялось каким-то быстротечным

удивительным сном. Голова Лайошне покоилась на его плече, а ведь, казалось ему, всего несколько мгновений назад он, распахнув дверь в кухню, встретил ее испуганный, какой-то потерянный взгляд, а клубок пряжи — он запомнил это — от ее резкого движения снова покатился на пол...

С той ночи и началось у Ефима его горькое счастье с Лайошне. Горькое потому, что он понимал всю недолговечность этого счастья и то, что оно кончится непросто и нелегко для Лайошне, а значит, и для него, потому что горе Лайошне теперь ему далеко не безразлично. Она робко надеется, что он все же останется, хотя и понимает, что надежда эта напрасна, что он уйдет, уедет при первой возможности...

Конечно, при первой же возможности... И как он может не уехать? Ведь там — его дом, семья, его родина... Там его место. Да и мысли о Наталье не давали покоя.

Ефиму не хотелось обнадеживать Лайошне понапрасну. Не хотелось жить в постоянном опасении, что старый Мадач догадается, что́ происходит в его доме. Лучше уйти раньше, чем старик заподозрит что-либо, ведь это может обернуться очень плохо для Лайошне. А главное — чем раньше уйдет, тем легче, вероятно, будет Лайошне, да и ему самому, тем меньше будет вина перед ней... И уйти надо не просто к другому хозяину, а в другое село, подальше, чтобы совсем отрезать себе обратный путь к Лайошне — так будет лучше для них. А может быть, попробовать податься куда-нибудь в город? Именно в город — на то есть особые соображения.

Но пока хозяин, кажется, ни о чем не догадывается. К Ефиму относится по-прежнему хорошо: старательного и сильного работника он ценил.

На рождество, когда у старика были гости, Ефима тоже пригласили к столу. Он оказался рядом с разговорчивым, бойким усачом лет тридцати, одетым по-городскому и, к удивлению Кедрачева, невесть откуда знавшим несколько русских слов, в основном из ругательного лексикона. Самые крепкие из этих слов гость, будучи уже на взводе, с удовольствием весьма выразительно произносил за столом, не понимая, видимо, истинного их значения. Не понимали и другие. Поэтому «руссицизмы» усача никого не смущали, кроме Ефима, поскольку все это произносилось в присутствии женщин и детей. Улучив минуту, Кедрачев, уже немного поднаторевший в трудном для русского слуха венгерском языке, подвинулся к соседу вплот-

ную и потихоньку, на ухо, разъяснил ему суть выражений, которыми тот только что щеголял, и поинтересовался: где он брал такие уроки русского языка? Гость смущенно рассмеялся, даже слегка ужаснулся своим высказываниям и поблагодарил Кедрачева за разъяснение. Они разговорились. Ефим узнал, что его новый знакомый, Габор Мадач,— племянник старика, работает в предместье Будапешта, на Чепеле, на заводе металлических изделий, помощником мастера и приехал на рождественские праздники проведать родных и запастись продуктами, с которыми в городе туговато — цены на рынке такие, что не подступись. Габор рассказал, что у них в цеху уже давно работает несколько русских пленных — от них-то он и перенял сразу, на слух, восхитившись звучностью, но не поинтересовавшись смыслом, теперь-то понятную ему словесность. Кедрачев тут же спросил Габора: нельзя ли с его помощью получить работу на заводе? Ведь в городе, пожалуй, скорее можно будет узнать: когда же появится возможность уехать на родину? Разумеется, Ефим не стал говорить Габору о другой причине, которая заставляла его торопиться с отъездом из деревни.

Разговор закончился тем, что Габор обещал Кедрачеву содействие и дал свой городской адрес на случай, если тот приедет в Будапешт.

Вскоре после рождества Кедрачев попросил у старика расчет, чем тот был огорчен: жаль расставаться с прилежным и толковым работником. Для Лайошне же отъезд Ефима, такой скорый, был настоящим ударом, хотя он уже давно сказал ей, что уедет.

Всю ночь, тайком придя к нему в каморку, она проплакала у него на плече, уговаривая остаться если не насовсем, то хотя бы на какое-то время. Жаль было Ефиму Лайошне, очень жаль, и виноватым себя перед нею чувствовал, хотя с самого начала не обещал ей ничего. В какие-то минуты казалось: нет, не сможет он уйти от нее — ведь каждая ее слеза сердце ему прожигала... Но все же рано утром, осторожно высвободившись из ее объятий, он надел свою старую шинель, полученную еще в Ломске, взял вещевой мешок, который Лайошне туго набила всякой снедью, и ушел.

Добравшись до Будапешта, Ефим разыскал Габора Мадача, и тот помог ему устроиться на завод — правда, не на слишком выгодную работу, подсобником: возить на вагонетках в цех заготовки, а оттуда — готовые изделия. Но все же это давало, пусть самый скудный, кусок хлеба.

Радовало Ефима и то, что теперь ему было с кем хоть словом перемолвиться на родном языке: бывших пленных на заводе работало, в разных цехах и службах, больше сотни — после того как их освободили, многие русские солдаты приехали в Будапешт не только в надежде устроиться на работу, но и рассчитывая, что в столице им скорее предоставится возможность уехать домой. На заводе уже сложилось нечто вроде русского землячества: солдаты часто встречались, помогали друг другу, многие даже жили вместе, снимая, чтобы выходило дешевле, комнаты сообща.

Солдат Петро Рекемюк, к которому Кедрачева определили в напарники — они возили вагонетки вдвоем,— предложил снимать комнату, в которой уже жил, напополам, и Кедрачев согласился.

Рекемюк, родом с Полтавщины, лет на пять старше Ефима, но благодаря своей рассудительности выглядевший еще старше, оказался хорошим товарищем, хотя и имел некоторую склонность верховодить и навязывать свое мнение. Ефим тоже любил настоять на своем, но они сумели поладить и даже подружиться. Их сближали общие судьбы, общие мечты о возвращении домой. Сближало и то, что в разговорах между пленными о политике оба держались большевистской линии. А разговоры эти принимали иной раз характер острых споров — часто только из-за незнания, что происходит на родине. Ефим уже давно прибегал к помощи Габора Мадача, когда хотел узнать новости. Частенько после работы он заходил к Габору домой, и тот, мешая русские слова с венгерскими, все же более или менее понятно пересказывал прочитанное в газетах, и в первую очередь в «Вереш уйшаг» — в «Красной газете», издаваемой коммунистами. Этой газете Ефим и его товарищи верили больше, чем другим: в остальных о Советской России писали мало хорошего — в основном поносили большевиков. Ефим к этим газетным обвинениям и к сетованиям о печальной судьбе русского народа относился скептически. Он помнил, что примерно то же самое читал в семнадцатом году еще в Ломске в меньшевистских, эсеровских и кадетских газетах. Но кое-кто из его нынешних товарищей был склонен поверить газетным измышлениям насчет того, что большевики ведут Россию к полному развалу. А доказывать, что это не так, было нелегко: ведь о происходящем на родине Ефим знал не больше других. Случалось, в спорах ему не хватало аргументов, далеко не всегда удавалось одержать верх.

Случались у него споры и с Рекемюком, особенно о том, нужна ли диктатура пролетариата и можно ли при советской власти уравнивать все крестьянство. Но эти споры не мешали Ефиму и Петро оставаться добрыми товарищами. Вместе работали, вместе жили, вместе старались разобраться в том, что происходит в мире.

Теперь Ефим захаживал к Габору уже не один: прихватывал Петро, а то и еще кого-нибудь из знакомых солдат. Нередко в это же время к Габору заходил и кто-нибудь из его товарищей по работе, живущих по соседству: огромный серый четырехэтажный дом, состоящий из множества тесных квартирок, почти весь был населен заводскими, как и многие дома Чепеля.

По вечерам в квартире Габора с жаром обсуждали: как дальше развернутся события? «Вереш уйшаг» из номера в номер призывала не ждать, пока правительство проведет обещанные реформы, а вести борьбу за создание в стране пролетарской власти. Слушая это, Ефим вспоминал, как после свержения царя, когда к власти пришло Временное правительство, «второй властью» на местах сделались Советы и как большевики ратовали за то, что Советы должны стать властью единственной — и стали ею в Октябре, когда Кедрачев был уже на чужбине. «Теперь и здесь повторяется то же, что было у нас,— сравнивал он.— А как будет дальше?»

Однажды, когда февраль перевалил за половину, по заводу, где работал Кедрачев, пронеслась тревожная весть: накануне ночью на квартирах были арестованы несколько заводских коммунистов; брошено в тюрьму все руководство коммунистической партии, которую обвиняют в попытке захватить власть; «Вереш уйшаг» запрещена.

И это все было очень похоже на то, что происходило в России летом семнадцатого, перед Октябрем, и о чем Кедрачев, будучи уже в плену, знал только по слухам — ищейки Временного правительства охотились тогда за Лениным, в Петрограде была разгромлена редакция газеты «Правда».

Кончался февраль. Все более частыми становились ясные, солнечные дни, когда на небе, очищенном от застарелой зимней пасмури, все явственнее проглядывала чистая, светлая голубизна. И казалось, сам воздух был наполнен будоражащей душу тревогой, ожиданием больших событий, невиданных перемен...

В начале марта из газет стало известно, что в Москве собрались представители революционных рабочих партий

разных стран, в том числе и Коммунистической партии Венгрии, и создали III Интернационал. На заводе, где работал Кедрачев, среди рабочих-венгров было мало коммунистов. Если кто и состоял в партии, то больше в социал-демократической. Социал-демократом считался, по существу, каждый член профессионального союза, а таких на заводе было большинство. Помня о меньшевистских и эсеровских нападках на большевиков, Кедрачев не очень удивлялся, что социал-демократические газеты люто поносят венгерских коммунистов, обвиняют их в посягательстве на демократию. Но что толку от той демократии, которая установилась, когда Венгрия из обломка империи стала самостоятельной республикой? От того, что социал-демократы сели в правительство, ничто не изменилось к лучшему: хозяева на заводах остались хозяевами, многие солдаты еще томились на застывших после перемирия фронтах. Кедрачеву часто приходилось слышать, как венгры, его товарищи по цеху, говорили: «Надо у нас делать, как в России!» И вот — весть о создании Интернационала. На Чепеле ее встретили с надеждой. «Теперь все пролетарии заодно, скоро покончат с войной»,— сказал пожилой рабочий. Но хотя перемирие с Антантой уже давно было установлено, это не приносило спокойствия. То и дело в газетах сообщалось, что Антанта вновь и вновь требует отвести венгерские войска, причем не только с земель, населенных чехами, словаками, румынами, но и оттуда, где испокони живут венгры. Последняя нота Антанты, посланная Венгрии двадцатого марта, требовала отвода войск уже на левом берегу Тисы — большой реки на востоке страны. И было ясно, что, как только венгерские войска уйдут, эти места тотчас займет армия румынского королевства. «Что же получается? — обсуждали в цеху эту последнюю новость русские.— В России Антанта на нас лезет, здесь — на мадьяр?» Вместе с венгерскими товарищами по заводу, встревоженными угрозами Антанты, пленные надеялись, что продвижению румынской армии, нависшей над Венгрией с востока, воспрепятствует Советская Россия. Радовали появившиеся еще в середине марта сообщения, что Красная Армия, гоня войска контрреволюции на Украине, движется в направлении венгерской границы. Правда, до границы остается еще не одна сотня верст, но, если наступление Красной Армии будет таким же быстрым, как сейчас, это расстояние может быть пройдено скоро... Еще больше обнадеживали появившиеся в газетах известия, что Красная Армия, тесня румынские войска, наступает

уже по Галиции, приближается к Карпатам. Прошел слух, что гул пушек слышен уже и на западных, обращенных к Венгрии склонах Карпат.

На заводе, да и по всему Чепелю, в рабочих квартирах, в корчмах, служивших своего рода клубами, и в еще более многочисленных кафе «Эспрессо», где возле стойки за чашкой кофе или за стаканом дешевого вина любили проводить свободное время жители этого пролетарского предместья Будапешта, только и разговоров — как повернутся события дальше, если правительство решилось преследовать партию, за которой идут массы, партию коммунистов. Было известно, что Центральный Комитет за решеткой, но партия действует. Снова тайно выходит «Вереш уйшаг» — на заводе номера газеты ходят по рукам, — и правительство не в силах пресечь ее распространение. Продолжают существовать Советы. А главное — с того дня, как руководители коммунистов были брошены в тюрьму, на площадях и улицах Будапешта, в заводских дворах и цехах на Чепеле и в других местах почти не прекращались бурные митинги. Рабочие и солдаты протестовали против расправ над коммунистами, требовали свободы действий для своей партии. Стало известно, что правительство Советской России по радио обратилось к венгерскому правительству с протестом против преследования коммунистов, против зверского обращения с арестованными. Был такой митинг и на заводе металлических изделий. В нем приняли участие и Кедрачев с товарищами по плену.

События накатывались... Нота Антанты требует нового отвода войск. В деревнях полиция и жандармы расправляются с крестьянами, которые захватили помещичьи земли. На заводах — забастовки, рабочие требуют передать им управление предприятиями. Создаются отряды Красной гвардии. И снова и снова — митинги и собрания в поддержку коммунистов...

Восемнадцатого марта, в солнечный теплый день, когда мостовые были уже сухи и на деревьях набухали первые почки, на одной из площадей Чепеля был созван митинг, как гласили расклеенные по улицам афиши, в честь сорокавосьмилетия провозглашения первой рабочей власти — Парижской Коммуны. Прошел слух, что на митинге будут сообщены важные новости. На митинг пошел и Кедрачев с товарищами. И опять многое напомнило ему весну семнадцатого в далеком родном Ломске... Так же грудилась толпа вокруг дощатой трибуны, украшенной

алыми флагами, и даже мелодии песен, с которыми подходили к площади колонны с чепельских предприятий, были знакомы Ефиму: «Интернационал», «Марсельеза», «Варшавянка» и даже невесть как долетевшая до Будапешта давняя песня русской революции — «Смело, товарищи, в ногу»... Звучали эти песни здесь, на чепельской площади, на венгерском языке, но Ефим понимал каждое слово.

Это был, наверное, самый многолюдный из всех митингов, на которых когда-либо приходилось ему бывать. Несколько тысяч человек от края до края заполнили площадь. На краю ее, неподалеку от трибуны, над людьми возвышались теснящиеся в ряд один к другому стволы винтовок с примкнутыми штыками: на митинг пришли отряды Красной гвардии с заводов, на которых они были уже созданы. В толпе среди разномастных головных уборов виднелось много солдатских кепи, кое-где чернели матросские бескозырки.

Вместе с Рекемюком и другими соотечественниками, с Габором и его товарищами по заводу Ефим протиснулся к трибуне, чтобы лучше слышать. Он и его собратья по плену немногое понимали из выступлений ораторов, но Габор, теперь владевший русским языком несколько лучше, чем они венгерским, давал по ходу дела краткие пояснения:

— Оратор возмущается, почему лидеры социал-демократов не протестуют против расправ с коммунистами. Оратор — сам социал-демократ, но не согласен с политикой своего руководства, он левый социал-демократ... А этот солдат на трибуне — только что из госпиталя. Он не хочет возвращаться в часть, говорит, что лучше вступит в Красную гвардию...

Через некоторое время, когда на трибуне сменили друг друга уже несколько ораторов, Габор сказал, показывая на очередного из них, стоявшего с листком бумаги в руках:

— Этот предлагает принять резолюцию...— И когда оратор кончил читать, объяснил: — Резолюция такая: немедленно освободить арестованных коммунистов, всем рабочим Будапешта присоединиться к этому решению Чепеля. Чепель полностью за программу коммунистов... требует оружия для борьбы за диктатуру пролетариата... Сейчас объявляют: кто за такое решение — поднять руки!..

Лес рук мгновенно вырос над головами. А там, где стояли красногвардейцы, взметнулись штыки.

А еще через два дня взбурлил весь Будапешт: стало известно, что Антанта потребовала нового отвода войск, уже с исконных венгерских земель. Правительство, испугавшись народного гнева, ультиматум Антанты отклонило. Что последует за этим? Неужели возобновится война, на прекращение которой сама Антанта вынуждена была пойти?

На следующий день, после того как стало известно об ультиматуме Антанты, заводской гудок зазвучал раньше, чем наступило время кончать работу, и Ефим, кативший по двору только что опорожненную вагонетку, остановился в недоумении. К нему подбежал Петро Рекемюк:

— Чего стоишь як вкопанный? На демонстрацию пошли!

— На какую?

— Ты что, не слыхал? Советская власть объявлена! Здешние все собираются в город, в поддержку новой власти. И наши — тоже, отдельной колонной!

— А почему отдельной? Работаем-то вместе.

— Ну и что? Они — само собой, мы — само собой.

— Ты опять?.. Не само собой, а воедино.

— Некогда свое доказывать! Давай швыдче к воротам, там все наши собираются!

Но, когда пришли к воротам, Ефим все-таки стал настаивать на своем: работаем вместе, делиться нечего. И большинство с ним согласились. Из заводского двора вышла колонна, в которой перемешались и русские, и венгры. Ефим шел рядом с Габором и Рекемюком. Колонна шла единая, но лозунги над нею — «Вся власть Советам!» — были написаны на разных языках: венгерском, русском, итальянском — на заводе работали и пленные итальянцы — и на украинском: Рекемюк и его земляки не отказали себе в таком удовольствии.

С каким восторгом шагал тогда Ефим по брусчатке будапештской мостовой в тесных, шумных рядах своих товарищей! Было солнечно, по-весеннему безупречно чистое небо сияло ослепительной светлой синевой. Вспугнутые песнями демонстрантов, носились над колонной голуби, как вестники радости и мира. Пели «Интернационал» и «Марсельезу», пели на разных языках, но дружно. Высокими звучными голосами вели какую-то неизвестную Ефиму веселую песню женщины в соседней колонне, кажется работницы табачной фабрики; тут и там плыли над рядами алые полотнища, и в памяти Ефима вставал тот далекий день начала марта семнадцатого, когда в Ломск на-

конец дошла весть, что сбросили царя, и он, Ефим, вместе с другими солдатами караульной роты шагал по булыжнику главной улицы — Почтамтской, скользкому от снега, размешенного тысячами ног... Два года прошло... И вот за тысячи верст от родных мест, в иностранной столице, в Будапеште, снова идет он под красным флагом, радуясь, что и сюда, как и в Россию, пришла революция, и тоже в самом начале весны. Все повторяется, замечательно повторяется!.. В феврале семнадцатого в России сбросили царя, в октябре — Временное правительство. Здесь, в Венгрии, через год, в октябре, провозгласили республику, а сейчас, в марте, она стала советской. Может быть, скоро и в других странах произойдет то же самое? Вот она — всеобщая, мировая революция, о которой они с Яношем еще в Ломске загадывали, верили, что она не за горами, неизбежно и скоро придет! Сбывается мечта!..

Полнилось сердце радостью, надеждами на скорый всеобщий мир, на то, что откроется дорога домой...

Колонну словно волна всколыхнула — белыми птицами затрепыхались на этой волне, перелетая из рук в руки, газеты, которые только что откуда-то принесли. Их хватали жадно, разворачивали на ходу. Одну из газет перехватил Кедрачев, шедший крайним, передал идущему рядом Габору:

— Читай, что там?

Пробежав глазами по газетному листу, Габор воскликнул:

— Объявлен состав нового правительства! Советского! Там не министры, а народные комиссары! Как у вас в России! — и добавил весело: — Подумайте, у товарищей народных комиссаров всего за один день — и такая карьера: из тюремных камер — сразу в министерские кабинеты!

Оказывается, как объяснил Габор, пробежав газету, буржуазное правительство, видя, что оно уже не владеет положением, и опасаясь, что власть возьмут коммунисты, решило из двух зол выбрать для себя меньшее и передать власть социал-демократам. Но социал-демократические вожди сразу поняли, что их шансы удержать власть без коммунистов — равны нулю: ведь за коммунистов большинство рабочих и солдат. Но остаться хотя бы причастными к власти! И руководители социал-демократов поехали в тюрьму для переговоров с еще заключенными там членами Центрального Комитета партии коммунистов и предложили объединить партии, точнее, влить социал-

демократическую в коммунистическую, а коммунистам — взять всю полноту государственной власти. И вот эта власть — уже реальность. Только что сформированное правительство состоит из коммунистов, но вошли в него и недавние социал-демократы.

— Дóбро! Очень дóбро! — восклицал, обращаясь к своим русским друзьям, Габор, довольный тем, что может сообщить такую радостную новость. От волнения еще больше обычного коверкая русские слова, он восхищался тем, что диктатура пролетариата в Венгрии установлена так быстро и без пролития крови — власть не пришлось отнимать у буржуазии силой.

Восторги Габора Кедрачев слушал не без сомнения: «Уж больно гладко все получалось... У нас в России враги не успокоились, как советская власть установилась, какую войну раздули!» Но делиться с Габором своими сомнениями не стал — не хотел омрачать такой радостный час. Да и кто его знает, как здесь, в Венгрии, дело-то обернется?! Тут все по-своему. «У нас, к примеру, как царя скинули, так и городовым по шапке. А здесь вон полицейский на углу, как, наверное, еще при Франце-Иосифе стоял, так и сейчас стоит, только красный бант над кокардой нацеплен».

Взбудораженные новостями, с оживленными разговорами, с песнями, которые то затихали, то вспыхивали вновь, прошли мост, ведущий с Чепеля к центру, в Пешт, широкой улицей прошагали мимо набережной Дуная, пересекли кольцо бульваров — и вот колонна чепельцев влилась в поток демонстрантов, стекающихся с других районов города. Толпа густела, уплотнялась. Все более частым становился лес красных знамен. Движение замедлялось и в конце концов застопорилось. Кедрачев и его спутники стояли в тесной толпе, которой, казалось, не было ни конца ни края — человеческая река заполняла всю улицу; течение ее остановилось, но по ней продолжали ходить волны. Неподалеку впереди виднелся длинный фасад трехэтажного здания — Габор объяснил, что это Национальный музей. В центре фасада, под колоннами, простирались широкие ступени. На них стояло несколько человек в штатских пальто и военных шинелях. Один, выступив вперед, громко говорил, взмахивая рукой, но голос его на расстоянии был слышен едва-едва. Впрочем, Кедрачев, если бы и хорошо слышал, все равно вряд ли что-нибудь понял бы. Повернувшись к Габору, он спросил:

— Кто это? Что говорит?

— Член Центрального Комитета партии. Призывает, чтобы наша советская республика с первого же дня установила тесный союз с Советской Россией. Как со старшей сестрой...

— Правильно! — одобрил Кедрачев.— Только и есть пока две советские страны на всем свете — Россия и Венгрия.

— А Украина? — поспешил вставить Рекемюк. — Украина — тоже советская республика.

— Извини, не хотел твою ридную обидеть. Само собой и Украина, и все прочие наши народы...

— Элье-ен! — закричали вокруг.— Элье-ен!

Кедрачев уже знал: кричат «Да здравствует!». Хотел спросить Габора, но тот сам не замедлил с объяснением: правительство советской Венгрии требует немедленного мира, чтобы солдаты всех армий скорее вернулись домой.

— За таке дило и мы: «Эльен!» — обрадовался Рекемюк.

Оратор сменял оратора. Слышно их было плохо. Габор мог объяснить далеко не все, но Кедрачев и Рекемюк стояли и слушали, вместе со всеми кричали «Эльен!», и на душе было ощущение праздника, уже знакомого, пришедшего снова; казалось, праздник этот продлится долго и ничто не омрачит его.

В стороне грянули трубы оркестра, заигравшего марш. Толпа колыхнулась, человеческая река, заполнившая широкую улицу перед Национальным музеем, стала растекаться на ручьи и ручейки, многотысячная толпа быстро редела. Габор, Кедрачев и Рекемюк, влекомые, словно течением, сотнями людей, окружавших их, медленно двигались к противоположной музею стороне улицы.

— Здесь! Здесь дорога! — воскликнул Габор, когда водоворотом сотен тел их вынесло к высокой арке ворот многоэтажного дома.

Габор показал: здесь проходной двор, если пересечь его — можно выйти на другую улицу, где демонстрантов, наверное, нет, идти будет свободнее.

Последовали за Габором. Действительно, на улице, куда они вышли, прохожих почти не было. За высокими коваными оградами темнели деревья, сквозь сеть ветвей виднелись белые стены особняков с выгнутыми узорными перилами балконов. Следуя за Габором, Кедрачев и Рекемюк направились вдоль по улице, держа путь обратно к Чепелю.

Пройдя совсем немного, они увидели, что улица не так безлюдна, как показалось вначале. Впереди, возле одного из особняков, толпятся люди, некоторые с винтовками, доносятся требовательные крики, сквозь которые слышится настойчивый громкий стук.

Когда подошли ближе, увидели: человек сто пятьдесят, среди которых много солдат, сбившись в плотную кучу возле наглухо закрытых ворот особняка, стучат в них прикладами.

— Буржуев, что ли, громят? — спросил Кедрачев.

— Момент, узнаю! — Габор поспешил к осаждавшим особняк.

Но в этот миг они с радостными криками отхлынули от ворот. Взмахивая руками, потрясая винтовками, они смотрели на балкон второго этажа; там поспешно распахнулись высокие застекленные двери, и в них показался толстый черноусый человек в сюртуке нараспашку, кто-то сзади накинул ему на плечи шубу с меховым воротником, но она тотчас свалилась. Толстяк, не заметив этого, шагнул к перилам балкона. Внизу, у ограды, многоголосый хор выкрикивал какое-то короткое требование — может быть, угрозу. Было заметно — толстяк остолбенел то ли в испуге, то ли в нерешительности. За его спиной, в открытых дверях балкона, виднелись напряженные мужские и женские лица.

Толпа снова, в один голос, выкрикнула свое энергичное требование, над головами взметнулись кулаки, стволы винтовок. Человек на балконе дернул головой и, поспешно поклонившись, громко произнес что-то. Толпа перед оградой на миг смолкла, но тотчас же вновь раздались требовательные возгласы.

Толстяк поднял вровень с головой правую руку с двумя вытянутыми вверх пальцами, в его голосе прозвучала даже некоторая торжественность — он, кажется, давал какое-то обещание. Внизу зашумели удовлетворенно, но слышались и по-прежнему требовательные выкрики. Человек на балконе снова вскинул руку и повторил свою клятву. Уже успокоенная, толпа отхлынула от ограды, с гомоном потекла вдоль улицы.

Кедрачев и Рекемюк с недоумением смотрели на эту картину. Габор объяснил, что тот, кто выходил на балкон, — хозяин этого богатого дома, известный будапештский предприниматель, владелец трех заводов, депутат парламента, который в своих речах не раз требовал самых суровых мер по отношению к смутьянам и забастов-

щикам. И вот теперь рабочие и солдаты пришли к его дому, чтобы заставить его публично признать советскую власть и торжественно поклясться, что он ни в чем не будет противодействовать ей. Габор добавил, что это — не единственный богач, от которого народ сегодня требует такой клятвы.

— Чудны дела! — сказал на это Кедрачев.— Неужто можно буржуйскому обещанию верить?

— Но клятва! — многозначительно поднял палец Габор. — Это свято!

— А кто его знает,— поддержал Габора Рекемюк.— Может, здесь буржуй такой, что клятву соблюдет?!

— Жди! — усмехнулся Ефим. — Все они одним миром мазаны...

Когда вернулись домой, Рекемюк заявил решительно:

— Попраздновали — и добре! Нехай теперь здешние трудяги со своими делами управляются, а нам надо до хаты подаваться.

— Попробуем! — сказал Ефим.

В последующие дни они вдвоем ходили и в российский Красный Крест, и в разные другие учреждения, чтобы узнать, когда же и каким образом можно будет уехать на родину. Вместе не раз побывали на Восточном вокзале, пытаясь найти хоть какую-нибудь возможность уехать. Но все их попытки, как и старания других бывших пленных, оставались безуспешными. В конце концов Петро предложил:

— Давай, Ефим, пехом подадимся, колы по железной дорози нельзя. Слыхал я — уходят некоторые.

— Далеко ли уйдем? — усомнился Кедрачев.

— Да потихесеньку...— доказывал свое Рекемюк.— Я узнавал, добрые люди говорят — фронт сейчас под самыми Карпатами. Пассажирских поездов туда немае, а воинские эшелоны, бывает, ходют. Разыщем такой эшелон, причепимся, тай годи — до Карпат доедем...

— А дальше? Там же чехи свое войско уже образовали, да румыны против венгров стоят...

— А нам что — воевать с ними? Пешком подадимся! Мы ж — тильки до дому. Мы — сами по себе, нейтральные...

— Это как сказать. Ты же за советскую власть?

— А як же?

— Тогда какой же ты нейтральный? Румыны могут и задержать. Они же с нашими сейчас воюют. Не боишься, что в новый плен попадешь?

— Не пужай. Не тронут нас. Мы же не венгерские красногвардейцы.

— Это еще как докажешь, кто ты есть... Нет, Петро. Давай уж здесь переждем. Говорят, румыны все одно никого не пропускают.

— Мало что кажут! Румыны тоже люди. Православные, я слыхал. А чехи — те совсем братья славяне.

— Еще неизвестно, как эти братья посмотрят на нас, если мы из советской Венгрии... Власть-то у чехов и у румын сейчас буржуазная. Давай все-таки подождем. Может, наша Красная Армия поближе пробьется! Тогда — домой прямо, без пересадки...

— Обрыдли мени жданки! Подаваться надо. Своим ходом!

Сколько ни уговаривал его Кедрачев, Петро продолжал стоять на своем. В конце концов Ефим, рассердившись, сказал:

— Черт с тобой! Мы, сибиряки, народ упрямый, а вы, украинцы, вижу, еще упрямее. Делай как знаешь!

Через несколько дней вечером, после работы, Петро заявил:

— Все! Взял расчет, ухожу. Так что прощевай, Ефим, желаю тебе поскорийше до твоего Сибиру добраться. А может, все ж с нами пийдешь?

— С кем это — «с нами»?

— Сбились мы тут в компанию. Двое киевских, двое черниговских, та я один — полтавский. Прикинули: отсюда до наших — сотни четыре верст, ну, пять. Это если только скрозь пешком топать — так и то недели за три дойдем.

— А кто вас кормить будет?

— По деревням подработаем попутно. Мужиков теперь везде нехват.

— А румыны, чехи?

— Та я ж тебе толковал! На кой мы им...

— Ну смотри, Петро. На себя потом пеняй... Но коли уж не слушаешь — желаю тебе поскорей добраться до твоей Полтавы!

Рекемюк отправился. А Кедрачев, продолжая работать на заводе, не прекращал попыток разузнать, когда можно будет уехать на родину. Во время своих поисков он выяснил, что попытались отправить один эшелон, он дошел до установленной по перемирию линии разграничения войск, но румыны не пропустили его, и эшелон вынужден был вернуться в Будапешт. Как Петро, что с ним? Пеших-то ведь тоже, наверное, не пропускают...

Еще сегодня Ефим думал, что побудет на Восточном вокзале, может быть, узнает что-нибудь, а если не узнает ничего — вернется домой и утром снова пойдет на работу.

Но все в его планах перевернулось, после того как он, в общем-то неожиданно для себя, решил записаться в интернациональный полк. Надо было взять расчет на заводе, попрощаться с Габором и другими товарищами, расплатиться с хозяином квартиры, собрать вещички... Впрочем, вещей-то почти нет. Шинель, выношенная и штопаная, пара австрийских солдатских ботинок, полученных в лагере, два узорно вышитых полотенца— память от Лайошне, кое-что из белья. Да еще фасонистые венгерские сапоги с твердыми голенищами — единственное, что справил себе, когда батрачил. Сапоги почти ненадеванные. Решил оставить их на хранение Габору, и шинель тоже — уже тепло, да и всю обмундировку, говорили, новую дадут.

Глава вторая

В КЕЛЕНФЕЛЬДСКИХ КАЗАРМАХ

С нетуго набитым вещевым мешком за плечами держал он путь на следующее утро по весенним улицам Будапешта, где в одетых первой листвой ветвях каштанов, что высятся рядами вдоль тротуаров, стоял неистовый птичий гомон: наступала пора свивания гнезд, пора птичьей любви. «Ранняя здесь весна, — думалось Кедрачеву. — У нас в Сибири, поди, еще снега лежат, может, и не тает еще, но солнышко уже пригревает, первые сосульки с крыш повисли... А возможно, еще холода стоят... — И вновь знакомо заныло сердце.— Третий раз на войну иду. Которую уже весну далеко от дома встречаю? Четвертую... Неужто к пятой домой не ворочусь? А ворочусь — Любочка, верно, не сразу и за отца признает. Так, чужой солдат какой-то... Наталья и то, может, не с первого дня привыкнет. Виноват я перед нею... Да и с Лайошне нехорошо вышло. Сердцем ко мне тянулась... Ладно, что ничего не обещал ей, не таил ничего. Да разве это оправдание? Нет мне оправдания ни перед той, ни перед другой... Придет время — Наталье честно обо всем расскажу. Пусть хоть казнит, хоть милует... Только сколь еще до той поры, как домой вернусь? Может, и надо бы, как Петро, любым манером добираться? Да теперь что раздумывать? Поздно. Нет, брат Ефим, решил так решил. Взялся за гуж...

Теперь топай по месту назначения и поменьше сердце себе рви. Забудь пока о доме, о родной стороне. Опять ты солдат. Только это в уме и держи».

Где на трамвае, где пешком, уже без особого труда разбираясь в улицах и бульварах, которые за месяцы жизни в Будапеште стали ему знакомы, Кедрачев, проехав сначала мост, соединяющий Чепель с Будапештом, а затем по другому мосту перебравшись на правый берег Дуная, где по холмам вкривь и вкось раскинулись улочки будапештского предместья Келенфельд, стал искать казармы, в которые ему надлежало явиться. В Келенфельде до этого он почти не бывал, поэтому пришлось поспрашивать, где находятся казармы имени Бебеля. Так они называются, сказали ему на вокзальном вербовочном пункте. Но прохожие, которых, применяя все свои небогатые познания в венгерском языке, расспрашивал Ефим, упорно отвечали, что никаких казарм имени Бебеля в Келенфельде нет, а есть только одни, старые келенфельдские казармы короля Карла. Наконец один из прохожих сказал, что эти казармы и есть казармы имени Бебеля — их только что переименовали, как он объяснил, многозначительно подняв палец, «в честь великого социалиста Августа Бебеля».

Миновав еще несколько улиц, Кедрачев увидел наконец длинное, вытянувшееся на целый квартал трехэтажное, красного кирпича здание. Удивился: как же оно похоже на казармы в Ломске! Видно, солдатские казармы, где бы они ни находились, все чем-то сходны... Но чувство, с которым он подходил сейчас к этому зданию, было совсем не похоже на то тягостное состояние, которое он испытывал, когда в первый раз, новобранцем, в пятнадцатом году, подходил он к воротам ломских казарм. Те были для него местом подневольного пребывания, чем-то вроде тюрьмы. А в эти, еще не знакомые, он шел по велению совести, по своей доброй воле.

Вот и ворота в кирпичной стене. Над их сводом растянуто длинное алое полотнище с надписью белыми буквами, в которой Кедрачев разобрал только слово «Бебель». Ворота распахнуты, в них беспрепятственно проходят люди в военном и в штатском, но у полосатой будочки, прилепившейся к воротам сбоку, стоит часовой с винтовкой — мадьярский солдат в шинели, с пышным красным бантом на груди и таким же лоскутком вместо кокарды на кепи. Часовой не остановил Кедрачева, только посмотрел на него и кивнул: дескать, проходи.

Пройдя в ворота, Кедрачев попал на широкий казарменный двор, мощенный серой брусчаткой, такой, какой выложены все будапештские мостовые, и остановился, приглядываясь. Во дворе, со всех сторон огражденном длинными трехэтажными корпусами, толпилось множество народа. Большинство было в военной форме, но в самой разной: сизо-зеленоватой — итальянской, серо-голубой — сербской, русская шинель тоже не была редкостью. Виднелись и деревенские овчинные кожушки, и городские пальто. Как разнообразна была одежда, так и разноязычна речь. За время плена Кедрачев научился если не понимать, то хотя бы различать разные языки, и сейчас в гомоне сотен людей, стоявших кучками и расхаживавших по двору, улавливал речь не только венгерскую и русскую, а также польскую, немецкую, словацкую, румынскую, итальянскую. Говорили и еще на каких-то, совсем неведомых Кедрачеву языках. Увидев неподалеку от ворот русских солдат, Кедрачев обрадованно подошел к ним:

— Скажите, товарищи, кому тут доложиться, что прибыл?

— Дуй вон в третью дверь справа от ворот, там для наших регистрация.

Войдя в указанную ему казарму, Кедрачев отыскал комнату, на двери которой висел картонный плакатик с надписью:

«Канцелярія русскаго интернаціональнаго батальона»

Сидевший в тесной комнатушке за столом тщедушный человек с богатырскими, торчащими, как пики, смоляно-черными усами, что-то отмечавший в большой ведомости, — по всей видимости, писарь, — увидев его, спросил:

— Как фамилия?

Кедрачев назвался.

— А, есть! — поискав в бумагах, сообщил писарь. — На вокзале записывался?

— Там.

— Значит, из самых первых... Ты какой губернии?

Узнав, откуда Кедрачев, писарь обрадовался:

— Так мы же с тобой соседи! Я — красноярский!

— Точно, соседи! — обрадовался и Кедрачев. — От нас до вас верст семьсот, не боле...

— Давно из дому? — спросил писарь.

— Еще в семнадцатом Первое мая там праздновал.

— А я — с первого года войны в плену. Будем знакомы — Займищев моя фамилия.

Они с удовольствием говорили о родных сибирских краях, пока не вошел кто-то еще из вновь прибывших. Займищев сказал Кедрачеву, где встать на довольствие и где располагаться, и тот ушел.

В казарме Ефим нашел себе местечко на свежесколоченных нарах, на самой верхотуре, закинул туда свой вещевой мешок и стал знакомиться с новыми товарищами. Оказалось, что не все они попали сюда после плена. Сосед по нарам, совсем молодой парень лет двадцати, Данила Холонец, говоривший по-русски как-то необычно, по-особенному мягко выговаривая слова, на вопрос Ефима, из каких он краев, ответил:

— Русин я.

— Это как понимать?

— Русские считаемся. В Галиции живем. Меня в австрийский батальон хотели, а я сюда отпросился.

— Почему ж тебя с австрийцами служить посылали?

— Наше Закарпатье, где деревня моя, под Австрией было. Когда в армию призвали, я задумал: попаду на фронт — к русским перебегу. А начальство — оно перехитрило. Русин всех на итальянский фронт послали...

— А как же ты в Будапеште оказался?

— В госпиталь привезли. Итальянскую пулю из ноги вытаскивали. А сюда я — из тюрьмы.

— Из тюрьмы? За что ж угодил?

— На демонстрации был, когда требовали коммунистов освободить. А тут жандармы разгонять начали. Я и дал одному по шляпе, аж перья полетели. Меня и сгребли. Выпустили только, как советская власть стала. Хотел домой, говорят — румыны не пропускают. Я и записался сюда. Начнем наступать — может, до своей деревни дойду.

— Тогда зови к себе в гости!

— А как же!..

Другой сосед Кедрачева по нарам, лет сорока, с короткой, но густой черной бородкой, Соломон Рабин, отрекомендовался:

— А я — гражданский пленный.

— Это еще что такое?

Рабин объяснил: до войны он жил на границе с Австрией, в Каменец-Подольске, работал у хозяина в слесарной мастерской, слыл умельцем. Когда в самом начале войны австрийцы захватили город, Рабина насильно, как и других опытных мастеровых, отправили в Австро-

Венгрию на работу, и он попал в Будапешт, на машиностроительный завод. Как и Холонец, Рабин надеялся вернуться домой, где у него остались жена, двое дочек и старая мать. Но не только эта надежда побудила Рабина, да и прочих в казарме, вступить в Красную армию...

Среди новых товарищей Кедрачева попадались разные люди, но в большинстве это был свой брат солдат. Кедрачев с удовольствием узнал, что среди новых его сослуживцев есть и большевики — некоторые из них вступили в партию уже в плену. Еще раньше, в лагере, он слышал, что в Будапеште есть русский большевистский комитет, который имеет своих представителей в лагерях военнопленных. Правда, в том лагере, где находился Кедрачев, таких представителей ему встречать не приходилось. Но теперь он подлинно узнал, что такой комитет действительно есть.

Кедрачев давно в душе считал себя большевиком, хотя в партию заявления не подавал и партийного билета не имел. На чепельском заводе, в цеху, где он работал, среди его товарищей не было большевиков. И он был рад, что здесь, в казарме, встретил наконец настоящих партийцев. Самый приметный среди них — Дужников. Выделял его не только шрам на левой щеке — отметина не фронтовая, а еще с девятьсот пятого года, от казачьей нагайки, но и то, что всегда был окружен желающими его послушать. Дужников на любой вопрос ответит, все новости знает. Еще бы ему не знать! Он хорошо понимает по-венгерски, читает здешние газеты. А главное — тесно связан с большевистским комитетом в Будапеште.

Вот и сейчас, окруженный солдатами, Дужников, сидя на краю нижних нар, говорит неспешно, не возвышая голоса, но так, чтобы все хорошо слышали:

— Интересуетесь, как теперь здесь власть устроена? Да навроде как у нас в России. Разве что названия другие. У нас, к примеру, Совнарком, здесь — Революционный правительственный Совет. Но тоже из народных комиссаров.

— А комиссары — все большевики?

— То есть коммунисты? Да как сказать — все или не все? — Дужников на миг призадумался. — Среди них — и те, кто еще вчера был социал-демократом. Можно ли считать их настоящими коммунистами? Время покажет. Ведь социал-демократы, у власти будучи, до последних дней коммунистов в тюрьмах держали. А теперь одну партию с ними составили, называется социалистическая. Только

нужда заставила их калачики есть с коммунистами за одним столом.

— А не подведут социалы?

— Видно будет, товарищи. Сейчас самый главный факт — что здесь существует республика Советов, кровная сестра нашей Советской России. Вы знаете, что сейчас в Москве заседает Восьмой съезд партии? Так вот, от него венгерскому советскому правительству пришла приветственная телеграмма, подписанная товарищем Лениным. Между Венгрией и Россией установлен союз.

— Это здорово! Теперь против мирового капитала не в одиночку!

— Вот именно. Венгры — за нас, мы — за них, это очень важно сейчас. Военное положение здесь, вы знаете, товарищи, сейчас тяжелое. Поэтому и позвали нас в ряды. Со дня на день можно ждать — Антанта двинет армии со всех сторон.

— А чего из России слыхать?

— Отрадных новостей нет. Контрреволюция лезет со всех сторон: белый адмирал Колчак — из Сибири; Деникин — от Черного моря. Контрреволюция у англичан да американцев на подкормке, они ей все для войны дают. На Украине атаман Петлюра против Красной Армии свои банды двинул. Французы — в Одессе, румыны — в нашей Бессарабии. И здесь, в Венгрии, на юге тоже есть французские войска, опять же румыны нависают над Венгрией с запада. Чехословацкий корпус в Сибири — вместе с белогвардейцами. И здесь чешская буржуазия свою армию сколотила — Венгрии с севера грозит. У чехов своих генералов еще нет, так этой армией французские командуют. Одним словом, товарищи, считайте: что здесь, что в России — один фронт, один враг. И нам быть бойцами, если желаем, чтобы советская власть устояла. Мы еще пойдем навстречу нашей Красной Армии. Я уже говорил вам: здешние газеты пишут, что она уже недалеко...

Дужникова то и дело перебивали нетерпеливыми вопросами: многие его слушатели имели еще самое неясное понятие о происходящем, — не умея читать по-венгерски, они не могли узнавать новости из газет, пользовались слухами. Спрашивали обо всем:

— Правда, что здесь полицейские пожелали советской власти служить?

— Правда! — отвечал Дужников. — И жандармы. Только советская власть от их услуг отказалась. Создается Красная охрана, по-нашему — милиция, из верных людей.

— Почему вином запретили торговать?
— Революции нужны трезвые головы!
— А хозяев фабричных скоро погонят?
— Уже начинают. Промышленность и банки становятся государственными, на заводах управлять будут рабочие Советы.
— А с землей как?
— У помещиков отбирают.
— Слышно, не хотят ее крестьянам раздавать?
— Есть в правительстве такое мнение...
— А кому же землю?
— Здесь батраков много, у которых ни кола ни двора... Им своего хозяйства не поднять, даже если и землю получат. Поэтому на помещичьих землях хотят сделать государственные имения. Работать в них будут бывшие батраки, но уже как хозяева.
— Артелью, значит?
— Да, коллективно.
— Это хорошо. Но почему крестьянину, у которого хозяйство есть, из помещичьей земли не добавить?
— Может, и добавят... Да что, товарищи, неужто станем здешней власти указания давать, как ей лучше землю делить? Сама разберется. А у нас свои заботы — быть готовыми защитить советскую власть. Защитим здесь — защитим и у себя. И поможем, чтобы она была во всем мире. Вот в Германии дело идет от первой революции ко второй, чтобы власть — Советам. В газетах пишут: даже в Бразилии кое-где образовались рабочие Советы...
— Это где — Бразилия?
— За океаном, возле Америки.
— Ишь ты! Значит, и впрямь по всему свету...
— Товарищ Дужников! Когда оружие дадут?
— И обмундировку... В чем воевать? В деревенском кожухе?
— И обувку! У меня сапоги еще с шестнадцатого года. Девять заплат!
— А я и вовсе без сапог, в постолах хожу...
— Терпение, товарищи! — поднял голос Дужников.— Сами понимаете — Венгрия войной разорена, как и наша родная Россия. Всего нехватка. Но республика обеспечит вас, своих защитников, всем, чем сможет. Обмундировку выдадут, как только закончится формирование.

Прошло еще три дня, после того как Кедрачев явился в келенфельдские казармы. Они все плотнее наполнялись добровольцами. Однажды прибыло сразу более двухсот

русских солдат, перед этим они ехали поездом из Вены через Будапешт — новое республиканское австрийское правительство таким маршрутом отправило их на родину. Но эшелон вернулся в Будапешт — румыны его не пропустили. И почти все, кто был в эшелоне, решили вступить в интернациональный полк. Прибавилось в казармах словаков и русин, служивших ранее в австро-венгерской армии и тоже лишенных возможности вернуться в родные места. Прибыло довольно много австрийцев: услышав, что в Венгрии формируются интернациональные части, эти австрийцы, в большинстве — рабочие из Вены, решили вступить в них. Шли и шли поляки, итальянцы, сербы — недавние солдаты австро-венгерской армии или те, кто попал в Венгрию пленным. Появились даже два француза — с юга, из-под Сегеда, бежавшие из своего полка, где им грозил военный суд за «подстрекательство к бунту»: эти два солдата не хотели воевать против государства рабочих и крестьян и к этому же призывали товарищей.

На четвертый день с утра по казармам разнесся слух: начинается разбивка на батальоны и роты, после чего будет выдано обмундирование.

И вот в казарме, где были собраны русские добровольцы, прозвучала команда:

— Выходи строиться!

Перед шеренгами, протянувшимися по широкому казарменному плацу, появился Дужников, объявил:

— Товарищи! Подписан приказ о сформировании нашего русского батальона. Он войдет в состав первого интернационального Будапештского полка. По этому случаю в крепости состоится митинг, на который придут и другие наши земляки. Сейчас выступаем!

Пестрая на вид, но по-воински стройная колонна прошла по улицам Келенфельда. По мощенной камнем извилистой дороге, огибающей крутобокие, в резких изломах, скалистые выступы, поднялась к серой громаде королевского дворца, вышла на площадь с замшелой, потемневшей от древности статуей какого-то святого посредине. Со всех сторон площадь сжимали старинные здания, скупо глядящие редкими окнами. Колонна остановилась перед одним из этих зданий, над входом в которое нависал узкий балкон, украшенный алым полотнищем. На балконе стояли несколько человек: одни — в форме уже давно развалившейся австро-венгерской армии, другие — в штатском, одетые по-весеннему, в легких пальто и в шляпах. Все были с красными бантами на груди.

— Товарищи интернационалисты! — выкрикнули с балкона на русском языке.— Слово имеет заместитель народного комиссара военных дел товарищ Тибор Самуэли!

К перилам балкона выдвинулся невысокий стройный человек в черной кожаной тужурке и таком же картузе, которые поблескивали на солнце, заговорил сильным взволнованным молодым голосом по-русски, с едва заметным акцентом:

— От имени пролетариев всех стран приветствую вас, товарищи! Приветствую в вашем лице весь революционный русский пролетариат, первым поднявшийся на борьбу за освобождение угнетенных всего земного шара! Эта борьба развертывается теперь и здесь, на Западе, под красным флагом Венгерской советской республики...— Самуэли на миг замолк, как бы всматриваясь в лица слушающих, взмахнул рукой: — Да, вы скоро пойдете в бой, в бой на земле Венгрии. Но не за интересы одной только Венгрии, не за интересы каких-либо отдельных наций, нет, за социальную революцию во всем мире! Так идите сражаться рука об руку с вашими венгерскими братьями по классу! Так же, как ваши товарищи венгры и пролетарии других стран сражаются против общих врагов у вас на родине! Да здравствует власть рабочих и крестьян всюду!

— Ура-а! — взметнулся над строем звонкий голос.

— Ур-ра-а-а! — покатилось по рядам, и Ефим, который самозабвенно кричал, как и все, чувствовал — какая-то высокая волна возносит его.

Самуэли отошел от перил. Его место тотчас же занял другой оратор в распахнутом пальто с темным бархатным воротником. Кедрачев сразу же узнал его: к этому человеку он с товарищами дважды приходил в миссию российского Красного Креста, добиваясь отправки на родину. Обходительный, внимательный человек, но что он мог тогда сделать для них?

— На днях из Москвы по радиотелеграфу было передано обращение правительства Российской Советской Республики ко всем русским военнопленным в Венгрии,— сообщил представитель Красного Креста.— Я сейчас ознакомлю вас с ним, товарищи! — Он поднес к глазам листок, который держал в руке, и начал читать внятно, останавливаясь на каждой фразе: — «Вы, военнопленные, пережившие все ужасы империалистической войны, на себе испытавшие эксплуатацию русской и венгерской буржуазии, всеми силами поддерживайте молодую Венгерскую совет-

скую республику!.. Враги уже сплотились для подавления венгерского и русского пролетариата. Место всех русских и венгерских пролетариев и крестьян — в Красной Армии...»

Вот на балконе появился новый оратор — в распахнутой шинели, в сдвинутой на затылок шапке-ополченке.

— Наш Дужников! — воскликнул кто-то рядом с Ефимом.

Дужников рывком подался к перилам и выкрикнул неожиданно громовым голосом, которого у него никогда не слышали в казарме:

— Товарищи! Наверное, не надо вас больше агитировать, коль вы уже вполне сознательно вступили в ряды армии венгерского пролетариата. Знайте — хотя военных действий пока нет, их можно ожидать со дня на день. Антанта не хочет мириться с фактом, что не в одной России существует советская власть. Только что получены газеты, в них опубликовано заявление, то, которое сделал во французском парламенте министр иностранных дел по фамилии Пишон. Вот что этот Пишон сказал: «Всем государствам необходимо объединиться и преградить путь большевизму». И вот что еще можно прочесть в самых последних известиях.— Дужников выдернул из-за пазухи сложенную в несколько раз газету и четко, отделяя слово от слова, прочел: — «Если мы не задушим большевизм в Венгрии, то это будет способствовать его дальнейшему распространению. Нам нельзя недооценивать опасность, угрожающую Европе. Самая большая опасность угрожает окружающим Венгрию странам, но в опасности находится и Италия, а вслед за ней — Франция, а также Великобритания...» Это, товарищи, беспокоится о безопасности буржуазной Европы руководитель американской миссии в Вене, зовут его Халстед. Америка готова дать все, чтобы удушить пролетарскую революцию везде, где революция возникает...

— ...В Халстеда мать!..— смачно сказал кто-то рядом с Кедрачевым.

— Долой Антанту! — выкрикнули из рядов.

— Долой! — подхватили еще голоса.

— Товарищи! — поднял руку Дужников, гася прокатившийся по рядам шум.— Будем готовы в любой момент выступить на защиту венгерской пролетарской революции! — И, выждав, пока станет тихо, объявил: — После митинга всем в казармах пройти комиссию.

О комиссии было известно заранее. Она должна была

проверить, что представляет собой каждый доброволец, насколько сознателен, достоин ли служить в Красной армии и как лучше его там использовать. Говорили, что комиссия прислана русским большевистским комитетом.

Не без волнения, хотя опасаться ему было нечего, ждал Кедрачев вызова на комиссию. Узнав, что в ней будет и Дужников, обрадовался — все-таки свой.

Вызывали по одному. Вот подошла и его очередь.

Ефим встал, подошел к столу, за которым сидели Дужников и рядом — двое в штатской одежде. Одного из них, пожилого, с длинными, зачесанными назад седеющими волосами, с внимательным, словно спрашивающим, взглядом и с небольшой, клинышком, бородкой, Ефим уже видел раза два в казармах, но по какому делу и к кому приходил этот человек — не знал. Второй — очевидно, старший в комиссии — сидел посредине, положа на стол большие, сжатые в кулак руки. Гладко выбритый, с крутым подбородком и мохнатыми бровями, он был совсем незнаком Кедрачеву. Сбоку стола примостился писарь Займищев. Его острые усы торчали пиками, в руке он держал наготове перо. Лицо его было торжественно-непроницаемым.

Тот, который сидел в середине, стал задавать Ефиму вопросы: кем служил? какую военную специальность имеет?

Ефим ответил. Затем второй член комиссии, с бородкой, спросил мягко, неторопливо:

— Партийный? Какой партии?

— За большевиков.

— А как с грамотой?

— Пишу, читаю...

— Командовать приходилось?

— Приходилось малость...

— Ну что же, к вам вопросов больше нет, товарищ Кедрачев.

Когда комиссию прошли все — это было уже к вечеру,— вышел Займищев и, важно поведя усами вправо и влево, прочел список зачисленных в батальон. Комиссия отклонила всего несколько человек — по состоянию здоровья — да не приняла одного вольноопределяющегося, который заявил, что воевать с буржуями желает, но никакой власти над собой не признает, так как следует программе анархистов.

На следующий день всем зачисленным выдали обмундирование — новое, только что полученное со склада. Оно

отличалось от обмундирования бывшей австро-венгерской армии — говорили, что его успели сшить специально для интернационалистов. Вот только шинелей заготовить еще не успели. Как и все, Кедрачев получил зеленовато-серую суконную куртку с отложным воротником, на которой не было никаких знаков различия, такие же брюки, обмотки. Обуви ему не выдали: ее не хватало. И Ефим не стал настаивать — его собственные ботинки были пока хороши. В качестве головного убора он, как и остальные, получил черную матросскую бескозырку без ленточек. Все удивлялись: почему им, солдатам, выдают бескозырки? Оказалось, что фуражки нового образца не успели сшить, зато на интендантских складах отыскались бескозырки, в свое время заготовленные для матросов австро-венгерского флота, который еще недавно существовал на Адриатическом море.

— А что, подходящая шапка! — примерил Кедрачев бескозырку, сдвинул слегка на правое ухо. Вместо кокарды, как делали все, приладил на околыш лоскуток красной материи. Вспомнил — вот так же пришивал алую ленточку на свою шапку-ополченку в Ломске в семнадцатом, в день, когда стало известно, что свергли царя.

...Когда все были уже обмундированы и вооружены, добровольцев построили и началась разбивка на взводы и отделения. В одно отделение с Кедрачевым попали его соседи по нарам — Рабин, Холонец и, чему Кедрачев был особенно рад, Дужников.

Командиры взводов были уже назначены — из бывалых, опытных солдат и унтер-офицеров. Но командиров отделений предстояло выбрать — так гласил устав венгерской Красной армии, только что введенный в действие.

Когда отделение, в котором оказался Кедрачев, начало выбирать командира, он был уверен, что выберут, конечно, Дужникова. И до крайности удивился, когда Дужников сразу же предложил его кандидатуру. Смущенный Кедрачев стал отнекиваться:

— И постарше есть! И на позициях побольше моего были!

Но его возражения были отвергнуты.

— Не прибедняйся, не менее других фронтового лиха пробовал! — отрезал Дужников.

Его поддержали другие:

— Ты ж, Кедрачев, слыхали, еще в семнадцатом председателем ротного комитета был. Неужто с отделением не справишься?

— Не робей, товарищ Кедрачев! Не подведем!

Проголосовали дружно. Пришлось Ефиму принимать командование своим невеликим войском. Впрочем, не совсем верно сказать, что невеликим. Отделение по численности получилось бо́льшим, чем положено: вместо десяти бойцов — семнадцать. Так было и в других подразделениях — добровольцев набралось значительно больше, чем требовалось для комплектования батальона по штату. Но приняли, вооружили и обмундировали всех — прошел слух, что где-то будут формироваться и другие интернациональные части и туда из келенфельдских казарм отправят лишних.

Слух этот подтвердился довольно быстро. Уже на следующий день по казармам распространилась весть: представители частей Красной армии прибывают за пополнением, в этих частях будут комплектоваться роты из бойцов одной национальности.

Кедрачеву уже объявили, что из его отделения шесть бойцов — излишек сверх штата — будут откомандированы в другую часть. Ему предложили самому договориться с бойцами, кто добровольно пойдет туда, а затем передать людей представителю этой части. Представитель, как сказали Кедрачеву, уже в казармах.

Поговорив с бойцами и наметив шестерых для отправки, Ефим вышел во двор, где кучками толпились солдаты, уже выделенные в другие части. В одной кучке слышалась австрийская речь, в другой — сербская, в третьей — польская... Прислушавшись, Кедрачев подошел к одной из групп — там оживленно разговаривали по-русски.

— Здесь, что ли, в русскую роту отбирают? — спросил он.

— Здесь. Вон, в середке, комиссар! — показали ему на человека в коричневой кожаной куртке и в мягкой серой фуражке с витым матерчатым шнуром впереди.

Кедрачев еще не знал, что такие фуражки — форма Красной армии.

Комиссар — он стоял спиной к Кедрачеву — толковал с обступившими его бойцами. Что-то знакомое показалось Кедрачеву в голосе и в облике комиссара. Еще не веря своим глазам и ушам, он замер в недоумении: «Неужели?.. Не может быть! Да как он мог здесь оказаться?» Присмотрелся еще — нет, сомнений быть не может!

Напролом, не замечая стоящих на пути, Ефим ринулся к комиссару:

— Янош!..

Комиссар оглянулся в недоумении. И через секунду бросился к Ефиму:

— Ты?! Неужели это ты?..

Они крепко обнялись.

Вокруг обрадованно зашумели:

— Дружки встретились!

— Случается же!

А Ефим и Янош словно и не замечали ничего вокруг. Чтобы лучше рассмотреть лицо друга, Ефим слегка отстранился от него:

— А здорово ты изменился! Постарел вроде. Встреть тебя в другом месте — и не узнал бы сразу...

— Да и ты, дружище, выглядишь иначе. Не на свои двадцать четыре.

— Постареешь в плену-то... Ты, значит, и есть тот самый представитель?

— Да. Я назначен комиссаром Интернационального батальона, который сейчас формируется. Пойдешь к нам?

— Спрашиваешь! К тебе — с полным удовольствием.

— Решено. С командованием здешним договорюсь. Я имею полномочия подобрать людей.

— Знаю, знаю. Я к тебе не один — с бойцами.

— Отлично. Сейчас мы все уладим...

Гомбаш говорил торопливо, и Ефим в быстром потоке его слов ясно чувствовал, что с момента их встречи мысли Яноша не столько в деле, ради которого он появился в казармах, сколько в том личном, что связывает их, что Яношу, как и ему, Ефиму, не терпится о многом спросить, о многом рассказать...

— Пойдем поговорим, — предложил Янош. — Найдется тут у вас укромный уголок?

— Найдем! — Они направились в дальный конец казарменного двора, в закоулок, где грудой лежали пустые ящики из-под винтовок. Присели на них, и Ефим сразу же спросил о том, что держалось у него в уме с первой же секунды, как он увидел Яноша: — Давно из Ломска? Что про моих знаешь? Бывал у нас?

— Бывал... Жена твоя и дочка — там же, у родителей живут. А Олек... Ольга... Мы с тобой теперь родственники!

— Поженились? — Ефим просиял. — Дело шло к тому, я примечал... Ну поздравляю! Давно тебя Олюнька из Ломска проводила?

— Вместе уехали...

— Вместе? Где же она сейчас?

Взбудораженный встречей, Ефим не сразу заметил, как изменилось лицо Яноша, как глухо прозвучал его голос:

— Не уберег я ее...

Так случается в жизни: всплеснет светлой волной радость, и тут же по ней, накрывая тяжелым валом, ударит горе — и радости нет уж и следа... Вот и Ефим — не успел порадоваться, что Ольга в мужья себе такого стоящего человека и друга его, Яноша, выбрала, — и тут же сам Янош его из этой радости выбил, да так, словно контузило Ефима тяжело, — в первую минуту не слышал ни слова, и вымолвить слова не мог.

С болью в глазах рассказал Янош, как все случилось...

А случилось вот что.

В начале лета восемнадцатого, когда еще и двух месяцев не прожили они с Ольгой вместе, по всей Сибирской железной дороге подняли мятеж чехословацкие легионы, белогвардейщина стала свергать неокрепшую еще советскую власть. В Ломске, где Янош состоял в интернациональном батальоне и редактировал местную венгерскую газету для интербатовцев, Совет, ввиду приближения превосходящих сил белых, решил отступить — уйти на пароходах по рекам на север, а затем — к Тюмени, чтобы там соединиться с теми силами Советов, которые еще продолжали борьбу. Путь предстоял рискованный, полный неожиданностей, возможно, с боями, и Янош, оберегая жену, как она ни рвалась уйти с ним, отправился один. Но в последний момент, когда уже отошли от пристани, Янош обнаружил Ольгу на пароходе — успела-таки! Назад не повернешь... Пришлось зачислить Ольгу сестрой милосердия.

В Тюмени батальон высадился, вместе с отрядами местного Совета принял участие в боях с наседавшей белогвардейщиной. Однажды, когда снова и снова пришлось отступать, отправили вперед несколько повозок с ранеными, их сопровождала Ольга. И случилось, на беду, что на лесной дороге повозки перехватила конная банда, проникшая в тыл. Раненых бандиты всех порубили, а Ольгу схватили и уволокли. Нашел Янош на траве близ дороги только ее белую косынку с красным крестом. Не помня себя бросился он искать, догонять... Да разве найдешь? Так и вернулся ни с чем. А потом, когда уже под Екатеринбургом соединились с Красной Армией и влились в нее, всюду, где только можно, наводил об Ольге справки: не мог поверить, что она погибла, может быть,

бандиты пощадили ее, может, ей удалось пробраться к своим и она служит сестрой в каком-нибудь полку, в госпитале или в санитарном поезде? Но все надежды оставались напрасными: узнать что-либо он так и не смог. А вскоре его как журналиста направили в Москву, работать во вновь создаваемой газете для венгров-красноармейцев. Даже и там пытался продолжать розыски — расспрашивал людей, приезжавших с фронтов... В чем еще можно было черпать надежду?

Словно оглушенный сидел Ефим, когда выслушал все.

— Даже не верится как-то... Ну нам воевать — так уж положено. А Олюнька... Как же ты не сумел заставить ее дома остаться?

— Я оставлял! Настаивал! Можно сказать, тайком убежал... Так не послушала. Знаешь ее характер...

— Да, характером ее бог не обидел... Ей мужиком быть — в командиры бы вышла. А теперь вот поминай... Еще изгалялись, поди, над нею, подлюги белые. Эх, сестренка... — Кедрачев замолчал.

Янош молчал тоже — видно, казнился, что не уберег.

— Ладно, Янош! — заговорил Кедрачев вновь. — Что уж теперь?.. Расскажи еще, что о моих слыхал? Как живут? Два года вестей не имею.

— От Олек немного слышал — жена твоя уж и не верит, что ты жив. Ждала от тебя письма — не дождалась. И никакого извещения о тебе не было.

— Будь она неладна, война-разлучница! Когда это, брат, кончится?..

Поговорили еще — больше всего об Ольге...

Первым спохватился Гомбаш:

— Нам пора!

— Пойдем, — поднялся Ефим. — Наговоримся еще.

— Конечно! Нам ведь теперь вместе служить.

— До победы мировой революции?

— А как же иначе, Ефим? — Янош положил руку другу на плечо: — Раньше наша служба не кончится.

Глава третья

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Осенью восемнадцатого руководство венгров-коммунистов в России предложило Яношу Гомбашу, как и другим, уехать на родину: австро-венгерская империя распадается,

в Венгрии назревает революционная ситуация, время создавать партию там. Считая, что ехать — его партийный долг, он не стал искать предлогов, чтобы остаться, хотя в нем еще не угасли последние искорки надежды отыскать следы Ольги; он понимал, что, если рассуждать здраво, шансов на это почти нет. С неизбывной горечью в душе покидал Янош Россию, и горечь эта заглушала радость возвращения на родину, о чем он мечтал так давно.

Яноша направили в сборный лагерь близ Москвы, где ожидали отправки тысячи бывших пленных, возвращаемых по Брестскому договору. Никто из них не должен был знать, что Янош и его товарищи — коммунисты и с каким заданием они едут: в Венгрии еще прежние власти и законы, конспирация пока что необходима. Они влились в общую массу возвращаемых, растворились в ней, ничем не выдавая себя. И вот наконец посадка в эшелон. Путь на родину начат.

...Под шинель, которой был укрыт Гомбаш, все время откуда-то поддувало ветерком — словно чья-то подрагивающая холодная ладонь то и дело трогала щеку быстрыми, короткими, будто вороватыми прикосновениями. Он проснулся от этих прикосновений и, не открывая глаз и не шевелясь, весь еще в оцепенении сна, слушал, как дребезжит всеми своими суставами старая, расхлябанная теплушка, как под полом ее стучат, спотыкаясь на стыках, колеса.

«Хорошо, что едем, не стоим! — порадовался он. — Уже двадцатый день эшелон в пути. Как медленно тащится, как подолгу стоит на станциях, полустанках, разъездах! А так хочется скорее увидеть родные места, вдохнуть чистого воздуха пушты[1], в которой затерян всегда милый сердцу родной Вашварад. Наверное, для каждого родина начинается с места, где он родился и вырос. Значит, для меня начало родины — в моем маленьком городке. Как там сейчас? Родители, наверное, постарели за эти годы... Отец по-прежнему, конечно, с гордостью носит свой мундир министерства почт и телеграфов с чиновными звездочками на воротнике. Хоть невелик чин — начальник всего над четырьмя почтальонами,— но все-таки начальник отдела доставки корреспонденции, а не рядовой письмоносец, каким был двадцать пять лет назад. И наверное, по-прежнему, как уже много лет, ждет, что за безупречную службу его когда-нибудь да повысят в чине и сделают если не вашварадским почтмейстером, то хотя бы на-

[1] Венгерская степь.

чальником самого важного отдела — приема и выдачи переводов. Наверное, при каждом поступлении почты отец оживляется, надеясь, что вот, может быть, пришла наконец весточка от сына. Конечно, он продолжает верить, что я жив. А мама... она-то верит в это еще сильнее... А Эржика? Нелегко будет встретиться с нею. Да надо ли встречаться? Скорее всего, она вышла замуж и забыла обо мне. А если не забыла? Нет-нет, что бы там ни было, как бы ни сложилась ее жизнь — необходимо встретиться с нею, попросить у нее прощения! Поступить иначе — просто непорядочно. И без того достаточно виноват перед нею. Так не надо усугублять этой вины еще и малодушием... Но встретиться с Эржикой — значит неизбежно взбудоражить ее, чем-то осложнить жизнь, особенно, если она замужем. И тем более если она не забыла... Нет, это же все — благовидные предлоги, не нужно прятаться от самого себя. Будь мужественным, Янош!»

Внезапно, негаданно пришли к нему мысли об Эржике, разбередили сердце... Он попытался освободиться от них, но не смог. А впрочем, разве эти мысли пришли нежданно? Наоборот, вполне естественно: ведь он приближался к родному городу, из которого четыре года назад Эржика провожала его как невеста...

В четырнадцатом, перед тем как Яноша призвали, их свадьба была уже решена. Отец Эржики, адвокат, у которого Янош служил письмоводителем, был доволен будущим зятем и надеялся впоследствии передать ему свое дело. Мать же, хотя и мечтала о более выгодной партии для дочери, все же не решилась препятствовать ее выбору.

Столько переменилось с тех пор... Верно говорится, что разлука — лучшая проверка чувства. Мог ли он подумать, когда в семнадцатом году в Ломске встретился с Ольгой, что она займет в его сердце то место, которое, как он был убежден, навсегда принадлежало Эржике. Теперь, по прошествии лет, все произошедшее с ним вовсе не казалось ему удивительным. Ведь Эржика была первая девушка, с которой ему пришлось близко познакомиться. Он, гимназист Гомбаш, считавший себя человеком вполне самостоятельным и весьма решительным, был до смешного стеснителен и робок, когда ему случалось знакомиться со своими сверстницами. А с Эржикой ему никакой инициативы проявлять не пришлось, знакомство произошло само собой — ведь он бо́льшую часть дня проводил в их доме. К тому же Эржика была хороша собой,

приветлива и очень скоро стала оказывать молодому письмоводителю явные знаки внимания... Ну как тут было не влюбиться до самозабвения?

Но, увы, влюбленность, даже самая горячая, далеко не всегда перерастает в подлинное, глубокое, неистребимое чувство — он познал это на собственном опыте. Вот в такое чувство, как к Ольге, к милому Олеку! Что бы ни случилось, сколько времени ни минует, она неизменно останется в сердце! Олек... Нестерпима боль о ней...

«Милая, единственная, где ты, что с тобой? Есть ли ты еще на земле или только в моем сердце? Еще несколько дней — и граница. Удастся ли когда-нибудь возвратиться в Россию, чтобы продолжить поиски, совсем, наверное, безнадежные? Безнадежные, если рассуждать разумно. Но Олек... Нет, это неподвластно разуму. Это — навсегда. Конечно, по возвращении в Вашварад нужно будет набраться мужества и все честно сказать Эржике. А может статься, это и не будет для нее ударом. Вполне вероятно, она и в мыслях не держит своего пропавшего жениха и уже давно отдала руку другому. Если бы так...»

Снова и снова мысли уносили Яноша назад, через нарастающее с каждым часом пути пространство между ним и тем дорогим, что оставалось все дальше — за Москвой, Волгой, где-то за Уралом... А надо было думать о том, что ждет впереди. Думать о том, как жить и действовать, после того как будет пересечена последняя граница. Прежде всего — добраться до Вашварада, как-то устроиться. Но основное — дело, то, ради чего послан. Оглядеться, установить связи. Партии в Венгрии еще нет, но есть коммунисты. Немного, но есть. К ним прибавятся вернувшиеся из России. Самое главное — создать партию, притом в условиях, когда она еще не сможет действовать открыто. Так наставляли в Москве товарищи из венгерской секции, хорошо знакомые с обстановкой на родине. Действовать осторожно... «Приходится остерегаться уже здесь, в эшелоне», — снова вернулась тревожная мысль. Эта мысль стала еще тревожнее, после того как проехали станцию Шепетовка, где согласно мирному договору проходила линия разграничения между советскими и немецкими войсками.

На одной из остановок вскоре после Шепетовки, когда он, побывав на бедном привокзальном базарчике, где безуспешно пытался раздобыть какого-нибудь курева, возвращался в свою теплушку, его вдруг остановил сердитый окрик:

— Унтер-офицер!

Гомбаш обернулся. Перед ним стоял незнакомый обер-лейтенант, одетый по всей форме — с офицерскими знаками на воротнике.

— С каких это пор младший по званию не отдает чести старшему? — накинулся на него обер-лейтенант.— Вы что, в плену успели забыть устав? Даже рядовому это непростительно! А вы — унтер-офицер, должны показывать пример! Распустились у большевиков!

«Да пошел ты...» — чуть не сорвалось с губ Гомбаша. Но в последнюю секунду успел сдержаться: теперь приходится вести себя по-другому. Вытянув руки по швам, произнес почтительно:

— Прошу извинить, господин обер-лейтенант! Больше не повторится, господин обер-лейтенант!

— Идите! — снисходительно кивнул обер-лейтенант.— Ваше счастье, что здесь нет гауптвахты.

Вернувшись в теплушку, Гомбаш спросил у своих попутчиков:

— Друзья, откуда появились офицеры в нашем эшелоне?

— А ты что, не знаешь? — услышал в ответ. — Еще ночью перед Шепетовкой прицепили вагон с ними. Тоже едут домой.

«А что, если среди офицеров найдется кто-то знающий, что я — коммунист? — с опаской подумал Гомбаш, но тотчас же попытался успокоить себя: — Из ломского лагеря ни одного офицера не должно быть. Ведь Ломск — за линией фронта, у белых. К тому же белые, как известно, снова загнали пленных в лагеря. Нет, из Ломска ни один офицер не мог оказаться здесь...»

Но все же Гомбаш теперь с опаской поглядывал на прицепленный в хвосте состава зеленый классный вагон, в котором ехали офицеры, и на остановках старался не попадаться им на глаза.

Состав набирал ход — наверное, шел под уклон. Проникавший сквозь щелястые стены теплушки ветерок все настойчивее щекотал прохладными струйками щеку Гомбаша, все назойливее пытался просунуться за ворот, в рукава. Ветерок как бы старался окончательно выдуть из Гомбаша остатки сна и, кажется, достиг своего: Гомбаш спустился с нар, прихватив шинель, подошел к двери. Чуть-чуть, чтобы ветер, ворвавшись, не разбудил остальных в вагоне, отодвинул дверь, выглянул наружу.

«Уже ноябрь, а как сухо! — удивился он. — Еще не на-

чались осенние дожди. Да и день сегодня, кажется, обещает быть солнечным — редкость для такой поры».

Эшелон с веселым перестуком шел неширокой горной долиной, вдоль говорливой речки, скачущей по камням внизу, почти у самого полотна. Речка словно спешила обогнать состав, сердито поплескивала пеной на встречавшиеся ей серые, за века сглаженные водой глыбы, черные коряги, на косматые ветви кустарника, свисающие с берега. А выше речки в крутой покатости подымалась гора, поросшая густым лесом. Откуда-то с противоположной стороны на деревья падал свет невидного снизу, но уже явно поднявшегося солнца; на фоне стволов буков, грабов и кленов, вперемешку толпившихся по склону, золотым и багряным светила листва, и только кое-где меж этим багрецом и золотом мягко зеленели еще живые листья. Склон был высок, стволы взбегали к самому небу. Его, закрытого кронами деревьев, из теплушки не было видно, но по тому, как поблескивала местами листва, можно было понять, что небо безоблачно, что день обещает быть ясным.

То вздымаясь, то спадая, как чудовищно огромные зеленые волны, пробегали мимо высокие склоны. Временами вплотную к пути прижимались тенистые, плотно заросшие темно-зеленым орешником лощины, иногда на склоне меж темными стволами, меж обомшелыми зеленоватыми камнями прозрачно посверкивал ручеек, пробирающийся вниз к речке, или крохотный водопадик.

Карпаты, Карпаты... Все больше волнуясь, Гомбаш смотрел на пробегающие мимо холмы и кручи. Вчера вечером проехали станцию Делятин. В пятнадцатом году недалеко от этих мест он попал в плен — от Карпат началась его русская одиссея, Карпатами она и заканчивается. Один круг жизни замкнут, начинается новый. Что он принесет? Гомбашу было досадно и тревожно. «Тащимся уже двадцатый день, оторванные от всего, а в мире тем временем свершаются большие события». Позавчера, когда снова долго стояли на какой-то станции, стало известно, что образовано самостоятельное государство Чехословакия, что от империи отделились и южнославянские земли, возникло еще одно новое государство — сербов, хорватов и словен. А еще раньше, в начале пути, узнали, что от Австро-Венгрии отделяются польские земли. Трещит Габсбургская империя... Скоро, наверное, и Венгрия станет самостоятельной. Что происходит на родине? В пути мало что узнаешь об этом, газет почти не удается достать, а если и попадаются, то такие, что вышли уже неделю на-

зад или раньше. Приходится довольствоваться слухами. А если верить им — на родине волнения, демонстрации... Скорее бы туда!

Лесистый склон и речка, вдоль которых шел состав, отодвинулись куда-то в сторону, потянулись невысокие, по-осеннему серые холмы, замелькали возле их подножий беленькие домики, протянулись жердевые ограды, проплыл мимо вскинувший руку семафор. Состав резко замедлил ход.

Соседи Гомбаша по вагону подымались, подходили к двери — теперь она была распахнута на всю ширину. С любопытством поглядывали вперед, на все плотнее сдвигающиеся к железнодорожному полотну дома под черепичными крышами. Какой-то городок...

Под полом теплушки проскрежетали колеса. Эшелон остановился.

— Как будто не маленькая станция!

— Наверное, есть кипяток!

Брякая котелками, солдаты теснились к двери, спрыгивали, бежали к видневшемуся вдалеке одноэтажному длинному белому зданию вокзала под коричневой черепичной крышей. Гомбаш не спешил спуститься — у него с одним из солдат был общий котелок, на двоих, и напарник уже побежал за кипятком. Но когда из теплушки выпрыгнули все, спустился и Гомбаш — поразмяться.

Все — как обычно на остановке.

Но что это? Впереди, возле вагонов напротив вокзала, какое-то оживление. Солдаты сбиваются в кучки, затем перебегают от одной теплушки к другой, что-то кричат друг другу...

Надев в рукава шинель, до этого наброшенную внакидку, Гомбаш быстро зашагал вдоль состава к вокзалу. Ему встретился солдат с котелком кипятка.

— Что случилось? — спросил Гомбаш.

— На родине революция!

— Правда?

— Железнодорожники сказали. И немецкие солдаты, которые на станции.

— Нет, я сам должен убедиться!— взволновался Гомбаш.— А вдруг это только слух? И если уже республика— то кто у власти? Какое правительство?

Он быстро шел вдоль состава к вокзалу. Возле теплушек слышались взволнованные голоса:

— Революция, как в России!

— Теперь-то уж нас — по домам...

— А вдруг немцы не пропустят?
— Да зачем мы им?
— Они же с французами еще воюют. Вот и пошлют нас на французский фронт, раз мы союзники. Скажут, кайзер приказал!
— Вот еще — кайзеру подчиняться!
— Пускай немцы у себя тоже революцию делают!
— А как теперь будет насчет земли?
— Хуже не будет...
— Приедем — разберемся.
— Эх, палинки[1] раздобыть бы да выпить с радости!

Прислушиваясь к этим возгласам, Гомбаш торопливо шагал, почти бежал к вокзалу. Ох как длинен состав! Но вот наконец и вокзал. Солдаты толпятся вокруг пожилого усатого железнодорожника в высоком кепи с большой серебряной кокардой — крылатым колесом — и с блестящими значками на воротнике форменного кителя — это кто-то из станционных начальников. Его наперебой расспрашивают. Видно, что он устал,—должно быть, не впервые сегодня ему приходится давать разъяснения. Тут же стоит немецкий патруль — два солдата в серой полевой форме и в бескозырках, с винтовками, и молодой унтер-офицер, из за стекол очков в тонкой стальной оправе глядят умные, чуть ироничные глаза. Патрульные внимательно прислушиваются, хотя, наверное, не понимают по-венгерски.

Пробравшись в толпу солдат, сгрудившихся вокруг железнодорожника, прислушиваясь к его объяснениям и к словам, которыми перебрасывались солдаты, Гомбаш смог понять, что сформировано свое, венгерское правительство. «Неужели Венгрия — уже республика?»

Пробуравив собою толпу, Гомбашу удалось протиснуться почти вплотную к железнодорожнику.

— Какое же правительство сейчас в Будапеште? — спросил он.

— Временное национальное! — устало ответил железнодорожник.— Но телеграфисты говорят: там возникла еще одна власть — Советы...

— Советы! — обрадовался Гомбаш. «Если Советы существуют открыто — уже не нужна конспирация!» — Слышите, друзья! — во весь голос крикнул он. — У нас на родине Советы, как в России! Советы — власть народа!

Солдаты обрадованно зашумели. Один из них, уже в годах, взглянул на Гомбаша возбужденно горящими гла-

[1] Венгерская водка.

зами, с силой хлопнул его по плечу:

— Совет! Понимаешь, Совет, товарищ! — и, словно крыльями, взмахнув обтрепанными обшлагами шинели, вдруг затянул высоким голосом:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!

Тотчас же подхватили другие. Запел и Гомбаш.

«Интернационал» звучал уже и возле теплушек, пел весь эшелон. Весь, кроме последнего, классного, офицерского вагона. Из него при первых же звуках гимна выскочили, словно выстреленные, три офицера и, застегивая на ходу шинели, чуть не бегом устремились к зданию вокзала. Подбежав к патрульным немцам, закричали, показывая на поющих. Но немецкий унтер был невозмутим. Коротко сказал что-то, пожав плечами. Офицеры, разозленные еще больше, повернули обратно, к своему вагону. А «Интернационал» продолжал греметь им вслед.

Гомбаш не вытерпел — подошел к унтеру, спросил по-немецки:

— Что наши офицеры хотели от вас?

— Чтобы мы запретили петь «Интернационал», — ответил унтер и с улыбкой добавил: — Но я сказал, что не имею таких полномочий. Нас не касается, какие песни поют венгры.

— Хорошо вы ответили!

— А что нам ввязываться в ваши дела? Вам можно только позавидовать: вы уже едете по домам, а мы вынуждены торчать на чужой стороне.

— Видимо, и вы скоро отправитесь домой.

— Известия из Германии позволяют надеяться на это,— согласился унтер.

— Вы имеете в виду революцию?

— Да...

Зычный гудок паровоза прервал их разговор. По вагонам прошел перестук сцеплений, состав дернулся. Солдаты, поспешно подталкивая друг друга, взбирались в теплушки.

Гомбаш добежал до своего вагона, уже катившегося ему навстречу. Ухватившись за протянутые руки товарищей, вскочил в дверь.

...С того часа, как стало известно о переменах, происшедших в Венгрии, особенно мучительно-нескончаемым стал казаться еще остававшийся до нее путь. Он был недлинен, но долог — по разбитой войной дороге эшелон та-

щился еле-еле, подолгу простаивая на станциях и разъездах. На одной из остановок узнали потрясающую новость: произошла революция и в Германии. Кайзер Вильгельм бежал за границу. Заключено перемирие с западными державами. Советская Россия расторгла кабальный Брестский договор, и Восточного фронта больше нет. Немецкая армия с Украины уходит, а об австро-венгерской и говорить не приходится — как армия «двуединой империи» она, наверное, уже не существует. Все эти новости, которые Гомбашу удавалось узнавать по дороге из случайных разговоров и изредка из газет, приводили его во все больший восторг. После провозглашения республики в Венгрии, конечно, уже должны существовать основные демократические свободы. Очень может быть, что все партии уже действуют легально — тогда не нужно будет таиться и делать вид, что унтер-офицер Гомбаш вернулся из плена далеким от всякой политики. Ах как жаль, что с этим эшелоном не возвращается обер-лейтенант Варшаньи, в ломском лагере главный его преследователь, за длинную физиономию и ехидство еще в гимназии, где Гомбаш был его учеником, прозванный Троянским Конем. Вот бы встретить его на первой же остановке и сказать: «А вы знаете, господин обер-лейтенант, в Будапеште уже выходит коммунистическая газета, и я подумываю, не начать ли мне работать в ней...» Вот вытянулась бы физиономия у Троянского Коня! Впрочем, у лошадей — не физиономии, а морды...

Всякому пути, каким бы долгим он ни казался, бывает конец. Ясным прохладным утром, на двадцать третий день, дважды сменив вагоны, которые теперь бежали уже по европейской узкой колее, эшелон с Гомбашем и его сотоварищами по возвращению подходил к первой на их пути венгерской железнодорожной станции. Вот она уже видна, вот состав замедляет ход, останавливается...

Весело-возбужденные солдаты толпились у широко распахнутых дверей теплушки. К ним протиснулся и Гомбаш, второпях не накинув шинели, и, только когда очутился у двери, спохватился: было довольно-таки свежо. Под мундир проникал холодный осенний ветер.

Не дожидаясь, пока состав окончательно остановится, солдаты стали выпрыгивать из теплушки. Выпрыгнул и Гомбаш, спеша не отстать от других. Все шли к маленькому одноэтажному вокзалу, над фасадом которого развевались несоразмерно большие по сравнению со скромными масштабами вокзального здания трехцветные венгер-

ские флаги. Там, кажется, начиналось что-то вроде митинга... Так и есть! У выхода из вокзала показались два офицера — капитан и обер-лейтенант. Несмотря на холод, они были без шинелей, только в мундирах, при орденах и медалях, и даже с саблями на боку,— таких начищенных, отутюженных, во всем тыловом блеске офицеров Гомбаш не видывал, наверное, с четырнадцатого года. Рядом с капитаном и обер-лейтенантом стояло несколько дам в осенних пальто, в широкополых шляпах, напоминавших цветочные клумбы; впрочем, некоторые женщины были в белоснежных накрахмаленных косынках с красным крестом.

Позади дам виднелся длинный стол, на котором были аккуратно разложены бумажные пакеты — очевидно, подарки возвращающимся из плена.

«Вот это да! Что за комиссия?» Гомбаш удивленно вглядывался во все это сиятельное общество, такое контрастное на фоне толпы солдат, вывалившихся из эшелона,— в мятых, видавших виды шинелях и мундирах, а то и вообще одетых невесть во что.

Оказалось, что это и в самом деле комиссия по встрече возвращающихся из плена, а капитан, стоявший впереди других и картинно державший в руке белую перчатку,— ее глава. Подняв руку с перчаткой и тем призывая ко вниманию, капитан в наступившей тишине начал речь:

— Я приветствую вас, герои! Поздравляю с возвращением в пределы нашего дорогого отечества, за величие которого каждый из вас готов был отдать жизнь на полях сражений!

«Черта с два! — подумал при этом Гомбаш.— Так уж и каждый!»

— Теперь вы вернетесь к своим очагам,— продолжал капитан,— и я надеюсь, что останетесь настоящими венграми, которым дороже всего наше национальное единение. В России кое-кому из вас забили голову разными бреднями. Большевики хотят, чтобы и у нас воцарилось безбожие, неуважение к собственности, нажитой честным трудом, хотят, чтобы у нас также были отменены правила нравственности, как они отменены в России, где воцарились хаос, нищета и беззаконие...

При этих словах капитана кто-то громко свистнул, из толпы раздался крик:

— Брось врать!

На кричавшего шикнули:

— Пусть говорит, послушаем!

Но засвистели снова, по толпе прошел гул.

Справившись с секундным смущением, капитан, резко взмахнув рукой, сжимающей белую перчатку, заговорил вновь, повысив голос. Он даже уже не говорил — орал, стараясь преодолеть пробегавший по толпе солдат все более громкий ропот:

— Я говорю вам, венгры! Вступив на землю родины, забудьте о распрях между богатыми и бедными! Помните, что вы должны бороться прежде всего за единую, сильную, независимую родину! Вы должны быть примерными гражданами нашего обновленного, воссозданного наконец-то государства. Лишь после того как мы отстоим его независимость от врагов, только и помышляющих растерзать нашу многострадальную Венгрию, мы сможем установить в ней справедливый порядок. От вас еще потребуется послужить родине...

— Хватит, послужили!

— Нечего нас уговаривать!

— По домам!

Капитан метнул глазами по толпе, словно надеясь отыскать взглядом тех, кто мешает ему говорить, крикнул зычно, привычным командирским голосом перекрывая поднявшийся шум:

— Не слушайте смутьянов, солдаты! Оставайтесь верными присяге, которую вы давали отчизне!

— И Францу, которого нет!

— Я знаю, большинство из вас остались верными своему отечеству! — выкрикнул капитан.— А с теми, кто сеет среди вас семена неповиновения законам, существующим и пока еще никем не отмененным, кто в России заразился чумой большевизма, мы будем иметь особый разговор! Я обращаюсь не к ним, а к вам, истинные сыны нашего отечества! Родина — превыше всего, превыше всяких иных забот — ее независимость, ее могущество! Мы еще увидим с вами Венгрию сильную, способную противостоять всем ее врагам, занимающую достойное место в мире, заботящуюся о благоденствии всех ее граждан! Родина приветствует вас и надеется на вас! — Капитан взмахнул рукой: — В этот радостный миг возвращения на землю отцов споем наш национальный гимн! — и, не дожидаясь, когда кто-нибудь начнет, затянул первым.

Его поддержали несколько голосов, к ним присоединялись еще и еще, но не очень дружно.

В толпе не утихал гомон, вызванный речью капитана

Вдруг сквозь нестройное пение прорвался одинокий, но сильный голос:

Вставай, проклятьем заклейменный...

Гомбаш встрепенулся: «Снова «Интернационал»!» И подхватил сразу:

Весь мир голодных и рабов!

И тотчас же присоединился кто-то из стоявших рядом:

Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!

Пели уже многие голоса, заглушая гимн.

Капитан, стоявший у дверей вокзала, перестал петь, дернулся, прокричал что-то. К нему подбежал грузный фельдфебель — видно, из тыловых,— козырнул, рванулся за угол вокзала...

А «Интернационал» гремел. Уже не было слышно ни мелодии гимна, ни слов капитана, угрожающе размахивавшего сжатой в кулак рукой в белой перчатке.

Откуда-то из-за вокзала выбежали во главе с толстым фельдфебелем несколько солдат с винтовками — очевидно, из караульной или комендантской команды. По знаку фельдфебеля солдаты подбежали к поющим, прикладами стали оттеснять их с перрона на пути, к составу.

— Р-разойдись! Разойдись по вагонам! — во все горло орал фельдфебель.

Но подчиненные ему солдаты действовали не так уж ретиво: видно, им не очень хотелось применять силу против таких же солдат, как они. Поющие не сдвинулись с места, «Интернационал» продолжал звучать. Было видно, как бешено мечется капитан, как испуганно жмутся дамы, потерявшие свою величавость.

К капитану подбежал дежурный по станции в форменном кивере с красным верхом. Капитан отдал ему какое-то распоряжение, дежурный, кивнув, исчез.

В хор голосов, поющих «Интернационал», врезался пронзительный, длинный гудок паровоза.

— Эшелон отправляется!

— По вагонам!

Только это заставило поющих замолчать. Все устремились к эшелону — хотелось скорее попасть домой. Рядом с Гомбашем солдаты на бегу перебрасывались словами:

— Говорили, на этой станции выдадут курево. Без него остались...

— И подарки не дали!..

— Скажи спасибо, что прикладами не избили...

И снова стучат колеса...

Гомбашу повезло: оказалось, что эшелон, следующий к Будапешту, будет проходить через его город.

К вечеру следующего дня эшелон остановился на несколько минут возле такого знакомого вокзала, и Гомбаш, наскоро пожав руки своим попутчикам, спрыгнул из вагона на родную вашварадскую землю.

Глава четвертая

СВИДАНИЕ С ВАШВАРАДОМ

Уже темнело. Янош Гомбаш быстрым шагом шел по знакомым улицам, размахивая полупустым вещевым мешком, расстегнув шинель — то ли от волнения, то ли от быстрой ходьбы сделалось жарко. Жадным взором окидывал памятные с детства каштаны, вереницей тянущиеся вдоль тротуара и, кажется, заметно выросшие за четыре года его отсутствия, вывески и витрины так хорошо знакомых кафе и лавочек. Вот уже пересек единственную площадь города с одноэтажным длиннющим зданием крытого рынка на одном краю и с островерхим костелом — на другом. Теперь путь лежит мимо особняков именитых вашварадских жителей, спрятавшихся за железными узорными оградами, за деревьями садов. Сердце забилось учащенно, когда он поравнялся с оградой дома родителей Эржики. Сквозь сеть уже начисто оголенных ветвей в синеватых сумерках светились задернутые занавесками окна. Сюда он больше не войдет — эта мысль не вызвала в нем грусти. Но Вашварад — город небольшой, уже завтра все будут знать, что вернулся из плена молодой Гомбаш. Узнает и Эржика. Что тогда? Конечно, лучше бы не видеться с нею... Но это невозможно. «Не трус же я!» — с ожесточением сказал он себе.

Мысли набегали на мысли. «Дома пробуду недолго— повидаю стариков и отправлюсь в Будапешт, там меня ждут».

Сердце Яноша дрогнуло: впереди, по левой стороне улицы, за невысокой беленой оградой, меж деревьями сада, в сумерках чуть светлеют стены родительского дома. Одно окошко, крайнее слева, самое ближнее к калитке, светится — мать на кухне, наверное, готовит ужин... Вдруг Гомбаш, словно от нестерпимой боли, стиснул зубы, закрыл глаза, остановился. Вспомнилось? Сколько раз за

немногие месяцы его счастья с Ольгой представлялось: они приехали в Вашварад, входят в дом... «Мама и ты, отец, познакомьтесь — моя жена». Но он пришел к отчему дому, увы, один...

Вот и калитка. Дыхание приостановилось, когда взялся за кольцо. Вспыхнул свет сразу в двух окнах рядом с кухонным — в столовой. Наверное, мать и отец сели ужинать. И конечно, снова и снова будут говорить о нем. Надеются, наверное, что он жив,— разве можно смириться с безнадежностью? А раз жив — будут гадать: где, как живет? Если бы они могли предположить, что он — здесь, стоит у калитки, вот-вот войдет в дом!.. Сейчас раскроются родительские объятия, посыплются восклицания, взаимные расспросы — ведь четыре года никаких вестей!..

«Пойду!»

Только глубокой ночью, так и не наговорившись досыта, разошлись спать. Вскоре после того как Янош улегся и погасил стоявшую у изголовья лампу, к нему с ночником в руке пришла мать — спросила: удобно ли ему? не надо ли чего-нибудь? Но, получив ответ, не ушла — поставила лампу на столик у кровати, присела на край постели — как бывало в детстве... И Яношу на какой-то миг показалось — он еще не взрослый, мать для него по-прежнему — самый мудрый советчик, самый взыскательный судья его поступков. Да и в самом деле, не остаются ли матери для нас такими на всю нашу жизнь?

— Ты что, мама? — И при тусклом свете ночника Янош заметил, как влажно поблескивают глаза матери.— Ну успокойся, не лей слез! Все хорошо. Я жив, здоров, вернулся домой!

О том, что в ближайшее время он собирается вновь покинуть отчий дом, Янош родителям сообщить не спешил.

— Жаль мне тебя, сынок!— прошептала мать.— Видно, не судьба тебе с этой русской. И зачем ты только женился на ней...

— Как — зачем? — нахмурился Янош.— Тебе это не нравится? Но я же ее люблю! Она, она такая!..

— Верю, верю, Янош! Она, может быть, даже наверное, хороший человек. Я верю в тебя — ты не полюбил бы плохую. Но все-таки она — чужая. По-нашему, ты говоришь, почти не понимает. Ты, наверное, и не думал, когда женился, где, как вы будете жить...

— Ты говоришь о ней так, словно она собирается приехать сюда. Но ты же знаешь...— Янош сглотнул подступивший к горлу комок.— Ты знаешь, что с ней...

— Ты рассказывал, сынок,— мягко остановила его мать.— Моему сердцу близко твое горе. Я... я разделяю его.— Она коснулась ладонью плеча сына: — Но во всяком горе следует искать утешение...

— Какое может быть утешение, мама?

— Может быть, сынок. Скорее всего, твоя жена жива. Ведь если бы ее убили — она осталась бы в лесу вместе с остальными. Ну, а если вам и не удастся найти друг друга, может, это и к лучшему...

— К лучшему? Как ты можешь говорить так, мама?

— Дай бог, чтобы она оказалась жива... Возможно, ты и в самом деле напрасно оплакиваешь ее, как напрасно оплакивали тебя мы. Как было не оплакивать? Из плена от многих, хоть раз в год, приходили открытки международного Красного Креста. А от тебя — ни одной!

— Я ведь говорил вам— посылал, они не дошли. А потом и посылать стало нельзя...

— Мы с отцом все равно надеялись. Надеялись, что ты вернешься. И Эржика долго ждала. Все забегала, бывало, спрашивала, нет ли весточки от тебя.

— Не надо ей было ждать, мама.

— Откуда ей было знать, что у тебя на сердце вместо нее — другая? Эржика, скорее всего, ждала бы тебя до сегодняшнего дня, да поддалась настояниям своей матери и вышла за сына нотариуса Бекешче...

— Хорошо, что вышла!..— вырвалось у Яноша.— А где она теперь?

— Он окончил медицинский факультет и получил практику в нашем городе. У нотариуса два дома, один он выделил молодым.

— Неужели она полюбила его?

— Тебе-то что теперь? Поздно ревновать, сынок.

— Что ты, мама! Я ничуть не ревную. Уже нет оснований...

— Вот и хорошо. А вышла замуж Эржика не потому, что полюбила. Ведь молодой Бекешче давно ее любит. И человек он хороший. Да тут еще мать ее все уговаривала, что ждать тебя бесполезно. Вот она и согласилась... Прибегала ко мне перед самой свадьбой, все рассказала. Вместе мы с ней поплакали... Просила простить...

— За что же простить? Это я перед нею виноват. Меня давно мучает это.

— Виноват, конечно... Но пусть это не лежит камнем на твоем сердце. По-правильному — так ни ты, ни она, война виновата. От нее всем горе.

— Ты права...— Янош помедлил, собираясь с мыслями.— Но ты только что сказала, что во всяком горе следует искать утешение. Не окажись я в плену — не встретил бы Олека...

— Прости, что я так любопытна, сынок. Но я знаю, как неискушенно было раньше твое сердце. До того как увлекся Эржикой, ты не обращал внимания ни на одну из девушек в нашем городе. Может быть, чувство к твоей жене не было таким уж глубоким? Успел ли ты до вступления в брак узнать ее как человека? Тебя привлекла ее юность, ее красота? Но ровня ли она тебе, человеку образованному? Ведь ты говорил — она из очень простой семьи.

— Я, мама, тоже не дворянского рода.

— Но она ведь даже в гимназии не училась?

— Ну и что? Она очень любознательна, много читала. Ее образованием, до того как мы познакомились, руководил студент из очень известной в городе семьи. И, представь, он был очень серьезно увлечен Олеком.

— Это был твой соперник?

— Как тебе сказать?.. Соперничества, пожалуй, не было. Мы с ним стали потом боевыми товарищами. Когда Олека схватили бандиты, мы вместе с ним бросились в погоню, чтобы спасти ее, но не смогли, как ты знаешь. Мне очень жаль его...

— Он убит?

— Не знаю. Думаю, что да. Во время погони мы потеряли друг друга из вида. Потом я вернулся к своим, а он нет. Искать его не было возможности.

— Все это очень печально, Янош. Но позволь быть с тобой откровенной?

— Конечно, мама. Я же от тебя ничего не таю.

— И я не буду. Мне все-таки думается, Янош, твой выбор жены был случаен. Я представляю, как там было у вас в плену: женщин вы не видели, встретилась первая, понравилась, показалась самой лучшей — ведь сравнить-то не с кем, выбора не было.

— Зачем ты говоришь все это? Олек — не первая встречная!..

— Сынок! Я не хотела тебя обидеть. Ты меня не понял.

— Понял! Ты все хочешь убедить меня, что мне не следует так сильно переживать. Что я сам себе создал кумира и принял желаемое за действительное... Хочешь

сказать, что я, может быть, и не так много потерял в России? И этим надеешься утешить меня? Не надо, мама! Зачем ты так? Ты не поколеблешь меня в моем чувстве к Олеку!..

— Да успокойся, сыночек! — Мать снова коснулась его плеча, и он, покорный этому прикосновению, откинул голову на подушку, хотя за секунду до этого уже готов был вскочить.— Я уповаю на время, на силы твоей души, хочу верить, что твоя боль смягчится, пройдет...

— Не надо больше об этом, мама, пожалуйста!

— Хорошо, хорошо...

Они помолчали немного, потом Янош спросил:

— А Эржика... она завтра узнает, наверное, что я приехал?

— У нас в Вашвараде все новости быстро становятся известны. А тебе не хочется, чтобы она узнала?

— Понимаешь, мама... как тебе объяснить? С одной стороны, честно говоря — да... Но ведь это было бы трусостью.— И, набравшись духа, Янош поделился с матерью своим намерением повидаться с Эржикой, повиниться перед ней, попросить прощения.

— Может быть, ты и смог бы после встречи с Эржикой снять камень со своей души,— в раздумье проговорила мать.— Но ведь тут есть риск нарушить ее покой, ее семейное счастье.

— А ты уверена, что она счастлива?

— Кто может знать, сынок? Все говорят, что да. Но как понимают у нас счастье? Достаток, большой дом, чтобы муж — порядочный человек, не мот и не гуляка. А как муж и жена меж собой — это ведь не всегда известно, даже самым близким друзьям и родственникам... Но если она сумела полюбить своего мужа — тогда счастлива.

— Дай бог...— Янош рывком сел на кровати, придерживая одеяло: — Но все-таки мне хотелось бы сказать ей несколько слов. Не хочу, чтобы она думала обо мне хуже, чем я того заслуживаю. Я искренно желаю ей безмятежного счастья. Но встретиться надо... Только как это сделать? Не годится ни тайное свидание, ни открытый визит.

— Если хочешь, я поговорю с ней,— предложила мать.— Я сумею объяснить...

— Да? — обрадовался Янош. Но тут же помрачнел: — Но в таком случае Эржика все-таки сочтет меня трусом: испугался глянуть ей в глаза... Нет, не надо, мама! Ничего пока не надо, я еще подумаю...

— Подумай... Да ты спи, спи, сыночек! А то так до рассвета проговорим. Спокойной тебе ночи! — Мать взяла ночник и, бесшумно ступая, вышла.

Янош еще долго лежал в темноте, не смыкая глаз, и думал, думал...

А во сне в эту ночь, как и во многие предыдущие, он опять увидел Ольгу. Она была живой, теплой, осязаемой — и улыбалась ему. Улыбалась, но, как и в прежних мучительных снах, все время пыталась освободиться из его рук, ускользала, терялась и находилась вновь, снова пропадала, и Янош искал ее в каких-то незнакомых, путаных улицах, в больших домах со множеством коридоров и переходов не то в Венгрии, не то в России, искал и никак не мог найти, хотя знал — она где-то здесь, совсем рядом...

На следующий день, под вечер, мать, отлучавшаяся куда-то днем, сказала ему почему-то шепотом, хотя они были одни — отец еще не вернулся со службы:

— Я видела Эржику. Она, конечно, знает, что ты вернулся. Очень взволнована. Но не сказала о тебе ничего — ни плохого, ни хорошего. Вся словно спряталась от меня... А бывало, прибегала, плакала, когда говорили про тебя. Только мне не удалось узнать, хочет она видеть тебя или нет. Я ей сказала, что ты хочешь...

— Ну зачем ты, мама! Я не давал тебе такого поручения.

— Не брани меня, Янош. Я хотела как лучше. А ты решай сам.

— Ладно, я еще подумаю...

Он сам не мог бы объяснить, почему сказал это. Собственно, он уже принял решение и, несмотря на все колебания, не собирался отказываться от него.

Минул первый день в родительском доме, наступил второй. Утром Янош вышел в сад поработать — нужно было к зиме обрезать кое-какие сучья, сгрести листву, вскопать под деревьями. Когда-то он любил помогать отцу и матери в саду. Сад при доме был небольшой, но тщательно ухоженный. Четыре года не был Янош дома. И он с охотой взялся за работу.

— Господин Гомбаш! — вдруг окликнули его. Он с удивлением увидел, что зовет его мальчишка — вихрастая голова в вязаной пестрой шапке торчит над оградой сада.— Вам велели отдать! — Мальчишка, навалившись животом на ограду, свесился, передал Яношу маленький, плотно заклеенный конверт.

Янош торопливо вскрыл конверт. Почерк Эржики! «Если

можешь и захочешь — приди сегодня в пять часов в городской сад к нашей скамейке».

«Наша скамейка»... — Янош помнил ее — самая дальняя, в глухой аллее. Там они когда-то часто сидели с Эржикой. — Сама зовет! — Сердце его гулко заколотилось. — Послать ответ с мальчишкой?» Но того уже и след простыл.

В назначенный час он сидел на знакомой скамейке. Уже начинало темнеть, в саду было пустынно — летний сезон давно кончился. Голы были ветви деревьев, аллею плотно устилала темная сырая листва. Янош сидел, подняв воротник шинели, курил, стараясь собраться с мыслями, повторяя, в который уже раз, что́ он скажет Эржике.

А она все не шла... Впрочем, так случалось и раньше, в далекий предвоенный год. Она почти всегда опаздывала — без этого женщины, вероятно, не могут. Иногда Эржика приходила с полюбившейся ей книгой, заложенной веточкой или цветком, сорванным в саду.

Вспомнилось: последней книгой, которую они раскрыли здесь, на этой скамейке, был «Пер Гюнт» Ибсена — в те годы Ибсеном увлекались, он был едва ли не самым модным писателем. Да, это было в начале августа четырнадцатого, когда уже шла война, которая так неожиданно сразу смешала все их планы. Впрочем, не так уж сразу. Отец Эржики обещал похлопотать, чтобы Яноша не взяли по мобилизации, — у адвоката в городе были хорошие связи. Тогда у них еще оставалась надежда. Но Эржика была чрезвычайно встревожена. И когда они в тот вечер сидели здесь, на скамейке, она говорила: «Если тебя все-таки возьмут на войну, знай: я буду ждать тебя, сколько придется, каким бы ты ни вернулся, буду ждать, как ждала Сольвейг...— И добавила: — Клятва Сольвейг — это и моя клятва тебе». Раскрыв Ибсена, прочла:

Пройдет, быть может, и зима с весной,
И лето, и опять весь год сначала,
Вернешься ты, мы встретимся с тобой,
Я буду ждать, как обещала.

Хлопоты адвоката не увенчались успехом, и военнообязанному Яношу Гомбашу пришлось вскорости явиться на призывной пункт. Те же строки Эржика повторила потом в своем первом письме к нему в армию. Письмо он долго хранил, перечитывал вновь и вновь — вот и запомнились.

Обещание Сольвейг... И Эржика не ждала его, как Сольвейг, и он вернулся не как Пер Гюнт. Жизнь внесла

свои поправки. Подарила ему счастье, негаданное, нежданное,— Олек... Поначалу, не умея правильно по-русски произнести ее имени, он звал ее так — вот и осталось: Олек...

Запоздалый лист, падая, коснулся его щеки и с еле слышным шелестом лег на руку, прилип, холодя кожу. Янош торопливым движением стряхнул его. И тут вдруг услышал шаги и увидел Эржику. В черном жакете с узенькой меховой оторочкой, в надвинутой на лоб бархатной шапочке, слегка наклонив голову, она быстро шла к нему, сжимая в одной руке ридикюль, а другой придерживая подол длинной черной юбки. Часто-часто мелькали носки ее туфель, вокруг которых тяжело вспархивали темные листья, но, напоенные стылой влагой, тотчас же, покорные своей мертвой тяжести, падали.

Янош встал — Эржика была уже перед ним. Он увидел ее лицо совсем близко, может быть, лишь полшага разделяло их. Ему показалось, что ее глаза полны какой-то отчаянной решимостью. Но вот ресницы дрогнули, она шепнула:

— Здравствуй...

— Здравствуй! — ответил он, чувствуя, как мгновенно пересохло в горле.

Эржика опустилась на скамью. Он нерешительно сел рядом:

— Ты не боишься, что тебя увидят вместе со мною?

— Нет, — покачала она головой. — Ничего я не боюсь...

«Как это не похоже на прежнюю Эржику! — мелькнула мысль. — Как меняет человека время...» Янош все собирался произнести давно приготовленные слова, но Эржика опередила его:

— Прости меня, Янош! Я поверила маме, что ты не вернешься...

— Это я должен просить у тебя прощения. Ведь первым изменил слову я...

— Я не лучше тебя. И теперь уж ничего не исправить. — Голос ее дрогнул, но она овладела собой. — Ты по-прежнему любишь свою жену?

— Да. Неизменно.

— Но ее уже нет.

— Это еще неизвестно. Но даже если нет... Можно и так любить всю жизнь.

— Всю жизнь? Ей можно позавидовать... Но ты еще полюбишь кого-нибудь.

— Нет. Не смогу.

— Тебе сейчас так только кажется, Янош. Вот смог же забыть меня. Да и я, кажется, привыкла к своему мужу. Видишь, — добавила она с грустной улыбкой, — все утряслось. Могли ли мы предположить тогда, перед войной, что все завершится так?..

— Конечно нет. Но мы были очень юны, когда встретились... Что такое семнадцать лет? До зрелости чувств — да и ума — еще далеко. Свою юношескую влюбленность — ах, в такие годы хочется любить весь мир! — мы приняли за большое, подлинное чувство. Так случается со многими... Но зачем я тебе все это говорю, Эржика? Ты можешь подумать, что я стремлюсь перед тобой оправдаться. А я хочу просить у тебя прощения... Как же мы заблуждались!

— Что касается меня, то я, пожалуй, не заблуждалась...

— Тем больше моя вина. И все же, Эржика... не подумай только, что я хочу тебя упрекнуть, ты ведь вышла замуж!

— Бекешче был так настойчив. И так страдал... Я очень многим обязана ему. А тут еще мама... Но знай,— в ее мягком голосе появились незнакомые Яношу решительные, даже жестковатые, нотки, — если бы ты был свободен и любил меня, если позвал бы, я бросила бы все и пошла за тобой!

— Эржика! — Он взял ее руку и прижался к ней губами. — Чем могу я искупить свою вину?

— Не надо, Янош...

Они разговаривали еще долго. Грустным, как сумерки, все ниже нависавшие над ними, было их свидание. Теперь их жизни — как две реки, текущие каждая по своему руслу. Все ясно меж ними. Но кажется, остается еще что-то невысказанное, необъясненное...

Нет, надо скорее, как можно скорее уезжать из Вашварада!..

Эржика тихо поднялась. Встал и он.

— Спасибо, Эржика, что не держишь на меня обиды...

— Зябко... — повела она плечами. Нечаянно дотронувшись до ее пальцев, он ощутил их скрытую дрожь, и острая жалость пронзила его. В сущности, только теперь, когда все треволнения, связанные с предстоящей встречей, остались позади, он впервые по-настоящему, сердцем ощутил свою вину перед нею — вину, о которой столько размышлял в последние недели возвращения на родину.

— Ты меня проводишь? — спросила Эржика. — Уже темно...

— Конечно. Но ты не опасаешься, что тебя увидят со мной?

— Ну и что? Мужу я все равно скажу, что виделась с тобой. Он поймет.

Они молча шли по аллее. Листья чуть слышно мягко шелестели под ногами, словно вздыхали о чем-то.

Вот и выход из сада. Тускло мерцают окна на противоположной стороне улицы. Поблизости ни души: вашварадцы рано закрываются в домах.

Перекресток. Если идти дальше, все прямо, то путь приведет к знакомому всем жителям города дому нотариуса Бекешче. Янош в нерешительности замедлил шаг. Но Эржика шепнула:

— Пройди со мной до конца...

В полном молчании прошли они безлюдной улицей до ее дома, высокие окна которого были освещены.

— Ну все... Прощай, Янош! — коротким, нервным движением она сжала его руку. Он и опомниться не успел — хлопнула калитка, простучали, удаляясь, каблуки по мощенной камнем дорожке, по ступеням крыльца, скрипнула, закрывшись, дверь...

Янош стоял, напряженно слушая тишину. Но слышал в ней только биение собственного сердца.

Достал папиросы, зажигалку, сработанную еще в ломском лагере знакомым солдатом-умельцем из винтовочного патрона, чиркнул — слабенький огонек осветил его пальцы, и он с удивлением заметил, что они вздрагивают, подрагивает и огонек.

Стоял, часто затягиваясь, глубоко вдыхая дым. Сердце, казалось, билось уже спокойнее, ровнее. «Все кончено, все кончено, все кончено...»

Обожгло палец правой руки, которой он держал папиросу, делая последние затяжки. Бросил окурок, тот ударился об узорное железо калитки, рассыпая красноватые искры — они гасли мгновенно, на лету. Вот потухла и последняя...

Янош бросил прощальный взгляд на калитку, решительно шагнул прочь. Шаг, еще шаг... Горло сдавило как в детстве, когда хотелось заплакать...

Когда Янош вернулся домой, отец, открыв дверь, встретил его упреками:

— Где пропадаешь? Все тебя ждут! Разве забыл, что мы пригласили родственников и друзей, чтобы отпраздновать твое возвращение? Пойдем же скорее!

В доме действительно было полно народу. Пришли сослуживцы отца, и соседи, и друзья его юных лет — впрочем, не все: многие еще не вернулись с военной службы. В столовой были сдвинуты столы, собранные со всего дома, на них стоят кувшины со светлым вашварадским вином и разная снедь — мать постаралась показать свое искусство, а отец не поскупился на угощение.

Едва Янош вошел, бурно приветствуемый всеми собравшимися, которые уже сидели за столами и успели по настоянию отца выпить по бокалу-другому за здоровье Яноша, посыпались расспросы:

— Как ты там жил, Янош?

— Неужели правда, что в России — хаос и взаимное истребление?

— А кто такие большевики? Про них у нас рассказывают всякие страсти...

— Не стал ли ты сам большевиком?

Янош отвечал охотно. Теперь опасаться было нечего: в республике провозглашена свобода слова и свобода союзов, то есть партий, а это значит, что и коммунистов не должны преследовать. К тому же из свежей будапештской газеты, которую успел просмотреть еще днем, он узнал, что в социал-демократической партии зреет разрыв между теми, кто считает, что свобод, провозглашенных новым правительством, достаточно, и теми, кто требует перехода к дальнейшей революции, пролетарской, и в этом требовании, утверждала газета, видна рука Москвы. В газете высказывалось предположение, что левые социал-демократы, возможно, выйдут из своей партии и создадут новую, наподобие большевистской, а воспрепятствовать этому, сожалела газета, видимо, будет невозможно.

Газета печалилась, а Янош восторгался: все идет, как предполагалось еще перед выездом из Москвы! Будет в Венгрии коммунистическая партия!

В радостном ожидании предстоящих перемен, подогретый не столько вином, сколько всеобщим вниманием и расположением собравшихся по случаю его приезда гостей, Янош с удовольствием рассказывал о новых порядках в России, о том, что дала там народу советская власть.

Застольный разговор затянулся надолго, гости разошлись поздно.

Янош рассчитывал прожить дома еще несколько дней. Он хотел бы уехать раньше, но мать очень просила побыть еще, к тому же знакомый портной обещал подогнать

его старый костюм по фигуре — за годы плена Янош раздался в плечах, возмужал.

Как-то под вечер, когда Янош с матерью ждали со службы отца, в дверь постучали.

— Иди открой! Это, наверное, соседка, — попросила мать.

Янош вышел в прихожую.

Открыв входную дверь, он замер в изумлении: перед ним стояла, тяжело дыша, бледная, с испуганными глазами, Эржика.

Ни слова не говоря, она проскользнула в прихожую, оглянувшись, торопливо прошептала:

— Скорее закрой дверь! Как хорошо, что открыл ты... Никто не должен знать, что я здесь.

— Проходи, пожалуйста. Дома только мама.

— Нет-нет, мне нужно скорее уйти... Ты должен уехать! Сегодня... Сейчас же! И так, чтоб об этом в городе не узнал никто!

— Но почему? Я хотел побыть еще...

— Тебе грозит опасность!

— Какая? Я здесь не успел нарушить никаких законов.

— Я знаю... Но мой муж сегодня по делу ездил к своему отцу, там в гостях был городской прокурор... — У Эржики перехватило дыхание, она схватилась рукой за горло.

— И что же? При чем тут я?

— Прокурор сказал, что ты опасный человек, восхвалял русских большевиков перед собравшимися у вас позавчера.

— Но это не карается законом. У нас же теперь республика, свобода слова...

— Может быть, и так... Я не слышала сама, случайно узнала от мужа. Он сказал, что так или иначе, но тебя здесь не будет. Если вовремя не убежишь — тебя посадят...

— Но помилуй, за что?

— В прокуратуру кто-то сообщил, что ты служил большевикам и расстреливал венгерских офицеров, а поэтому тебя следует привлечь к суду.

— Какая чепуха! Кто мог наговорить обо мне такое?

— Не знаю...

«Не подстроил ли все это твой супруг, чтобы избавиться от меня?» — чуть не спросил Янош, но успел сдержаться: такое предположение могло обидеть Эржику.

— Я верю, ты ни в чем не виноват, — торопливо шеп-

тала она. — Но те, кому не нравятся твои рассказы о большевиках, сумеют и без вины посадить тебя за решетку. У них в городе вся власть. Уезжай не медля ни часу! Ради меня хотя бы... Уезжай скорее! Я должна идти...

Хлопнула входная дверь.

— С кем ты разговаривал? — выглянула в прихожую мать.

— Приходила Эржика.

— К нам? Но почему она не вошла, убежала?

— Выслушай спокойно, мама... — Янош бережно положил руку на плечо матери, провел ее в столовую, усадил и рассказал все, что узнал от Эржики.

Тем временем вернулся со службы отец. Выслушав жену и сына, сказал с сожалением:

— Зря ты, Янош, так много рассказывал гостям о России. Я уж хотел тебя остановить, да неудобно было. Конечно, разошлось по городу...

— Но в этом нет ничего преступного! Все интересовались, я увлекся...

— Твои увлечения всегда выходили тебе боком. Я думал — ты уже остепенился... — Отец задумался. — Кто бы мог желать тебе зла? Неужели молодой Бекешче испугался за Эржику?..

— Мне эта мысль тоже пришла, отец...

— Не думаю... Он не подлец. Я знаю их семью. Нет-нет. Может быть, кто-нибудь из твоего эшелона, твой тайный враг?

— Из офицеров? Нет, из нашего сибирского лагеря никого не должно быть — все они остались за фронтом.

— Слухом земля полнится... Может, кто-нибудь из них успел до чешского мятежа перебраться на западную сторону Урала? Ведь ты сам рассказывал — после того как установилась советская власть, все пленные стали свободны, и каждый мог уехать, куда хотел.

— Так-то оно так. Но повторяю — я не знаю за собой никакой вины. Ее еще нужно доказать. Презумпция невиновности...

— Ты, сын мой, конечно, преуспел в юриспруденции, когда служил у адвоката. Но я знаю этих крючкотворов — нашего прокурора и его присных. Если им прикажут влиятельные в городе люди — они и ангелу небесному подберут статью уголовного кодекса. Найдут и свидетелей, и доказательства. Ты ведь собирался в Будапешт? Так уезжай поскорее от греха подальше.

— Но это будет означать, что я струсил!

— Ты все такой же... Не струсил, а проявил разумную предусмотрительность. Ты чего хочешь? Чтобы тебя посадили, а потом ты доказывал бы свою невиновность? Поезжай, Янош!

Янош подумал-подумал и согласился. В конце концов, несколько дней не играют роли, а ради формального принципа рисковать свободой — глупо.

— Ну вот и хорошо! — сказал отец. — В Будапешт поезд будет только завтра в полдень. Но сегодня вечером через Вашварад проходит поезд оттуда. Я куплю тебе билет, ты пройдешь на перрон, только когда состав уже будет стоять, сразу же сядешь в вагон. Сойдешь через несколько остановок — там, где кончится билет, — и подождешь завтрашнего поезда в Будапешт. Да не выходи из дому в шинели — очень уж приметно, хоть время и ночное. Береженого бог бережет. Я дам тебе свое пальто и шляпу.

— О, да ты, отец, настоящий конспиратор! Где только научился?

— Жизнь всему научит... Что ж, собирайся, если не смог удержать язык за зубами. Твой язык по-прежнему служит тебе плохую службу.

— Бедный наш сынок! — всхлипнула мать. — И дома не пожил.. А как же костюм? — вдруг вспомнила она. — Ведь еще одна примерка! О, дева Мария! Теперь тебе и домой-то вернуться нельзя будет...

— Почему нельзя, мама? Скоро все переменится. Свершится у нас социалистическая революция, как в России, и я вернусь домой как заслуженный гражданин города Вашварада. Или как уполномоченный советской власти.

— И ты еще шутишь? Ох, горе мое, надо поскорее собрать тебя!

Через полчаса, надев отцовское пальто и поглубже нахлобучив слишком просторную ему шляпу, с небольшим чемоданчиком в руке, Янош в сопровождении отца вышел в темноту.

Глава пятая

ВЕЛИКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Вечером следующего дня Янош был уже в Будапеште. У него имелся адрес для связи, полученный еще в Москве, но теперь конспирации не требовалось — коммунисты получили возможность действовать свободно, как действо-

вали до этого и продолжали действовать социал-демократы. Гомбаша направили к Беле Куну, который не так давно в числе других руководителей венгерских коммунистов вернулся из России.

— Припоминаю, припоминаю вас! — улыбнулся Гомбашу Кун, когда тот пришел к нему. — Москва, эсеровский мятеж шестого июля?

— Да, во взводе товарища Самуэли, брали почтамт.

— Отлично. Значит, мы с вами старые соратники, обстрелянные бойцы. Сейчас нас, вернувшихся из России активистов партии, наберется в Будапеште, пожалуй, больше сотни. И еще едут, разными путями.

— Из ломского интернационального батальона никого не встречали?

— Ищете «земляков»? Нет, не встречал... Да, вы ведь заезжали в свой родной город? Как там? Какая обстановка?

Гомбаш объяснил, по какой причине он оказался в Будапеште раньше, чем предполагал.

— В провинции реакционеры пока еще сильны, — сказал на это Кун. — Но в данный момент главное для нас — Будапешт. Здесь решается все...

Кун рассказал: незадолго до его отъезда в Москве, в гостинице «Дрезден», где обосновались бывшие военнопленные, ставшие членами венгерской секции партии большевиков, они провели совещание. Решено было окончательно порвать с социал-демократической партией, куда некоторые из них входили до войны, и создать самостоятельную Коммунистическую партию Венгрии.

— В резолюции говорится, — сообщил Кун, — «В целях быстрейшего создания нашей партии каждому коммунисту-венгру в самое ближайшее время возвратиться на родину и все свои силы отдать служению всемирной революции». Так что можете гордиться, товарищ Гомбаш, вы прибыли, так сказать, в авангардном отряде, даже раньше нас.

— Когда же будет объявлено, что партия создана? — спросил Гомбаш. — Ведь мы — только малая горсточка, закваска...

— Закваска — это верно! — рассмеялся Кун. — Ничего, что нас еще мало. Партия уже существует! Вы только сегодня прибыли в Будапешт?

— Да, утренним поездом.

— А, так вы могли и не знать, что о создании партии объявлено всенародно еще позавчера. В нашей, так ска-

зать, штаб-квартире, на улице Варошмайор, в Буде, собрались члены учредительных групп и доверенные рабочих коллективов Будапешта. Теперь полным ходом создаются коммунистические фракции на предприятиях, в профсоюзах. Профсоюзные эсдековские бонзы хотели бы, да уже не решаются, вернее, не могут воспрепятствовать этому. У них же полно таких, которые не хотят оставаться в партии соглашателей, рвутся быть непримиримыми революционерами. Создаем партийные организации с размахом — на всех фабриках и заводах Будапешта. И в частях гарнизона тоже. Поверьте — нелегкая это работа. Социал-демократы, правые, суют нам палки в колеса. Но ничего, наше дело продвигается.

Познакомив Гомбаша с положением в партии, Кун сказал:

— Вы прибыли очень ко времени. Сейчас у нас каждый способный работать на счету. Вы журналист — это прекрасно. Но газет у нас пока нет. Для начала — сейчас это очень важно — мы хотели бы поручить вам агитацию в казармах. Агитацию прежде всего печатным словом. При помощи листовок. Вы служили, да еще унтер-офицер, вы знаете военную среду, у вас дело пойдет. Хочу сразу предупредить — будет трудно. Очень! В армии еще сильно влияние социал-демократов с половинчатой политикой, немало там и самых отъявленных реакционеров. Так что будьте осторожны.

— Мне приходилось иметь дело с реакционерами, — заметил Гомбаш.— В ломском лагере, в Сибири, меня чуть не растерзали офицеры, спасибо, спас русский солдат-часовой.

— Ну, значит, имеете опыт, — улыбнулся Кун. — Как это говорят у русских? Побитый вдвое дороже небитого?..

— За одного битого двух небитых дают, — уточнил Гомбаш.

— О, да вы хорошо знаете русский язык! Кстати, — сообщил Кун, — этот язык вам и в Будапеште пригодится. Здесь есть группа русских большевиков, в основном еще довоенные эмигранты. Отличные марксисты! Они помогают нам в подготовке пропагандистских материалов. Есть и из русских пленных хорошие организаторы. Вам с ними придется иметь дело...

После встречи с Куном, наскоро устроившись с жильем — в небольшой дешевой гостинице недалеко от центра, Гомбаш весь ушел в порученную ему работу. Писал для солдат листовки, организовывал их печатание и распро-

странение в казармах. Вновь он был в своей стихии, занимался любимой работой. В той же типографии, раздобыв русский шрифт, печатали листовки и брошюры для русских солдат, пленными попавших в Венгрию. Постоянную помощь оказывали ему большевики из будапештской группы Российской Коммунистической партии. Как стало известно Гомбашу, эта группа сложилась еще в конце семнадцатого года, вскоре после Октябрьской революции, когда в Будапеште побывал, сумев преодолеть сложнейшие препятствия на пути, присланный из России представитель Центрального Комитета партии большевиков. Особенно близко сошелся Гомбаш с одним из будапештских большевиков, Козышниковым, который редактировал и сам писал многие листовки и часто бывал в типографии — лично правил корректуру. Козышников эмигрировал в Венгрию еще до войны, спасаясь от преследований царской полиции. Он был образованным марксистом, неплохо владел венгерским. Впрочем, Гомбаш свободно беседовал с ним и по-русски: три года жизни в России помогли овладеть языком. Советы Козышникова весьма пригодились Гомбашу, когда он сочинял листовки или готовился к спорам с правыми социал-демократами о том, созрел или не созрел рабочий класс Венгрии для социалистической революции, — а такие споры ему на собраниях в казармах приходилось вести часто. Споры эти порой бывали небезопасны. Однажды в разгар дискуссии один из офицеров выхватил революьвер и с криком: «Смерть предателю нации!» — хотел выстрелить. Хорошо, что его успели удержать солдаты. В другой раз в одной из казарм, где Гомбаш доказывал, что надо требовать передачи власти Советам, его хотели арестовать за противоправительственную агитацию. И снова Гомбаша выручили солдаты-единомышленники: они отбили его и вывели из казармы.

Через некоторое время ему поручили еще одно важное и небезопасное дело: тайно добывать в гарнизоне оружие для отрядов, создаваемых на заводах и фабриках Будапешта, — коммунисты начинали готовить рабочий класс к вооруженному восстанию. Гомбаш с помощью друзей, которых теперь у него много было в частях гарнизона, успешно выполнял поручение: сотни винтовок, десятки ящиков патронов разными тайными путями были переправлены на заводы и до поры спрятаны там.

Не прошло и двух недель после приезда в Будапешт, а дел было переделано столько, что казалось: минули месяцы. Гомбаш с нетерпением ждал, когда начнет выходить

партийная газета, собирался работать там. Но в последний момент ему сказали: «В газету еще успеете. Сейчас важнее продолжать заниматься листовками для солдат. У вас это хорошо получается». Седьмого декабря вышел первый номер партийной газеты «Вереш уйшаг». Но Гомбаш остался на прежнем деле.

А события продолжали бурно развиваться.

В один из декабрьских дней солдаты будапештского гарнизона вышли на улицы с красными полотнищами, на которых было написано: «Вся власть Советам!», как два года назад в России. Гомбаш, шедший вместе с солдатами, был преисполнен гордости: ведь это результат и его работы! Теперь солдаты не просто ждут, когда перемирие станет миром и их отпустят домой. Они требуют настоящей народной власти, которая законом сделает то, что пытаются явочным порядком осуществить на местах, — рабочие берут управление предприятиями в свои руки, крестьяне и батраки требуют разделить помещичьи земли. И все чаще правительство пытается воспрепятствовать этому, не останавливаясь даже перед применением оставшейся старой полиции, жандармерии, а то и войск.

Однажды утром — это было уже в феврале — Гомбаш, как обычно, шел в типографию, чтобы вычитать текст листовок, которые должны были набрать накануне. Еще издали увидел возле типографии нескольких солдат с винтовками, на которых примкнуты штыки, и двух офицеров с кобурами на поясах. Поблизости стоял грузовик, в котором под охраной двух полицейских сидели, понурившись, несколько человек в штатском. Почуяв неладное, Гомбаш повернул назад. Зайдя в ближайшую лавочку, где был телефон, позвонил в типографию. Ответил незнакомый голос, громкий и властный. Гомбаш попросил к телефону метранпажа — своего доброго знакомого, коммуниста. «Его нет!» — услышал в ответ. «А где он?» Голос в трубке несколько помедлил: «Вышел, скоро будет. А кто его спрашивает?» Гомбаш назвал себя, спросил: «С кем я говорю?» «Вы хотите что-нибудь передать?» — «Но я должен знать, с кем говорю». В трубке помолчали, потом сказали: «Минуточку...» — и послышался уже другой голос. Говоривший назвал себя — это был один из наборщиков, известный Гомбашу. «Кто со мной сейчас разговаривал?» — спросил Гомбаш. «Это... один из заказчиков», — ответил наборщик явно смущенно. «Почему возле типографии солдаты?» — «Не знаю...»

Гомбаш положил трубку. «Напали на типографию!

Надо немедленно сообщить в ЦК». Встревоженный, назвал телефонистке нужный номер. «Капитан Сабо у телефона!» — послышалось в ответ. Теперь все, пожалуй, ясно...

Вскоре Гомбаш узнал, что члены Центрального Комитета партии во главе с Куном схвачены и брошены в тюрьму, редакция «Вереш уйшаг» разгромлена, аресты партийных активистов идут по всему Будапешту, по всей стране.

То, что произошло, не было полной неожиданностью для Гомбаша. Он знал, что руководство партии предвидело возможность террора и подготовилось в случае необходимости действовать в условиях подполья.

Имел соответствующие инструкции на такой случай и Гомбаш. Не заходя за вещами в гостиницу, где его могли схватить, он перебрался на дальнюю окраину города, в Обуду, поселившись под видом квартиранта в домике сочувствующего коммунистам старого учителя, давно готового, если потребуется, предоставить убежище.

На случай перехода на нелегальное положение Гомбаш имел документы на имя Антала Хевеша, унтер-офицера, уволенного по болезни и подыскивающего себе занятие в Будапеште. Через несколько дней, восстановив связи, Гомбаш продолжил свою работу: готовил листовки, которые теперь печатались уже тайно, снова вел агитацию среди солдат — только с бóльшими предосторожностями, чем раньше.

Гомбаш был уверен, что на положении подпольщика ему придется жить не так уж долго. Пусть правые социал-демократы кричат, что они предотвратили вооруженное выступление коммунистов против демократии. Пусть буржуазные политиканы обвиняют их в посягательстве на республиканские свободы. Пусть явные реакционеры видят в преследовании коммунистов отрадный для себя признак поворота к старым временам. Пусть все они ликуют, и радуются, и тешат себя надеждой, что обезглавили коммунистическую партию. Но партия жива! За нею главное — поддержка масс.

Уже в первые часы, после того как стало известно, что руководители коммунистов брошены в тюрьму и там их избивают, перед зданием парламента собрались сотни людей, сам собой начался митинг. Зазвучали гневные речи: прекратить расправу! Чуть позже на улицы вышли рабочие многих предприятий и солдаты.

В этот же день правые социал-демократы молниеносно

распространили клевету, что против их партии и против правительства коммунисты начинают вооруженное выступление. С помощью этой клеветы вожакам социал-демократов удалось обмануть и вывести на площадь перед парламентом вооруженных рабочих, искренне веривших, что они идут защищать демократию... Эти рабочие, как и многие другие, еще не понимали, что спасение страны — не в расплывчатой демократии, якобы способной сделать сытыми волков и целыми сохранить овец, а в твердой диктатуре пролетариата. Но чтобы этот крутой поворот стал возможен, надо еще больше, еще терпеливее и бесстрашнее работать — вместе со временем.

А время действительно работало, служа той же цели. После того как в ноябре было заключено перемирие с Антантой, она, действуя с позиции силы, не раз вынуждала венгерское правительство отводить свои войска от демаркационной линии, установленной соглашением о перемирии. В первых числах декабря войска румынского королевства на юго-востоке, в Трансильвании, без всякого предупреждения перешли линию разграничения и продвинулись вперед на десятки километров. В конце декабря Антанта предъявила Венгрии требование освободить территории на севере, с тем чтобы они тут же были оккупированы только что созданными войсками нового государства — Чехословакии. А через три месяца, двадцатого марта, последовала еще одна нота Антанты, на этот раз с требованием отвести венгерские войска на востоке страны на пятьдесят — восемьдесят километров — в этом был явный расчет отторгнуть от Венгрии ее исконные приграничные земли. Возмущение охватило всю страну. Те, кто надеялся, что «западные демократии» обеспечат справедливый мир, оказались жестоко разочарованными. Еще не так давно правительство все свои надежды на установление такого мира, который не повлек бы отторжения земель от Венгрии, связывало с именем американского президента Вильсона, самого влиятельного среди глав государств Антанты. «Вильсон, Вильсон и еще раз Вильсон!» — восторженно восклицал Каройи на заседании руководства своей партии в декабре. Но после мартовской ноты Антанты ни Каройи, ни его сторонники уже не славословили Вильсона. Еще бы: эта нота — а к ней, безусловно, приложил руку и Вильсон — сильнейший удар по престижу правительства Каройи. Нота как бы подтверждала, что надежды Венгрии на сохранение самостоятельности не могут быть связаны с Западом. Значит, правы

коммунисты, призывая обратить эти надежды на Восток — к Советской России, к Ленину. А в Москве в начале марта произошло событие международного значения: на учредительном конгрессе, в котором наряду с представителями компартий других стран приняли участие и венгерские коммунисты, был создан союз коммунистических партий всего мира — Коммунистический Интернационал. А это означало, что влияние коммунистов увеличится всюду. Уже через несколько дней поступили сообщения, что Красная Армия Советской России успешно наступает в Галиции и Бессарабии, что Красная Армия Украины продвигается на юго-запад, к границам Венгрии. Прошел даже слух, что Красная Армия так близко подошла к Карпатам, что с венгерской стороны слышен гул пушек на их западных склонах. В эти дни даже многие из тех, кто был враждебно настроен к Советской России и коммунистам вообще, стали надеяться, что успехи Красной Армии помогут сохранить целостность Венгрии: ведь если армия Советов дойдет до ее северных и восточных границ — Антанта вынуждена будет посчитаться с этим.

Двадцатого марта на заседании совета министров, когда обсуждалась только что полученная нота Антанты, президент республики Каройи заявил, что «спастись можно только при помощи Интернационала», и предложил передать власть социал-демократам — пусть они вступят в соглашение с коммунистами, чье влияние на массы и на армию растет не по дням, а по часам.

Предложение президента было принято министрами: они надеялись с помощью социал-демократов выйти из трудного положения, умиротворить негодующие массы, а затем, когда кризис, вызванный последней нотой Антанты, минует, в удобный момент оттеснить социал-демократов и снова вернуть себе власть.

Но обанкротившееся правительство не учло, да и не могло учесть, будучи далеким от масс, сколь быстро растет авторитет коммунистической партии. Число желающих сблизиться с коммунистами среди социал-демократов увеличивалось с каждым днем. Руководство социал-демократов не могло не видеть, что их партия — тоже накануне банкротства, что правительство, если оно будет состоять только из социал-демократов, окажется таким же бессильным, как и буржуазное. Чтобы сохранить хоть какие-нибудь позиции в политической жизни страны, пришлось скрепя сердце принять решение объединиться с коммунистами.

Тем временем правительство, видя, что вся Венгрия возмущена нотой Антанты, отклонило ее и заявило об уходе в отставку, о готовности передать власть правительству, которое сформируют социал-демократы. Но их руководство не обрадовалось этому: партия теряет влияние на массы, в такой обстановке брать на себя бразды правления страшновато...

На следующий день, двадцать первого марта, утром, на Чепеле собрались представители крупнейших заводов и фабрик Будапешта и заявили, что их коллективы полностью на стороне коммунистической партии и требуют освобождения ее руководителей. Подтолкнутое этим требованием руководство социал-демократов в то же утро отправило своего представителя в тюрьму для переговоров с арестованными членами ЦК коммунистов.

Переговоры завершились соглашением о слиянии коммунистической и социал-демократической партий. Новую партию решено было назвать Венгерской социалистической партией. Было создано совместное правительство, провозглашалась Венгерская советская республика.

В тот же день, двадцать первого марта, Гомбаш перестал быть Хевешем и поспешил в Центральный Комитет узнать, что ему теперь поручается.

— Самое срочное для нас сегодня, — сказали ему в ЦК, — создать органы пролетарской диктатуры на местах. Для помощи туда, где еще мало коммунистов, посылаем надежных членов партии. Вы с двумя товарищами поедете в Хатван. Основная сила там — железнодорожники узла и солдаты гарнизона. На них и опирайтесь.

Тотчас же Гомбаш выехал в Хатван — город в двадцати километрах от Будапешта. Вернулся, как и было условлено, через три дня. Когда доложил в ЦК о выполнении поручения, ему сказали, что он должен явиться к товарищу Самуэли.

В большой комнате, куда Гомбаш пришел в назначенное время, на разномастных стульях, расставленных как попало вокруг стола, на котором ничего не было, кроме телефона, сидели человек двадцать штатских и военных. Кое-кто из них был знаком Гомбашу по недавней агитационной работе среди солдат.

— Зачем нас собирают, не знаете? — спросил он сидевшего рядом здоровяка в поношенном кителе со споротыми петлицами.

— Товарищ Самуэли назначен заместителем народного комиссара по военным делам, — ответил сосед. — Ви-

димо, по этим делам мы и понадобимся. Ведь и у нас должна быть армия, как в Советской России...

— Я служил там в Красной Армии, — не удержался Гомбаш.

— Да? Ну тогда с вашим боевым опытом... Вы, наверное, командовали?

— Взводом интернационального батальона.

— На каком фронте?

— В Сибири и на Урале.

— О! По-русски это называется земляк! — откликнулся другой, из-под расстегнутого штатского пальто его виднелся военный мундир. — Я тоже воевал на Восточном фронте, возле города Екатеринбург.

— Именно там наш батальон вышел на соединение с Красной Армией!

— Летом прошлого года?

— Да, когда белые наступали...

— А, слышал, слышал про ваш батальон! Это вы проплыли из Ломска на пароходах, обогнув с севера белый фронт?

— Да, было такое путешествие...

В дверь заглянул работник Центрального Комитета, который направил сюда Гомбаша:

— Прошу извинить! Товарищ Самуэли задерживается на совещании. Придется еще подождать.

— Скажите, товарищ! Вопрос о создании новой армии уже решен? — спросил Гомбаш.

— Сейчас он обсуждается.

— Что же тут особенного обсуждать? По-моему, все ясно — надо создавать Красную армию. Такую, как в России.

— Это нам с вами ясно, — улыбнулся работник ЦК. — Нам, коммунистам. Но хотя теперь социал-демократы с нами в одной партии, точки зрения могут разойтись. А товарищ Погань, народный комиссар по военным делам, как известно, социал-демократ. Я уж вам скажу, товарищи, тут особого секрета нет,— разногласия довольно существенные... в первую очередь между народным комиссаром и его заместителями. Вот и сейчас спорят... Товарищ Погань настаивает: армию комплектовать только из добровольцев...

— Но опыт Советской России показал, что на одних добровольцах сильной армии не построить. Сейчас там призывают в армию, — напомнил Гомбаш. — Неужели товарищ народный комиссар Погань унаследовал свой

принцип от прежнего правительства? Там ведь тоже проектировали создание армии исключительно из подобранных по вербовке...

— Вот-вот! — поддержал Гомбаша его сосед. — Армию такую, которая не поддавалась бы влиянию масс, была бы послушным орудием правящих кругов. Но буржуазия боялась масс, а нам что — себя бояться?

От раскрытой рывком двери в комнату шагнул Самуэли — в распахнутой кожаной куртке, с фуражкой в руке.

— Здравствуйте, товарищи! Извините, что заставил ждать...— Прошел на середину комнаты, быстро оглядел собравшихся: — Мы с вами все, пожалуй, знакомы. А с некоторыми и встречались.— При этом Самуэли взглянул и на Гомбаша. — Каждый из вас, так или иначе, вел работу среди солдат. Поэтому мы и собрали вас здесь. Нашей армии, которую сейчас создаем, вы очень понадобитесь. Для проведения линии партии. Хотя, — Самуэли несколько иронично улыбнулся, — есть и такие суждения, что армия должна быть подальше от политики. Но это какая-нибудь другая армия, но не армия пролетарского государства. Не скрою, до последнего времени, буквально до последнего часа, в нашем руководстве не было единства в вопросе, какой должна быть армия советской Венгрии. У товарищей, которые пришли в нашу партию из социал-демократической, были свои предложения, у нас, коммунистов, — свои. Но сейчас мы достигли наконец единого мнения. Проект декрета о создании армии республики обсужден, согласован и завтра будет обнародован в газетах. Считайте, что декрет уже есть. Согласно декрету наша армия, как и у русских товарищей, будет называться Красной армией рабочих и крестьян, комплектоваться будет не только добровольно, но и по призыву. Вы не хуже меня знаете — наша республика почти со всех сторон, кроме австрийской границы, окружена армиями Антанты, которая грозит нам. По настоянию коммунистов Центральный Комитет принял решение — в каждую воинскую часть назначить политического комиссара. Мы пригласили вас сюда, чтобы дать каждому из вас такое почетное партийное поручение. Это не только честь, но и ответственность. Прежде чем позвать вас, мы думали над каждой кандидатурой. Но если кто-нибудь из вас чувствует себя не готовым принять эту ответственность — найдите мужество заявить сразу... Есть такие товарищи? Нет?.. Ну что же, — выждав, сказал Самуэли, — значит, мы в ЦК ни в ком из вас не ошиблись. Тогда перейдем к делу... Кому в какую

часть — определим позже. А сейчас хочу вам сказать: начинайте с того, чтобы установить правильные отношения с командирами. Не давить на них, не сковывать их волю. Но делать так, чтобы все их действия, все приказы не противоречили, а соответствовали бы линии нашей партии. Имейте в виду, товарищи, в командном составе останется много бывших офицеров — своих классовых командных кадров у нас пока нет. Вам потребуется сразу же разглядеть, искренне ли, честно ли хочет служить советскому государству каждый бывший офицер в вашей части, не враг ли он, готовый вонзить нам нож в спину, а такие, несомненно, будут, и немало. Сами знаете: большинство кадровых офицеров — из помещичьих семей. Да и те, что стали офицерами во время войны, тоже большей частью непролетарского происхождения. И красноармейцы не будут одинаковыми: найдется немало таких, у которых головы еще заморочены правыми социал-демократами. В армию, если не будем бдительны, постараются протянуть свою руку те, кто готов продать Венгрию хоть черту, лишь бы в ней не было советской власти. Стройте работу так, чтобы вся красноармейская масса шла только за нами, за коммунистами, понимала, чего мы хотим для народа и родины!..

Самуэли и один из его помощников стали распределять всех новоявленных комиссаров по полкам и дивизиям, которые еще предстояло создать на базе гарнизонов, оставшихся от старой армии. Получая назначение, комиссары расходились, комната постепенно пустела. Гомбашу пришлось ждать своего назначения дольше всех — очередь его оказалась последней. В комнате остались только он, Самуэли и его помощник.

— Вы не обижаетесь, что мы так и не послали вас работать в газету? — спросил Самуэли.

— Что обижаться? — Гомбаш пожал плечами. — Видимо, такова революционная целесообразность.

— Вот именно — целесообразность. Я ведь тоже журналист и свою работу люблю. Но партия послала меня не в «Вереш уйшаг», а сюда. В редакциях у нас людей хватает, а вот вести работу непосредственно в массах... Вы, товарищ Гомбаш, опытный агитатор. Поэтому мы хотим послать вас комиссаром в Отдельный Интернациональный батальон.

— В тот, который, кажется, формируется в келенфельдских казармах?

— Нет. Интернациональные части создаются не толь-

ко в Келенфельде. Батальон, в который мы посылаем вас, будет по составу в значительной степени славянским. Так что знание русского языка вам пригодится.

— Батальон уже укомплектован?

— Еще нет. Но командир уже назначен — наш соотечественник, лейтенант Фойяш.

— Лейтенант? Молодой?

— Ему под сорок — произведен уже во время войны. Сами понимаете, командование батальоном можно поручить лишь тому, кто обладает офицерскими знаниями и опытом.

— А каковы его политические взгляды?

— Из левых социал-демократов, нашу программу признает. Но все-таки приглядитесь к нему. Приступайте к обязанностям сегодня же.

— Я готов.

Так Гомбаш стал комиссаром батальона, который формировался в одном из предместий Будапешта.

Глава шестая

ИНТЕРБАТ

Прохожие с любопытством разглядывали идущих строем солдат необычного вида — в обмундировании без погон, в черных матросских бескозырках с матерчатыми красными значками на околышах. Комиссар Интернационального батальона Гомбаш вел отобранное им в келенфельдских казармах пополнение.

Путь предстоял далекий — чуть ли не через полгорода. Когда немного отошли от казарм, Гомбаш, шагавший сбоку, подозвал Кедрачева — не терпелось наговориться: шутка ли, два с половиной года не виделись. Шли, разговаривая вполголоса. Незаметно от воспоминаний перешли к сегодняшним дням.

— Ты расскажи хоть, что за батальон у тебя? — задал Кедрачев давно вертевшийся у него на языке вопрос.

— Как полностью укомплектуемся, — ответил Гомбаш, — будет у нас три роты: ваша русская, а еще польская и сербская. Примерно такой же разноплеменный состав, как было в ломском интербате. Еще есть пулеметный взвод австрийцев...

— Австрийцы-то откуда взялись?

— Из Вены, социал-демократы. Приехали со своими

пулеметами в самые первые дни, как узнали, что создается Красная армия. Нашему батальону выделили четыре пулеметных расчета. А телефонная команда — та из одних венгров.

— Как же они станут по телефону говорить, например, с нашей ротой?

— Очень просто. Почти все немножко по-русски понимают.

— В плену, что ли, обучились?

— Там.

— Плен — он обучит. А ваш язык, Янош, ох как труден для нашего брата!

— Ну и ваш не легче!

— Это верно... Слушай, а почему из нашего брата русака тольку одну роту сделали? Ведь наших у вас по государству, поди, многие тысячи набрать можно.

— Подождем, пока наберутся. Мы же не мобилизуем — только добровольцев принимаем. Надеемся, что к нам придут многие, те, что еще в плену сознательными стали. Ведь революционная пропаганда шла во всех лагерях.

— У нас в лагере тоже немножко это дело велось, — вспомнил Кедрачев. — Прапор один от русского комитета какого-то — кажись, из Швейцарии — получал брошюрки, читал вслух. Помню, была такая брошюра — «Кому нужна война», потом еще по земельному вопросу в России прапор читал, и солдаты шибко спорили, как с землей обойтись. Даже газету помню, он тоже ее из Швейцарии получал — «На чужбине» название, эсеровская, похоже, газетка... Читал как-то прапор листовку и о программе РСДРП. А вот к какой партии он сам принадлежит — так я и не понял.

— А большевики у вас в лагере были?

— Не встречал. Может, и были, да не объявлялись до поры.

— Сам-то ты в партии, Ефим?

— Когда мне было вступать? В Ломске вроде рано было — сознательности для партийства не накопил. А потом — фронт обратно, почти что сразу в плен...

— Теперь-то сможешь.

— Кто ж меня примет?

— В Будапеште есть русская большевистская организация. С ноября прошлого года, когда у нас республика установилась.

— Это кто же ее образовал? Пленные солдаты?

— Не только. Есть большевики, которые еще до войны в Австро-Венгрию эмигрировали.

— А в войну их не трогали?

— Трогали... Интернировали.

— Значит, под замок?

— Вот именно. А после крушения империи действуют свободно.

— Что же это — вроде большевистского ЦК за границей?

— Не совсем. Просто организация русских большевиков. Действует в полном согласии с нашим Центральным Комитетом. А насчет вступления в партию — так мы примем тебя нашей батальонной организацией. Как только она образуется.

— А чего ж не образовалась? Что мешает?

— Ждем от ЦК директивы, как создавать. Да все нет ее... Ты знаешь, Ефим, у нас в высшем руководстве бывших социал-демократов немало. Вот и разногласия...

— Слушай, Янош! Сдается мне, как-то чудно у вас получилось: все социалы вдруг в коммунистов перевернулись. Это если бы у нас в России, к примеру, большевики всех эсеров к себе в партию приняли — что вышло бы? Никакого ладу... Сгубили бы, пожалуй, и партию, и советскую власть.

— Думаешь, мы у себя в Венгрии не видим такой опасности? Видим, Ефим. Но обстановка заставляет нас действовать совместно с нашими недавними преследователями. И потом... В России партия три революции прошла. Какой многолетний опыт борьбы! А наша партия? Ей и года нет. Возраст младенца...

— Ты, Янош, больно-то не прибедняйся. Этот младенец успел уже дел наворочать. Недаром с вами не только ваши меньшевики, или, как их, правые, вынуждены ладить. Сама госпожа Антанта и не хотела бы, да считается. А главное — народ вашу партию уважает. Сколько законов уже издали...

— Издать — мало. Надо еще их осуществить. Но как бы нам, Ефим, вместо мирных дел воевать не пришлось.

— Воевать не привыкать. Надо так надо. — Ефим кивнул на колонну бойцов, рядом с которой они шагали. — Все так считают. И мое отделение, конечно.

— Ты своих бойцов знаешь?

— Считай, знаю.

— Расскажи, что за люди. Все из пленных?

— Двое не пленные — Рубин да Холонец. Остальные —

наш брат, по лагерям тертый. Ничего мужички. Вот Никитенко, к примеру, мы с ним в одном лагере были, он из матросов, с Черноморского флота.

— Матрос? Как же он попал в плен на суше?

— Из пехоты. Его с корабля за смутьянство на фронт сослали.

— Молодой?

— Да чуть постарше нас с тобой, тридцати, поди, еще нет. Вон он в шеренге с краю, высокий такой, с черным чубом. Обрадовался, как дитя, когда бескозырки стали получать. Ленточку к своей прицепил. А так — мужик серьезный. Он из киевских железнодорожных мастерских, еще молодым там в забастовщиках был и с большевиками знался. У нас в лагере он вроде как в активе был у того прапора, что брошюрки читал. Нашего матроса в лагере уважали — смелый, начальства не боялся. Помню, начали мы бунтовать из-за пищи — больно плохая была, — так Никитенко первым заводилой стал. Ну и пострадал...

— Как?

— Известно как. Сначала начальник лагеря велел подвесить его за руки на два часа, а потом — в карцер.

— А тебе не досталось?

— Мне — как и прочим. Двое суток нас продержали не евши — после этого и худая пища пошла. Начальство — оно знало, как укрощать... А насчет Никитенко, я тебе скажу, — это первой статьи боец будет.

— Отлично. Если бы все такие же...

— И другие есть — Никитенко под стать. Возьми вот Торопыгина — видишь, рядом с Никитенко, слева, они уже подружиться успели. Торопыгин — из ярославских мужиков, да сызмальства в Петрограде работал.

— На заводе?

— Нет, в мастерской у хозяина. Торопыгин — краснодеревщик, дорогую мебель делал. Любит погордиться: я, говорит, мастер — золотые руки! Бой-парень! Он к нам из французской армии прибыл.

— Французской? Каким образом?

— А ты что, не слыхал — на вашей земле французы стоят?

— На юге, возле города Сегеда, знаю. Но почему твой Торопыгин у французов оказался?

— На войне чего не бывает! Сначала он солдатом во Францию попал...

— В Русском экспедиционном корпусе?

— В нем самом. Потом там солдаты, когда прослы-

шали, что в России революция, бунтовать стали. Раскассировали их кого куда. Иные аж в Африку угодили. Торопыгину поближе выпало — в Югославию, во французскую армию. Ну а с нею и у вас оказался. А как узнал, что здесь советская власть образовалась, — вместе с двумя французами, которые тоже под красным флагом воевать захотели, к вам перешел. Но тех французов — куда-то в другую часть, а Торопыгина — к нам. Еще Воропушин у меня в отделении — вон тот, в годах. Из крестьян... Да, Янош! У меня в отделении даже землячок нашелся!

— Из Ломска?

— Нет, по соседству, из-под Ачинска. Шишкарев. Он мне и по фронту, можно сказать, земляк. В пятнадцатом году при брусиловском наступлении меня ранило — и в тыл. А он в то же время в плен попал: больно лихо воевал, вперед рвался. Серьезный человек. Не то что Торопыгин, который словами — как пулемет. Из этого сло́ва клещами не вытащишь. Вот ежели обидится — а он обидчивый, — тогда держись. Так обложит, что не прокашляешься. А вообще я его уважаю, насколько узнать успел. Очень старательный товарищ. Форму получили — так он все пуговки заново попришивал, чтобы крепче сидели.

— Крестьянин?

— Чалдон таежный, коренной. И силен, дьявол... Как-то начали бороться шутейно, так он вызвался. Один, говорит, против двух могу — загреб в каждую руку по одному, они только ногами дрыгают.

— Вот чем вы, оказывается, в Келенфельде занимались!

— А что? Надо же косточки поразмять, пока делать нечего.

— Ну-ну... Вот придем на место, дорогой Ефим, и сразу дела навалятся. Командиры только и ждут, когда роты укомплектуются, чтобы занятия начать.

— А кто наши командиры-то?

— Вашей русской роты — прапорщик Свечкин.

— Из каких он?

— Из студентов.

— Значит, господских кровей?

— Не очень господских. Отец его какой-то мелкий чиновник.

— А в партии он какой?

— Гордо заявляет, что он — вне партий, за народ. Но настроен весьма революционно. В батальоне есть ваши соотечественники, которые были вместе со Свечкиным в

одном лагере, отзываются о нем хорошо. Они и выдвинули его кандидатуру в командиры роты.

— А остальное начальство в батальоне?

— Сначала командиром батальона был назначен лейтенант Фойяш. С ним я уже начал ладить. Но вчера мне сообщили: Фойяш назначается начальником штаба батальона, а командиром присылают некоего капитана Баргаи.

— Это почему же?

— Говорят, Баргаи более опытен, кадровый офицер. Он уже прибыл.

— Он что, из старых офицеров?

— Потомственный! В семье все были военными.

— А советской власти сочувствует?

— Да не сказать, чтобы очень. Коммунистов — так совсем не любит. Прямо сказал мне при первом же знакомстве. Но такую прямоту, Ефим, уважать можно.

— Напрямки — оно, точно, честнее, чем с камнем за пазухой. А такому командиру можно доверять?

— Пожалуй, да. Баргаи мне сразу объяснил, почему пошел в Красную армию. «Считаю священным долгом, — сказал, — защищать мать-родину от внешнего врага, который хочет ее расчленить. Сейчас только ваше правительство способно организовать ему отпор. Поэтому я с вами». Я верю, что Баргаи будет воевать честно и дело свое знает — не в штабах отсиживался, всю войну в окопах. Но признаюсь, Ефим, мне немножко не по себе оттого, что его именно в наш батальон прислали. Уж лучше бы в какой-нибудь другой...

— Почему?

— Да потому, что он националист до мозга костей. Я бы сказал больше — шовинист! Он ненавидит — всех без разбора! — румын, чехов за то, что Антанта хочет отторгнуть для них венгерские земли, французов — за то, что они верховодят в Антанте, презирает русских, не любит австрийцев — все это он мне откровенно высказал, — и вот такого человека прислали командовать Интернациональным батальоном!

— Может, объяснить где надо, чтобы заменили?

— Да уже говорил. Но ответили, что не видят оснований заменять опытного командира, и я сам должен повлиять на него, чтобы он более прогрессивно мыслил. А на Баргаи не очень повлияешь. Он человек убежденный.

— Да, не повезло...

— Зато с начальником штаба хорошо вышло. Он ни-

чуть не обиделся, что вместо него другого прислали. Обрадовался даже: меньше ответственности. За свое штабное дело усердно взялся — расписание занятий продумывает.

— И этот потомственный?

— Нет, в войну из запаса призван. Русский язык хорошо знает...

— Тоже в плену был?

— Нет. До войны служил агентом торговой фирмы, которая поставляет оборудование для молочных заводов. Подолгу жил в России.

— Торгаш, значит... Ну из него военный, верно, не ахти какой...

— Ошибаешься, Ефим! У Фойяша боевой опыт немалый — с первого года войны на фронте. Командовал и взводом, и ротой, вот только выше лейтенанта не продвинулся, хотя ему уже под сорок.

— Что же так?

— Не любило его начальство: к солдатам слишком добр, всегда за них заступался.

— Значит, характер сильный, если с начальством спорил.

— Нет, Ефим, не скажу, что наш начштаба очень уж тверд волей. Но, видимо, как честный человек, он просто не может мириться с несправедливостью. Полагаю, это чувство и привело его к нам. Я его спросил, когда знакомились, как он относится к нашей партии и нашей власти. И он ответил: «Ваша партия — единственная, которая искренне борется с несправедливостью, поэтому я с вами». Прямо скажу, Ефим, по мне — лучше бы командиром был Фойяш, чем Баргаи. Фойяшу я больше верю. Он с нами готов до конца... А Баргаи — союзник временный.

— Так, может, нам самим загодя его от нас повернуть?

— Если бы... К сожалению, я комиссар не в России — там можно решительнее ставить вопрос. А здесь мои права пока что довольно ограниченны. У нас все значительно сложнее, Ефим!

В разговоре незаметно прошли длинный путь по городским улицам. Вот и новое место расквартирования — такая же, как и в Келенфельде, красного кирпича казарма, протянувшаяся чуть ли не на целый квартал.

— Здесь еще недавно размещался пехотный полк, — объяснил Гомбаш. — Но по условиям перемирия с Антантой Венгрия, ты, наверное, это знаешь, должна была распустить большую часть своей армии. Так что весь этот

полк разошелся по домам, и казармы до недавнего времени стояли пустые.

— Ну я пойду к своим, — заторопился Кедрачев.

Первые ряды пополнения уже заворачивали в сводчатые казарменные ворота, над которыми развевался красный флаг.

* *
*

С этого дня и началась служба Ефима Кедрачева в Интернациональном батальоне. Все его отделение было влито во взвод, которым командовал бывший унтер Нечитайло — щупленький, но с большими усами и громовым командирским голосом. Построив взвод, уже полностью укомплектованный, Нечитайло обратился к нему с речью:

— Теперь, дорогие товарищи интернациональные бойцы, наступил момент приняться за дело, чтобы больше зря казенный паек не проедать. Сегодня раздадим винтовки, начнем их изучать, чтобы знать от приклада до мушки, как свою жену.

— Чего ее изучать? — раздалось из строя. — Наизучались в окопах-то...

— Мы ее, голубушку, четыре года на руках нянькали!

— Нянькали, да не ту! — хитровато повел Нечитайло своими не по росту великанскими усами. — Здесь нашей родной трехлинеечки не сыщешь. Теперь с австриячками будете обниматься, а у них свой норов, надо всю их подноготную досконально знать. Ясно? На этом митинг кончаю и вообще предупреждаю, чтобы впредь никаких разговорчиков в строю.

— Во шкура! — тронул за плечо Кедрачева Торопыгин. — Как при старом режиме!

Осторожно шепнул Торопыгин эти слова, едва дотронулся до Кедрачева, но, видно, чуткий на ухо и на глаз, Нечитайло уловил. Слегка загнутые вверх рыжеватые острые усы дрогнули, и все его лицо — не лицо, а по общей мерке личико — обиженно и вместе с тем гневно сморщилось, он шагнул ближе к строю и, пристально глядя на Торопыгина, сказал сдержанно-спокойным, но нет-нет да и срывающимся на высокие тона голосом:

— Шкурой, к сведению тех, кто еще не знает, никогда не был. А унтер-офицерские лычки получил за дело, за то, что из немецких окопов живого офицера приволок и в штаб представил. А дисциплину буду спрашивать не

ради старого режима, а ради победы революции. Кому не нравится революционная дисциплина, тот может покинуть ряды. А с тех, кто останется, все одно буду требовать.

После этой короткой, но энергичной речи разговоров в строю больше не слышалось.

Оглядев строй, Нечитайло сказал удовлетворенно:

— Вот теперь я вижу революционную дисциплину! — и повел взвод к цейхгаузу.

Следом по широкому казарменному плацу шли и два других взвода русской роты. Ей первой в Интернациональном батальоне предстояло получить оружие.

Винтовки не просто выдавали — это было совмещено с церемониалом. Взводы выстроились трехсторонним каре перед дверями цейхгауза, откуда уже были вынесены и вскрыты ящики с винтовками. Возле ящиков стоял, чуть вздернув острый подбородок, командир батальона Баргаи — поджарый, высокий, в тщательно отутюженном, плотно подогнанном по фигуре офицерском кителе со споротыми петлицами, в солдатском кепи без кокарды. Рядом с ним — плотный, немножко как бы присаженный в плечах начальник штаба лейтенант Фойяш. Его слегка одутловатое, с мягкими складками у углов рта лицо, небольшие, не слишком ухоженные усики под мясистым носом, чуть прищуренные, сразу видно, добрые глаза и вдобавок давно не стриженные волосы, на затылке уже свисавшие за воротник мешковатого мундира, на котором отсутствовала пуговица правого грудного кармана, — все это придавало Фойяшу вид человека не военного, а наряженного в случайно взятую, не по фигуре, форму, — чем он разительно отличался от Баргаи, на котором форма сидела так, будто он в ней родился.

Рядом с Баргаи и Фойяшем стоял и комиссар Гомбаш. К нему, вызванные из строя, один за другим подходили бойцы, называли свою фамилию. Комиссар брал из ящика новенькую, тусклую от обильной заводской смазки винтовку и вручал ее бойцу со словами:

— Будьте верны оружию Республики Советов!

На что в ответ слышалось:

— Клянусь!

Дошла очередь до Кедрачева. Принимая из рук друга винтовку, он приготовился услышать те же слова, что комиссар говорил другим, но Гомбаш ничего не сказал ему, молча протянул винтовку, глянул в глаза, с легкой улыбкой кивнул. Кедрачев ответил как все:

— Клянусь!

После того как торжественная церемония была закончена, приступили к занятиям. В отделении Кедрачева незнакомая австрийская винтовка вызвала почти единодушное осуждение: и тяжелой она казалась, и чрезмерно сложной, и в руках неудобной — все привыкли к русской трехлинейке. Только Холонец отнесся к новой винтовке довольно спокойно: он-то знал ее еще со времени службы в австро-венгерской армии. Холонца и сделал Кедрачев главным консультантом при изучении винтовки, особенно по части возможных неполадок, какие могут случиться при стрельбе. Но Рабин отказался от советов Холонца, заявив:

— Сам разберусь.

Кедрачев усомнился:

— Ты же сроду винтовки не держал.

— Ну и что? Я граммофоны чинил. У винтовки механизм проще.

Рабин начал с того, что, сев в сторонке, разобрал винтовку до последнего винтика, разложил все части на припасенной газете, внимательно изучил их и собрал винтовку, еще раз разобрал и опять собрал — уже молниеносно, так, как не умел даже Холонец.

И первый, и второй, и третий день занимались только винтовкой. Из-за такого распорядка занятий у Гомбаша произошел первый спор с командиром батальона. Баргаи еще накануне дал Фойяшу распоряжение составить расписание занятий. Фойяш составил — обычное для казарменного положения, — выделив для изучения оружия часов не больше, чем для шагистики и ружейных приемов. Баргаи это расписание утвердил, не посчитавшись с возражениями Гомбаша, который старался объяснить капитану, что маршировка и ружейные приемы — всем солдатам знакомы, а вот австрийская винтовка — для них внове, на овладение ею необходимо уделить значительно больше времени, чем это предусмотрено расписанием. Баргаи, не дослушав, вспылил:

— Вы, комиссар, занимайтесь политическим просвещением, и я в ваше дело вмешиваться не намерен. Вас же прошу не вмешиваться в обучение солдат...

— Красноармейцев! — поправил Гомбаш.

— Солдат Красной армии, если хотите. За их обучение отвечаю я, а не вы.

— Вы заблуждаетесь! Я отвечаю в батальоне за все. В том числе и за вашу деятельность. Такое право предоставлено мне Центральным Комитетом партии, который

назначил меня на мой пост не по чьей-то фантазии, а в соответствии с законом о структуре Красной армии!

— Ну что ж, — криво усмехнулся Баргаи, — видно, пришли времена, когда унтер-офицер может указывать капитану. Я прикажу начальнику штаба переделать расписание, если вам угодно.

Так Гомбаш одержал первую победу в споре с Баргаи. Но в результате этой победы Баргаи положил за пазуху первый камень, предназначенный для «этого выскочки комиссара», как про себя называл он Гомбаша.

Прошло несколько дней казарменной жизни. С утра до вечера шли занятия. Австрийскую винтовку уже в основном одолели, отрабатывали ружейные приемы с нею. В той части плаца, где занималась русская рота, слышались давно знакомые каждому команды: «Отбивай! Коли!» — и топот. Не щадя своих сил и камыша, из которого были сделаны чучела, вставленные в деревянные рамы, бойцы упражнялись, орудуя винтовками с непривычными ножевыми штыками, отрабатывали приемы стрельбы стоя, лежа, с колена. Все это были давно известные, надоевшие еще по прежней службе упражнения, но занимались ими в охотку: ведь к солдатскому делу вернулись по доброй воле. Мукой эти занятия были только для Рабина: не имел он никакой воинской сноровки, мушка винтовки у него все время ехала мимо мишени, а когда колол чучело штыком, никак не мог соразмерить силу удара — то не доставал, то вслед за винтовкой влетал в чучело. Недостатка в учителях у Рабина не было — ему желали помочь все. Сам он старался изо всех сил. Но из его стараний мало что получалось, и он говорил сокрушенно:

— Не выходит из меня солдата. Мне бы хоть стрелять научиться.

Как ревностно занимались солдатской наукой, так же прилежно несли и всю остальную службу, которую когда-то исполняли только поневоле: ходили в караул и в наряды, делали уборку и все другие дела, которых всегда в избытке для солдата, когда он находится в казарме. Дисциплина и все казарменные распорядки не казались тягостными в их теперешнем положении. Даже выйти за ворота и походить по городу мало кого тянуло, хотя, конечно, было заманчиво — особенно тем, кто еще не знал Будапешта и кому было куда пойти. Впрочем, в город отпускали без особых сложностей. Не представляло труда и без разрешения выйти за ворота, когда на посту стоял

кто-нибудь из своей роты. Однако этими возможностями пользовались крайне редко, разве что по необходимости. Возникла такая необходимость и у Кедрачева: надо было наведаться на Чепель, к Габору Мадачу, отвезти ему на сохранение одежду, в которой был до того, как переобмундировался в новую интербатовскую форму.

Габор очень обрадовался появлению Кедрачева. Долго не отпускал, угостил палинкой — водкой домашнего приготовления и окороком, которые к пасхе привез из деревни: как водится, по случаю праздника он навестил родню, побывал в доме старика Пала, погостил там пару дней. Габор рассказал, что старик стал совсем плох, почти не встает, все хозяйство легло на плечи Лайошне, нового работника еще нет; подходит пора полевых работ, а старик упрямится, не хочет никого нанимать — надеется, что сам встанет на ноги.

— Тебе от Лайошне привет, — сказал в заключение Габор.

— Откуда она знает, что я в Будапеште? — растерялся Ефим.

— Так я же ей рассказал, что ты у нас на заводе устроился, а потом в Красную армию вступил. Она про тебя очень расспрашивала. — Как показалось Ефиму, Габор произнес это с каким-то особым значением.

«Догадывается?» — насторожился он, но постара́лся принять невозмутимый вид. Однако сохранить такой вид было трудно. То, что он услышал, не могло не взволновать и не встревожить его: бьется Лайошне одна в этом растреклятом хозяйстве, да еще Еник забот требует... Привет передала — помнит, значит; может, надеется ответную весточку получить — ведь Габор, наверное, опять поедет в деревню, тем более есть свободные дни: завод из-за нехватки топлива работает с перебоями.

— Будешь в деревне, — стараясь не показать своего смущения, сказал Кедрачев, — от меня ей привет передай. — И добавил, смущаясь еще больше: — И всем, кто в доме.

— Ладно, передам. — И Габор перевел разговор на заводские новости.

Рассказал, что работу завода теперь полностью контролируют производственный комиссар, присланный из городского комитета партии, и рабочий совет, а прежние хозяева, до недавнего времени еще на что-то надеявшиеся, уехали за границу; что явочным порядком в ожидании соответствующего правительственного декрета, который,

как слышно, готовится, на заводе введен восьмичасовой рабочий день; заработок повысился, теперь выплачивают хорошие деньги и за время болезни, квартирная плата значительно снижена. Всеми этими нововведениями, осуществленными народной властью, рабочие, конечно, довольны. Но плохо, что по карточкам продуктов выдают мало и с перебоями.

— А еще, — добавил Габор, — нехорошо то, что декретом запрещено продавать спиртные напитки — не все же могут привезти из деревни палинки, как я. Ну ничего, это можно перетерпеть...

Возвращаясь от Габора, Кедрачев увидел довольно странную картину. У ворот казармы возле часового топтался босой человек в кальсонах и нижней рубашке и, жалостливо разводя руками, о чем-то просил его. Тот отвечал ему явным отказом. Подойдя ближе, Кедрачев расслышал, что разговор идет на русском языке, значит, оба — и часовой, и тот, в кальсонах, — из его роты.

— Чего это он? — спросил Кедрачев часового, показывая на понурого человека в кальсонах — рыжеватого круглоголового парня.

— Выгнали! — коротко ответил часовой.

— Кто выгнал? За что?

— Наша рота. За пьянство.

— Да какое пьянство?! — жалобным голосом воззвал к Кедрачеву босой изгнанник. — Подумаешь, пару лампадочек пропустил... Да если бы водку! А то так, винцо здешнее...

— Где ж пропустил? — поинтересовался Кедрачев.

— Да тут у одной... Одежу свою — после обмундировки на кой она мне? — загнал, ну, и угостила... А все на меня!

— Впусти ты его обратно! — попросил Кедрачев часового. — Чего ж он тут без штанов у всего населения на виду. Красную армию позорит!

— И верно! — подхватил парень. — Пусти, христа ради! Куда я в таком виде?

— Не могу, — стоял на своем часовой. — Раз единогласно постановлено...

— Да кем постановлено? — чуть не плача, воскликнул изгнанный. — Командиры и не знают.

— Как не знают? — удивился Кедрачев. — Не может такого быть!

— Может, — подтвердил часовой. — Все командиры куда-то на совещание вызваны, еще не вернулись. А пока

их нет, все происшествие случилось... Не лезь, не лезь! — Часовой даже штык винтовки направил на изгнанника в исподнем, попытавшегося, пока часовой давал разъяснения, потихоньку прошмыгнуть в ворота.

— Подожди, пока кто из командиров явится, — посоветовал Кедрачев жертве зеленого змия, — а я сейчас насчет тебя поговорю. — Ему почему-то стало жаль этого нелепого парня, уж больно переживает, аж слезы на глазах.

Придя в казарму, Кедрачев сразу же разыскал взводного и рассказал ему о встрече у ворот.

— Этот не нашего взвода, — выслушав, довольно спокойно сказал Нечитайло. — Из соседнего. Но все одно нашей роты. У нас какое постановление? Спиртного в рот не брать... — Нечитайло вдруг прервал речь, повел носом, отчего, показалось Кедрачеву, усы его мгновенно вытянулись, даже, кажется, еще больше заострились. — Э, от тебя, никак, тоже доносит?

— Совсем немножко я, в гостях, — поспешно проговорил Кедрачев, — неудобно было отказываться...

— Это не касаемо, удобно или неудобно, — совсем строгим стал Нечитайло. — Но коли сами постановление такое вынесли, значит, надо соблюдать. А с нарушителями должно поступать, как с Буковкиным!

— С каким Буковкиным?

— А с тем самым, которого за ворота выставили в одном исподнем. Ну ладно, ты-то по форме трезвый, от тебя только дух один. А Буковкин — он крепко заложил! Пришел — куражился, чуть не с кулаками на всех. Вот взяли его за белы руки, обмундировку содрали — и за ворота. Без всякого приказа, по общей сознательности. Не надо нам, говорят, такого в нашем батальоне. Поляки, сербы, все прочие смотрели — правильно, говорят, в русской роте — порядок!

— И что же теперь с ним будет?

— Я так полагаю — хода ему обратно нет.

— Куда же он пойдет?

— Куда, куда? — Нечитайло неопределенно шевельнул усами. — Вот командиры вернутся...

Часа через два, под вечер, по приказанию командира русская рота была выстроена на плацу. По сторонам толпились бойцы других рот, пришедшие посмотреть на церемонию. Перед строем стоял командир роты Свечкин — тонкий, туго затянутый, похожий на мальчишку-подростка, с узким, сверх меры вытянутым лицом, отчего он ка-

зался еще тоньше и еще моложе. В отличие от всех интербатовцев, одетых в новую форму, Свечкин не расстался со своей поношенной и вытертой гимнастеркой — наверное, с той самой, в какой попал в плен, — на голове его красовалась изрядно помятая, но все-таки не потерявшая вида фуражка с вырезанной из материи красной звездочкой, пришитой к околышу. На боку Свечкина желтела большущая кобура, отчего фигура командира роты выглядела, наоборот, еще более щуплой. Но взгляд его был решителен и властен.

Свечкин поднял руку, призывая к вниманию. И когда бродивший по рядам гомон стих, комроты заговорил. Голос его был звонок, высок и очень неровен — чувствовалось, что Свечкин старается говорить если уж не басом, к чему у него, по-видимому, данных нет, то во всяком случае более сурово.

— За время моего отсутствия, — он с нарочитой четкостью произносил, словно печатал, каждое слово, — за время моего отсутствия красноармеец второго взвода Буковкин нарушил общее обязательство и был вами из роты вышвырнут. Конечно, товарищи, — голос Свечкина при этом зазвучал несколько мягче, — вы напрасно не дождались меня. Все-таки я командир. Но я понимаю ваш гнев по отношению к Буковкину. И разделяю!.. Но все-таки, полагаю, мы еще не окончательно решили вопрос с Буковкиным. Давайте выслушаем его самого. Согласны?

Строй прогудел вразнобой. Свечкин, видимо, принял этот шум за признак одобрения, распорядился:

— Буковкина сюда!

Откуда-то сбоку вытолкнули на свободное пространство перед строем Буковкина. Обеими руками он торопливо вытирал слезы, размазывая их по широким щекам.

— Говорите, товарищ Буковкин! — предложил ему Свечкин.

— Да, товарищи дорогие! Простите! Куды ж я в таком виде? — Разведя руки, он растянул в стороны выпущенную из кальсон нижнюю рубашку. — Да меня любая собака... В чужой-то стороне... Я же готов грудью встать вместе с вами, в общих рядах, а вы меня, как паршивого пса, за ворота! Да поверьте — больше ни единой капли, чтоб меня первая пуля сразила!

— Выгнали — и с концом! — послышалось из строя. — Позорит нас перед здешним народом!

— Товарищи! — вновь, уже на самой высокой ноте, воззвал Буковкин. — Родненькие! — Слезы, теперь, видимо,

уже вполне трезвые, застилали ему глаза, он попытался вытереть их подолом рубашки, рубашка задралась, обнажая тощий живот.

— Пузо-то закрой, воин! — глянув на него, быстро проговорил Свечкин.

Буковкин одернул рубашку, хотел еще что-то выкрикнуть, уже раскрыл рот, но по знаку Свечкина, предупреждающе поднявшего руку, остался безмолвным, так и стоял с раскрытым ртом, потому что в этот момент Свечкин обратился к строю:

— Слышали? Буковкин сожалеет. До слез. Какие суждения будут? Кто хочет сказать — выходи вперед!

По строю прокатился говорок. Из рядов выступил Нечитайло.

— Раз постановлено, чтобы не пить, значит, так тому и быть, — изрек он безапелляционно. — По всему государству здешнему на вино запрещение. Так нам-то вовсе стыдно нарушать. Пущай идет за ворота сызнова!

— Да куды же я! — снова вздернулся Буковкин, но Свечкин остановил его:

— Помолчи, уже высказался. Пусть товарищи окончательно скажут.

— Дайте мне! — выкрикнул стоявший рядом с Кедрачевым Никитенко, поправил бескозырку, вышел из строя, рывком повернулся к Буковкину: — Ты понимаешь, что сам себя выгнал? Мы постановили в порядке солидарности с международным пролетариатом — ни капли! А ты... ты поступил как предатель рабочего дела. Я считаю, — повернулся он к строю, — нет ему прощения. Недостоин он быть бойцом Интернационального батальона. Может, куда в другую часть его списать, а в Интернациональном — нет, не годится!

Выходили еще бойцы, все в один голос осуждали Буковкина. И чем сильнее осуждали, тем все бо́льшую жалость испытывал к провинившемуся Кедрачев. А тот, слушая, все сникал, сникал, стоял, безнадежно понурив голову, не глядя в лица бойцов, и щеки его были мокры от размазанных слез.

— Видишь, Буковкин, суд товарищей своего решения не отменяет! — заключил Свечкин, и в голосе его Кедрачеву послышалось сожаление.

Буковкин дернулся, побежал вдоль строя, заглядывая в лица, словно ища в них сочувствие, бежал и кричал:

— Да поверьте ж! Землю буду есть — поверьте!..

— Поверим! — не выдержал Кедрачев.

— Ладно, поверим! — тотчас же отозвался чей-то голос.
— Простим, чего уж... — присоединился третий. — Кто без греха!

Сердца бойцов дрогнули, не выдержали буковкинского отчаяния. Раздались голоса:

— Оставить!

— Пускай оправдание заслуживает!

— Штаны ему отдать!

Выслушав все мнения, Свечкин предложил:

— Решим вопрос общим голосованием. Кто за то, чтобы поверить Буковкину и оставить его в Интербате, подымите руки!.. Явное большинство... Принесите кто-нибудь, товарищи, его обмундирование.

Обмундирование, связанное ремнем, принесли, бросили на брусчатку плаца. Строй не расходился. Бойцы, посмеиваясь, смотрели, как Буковкин, волнуясь, не может попасть ногой в штанину, как торопливо застегивается и, путаясь в обмотках, наматывает их. Но вот он оделся — только бескозырка его еще лежала на земле.

— Встать в строй! — скомандовал Свечкин.

Буковкин обеими руками подхватил бескозырку, втиснулся в ряд.

Свечкин хотел дать команду расходиться, но в это время показался комиссар — он, видимо, только что вернулся и заинтересовался, почему построена рота.

— Что здесь происходит?

Свечкин в двух словах объяснил.

— Ну что же, правильно, товарищи интернационалисты! — повернулся Гомбаш к еще сохранившей строй роте. — Плохо не только то, что ваш товарищ напился и безобразничал. Ведь он спровоцировал кого-то из местных жителей продать вино, а это запрещено декретом правительства! Но будем надеяться, что ваш товарищ, товарищ Буковкин, оценит ваше великодушие и больше не подведет вас. А теперь... я хотел бы сообщить вам некоторые новости, я их только что узнал сам. Пользуясь случаем, вашей роте эти новости сообщу первой. В других ротах мне нужен переводчик. А с вами разговаривать мне проще... Новости, товарищи, такие: сегодня в Будапешт из Вены прибывает целый полк австрийских добровольцев. Полк! Весьма солидное пополнение Красной армии. Эта новость приятная. Но есть и малоприятная. Приехала делегация Антанты. Во главе — английский генерал Смэтс. Зачем эти господа прибыли? Только что стало известно:

они высказали опасение, что мы нападем на соседей. Опасение это, как понимаете, лишено всяких оснований. Известно — мы создаем Красную армию не для нападений на кого-то, а лишь затем, чтобы нас не трогали. Но Антанта требует гарантий, что мы не нападем ни на сербов, ни на румын. И в качестве такой гарантии хочет, чтобы мы отвели свои войска с демаркационной линии, а на ней, между нашими и румынскими войсками, предлагает разместить войска английские, французские, итальянские, американские.

— Неужто согласились?

— Пока еще ведутся переговоры. — Гомбаш многозначительно поднял палец. — Понимаете, товарищи? Антанта, наверное, без всяких переговоров двинула бы на нас свои армии. Но! — Он поднял палец еще выше, на уровень лица. — Как это по-русски говорится? И хочется, но колется! Антанта боится, что ее солдаты не подчинятся. Потому что есть интернациональная солидарность! Напомню вам — еще первого апреля Коммунистический Интернационал обратился к солдатам армий Антанты, окруживших нашу страну, с призывом не слушать тех, кто шлет их против советской Венгрии. И результат не замедлил сказаться! Могу порадовать вас, товарищи, некоторыми фактами. На юге, в Сегеде, где вместе с французами стоят югославы, последние сложили из винтовок костер, заявили, что с советской Венгрией воевать не станут! И там же целый батальон французов отказался воевать против нас. И еще не все, товарищи! В Германии, в Баварии — есть там такая область, — образовалась Баварская советская республика! Мировая революция развивается!

Кто-то в строю радостно захлопал в ладоши. Его поддержали. Гомбаш предупреждающе поднял руку:

— Рано еще ликовать. Трудно будет Антанте двинуть на нас свои армии. Но она мечтает об этом. И рассчитывает загребать жар чужими руками, руками зависимых от нее государств — Югославии, Чехословакии, Румынии, обещает им по куску венгерской земли, чтобы рады были стараться. Так что готовьтесь. Живите так, чтобы в любую минуту могли сказать себе: я готов отправиться на фронт! Но может быть, — Гомбаш мечтательно улыбнулся, — может быть, и без боев обойдется, если мировая революция дальше пойдет. А?

Глава седьмая

ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА

Задолго до обычной побудки бойко запел рожок ротного горниста.

Тревога!

Бойцы вскакивали с нар. На ходу подхватывали из пирамиды винтовки, выбегали во двор, строились, подрагивая от утреннего холодка. Строилась не только русская рота — весь батальон. Причины тревоги никто еще не знал. Но по рядам уже прошелестело: румыны внезапно начали наступление, захватывают нейтральную полосу.

Ранним утром, когда Будапешт еще спал, батальон, выстроившись в походную колонну, направился к вокзалу. Эшелона пришлось ждать довольно долго. Наконец его подали — весь из открытых товарных платформ. Как только погрузка была закончена, состав тронулся. Он шел, как и предполагали, на восток, навстречу просыпающемуся солнцу. Проплывали мимо покрытые свежей зеленью поля, на которых в низинах еще держался ночной туман, сады с уже распустившейся молодой листвой. Сквозь нее белели стены домов, проглядывали черепичные крыши, на некоторых чернели гнезда аистов, а порой можно было увидеть и самого хозяина гнезда, с озабоченным видом стерегущего неподвижно сидящую на яйцах аистиху. Кое-где на полях уже копошились люди: вот пахарь ведет борозду, шагая за парой медлительных волов; вот еще один житель что-то делает в винограднике, ровные ряды кольев которого тянутся, словно солдаты на смотру, по обращенному к солнцу некрутому косогору; а вот женщина в белой кофточке и в темной, колоколом, юбке, с хворостиной в руках гонит по полевой дорожке, что тянется, прижимаясь к железнодорожному пути, двух белоснежных, словно игрушечных, козлят. Ей что-то кричат с громыхающих мимо платформ батальонные весельчаки, и она, с любопытством повернув голову, прислушивается, а платформы проносятся, проносятся мимо, и вот уже фигура женщины с двумя козлятами — три белых пятна, пятнышка, три точки, точечки — исчезает позади...

Неужели там, впереди, куда катит эшелон, не такое же тихое, мирное утро, неужели там — уже бой?

Только под конец дня, после множества задержек, эшелон, пройдя город Сольнок и мост через Тису, плавно текущую меж невысоких ровных берегов, остановился на

небольшой станции. Было приказано выгружаться. После разгрузки сразу же двинулись походным порядком дальше — на восток, по степной дороге. Впереди было по-прежнему тихо, ничто не напоминало, что где-то недалеко идут военные действия. Пахло молодой травой, еще не обожженной летним солнцем, прогретой за день землей, пылью, что чуть приметно вздымалась под ногами, носились над головами и по сторонам дороги степные птицы, встревоженные появлением такого большого количества людей, а высоко в чистом, чуть призолоченном близостью заката небе спокойно-величаво, раскинув неподвижные крылья, парил орел.

На пути попалось всего-навсего одно село, в котором сделали недолгий привал. Жители настороженно встретили появившееся войско — в невиданной форме, говорящее на непонятных языках, — несмело выглядывали из калиток и поверх заборов. Но это продолжалось недолго. Сразу же, после того как колонна остановилась и рассыпалась по деревенской улице, крестьяне, узнав, что пришли заступники от чужеземцев, оживленно обступили бойцов, молодайки несли воду, молоко, вареную кукурузу, мужчины предлагали доморощенного табачка, а некоторые волокли и кувшин домашнего вина, спешно нацеженный в погребе, — однако это подношение вежливо, но твердо отвергали: всем памятна была история с Буковкиным. Впрочем, Буковкина сейчас было не узнать — вид у него был вполне молодцеватый, воинский, выглядел он весело и бодро, словно и не было с ним недавнего печального происшествия.

Уже почти стемнело, когда батальон, километров на пять отошедший от села, в котором делали привал, наконец остановили.

Посадив роту вокруг себя, Свечкин объявил:

— Небольшая передышка — и начинаем окапываться. Нам отведена позиция на второй линии. На первой держатся другие части. Сейчас приезжал товарищ из штаба показать позицию и сказал, что румын впереди как будто удалось остановить. Но вообще-то положение трудное. У румын здесь шесть дивизий, а у нас против них — только две. Но пусть это вас не пугает. Румынские солдаты воюют подневольно и не знают за что: это же не их идея — чужие земли захапать. Мы же воюем сознательно, а сознательный боец всегда сильнее. Суворов, был в старину такой знаменитый полководец, учил, что каждый солдат должен понимать свой маневр. А мы скажем боль-

ше: каждый боец понимает свою ответственность перед мировой революцией. А это что-нибудь да значит!

Уже в темноте Свечкин развел взводы по отведенным им позициям, указал, где каждый взвод должен окопаться, и предупредил, что окопы надо вырыть к утру, на случай если к тому времени противник подступит. Взводный Нечитайло, разводя отделения по местам — каждое должно было вырыть для себя отдельный окоп, — наказал Кедрачеву:

— Хоть лопни, а к утру чтоб вырыли! А то, не приведи бог, бой начнется — куда башку спрячешь? Тут степь ровная, что твоя столешница.

— Понимаем, товарищ взводный, — ответил Кедрачев. — Только лопаток у нас по одной на троих.

— Да, не снабдили... — вздохнул Нечитайло. — Но вы так: двое через одного — перекур, а лопата чтобы ни секунды без дела не лежала.

Кедрачев разбил бойцов на тройки — каждая при одной лопате, — и они принялись за дело. Но проработали недолго. Прибежал взбудораженный Нечитайло, крикнул:

— Кончай работу! Стройся!

Выругался в сердцах Кедрачев. Ворчали и бойцы: досадно, напрасно старались!

Уже когда построились и зашагали куда-то по ночной степи, по рядам, от бойца к бойцу, пошел неведомо откуда появившийся слух: бросили позиции потому, что румыны обходят, надо успеть выйти, пока не окружили. К этому слуху тут же прилепился другой: противник сумел обойти потому, что где-то на фланге командир полка из старых австро-венгерских офицеров оказался изменником — отвел полк в сторону и открыл дорогу врагу. Бойцы еще больше встревожились:

— Куда нас ведут? Может, тоже измена?

— А почему бы нет? Командир батальона у нас из старого офицерья, и начальник штаба того же поля ягода. Продать могут запросто.

— А комиссар — он на что? Он за ними смотрит.

— Они ученые. Докажут ему, что хотят, по картам-планам, он и поверит.

— Ну, комиссар тоже ученый!

— Комиссара сюда, чтоб обсказал, куда идем!

— Эй, взводный! Разыщи комиссара.

Откуда-то из темноты откликнулся Нечитайло:

— Где я вам комиссара возьму? Он впереди, с польской ротой.

— Комиссара давай! Товарищ Кедрачев!— Стребуй своего друга!

— Комиссара!

— Кедрачев! — крикнул Нечитайло. — Пошли кого за комиссаром!

— Я сам.

Кедрачев нашел Гомбаша в голове колонны. Шагая рядом со строем, где шла польская рота, он на ходу о чем-то разговаривал с бойцами, и Кедрачев удивился: «Когда это Янош по-польски выучился? Вроде раньше не умел».

Догнав Гомбаша, объяснил, зачем его зовут в роту. Оба остановились, поджидая, пока русская рота, замыкавшая колонну, поравняется с ними.

— Ты знаешь, — стал объяснять Гомбаш, — слух о том, что изменники пропустили противника в обход, — только слух. Но исключать такую возможность, пожалуй, не следует: в штабах большинство — старые офицеры. А среди них, несомненно, есть и скрытые враги.

— А в нашем командире не сомневаешься?

— Баргаи?.. — задумался Гомбаш. — Он политический противник, но честный. Да, честный. Открыто говорит о своих разногласиях с нами. Такие обычно не предают. Я ему больше верю, чем некоторым его собратьям, которые клянутся в верности диктатуре пролетариата, а сами мечтают о старых порядках. Если хочешь знать, Баргаи, как и я, был несогласен с приказом встать в оборону. Он хотел идти вперед, чтобы противник как можно меньше успел занять нашей земли здесь, перед Тисой. Но приказ есть приказ... Вот сейчас штабные, видимо, спохватились, идем на сближение с противником.

— А вот и наша рота! — показал Кедрачев. — Расскажи всем!..

Посреди ночи поступил приказ остановиться. Взводы развели по неровному, с черневшими кое-где кустиками полю и приказали вновь окапываться. Бойцы взялись за дело неохотно: вдруг снова окажется, что работали зря? Да к тому же в темноте не видно, каков будет обзор с новых позиций, не придется ли их менять.

Только началась работа, как к Кедрачеву подошел Нечитайло:

— Комроты тебя зовет.

Нечитайло провел Кедрачева к винограднику, ряды кольев которого темнели неподалеку. На краю виноградника, уходившего вверх по некрутому склону, виднелась

дверь погреба, сквозь ее щели сочился тусклый свет. Когда Кедрачев вслед за Нечитайло вошел, он увидел в погребе перед большими винными бочками сколоченный из досок стол с прилепленной к нему свечкой, а за столом склонившихся над расстеленной картой Баргаи, Фойяша и Гомбаша. Тут же стоял и командир роты Свечкин.

Баргаи, глянув на вошедших, о чем-то спросил Свечкина. Тот в свою очередь спросил Кедрачева:

— Товарищ Нечитайло говорит, что у вас в отделении есть бойцы, понимающие по-румынски. Правда?

— А как же?! Есть. Холонец. Он до войны на заработки к румынским помещикам каждый год ходил.

— А каков он как боец?

— Да вроде ничего. Исправный.

— Исправный, точно,— подтвердил Нечитайло.

— Исправный... А может, не храброго десятка? На фронте-то был?

— На итальянском. Так что стреляный.

— Ну ладно.—Свечкин распорядился: — Возьмете, товарищ отделенный командир, вашего Холонца и еще человека три и пойдете в разведку... Да, а вам приходилось в разведку ходить?

— А что ж...— Кедрачев на миг смутился: много он на фронте был, а вот в разведку как-то не довелось хаживать. Но признаться в этом — вроде как за отговорку цепляться.— Справлюсь! — заявил он так решительно, что Свечкин, видимо, поверил в его опыт разведчика.

— Нужно пройти версты четыре на восток и, пока темно, вернуться обратно. Надо узнать, где перед нами противник, собирается ли он дальше наступать? Постарайтесь, при удобном случае, подслушать, что румыны меж собой говорят, а главное — захватите пленного и приведите сюда не позже чем к рассвету.

— Понятно. Разрешите исполнять?

— Исполняйте, товарищ Кедрачев.— Свечкин добавил: — Надеюсь, вернетесь с удачей. Товарищ комиссар посоветовал мне во главе разведчиков послать именно вас.

Вернувшись в отделение, Кедрачев рассказал бойцам, зачем его вызывали, и спросил: кто желает пойти? Вызвались почти все. Промолчал только Воропушин. Да Рабин предупредил:

— Я, конечно, могу пойти. Но только плохо вижу в темноте...— и добавил стеснительно: — Это называется куриная слепота.

— Все мы не кошки, — сказал на это Кедрачев.— Ну ладно, без тебя обойдемся.

— Да я пойду, пойду!— всполошился Рабин.— И зачем я сказал... Возьмите меня, пожалуйста! Испытайте!

— Ладно! — поспешил успокоить его Кедрачев. — Как-нибудь вдругорядь испытаем, при дневном свете.

Но Рабин стоял на своем:

— Возьмите меня! У меня слух хороший!

Немалых трудов стоило Кедрачеву убедить Рабина, что в разведку его не берут совсем не потому, что не надеются на него.

Кроме Холонца, который с готовностью вызвался идти в разведку, Кедрачев решил взять еще Никитенко, Шишкарева и Торопыгина, который сам набился:

— А почему не меня?

Сборы были недолги — получили от Нечитайло вдобавок к тому запасу, что имели, еще по три обоймы патронов, взяли винтовки и пошли.

— Самое главное, братцы, следите, чтобы нам с направления не сбиться! — предупредил Кедрачев, когда отошли от расположения батальона и сразу их обступила безмолвная, ночная, лишенная каких-либо примет степь.

— Хорошо бы курс держать по компáсу, — заметил Никитенко.

— Кóмпас, хочешь сказать?

— Это у вас в пехоте — кóмпас, а у нас — компáс.

— Ну ладно, пусть компáс — все одно нету. Только условимся, чтобы без разговоров... Нам сейчас уши востро держать надо. Может, нас тут уже румыны слушают. Так что помалкивайте и не очень дюже топайте.

— Ладно, знаем, хаживали в разведку! — буркнул Никитенко.

Они шли, внимательно приглядываясь ко всему вокруг, временами останавливались, приседали, всматривались и прислушивались.

Местность тянулась ровная. Довольно часто под ноги попадала рыхлая пашня, земля была еще обнаженной — сев только начинался. Но там, где шагали по непаханому полю, под ногами шелестела пока еще невысокая мягкая травка, влажная от ночной росы, ноги скользили по ней.

Темь и безмолвие окружали идущих. Только из травы доносились звуки скрытой от человека ночной жизни степи: то взлетала чуть ли не из-под самых ног испуганная птица, то раздавалось какое-то шуршание или доносился непонятный испуганный писк, — может быть, тут, в моло-

дой траве, шла смертельная борьба живого с живым. Пахло свежей зеленью, влажной землей, росой. Откуда-то едва ощутимо потягивало горьковатым дымом, и этот запах внезапно увел Ефима мыслями далеко-далеко, в невозвратимые мальчишеские годы... Когда еще жил в деревне с отцом-матерью и вместе с ребятами ходил в ночное, на луга, пасти лошадей. Так же пахло травой, росой, сырой землей и дымом, но то был дым мирного костра.

Впрочем, и сейчас это был дым костра!

— Стой! — вполголоса скомандовал Кедрачев и присел, почти лег.

Его примеру последовали остальные. Сдвинув головы, осторожно, шепотом стали совещаться: откуда несет дымом?

Дым, как обычно ночью, стелился низко, прижимаемый туманом. В темноте, когда шли, тумана не замечали, но, когда остановились и сели, сразу почувствовали: им, разгоряченным ходьбой, стало зябко. А может, это была дрожь волнения?

Где, кто, зачем разложил сейчас костер в ночной степи? Как обнаружить его?

Приглядывались, прислушивались, принюхивались, откуда тянет дымом, но определить не могли. Наконец Никитенко догадался: послюнил палец, подержал его поднятым, повертел и показал уверенно:

— Оттуда тянет!

Осторожно, пригибаясь, пошли в направлении, указанном Никитенко.

Идти пришлось недолго. Открылась небольшая низинка, поросшая негустым кустарником, смутно проступавшим в тумане. На краю ее стояло одинокое раскидистое дерево, его черные в темноте ветви, одетые молодой листвой, уходили высоко вверх, крона сливалась с ночным небом. А ниже, посреди низинки, чуть-чуть высвечивая траву вокруг, колыхался красноватый, дымный огонек. С края костра на малиново-золотистых углях чернел котелок. С той стороны, где он стоял, прикорнул у огня человек.

Кто это?

Присмотревшись, разглядели на плечах сидящего овчинный кожух, явно не лишний в ночной прохладе, на голове — конусообразную мерлушковую шапку, какие носят здешние крестьяне зимой.

— Пастух! — шепнул товарищам Кедрачев.— Вон и отара!

Действительно, недалеко от костра, за кустиками, неприметные с первого взгляда — в полутьме можно было принять за бугристое место,— вплотную одна к одной, образуя сплошную массу, лежали недвижные овцы.

— Кто по-мадьярски горазд? — не надеясь на свои познания, спросил Кедрачев, ругнув в душе себя за то, что не выяснил этого раньше.

— По-французски могу, — отозвался Торопыгин.

— Знаю, что можешь, — сказал Кедрачев.— Только навряд здешние пастухи французскому учены. Холонец, сможешь поговорить?

— Не дюже я...

— Ну если ты не дюже, то и я не лучше. Давай!

— Да как же...

— Ничего, подойди, чтобы не напугать, и спроси, не видал ли румынских солдат. Мы здесь подождем.

Холонец стал осторожно спускаться по склону. Но не успел он подойти к огню, как раздался оглушительный лай. От костра навстречу ему бежала большая лохматая собака. Холонец испуганно вскинул винтовку штыком вперед, остановился. Человек, дремавший у костра, вскочил, метнулся, задел ногой котелок и побежал, испуганно крича. От костра, в который опрокинулся котелок, повалил пар. Всполошенные овцы вставали на ноги, тревожно блеяли. Собака со свирепым лаем бросалась на Холонца. Он отмахивался от нее винтовкой, отчего собака приходила в еще большую ярость. Холонец вскинул винтовку к плечу. Но тут к нему сзади подбежал Кедрачев, толкнул ладонью приклад.

— Ты что, спятил? А как румыны услышат? — И дернул Холонца за рукав.

Они отступили во тьму. Собака не преследовала их, но, бегая между костром и отарой, продолжала яростно лаять.

— Уйдем поскорее! — предложил Холонец.

— Погоди! — возразил Кедрачев.— Пастуха расспросить надо. Может, про румын знает.

— А зачем он тут ночью со своими кудрявыми? — заинтересовался подошедший Торопыгин.— Пасет?

— Не похоже... Ночью здесь скот в поле обычно не держат.

— Ищи теперь ветра в поле,— усмехнулся Торопыгин. — Напугал его товарищ Холонец.

— Ничего, не ветер, может, найдем.— Кедрачев распо-

рядился: — Чтоб собака чуять перестала, отойдем в сторону, повыше, и переждем. Пастух непременно вернется к стаду.

Так и сделали. Собака некоторое время продолжала лаять, но уже спокойнее — и вдруг лай прекратился.

— Вернулся, значит, — догадался Кедрачев. — Теперь ты, Холонец, заходи ему слева, вы, Торопыгин и Шишкарев, — справа, а я прямо пойду. Как увидит нас — кричи, Холонец: «Йо напот, бара́том!» И вы тоже кричите, — сказал он Шишкареву и Торопыгину.

— Руки вверх, что ли? — спросил для верности Торопыгин.

— Да что ты! Йо напот — здравствуй значит, а бара́том — по-ихнему друг.

— Брат, одним словом! — по-своему переиначил Торопыгин.

— Йо напот, бара́том! — повторил Кедрачев.

— Да понял уже...

Стороной обошли лощинку, не встревожив на этот раз собаку. Предположение Кедрачева оправдалось: человек, убежавший от костра, уже вновь был около него. Горестно покачивая головой, он поднимал опрокинутый котелок. Кедрачев и Торопыгин осторожно приблизились к костру, хотя опять залаяла собака.

— Йо напот, бара́том!

Человек у костра снова метнулся было в темноту, но Кедрачев успел схватить его за рукав, крикнул, от волнения забыв, что обращается по-русски:

— Да погоди, мил человек!

Видимо, в голосе Кедрачева было что-то, что успокоило пастуха. Он ответил робко:

— Йо напот!..— и что-то сказал собаке, отчего та замолчала, но продолжала встревоженно бегать возле него.

С помощью Холонца Кедрачев кое-как объяснил пастуху, кто они такие, и тот с удивлением, но уже без страха смотрел на доселе невиданных им солдат армии, которой недавно еще не существовало.

Пастух рассказал, что под вечер к нему прибежал мальчишка-племянник, посланный братом, живущим в деревеньке возле их села, а их село неподалеку отсюда, километрах в пяти. Мальчишка передал: в деревню только что вошли румынские солдаты, арестовали недавно избранных членов Совета, объявили, что скот из помещичьего хозяйства, который Совет выдал наиболее бедным дворам, должен быть возвращен, за непослушание — рас-

стрел. Брат велел передать, чтобы прятали скотину и все ценное, потому что неприятельские солдаты шарят по дворам и забирают все, что приглянется. Вот почему крестьянин с овцами оказался в ночной степи — вдвоем с соседом прячет стадо от пришельцев. Но соседа сейчас нет, он пошел в село — взять еды, которой второпях не захватили, и заодно посмотреть: не пришло ли чужое войско? Скоро ли вернется сосед? Должен быть с минуты на минуту, его нет уже давно. Вот придет — расскажет...

— Ждать нам не с руки, — решил Кедрачев. — Нельзя времени терять. Пойдем разведаем сами. Пусть только покажет, как ближе к деревне пройти.

И снова пятеро идут по ночной степи, напряженно всматриваясь в синеватую тьму, прислушиваясь к тишине. Уже далеко позади осталась низинка, от которой они начали путь. Вот впереди уже проступили из тьмы кроны деревьев, с мелькающими меж ними кое-где белеными стенами домов. Вот уже видна невысокая, также побеленная известкой глиняная ограда ближней усадьбы.

Остановились приглядываясь. Ни огонька... Оно и неудивительно: глухая ночь. А может быть, и нет в селе никаких вражеских солдат, побыли и ушли? Или не добрались еще?

Решили продолжить разведку. Идти в село — рискованно. Постучать в крайнюю хату? Тоже риск: а вдруг там почивают господа захватчики? Подымут переполох...

— Вот что, — сказал Кедрачев, — пройдем задворками до середины села и, если ничего подозрительного не увидим, постучим в какую-нибудь хату, расспросим.

Садами и огородами пробирались они от усадьбы к усадьбе, подкрадывались к хатам, оглядывали дворы, но ничего, говорящего о присутствии в селе каких-либо войск, не обнаружили. Дойдя до окраины, противоположной той, с которой начали обход, присели в тени деревьев какого-то сада обсудить, как действовать дальше. Кедрачев был за то, чтобы продолжить разведку: ведь путем еще ничего не узнали. Он предлагал пойти к деревушке, о которой упоминал хозяин овец, разведать, какими силами располагают там румыны, и по возможности узнать об их намерениях. Осторожный Холонец считал, что идти дальше не стоит, не следует рисковать, а надо поскорее возвращаться с полученными сведениями. Никитенко полагал, что надо пообстоятельнее расспросить кого-нибудь из жителей села, знают ли они что-либо о румынах, а уж потом решать, как поступать дальше. Торопыгин с жаром наста-

ивал пойти к деревушке, выследить там какого-нибудь сонного румынского солдата, захватить его и увести, а в батальоне уже его расспросят как надо. Молчаливый Шишкарев не высказал никакого мнения, а когда Кедрачев спросил его, как лучше следует действовать, тот ответил:

— Как все, так и я.

Кедрачев слушал-слушал разноречивые мнения, потом спохватился:

— Привыкли мы митинговать, дорогие товарищи... А надо приказ выполнять, который нам даден. И я, между прочим, вам не председатель митинга, а командир. Так что слушай мою команду. Идем в деревню, будем добывать пленного.

Снова двинулись в темноте полем, шли цепочкой, в затылок друг другу. Кедрачев со слов крестьянина запомнил, как ближе пройти к деревушке от села. Но местность незнакомая, темно, компаса нет — как бы не сбиться с пути...

Кажется, это с ними и случилось. Шедший впереди Кедрачев в недоумении остановился: деревенька давно бы должна показаться, а ее все не видать... Где она? Кедрачев присел на корточки — ночью, в темноте, лучше видно снизу — и стал приглядываться. Но ничего не рассмотрел. Неужто совсем сбились?

Кедрачев поднялся, скомандовал:

— За мной! — хотя и не принял еще решения, в каком направлении идти.

Тут к нему бочком подошел Никитенко и шепнул:

— Не сомневайся! Я по звездам определяюсь — правильно курс держим.— Никитенко говорил шепотом, желая, наверное, сохранить в тайне от других то, что он заметил растерянность командира.— Я и обратно приметил, каким курсом...— добавил он.

— Спасибо тебе, — тоже шепотом, чтобы не слышали другие, сказал Кедрачев. — Подсказывай, как идти.

Они продолжали путь. С каждым шагом шли все осторожнее, держа оружие наготове. Пробирались кустарником. За ним, если верить крестьянину, должна лежать деревня, занятая противником. Кедрачев намеревался разыскать какой-нибудь крестьянский двор, в котором нет румынских солдат, и выведать, какими силами располагает противник.

Путь шел все более под уклон. Кустарник спускался в лощину. Вот они уже на самом низу ее. Впереди — тоже

кустарник. Сквозь него ничего не разглядеть... Теперь снова в гору...

Кусты редели, словно раздвигались, на синевато-сером фоне чуть-чуть посветлевшего неба прорисовывались угловатые очертания крыш.

— Держитесь плотнее за мной! — предупредил Кедрачев.

Дыша ему почти в затылок, вразвалочку выступал Никитенко, за ним валко вышагивал Торопыгин, тяжело, размеренно ступал Шишкарев. Последним, осторожно переставляя ноги, брел Холонец.

Вдруг перед Кедрачевым возник силуэт: военная шапка с козырьком, над плечом — очертания примкнутого к винтовке штыка... Румынский солдат и Кедрачев вскрикнули, кажется, одновременно. Кедрачев ощутил толчок в руку, державшую винтовку, и в грудь — он столкнулся с противником вплотную. Жаркое, возбужденное дыхание врага опалило его лицо. Резким движением Кедрачев отпрянул, чтобы можно было орудовать винтовкой, и успел заметить, что и румын сдернул свою винтовку с плеча. Неожиданно Кедрачев поскользнулся на росистой траве, чуть не упал, сердце его похолодело, в голове пронеслось: «Сейчас он меня...» Рядом мелькнула плотная фигура Никитенко, раздался его приглушенный голос:

— Бери его, бери!..

В мгновение, когда Кедрачев еще только выпрямлялся, рядом с ним, сбивая с куста листву, плюхнулась на землю винтовка, вырванная из рук вражеского солдата, слышно было, как Никитенко, свирепо сопя, пытается удержать его. Кедрачев бросился на помощь товарищу, но в этот момент румынский солдат вырвался из рук Никитенко, пронзительно, по-заячьи, вскрикнул и юркнул в кусты — они ломко затрещали; сзади гулко хлопнул выстрел — стрелял кто-то из своих. Кедрачев досадливо выругался: поднимать шум сейчас было совсем ни к чему. Неподалеку, в невидимых в темени кустах слышалась возня и матросская забористая ругань Никитенко. Значит, он все-таки настиг румынского солдата? Кедрачев поспешил на помощь; с треском продираясь сквозь кусты, бежали Торопыгин, Шишкарев и Холонец.

Когда все подбежали к Никитенко и схваченному им солдату, тот сразу перестал сопротивляться. Его держали за руки, чтобы не вырвался, но он и не пытался освободиться, только неловко вертел головой, и даже в темноте были заметны белки его широко раскрытых в испуге глаз.

— Пленного под руки — и быстро назад! — вполголоса скомандовал Кедрачев.— Винтовку его заберите!

Они спустились по склону лощины, взбежали на второй — и тут до слуха донесся приглушенный расстоянием тревожный крик — как будто окликали кого-то.

— Услышали! Этого ищут!..— выдохнул на бегу Никитенко, вместе с Кедрачевым державший захваченного солдата под руки.

— Какой дурак стрелял? — оборачиваясь на ходу, спросил Кедрачев.— Ты, Холонец?

— Я, со страху, — отозвался тот виноватым голосом. — Винтовка сама пальнула.

— Сама! Вот ущучат нас из-за тебя, и — мерси боку! — укорил Торопыгин.

— Ладно вам! — оборвал Кедрачев.— Быстрее! Быстрее, пока не напали на след!

Они бежали долго. Передышки делали только самые короткие, на несколько секунд, и все время напряженно вслушивались: нет ли погони? Но погони как будто не было.

Наконец, когда они, далеко позади оставив место, где захватили пленного, вбежали под непроглядную густую тень попавшейся на пути рощи, Кедрачев позволил сделать более длительную остановку. Еще раз прислушались. Тихо. А если пропавшего солдата ищут? Вдруг погоня идет по пятам? Впрочем, откуда — по пятам? Для этого надо видеть след. Но в темноте что усмотришь? Кто отыщет следы на молодой траве? Погони, пожалуй, можно не опасаться. Ушли далеко...

Пленный сидел съежившись, испуганно втянув шею в воротник, шапки на нем не было — она свалилась где-то на бегу, и никто, а тем более он сам, не хватился пропажи. Ночная тьма немного поредела и уже позволяла разглядеть лицо пленного — оказывается, это совсем молодой парень, черные спутанные волосы почти закрывают лоб.

— Допросим-ка его сразу! — решил Кедрачев.

Пленный, не понявший, конечно, смысла этих слов, принял их, по-видимому, как приговор себе. Резким движением он разнял руки, прижатые к груди, часто-часто закрестился, дрожащим голосом повторяя слова какой-то молитвы.

— Холонец! — попросил Кедрачев. — Тебя румын поймет. Спроси, с чего он в молитву ударился?

Едва успел Холонец сказать пленному несколько слов, как тот, бросив молиться, воскликнул:

— О, домнуле, домнуле![1] — и, схватив руку Кедрачева, потянулся к ней губами.

Кедрачев оторопело отдернул руку:

— Спятил? Что я тебе — поп? — Спросил Холонца: — Он не в своем уме, что ли?

— Благодарит господина за то, что его пощадили.

— Нашел господина! Растолкуй — у нас господ нет!

Холонец начал переводить, но пленный, не дослушав, перебил его, заговорил горячо, торопливо. Вдруг Холонец рывком расстегнул ворот куртки, сунул за пазуху руку и тут же выдернул — в предрассветной тьме в руке чуть заметно блеснуло что-то маленькое; все стояли почти вплотную и разглядели крестик, нательный крестик на шнурке. Холонец показал его пленному, что-то сказал, тыча в крестик пальцем.

— Ты что, Холонец, — хохотнул Торопыгин, — крестами меняться хочешь, как в старину побратимы?

— Да нет, — смутился Холонец.— Ведь он что думал? Ему офицер толковал — все мы изверги, все безбожники. Ну я ему и говорю — врет твой офицер. А для доказательства крестик показал. А он говорит — и у него такой же, потому что и он православный.

— Нашлись братья во христе! — снова захохотал Торопыгин.— Товарищ командир, может, этого румынца к нам принять, чтоб Холонцу было с кем богу молиться?

— А что, уж и молиться нельзя? — В голосе Холонца звучала обида.

— Да молись, хоть лоб расшиби! Только чудно́: в Красной армии — и с крестиком.

— Насчет крестиков запрещения нет, — вмешался Кедрачев, незаметно дернув за рукав Торопыгина. — Верует Холонец, и пусть. Абы службу нес.

— И верно, — поддержал молчаливый Шишкарев.— Чего насмешничать-то?

— Ладно, ближе к делу! — пресек прения Кедрачев. — Надо успеть уйти, пока не рассвело. Холонец! Расспроси этого православного, сколько их в деревне и поблизости, не слыхал ли, что офицеры говорят: собираются наступать? когда? в какую сторону? Словом, пусть скажет все, что знает.

Холонец с важностью, позабавившей всех, приступил к обязанностям переводчика. Из ответов пленного следовало, что он состоит в обозной роте, его полк почти весь раз-

[1] Господин (*рум.*).

местился в деревне и, как он слышал, дожидается подхода артиллерии, что наступление продолжится, чтобы занять для «великого румынского королевства» все земли до Тисы.

— Прижать, значит, хотят нас к самой Тисе? — сердито переспросил Никитенко. — Ну мы еще поглядим, кто кого прижмет!

Пленный, уже было успокоившийся, испуганно взглянул на Никитенко и, прикладывая руки к груди, снова стал говорить что-то горячо, торопливо, то и дело повторяя: «Домнуле, домнуле».

— Опять свое «домнуле» заладил! — с досадой сказал Кедрачев. — Чего он там лопочет?

— Никитенки испугался... Просит поверить — не по доброй воле с нами воюет, заставили. А сам хочет одного — вернуться в свою деревню, единственный сын у отца, а старик хворый... Благодарит нас.

— За то, что в плен взяли? Не стоит благодарности...

— Благодарит, что не убили его. Он же наслышался, что все коммунисты в бога не веруют, а потому злы как черти, людей чуть не живьем едят...

— Ишь ты... Кто ж это ему наговорил?

— Священник их полковой в проповеди, — перевел Холонец. — Говорил, наша звезда пятиконечная — знак антихриста. Кто ее носит — тот душу черту продал.

— Во какие дела... Интересные сказки! — рассмеялся Кедрачев. — И верят же, дурни.

— Как бы не наложил со страху! — вставил Никитенко. — Да на кой мы этого раба божьего с собой поведем? Еще помрет по дороге с испуга.

— Так что предлагаешь? Здесь его оставить?

— Обратно послать. Пусть своим расскажет, что мы не черти с антихристовым знаком, а сознательные борцы за счастье народа. Холонец ему, темноте, растолкует, за что мы воюем.

— Надо же его командованию представить...

— Да зачем, товарищ Кедрачев? Он уже все рассказал, что знает. Боле с него ничего не возьмешь. Пускай идет! Глядишь — не одного его без пули, словом, из строя выведем, а и другие найдутся — расскажет же он...

— Ну заговорила в тебе агитаторская жилка! Да ладно, я не возражаю. Вы как, товарищи?

— Отпустить! Чего с ним вожжаться...

— Пускай несет нашу правду.

— Ладно! — Кедрачев обратился к Никитенко: — Ты

давай вразуми румына, что к чему, а Холонец переведет. Да шибко долго не толкуйте. По-быстрому!

Пленный внимательно слушал, сочувственно кивал.

— Агитацию, я вижу, принимает! — Никитенко явно был доволен результатами своих усилий. — Видно ж, трудящийся человек.

— Ну а раз так — пусть дует до горы! Скажи ему, Холонец!

Но, к удивлению всех, пленный, узнав, что его отпускают, вовсе не обрадовался. Со слезами в голосе, помогая себе жестами, он начал о чем-то жалобно просить.

— Чего ему еще? — уже с раздражением спросил Кедрачев, обеспокоенный задержкой.

— Он боится, — объяснил Холонец. — Боится, попадет ему от капрала за то, что без винтовки.

— Ладно, отдай ему! Только патроны вынь.

Холонец поднял валявшуюся на земле винтовку и передал ее владельцу. Тот стал благодарно кланяться, что рассердило Кедрачева:

— Экий! Без поклонов не может. — И скомандовал: — Пошли!

Они двинулись быстрым шагом. Немного отойдя, шагавший рядом с Кедрачевым Никитенко удивленно воскликнул:

— Гляньте! Румын-то стоит!

Кедрачев оглянулся. Позади, в предутренней полумгле, действительно различался силуэт их недавнего пленника. Он стоял, словно недоумевая, как же ему поступить, куда идти — к своим или вслед так странно распорядившимся его судьбой людям?

Когда рассвело, разведчики уже вышли к своим. Нечитайло, встретивший их, сказал:

— Давайте прямо в штаб. Там вас ждут не дождутся.

Кедрачев вошел в дом, где располагался штаб, и увидел за столом с расстеленной картой своего командира роты, начальника штаба и комиссара. Кедрачев доложил о результатах разведки, сказал и о том, что захваченного пленного отпустил.

Услышав это, Свечкин словно взорвался:

— Да какое вы право имели отпускать! Может, он дал бы здесь ценные показания!

— Да он уже все сказал, что мог...

— Откуда вы знаете, что все? — продолжал кипятиться Свечкин. — Отпустили врага! А он завтра стрелять в вас будет!

Стал выговаривать Кедрачеву и Фойяш: пленного надлежало доставить в штаб!..

Кедрачев не знал уже, как оправдываться...

Но на выручку пришел Гомбаш. Он сказал Свечкину и Фойяшу:

— Может быть, с военной точки зрения товарищ Кедрачев и допустил оплошность. Но с политической — он поступил мудро. Я думаю, он заслужил не взыскание, а, пожалуй, совсем наоборот...

Сведения, доставленные Кедрачевым, а также данные, поступившие от соседних частей, которые в ту ночь тоже вели разведку, были достаточно полными, чтобы сделать вывод: румыны приостановили наступление, чтобы подтянуть силы, и скоро возобновят его.

Глава восьмая

НА ТИСЕ

Около полудня Кедрачева, который отсыпался после бессонной ночи в сарае на охапке соломы, разбудил Гомбаш.

— По пути зашел,— присел он возле Ефима.

— Далеко ходил?

— Вызывали на совещание... Все совещаемся, совещаемся, нет бы действовать.

— Каким манером?

— Было такое предложение — и я за него — ударить по противнику, пока он наступает еще малыми силами. Внезапно ударить — он ведь нас не ждет. Но решили по-другому: дожидаться врага, встать в оборону. Настояли штабные: доказали, что тактически это выгоднее. Но я остаюсь при своем мнении — лучше бы наступать самим.

— И я так считаю. В той деревне, где мы были, румыны нас не ждут. Подойти в темноте и атаковать... Я провел бы. Дорогу теперь знаю.

— Был разговор. Да вот видишь... Словом, идем становиться на позицию. Сейчас всех подымаем. А то не стал бы тебя будить.

— Окопы будем рыть?

— Обязательно. Приказ штаба.

— А чем копать? Лопат не выдали. А без лопаты — нет солдата.

— Лопаты соберем у крестьян. И самих попросим помочь — ведь их землю защищать будем. Ну давай, Ефим,

собирай своих бойцов. Сейчас будет команда к построению батальона.

Вскоре весь батальон, ночевавший по дворам, выступил. Шли полевой дорогой, ведущей на восток от села. Виноградники перемежались со вспаханными и засеянными полями — всходы уже густо зеленели. И эти светло-изумрудные всходы, и солнце, по-летнему высоко стоявшее в полуденном безоблачном небе, и трель неугомонного жаворонка где-то в полной тепла и света прозрачной вышине, и чистый, как ключевая вода, прогретый, но еще хранящий прохладу воздух — все наполняло душу радостью весеннего дня, радостью существования, способностью дышать, осязать не только кожей — всем существом живительность солнечного тепла, все рождало чувство сопричастности к празднику обновления природы.

На какие-то мгновения, может быть, даже минуты это весеннее мироощущение как бы топило в себе чувство тревожного ожидания, пусть подспудное, но которое постоянно живет в душе человека на войне, даже в самую спокойную минуту. Вот и сейчас хотелось только радоваться всему, что вокруг. Но сквозь всепоглощающий мажор этой радости явственно просачивалась острая, тонкая, еле слышная, но непрерывно улавливаемая мелодия, нет, скорее, не мелодия, а приглушенный, но резкий сигнал тревоги, не нарастающий, но и не умолкающий,— постоянное напоминание о том, что надо быть готовым без раздумий и сожалений, как должное, принять все то, что в одно мгновение может заставить уже не видеть, не чувствовать всей прелести существования на весенней зеленой земле — мгновение, за которым останется только одно — неодолимая ничем и неразделимая ни с чем потребность, жажда, надежда — выполнить свой долг. Потребность, которая сильнее инстинкта самосохранения. Долг в бою. В этих кратких словах сконцентрирована максимальная энергия человеческой воли, в любых других условиях не могущая обрести такой концентрации. Ученые утверждают, что существуют планеты, где в особых, специфических условиях молекулы вещества уплотнены настолько, что один кубический сантиметр его может весить много тонн. Вот так и чувство долга в бою вбирает, уплотняет в себе все остальные чувства души, приобретает необычайную, подчас кажущуюся невероятной весомость. Только кажется, что процесс такого уплотнения мгновенен, свершается в считанные секунды, когда человек всем существом как бы осознает, что в какую-то из последующих секунд он мо-

жет расстаться с голубым небом и с зеленой землей — и расстаться не так, как во сне или в забытьи, на какое-то время, а навсегда, необратимо... Перейдешь в небытие, а небо, воздух, который сейчас тревожно вдыхаешь полной грудью, земля, по которой идешь, останутся навечно, и ты будешь в ней или над ней каплей дождя, росинкой на лепестке, стеблем травы — всем тем, что вечно в бесконечной, постоянно меняющейся цепи жизни. Но это будешь уже не ты, а лишь одна из неисчислимого множества форм существования того, что было тобой. От тебя же не останется ничего — только память, живущая в тех, кто знал тебя, до поры, пока существуют они. А потом... Потом и имя твое потонет в сонме имен людей, судьбу которых ты разделил, и будут помнить вас только всех вообще — жертвы, которое понесло ваше поколение, насколько плодотворные — покажет время...

Конечно, не столь пространные, не совсем четкие, но, в общем, подобные мысли — вернее, ощущения — владели сейчас Ефимом Кедрачевым, шагавшим в строю своего отделения. Он не звал этих мыслей, шел, думая о простых вещах, о заботах, ожидавших его: о том, как управиться с предстоящей работой при нехватке лопат, не окажется ли зряшной эта их работа — ведь на войне не раз приходилось бросать уже вырытые окопы; о том, что если и придется воевать, то, скорее всего, без долгого сидения на одних позициях, как, бывало, на германском фронте. Но рыть окопы все же, наверное, надо, в случае чего только матушка-земля сбережет.

Земля...

До войны и не ведал, что есть такая земля — Мадьярщина. Еще недавно, маясь на будапештском вокзале, не знал, не гадал, что снова — и не по приказу, как было когда-то, а по своей воле — станет солдатом. Станет, отлично понимая, что быть им придется не на безопасной гарнизонной службе, а там, где в любую минуту может открыться фронт. Ночью, в разведке, даже когда бродили во тьме и, конечно, был риск столкнуться с противником, ощущение, что снова — война, еще не пришло. Почему-то верилось, что все окончится благополучно. Может быть, потому, что уже давно не был в бою, отвык, что ли, от страха? А может, и привыкать к нему заново будет непросто? До первого ранения в пятнадцатом году про каждую пулю, что рядом свистела, думал: «Это не в меня. Как же может — в меня?» А после ранения, когда снова оказался на фронте, любую пулю, что пролетала побли-

зости, кожей чувствовал. Не трусость это, нет. Просто ясное понимание возможной опасности. Ночью, в разведке, это понимание, вернее, привычка еще не вернулась. Ведь два года минуло, как в плену! Уже привык думать: держать винтовку больше не придется, отвоевался. Ан нет! Ну что ж, сам к ней вернулся, по доброй воле. Что делать? Надо так надо... Сначала считал: затем только и идет, чтобы скорее до дома добраться. А сейчас это отошло куда-то, уже не главным стало. Главное — помочь удержаться товарищам мадьярам. А тогда — и все остальное решится... Эх, был бы бог — попрекнул бы его: что же ты, всемогущий, всесильный, а допускаешь, чтобы человек, вместо того чтобы жаворонка-невидимку веселого слушать, что над головой, в небе, заливается, должен слушать тревогу свою...

Возможно, не будь вокруг так светло и сугревно, не пришли бы Кедрачеву тревожные и грустные мысли. Но уж больно не вязался ясный весенний день с картиной возможного боя. Хотелось верить, что все обойдется. Может, и не придется воевать? Янош сказал как-то: возможно, Антанта, увидев, что Красная армия — сила, не станет соваться. Если бы так...

В размышлениях незаметно прошел путь. Батальон остановился на просторном поле с разбросанными по нему серыми ометами старой соломы. Кое-где поле пересекали тропки, пробитые в затравеневшей земле копытами скота, наверное, здесь недавно была пашня, а теперь ее пустили под пастбище. С восточной стороны виднелась цепочка кустарника вдоль узкой, далеко тянувшейся низинки. За ней, сколько мог видеть глаз, простиралась степь с редкими пятнышками дальних рощ, с еле заметными издали полосами древесных посадок вдоль дорог. Уже высоко поднялось солнце, золотисто высвечивая каждую травинку.

Командиры развели бойцов по местам работ. Замелькали лопаты. Вскоре на траве появились серые полосы выброшенной земли, обозначая брустверы будущих окопов — фронтом к низинке. Немного погодя пришли помогать рыть окопы крестьяне из ближнего села и бывшие батраки, а теперь — работники государственного хозяйства, на поле которого строилась сейчас оборона. Приходу этих помощников интербатовцы обрадовались, работа пошла скорее.

К вечеру окопы были готовы. Тепло, по-дружески распростились интербатовцы со своими деревенскими помощниками. В окопах не спешили устраиваться — никаких

признаков противника еще не было, высланные на восток дозоры его не обнаружили.

Темнело. Бойцы укладывались на отдых под открытым небом на притащенной из ближних ометов соломе — кто в окопах, кто возле. Улегся рядом с товарищами и Кедрачев. Как и все, за день он немало помахал лопатой и порядочно устал. И поэтому, едва голова коснулась земли, им сразу же овладел сон — без сновидений, непроницаемый.

Его разбудил резкий голос Нечитайло:

— К бою! Жив-ва!!

Интербатовцы, подхватывая винтовки, прыгали в окоп. Спрыгнул и Кедрачев. Глянул в край окопа, в другой. Кажется, все отделение на месте. Положа винтовку на бруствер, деловито всматривается в розовое от зари поле Шишкарев. Непослушными пальцами торопливо застегивает пуговицы на куртке Холонец, испуганно кося глазами. Никитенко озабоченно оглядывает винтовку. Сосредоточенно протирает тряпицей затвор Рабин. А разбитной Торопыгин подмигнул:

— Дождались праздничка!

«Где же противник?» Кедрачев всматривается туда же, куда и все: в кустарник над низинкой впереди. Но ничего там не видит. Может, разведка что-нибудь обнаружила?

— Рота! Приготовиться к открытию огня! — донесся откуда-то по-мальчишески звонкий голос Свечкина.

Тотчас же эту команду подхватил, сорвавшись на высокую ноту, Нечитайло:

— Готовсь! Идут!

Прилаживая винтовку на бруствере, чтобы удобнее было стрелять с упора, Кедрачев теперь увидел: за редкой, еще полупрозрачной молодой листвой кустарника мелькнули, подымаясь из низинки, согнутые фигуры в румынских солдатских кепи.

«Ну вот, Ефим,— сказал себе Кедрачев,— начинается твоя вторая война...»

Рядом гулко хлестнул, больно отдавшись в ушах, выстрел. Холонец уже передергивал затвор, чтобы выстрелить снова.

— Не торопись! — осадил его Кедрачев.— Патронов не шибко много. Спокойнее целься, подпускай поближе!

Холонец вскинул и опустил брови в знак согласия, но не удержался, выстрелил опять. Кедрачев хотел обругать его, да и сам поспешно приложился к винтовке: из кустарника на открытое место выбегали вражеские солда-

ты. Кедрачев поймал на мушку одного из них, выстрелил, но, кажется, не попал — солдат продолжал бежать вперед. Кедрачев выстрелил еще и еще. А солдат оставался невредим как завороженный, и Ефим, передергивая затвор, с досадой подумал, что за годы плена поотвык от оружия. А когда-то на германском фронте считался неплохим стрелком...

Сдерживая волнение, Кедрачев прицелился тщательнее и выстрелил. Солдат, в которого он метил, упал — то ли залег, то ли его наконец задело. Однако другие, опережая его, продолжали выбегать из кустарника.

«Не успеем! — екнуло сердце Кедрачева. Слева, с позиций сербской роты, длинной очередью зашелся пулемет. — А в нашей роте — ни одного пулемета! Своими силами отбиваться надо...»

Винтовочный огонь все же остановил противника. Кедрачев видел, как смятенно мелькают в кустарнике убежавшие туда солдаты, меж ними мечется фигура с револьвером в руке — офицер! Машет револьвером, пинает залегших солдат, они нехотя подымаются, пробежав несколько шагов, снова ложатся. Изловчившись, Кедрачев прицелился в офицера, но того скрыли кусты. Кажется, и он, отчаявшись поднять солдат, залег. «А что,— подумалось Кедрачеву,— может, там и тот румын, которого мы отпустили? Верно, отпустили не зря...»

Сухо, коротко треснуло вверху. В воздухе над позициями возникло рваное облачко серого дыма. «Шрапнелью бьет!» Кедрачев втянул голову в плечи, притиснулся к стенке окопа.

...В бою время обладает способностью сжиматься до предела, когда минуты представляются секундами, а за один миг человек успевает пережить и перечувствовать очень много и очень емко — так бывает под артиллерийским обстрелом, когда кажется, что враг бьет по тебе уже нестерпимо долго, и хочется крикнуть: «Да хватит же, хватит!»

Но кричи не кричи...

Невидимые глазу румынские пушки продолжали стрелять шрапнелью. Вниз с визгом-посвистом летели смертоносные шарики. Один из них, вскинув комочки земли, которые больно кольнули щеку, вонзился в рыхлый грунт бруствера перед лицом Кедрачева. С тем странным спокойствием, которое наступает в бою в момент, когда нервы напряжены до предела, он подумал, что эта самая шрапнелина, упади она на поларшина ближе, угодила бы

ему в голову. Но тут же его мысли переключились на главное, на то, что впереди, в кустарнике, снова замелькали вражеские солдаты.

Последняя шрапнель звонко хлопнула в высоте, и сразу наступила тишина.

«Сейчас поднимутся! — понял Кедрачев.— Артиллерия уже боится поразить своих».

— Берегите патроны, — строго предупредил он товарищей.

— Пуляем, пуляем... А что мы с винтовками? — недовольным тоном отозвался Холонец.— Вон у сербов, говорят, есть мадьярская пулеметная команда. Да и ту не слыхать.

Кедрачев хотел ответить, но его опередил Нititенко:

— Много ты, Данила, понимаешь! Пулеметы молчат — это, может, маневр огнем. Вот высунется войско его величества румынского короля на открытое место, тогда пулеметы и вдарят. А сейчас чего по кустам без толку садить? Только ветки сшибать.

— Да где же те пулеметы? — протянул Холонец.— Где они?

— Где надо! — обрезал Кедрачев.

Ему не нравилось, что Холодец брюзжит. А ведь обстрелянный! На итальянском фронте воевал! Он хотел сказать Холонцу пару крепких слов в назидание, но увидел: опушка кустарника словно зашевелилась. Видимо, офицеры все же сумели поднять свое воинство.

Противник наступал нерешительно. Снова встреченная частым огнем, вражеская цепь залегла. Синевато-серое обмундирование вражеских солдат скрывала молодая трава. Уже поднявшееся над степью солнце слепило глаза, мешало целиться. Сберегая патроны, обороняющиеся стреляли, лишь когда ясно видели или хотя бы угадывали цель — где шевельнулась трава. Все чаще на секунду, на две, так, что не успеть прицелиться, возникала фигура вражеского солдата. Пробежав несколько шагов, он снова падал в траву, сливаясь с нею. Иногда доносился резкий, повелительный голос — офицеры подгоняли солдат. В кустарнике впереди вновь стало заметно шевеление: очевидно, враг подтягивал новые силы.

«Как бы не смяли нас! — с нахлынувшей тоской подумал Кедрачев.— А отступать загодя — срамно. Не в царской армии, в Красной... Да что ж это пулемета нам нет? Сербской роте дали. А нам командир не выхлопотал...

Ну, чудо!» — вдруг встрепенулся он и крикнул срывающимся от радости голосом:

— Ребята, подсобите! — и сам первым бросился на помощь: сзади, над краем окопа, показались двое в старой австрийской форме: один тащил ребристый пулеметный ствол, другой — станок-треногу и коробки с лентами.

Бойцы помогли им спустить все это в окоп.

— Фаркаш! — показал на себя один из пулеметчиков, тот, что нес ствол, с лицом необычно смуглым, словно от сильного загара, и короткими черными усами.— Кто на эта позиция командир?

— О, да ты по-нашему можешь! — обрадовался Кедрачев.— В России был?

— Казань город. Плен.

— Понятно. А командир на этой позиции я, Кедрачев,— представился Ефим.— Давайте вашу машинку поскорее поставим!

— Довай, довай! — с явным удовольствием повторил на свой лад Фаркаш, видно, полюбившееся ему русское слово и что-то скомандовал второму пулеметчику.

«Машинку» установили на бруствере окопа, заправили ленту. Кедрачев показал Фаркашу, где накапливается противник.

— Огонь откроете, только когда снова подымутся...

— По ваша команда? Буду слушать.

Шли минуты, а противник словно исчез — на его стороне не замечалось никакого движения. Казалось, даже те солдаты, что залегли в траве, отползли назад, в кустарник. Но Кедрачев был опытным фронтовиком и знал, сколь тревожно такое мнимое безлюдье на стороне противника: не обнаруживается, — значит, чего-то ждет, что-то затевает...

Может быть, самые большие испытания сегодняшнего дня еще не наступили?

Томительно долгие, тянулись минуты. Все сильнее припекало взбирающееся к зениту солнце. Ждали: вот снова ударит артиллерия противника, под прикрытием ее огня пехота пойдет в атаку. Но все длилась, длилась тишина...

Новая атака началась внезапно и беззвучно. Вражеские солдаты, наклонив штыки, бежали вперед.

Кедрачев глянул вправо, на прильнувших к пулемету двух мадьяр. Встретив вопрошающий взгляд Фаркаша, покачал головой: «Рано!»

Часто застучали навстречу атакующим винтовочные выстрелы. Солдаты противника продолжали атаку. Уже

хорошо видны синеватые мундиры, у многих они распахнуты — жарко... Бегут, бегут вперед — позади офицер с револьвером в одной руке и саблей в другой — как ослушаться?

Стрелял Кедрачев в эти синеватые мундиры, но не было в нем злобы, ненависти к этим подневольным воякам, хотя каждый из них мог убить его. Стрелял по необходимости. Война есть война. Нельзя не удержать позиции. Нельзя не отбить атаки. Не убьешь или хотя бы не остановишь врага, он убьет тебя. И это не может не быть страшным. Страшился сейчас и Кедрачев. Но вместе с тем это не было тем бездумным страхом за свою жизнь, а тем более совсем уж не страхом перед своим начальством, как когда-то на германском фронте. Тогда, в общем-то, было все равно: стоять на месте, наступать или отступать, важно было одно — уцелеть. Сейчас хотелось не только выжить, как хочется каждому солдату во всякой войне. Сейчас было важно, делом совести было — не отдать врагу земли, на которой стоишь, пусть это и не твоя земля. Делом совести... Вот совесть и отодвигала куда-то на задворки сознания страх смерти, который, как ни храбрись, дает себя знать во всяком бою... Совесть. Это она вводит в состояние отрешенности от всего побочного, придает твердость пальцам, взводящим затвор винтовки, сдерживает биение сердца в момент выстрела.

В перерывах между выстрелами Кедрачев мельком взглядывал на товарищей: все ли действуют как надо? Все. Только каждый по-своему. Рабин целит подолгу, медлит с выстрелом — промахнуться боится. А Торопыгин — он и есть Торопыгин, вгоняет обойму в магазин винтовки лихо, на лице — азарт, целится — аж язык высовывает от усердия, стреляет немного поспешно, наверное, мажет. Сказать бы ему, чтоб патроны осмотрительнее жег. Зато Шишкарев целится спокойно, пальнет — посмотрит, нетороплив, сибирская душа. А почтенный Воропушин — тот еще неторопливее. Низко надвинул бескозырку на лоб — наверное, неудобно без козырька, ладно, солнце уже высоко, не бьет в глаза, как поутру. Никитенко не видать за изгибом окопа. Но в нем уверен — в бою держится как надо. А вот Холонец... Нарочно ему место рядом определил, чтобы видеть. Губы дрожат, спуск дергает рывком, вряд ли попадает...

— Не торопись! — бросил ему Кедрачев. И, повернувшись к пулеметчикам, предупреждающе кивнул им.

Атакующие совсем близко, движутся уже не перебеж-

ками, а широким шагом, выравнивая цепь, все они на виду...

— Давай! — махнул Кедрачев пулеметчикам.

Гулко заколотил пулемет. Тотчас же впереди стали исчезать, исчезать из поля зрения синеватые мундиры: одни из атакующих попадали в траву, чтобы не быть мишенью, другие метнулись назад.

Пулемет смолк. И тут же над травой поднялись в двух-трех местах румынские шапки. Короткой сердитой очередью прошелся пулемет. Шапки скрылись и больше не показывались.

Шел час за часом. Солнце уже перевалило через зенит. Еще несколько раз пытался противник пойти в атаку. И каждый раз пулемет Фаркаша прижимал врагов к земле. Тогда снова начала рваться шрапнель. Один из снарядов — прямо над окопом отделения. Тяжело ранило в грудь венгра-пулеметчика, помощника Фаркаша. Раскололо приклад винтовки у Холонца. Он растерянно вертел ее в руках. Кедрачев крикнул ему:

— Свяжи чем-нибудь! — и тут же метнулся к Воропушину, молча сжимавшему правой рукой левую у плеча. Стиснутые губы его болезненно кривились, на лбу, прорезанном крупными морщинами, растекаясь по ним, блестел пот.

— Задело?

— Ага,— выдохнул Воропушин.— Скользом, однако.— Его голос звучал виновато, будто он считал, что ранен только из-за своей оплошности.

— Эх, вояки, и бинта у нас нет! — Кедрачев с досады даже ругнулся, хотя обычно — и это знали товарищи — сам не пользовался сильными выражениями и не одобрял других.— Ладно, от рубахи оторвем.

— Рвите мою, только аккуратно,— предупредил Воропушин,— с подола!

Кедрачев и Никитенко расстегнули ему ремень и куртку, отодрали полосу от нижней рубахи, перевязали раненую руку — по ней шарик шрапнели прошел краем, прочертив кровавый след.

— Теперь я сам.— Воропушин взялся за винтовку.— Гляди-ко, опять шевелятся!

На стороне противника, в кустарнике, действительно заметно было какое-то движение. Но атака так и не состоялась. Румыны, отошедшие в кустарник, открыли оттуда винтовочный огонь. Он был не очень силен — похоже, противник постреливал словно бы только затем, чтобы не

дать забыть о себе. Зато справа, где держала оборону какая-то другая часть, все сильнее доносилась разнобойная россыпь винтовочных выстрелов и дробь пулеметных очередей, глуховато ухали пушки. Похоже было — главное напряжение боя переместилось куда-то правее. Но вот и там стрельба стала утихать, утихать...

Смолкли и винтовочные выстрелы из кустарника напротив.

— Нечего и нам зря патроны палить.— Кедрачев обернулся к Торопыгину: — У тебя глаз хваткий, поглядывай, что впереди, а мы перекурим.— Позвал Фаркаша: — Иди и ты!

Фаркаш присел рядом с Кедрачевым.

— Как угадать? Приказ — позиция стоять или нет — наступление?

— Землю вашу вернуть хотите? Как же без наступления?.. Закуривай! — Кедрачев протянул кисет.

— Возможно, совсем мир? — мечтательно проговорил Фаркаш.

— А что? — поддержал его Никитенко.— Вот увидят румынское правительство и Антанта вообще, мать ее... что нас отсюда не сдвинуть, и перестанут лезть. У Антанты надежда на румынскую армию не дюже крепка.

— Не скажи! — возразил Кедрачев.— Воевать румыны не охочи, это верно, да ведь вон сколько нагнали их. Да еще и артиллерию.

— Нам бы пушечку-другую,— обернулся от бруствера Торопыгин.— На французском фронте, помню, артиллерии этой было понапихано — пушка на пушке. Как в наступление идем — так под ногами загодя земля вся переворочена.

— Стало быть, лучшие воспоминания о французской артиллерии сохранил? — чему-то усмехнулся Никитенко.

— Да уж, лучшие! — Торопыгин возбужденно сдвинул бескозырку на затылок.— Как революция свершилась и узнали мы, что в России солдаты с немцами братаются, мы тоже: «Не хотим боле войны!» Нас в казармах окружили, как бунтовщиков каких. Сначала уговаривали, а потом видят, на своем стоим, и жахнули по нам батареями... Тут хошь не хошь, а пардону запросишь...

— Ну и куда же вас после этого?

— Кого куда... Против немцев больше не ставили. Кого в Африку на работы, кого за проволоку. А я смикитил — ни то ни другое мне не светит. А в том самом городе, где нас после бунта держали, корпус формировался на

Балканы. Так мне француз — конвойный солдат, из тех, что нас охраняли, — подсказал: заяви — желаю воевать под французскими знаменами, в тот корпус охотно добровольцев берут. Вот и сообразил: окажусь на Балканах — оттуда до России ближе. И сделал все, как загадал. Высадили нас в Греции, оттуда в Югославию. А как до Венгрии добрался — тут уж, думаю, пора, тем более и здесь революция. Вот и убег...

— Ловок ты, брат,— усмехнулся Никитенко.— Сумел, как говорится, левое ухо правой ногой почесать.

— Нужда — она заставит! — Торопыгин отодвинулся от бруствера.— А что я вам, братцы, еще скажу...

— Говорить — говори, да наблюдать не забывай! — напомнил Кедрачев.

Торопыгин оглянулся, посмотрел за бруствер.

— А чего там, все тихо. Обожглись на нас войска его величества и не кажутся... Э! — воскликнул он вдруг.— К нам товарищ Нечитайло собственной персоной!

Действительно, к окопу подбегал, согнувшись в три погибели, чтобы не заметил противник, взводный Нечитайло. Он шумно спрыгнул в окоп, отряхнулся, нашел взглядом Кедрачева:

— Слышь! Приказано отходить!

— Это почему же? — удивился Кедрачев.— Мы Антанту отогнали, не она нас.

— Измена! — выкрикнул Торопыгин, вновь забывая о своих обязанностях наблюдателя.— Непременная измена.

— Не горячись! — командирским тоном охладил его пыл Кедрачев.— Измена не измена, но как же можно, товарищ Нечитайло? Ведь мы отбили атаки...

— В самом деле! — придвинулся Никитенко.— За что у нас Воропушин кровь пролил? Да и все мы...

— Трудно понять...— заговорил и немногословный Рабин.

— Все вы только из своего окопа видите! — перебил Нечитайло.— А знаете, что справа и слева, на флангах, делается? Прорвался там неприятель, дальше жмет.

— Ну раз такое дело...— сник Кедрачев.— Ничего не поделаешь...— Поглядел на Фаркаша: — А ты еще надеялся, что Антанта угомонится. Да и ты, Никитенко, тоже... Сейчас отходить, взводный?

— Особо долго ждать нельзя.

— Лады...

— Жаль, еще не стемнело.— Нечитайло повертел головой, оглядывая небо. Где-то далеко позади позиций

солнце опустилось уже низко к горизонту, но свет его был еще силен, только приобрел золотисто-розовый оттенок, да от редких кустиков, росших позади окопа, протянулись длинные синеватые тени, пересекая его.

— По одному, вон за те ометы,— показал Нечитайло. Да о пулемете позаботьтесь. Мадьяр-то один с ним остался, не управится. Помогите справу пулеметную тащить.

— Об чем разговор? Само собой, поможем... Эх,— сказал с досадой Кедрачев,— пластались целый день семеро с одной лопатой. А теперь бросай!

— Конечно, жаль... А если окружат? Хватит, насиделись в одном плену, второго не надо. Собирайтесь! — И, опершись руками о стенки окопа, Нечитайло рывком выбросился из него.

Солдатские сборы недолги — через несколько минут все, один за другим, выбрались из окопа. Последним тронулся с места Фаркаш, дежуривший у пулемета на случай, если понадобится прикрыть отход. Фаркаш нес ствол пулемета, треногу тащил охотно вызвавшийся помогать ему Рабин, коробки с лентами — Никитенко и Холонец. Следом шел Шишкарев, последним — Воропушин.

Покинув окопы, собралась вся рота. Где-то впереди двигались другие роты Интербата. Шли вольным строем по темнеющей степи. Позади, где остались брошенные позиции, было тихо — то ли противник еще не обнаружил, что они пусты, то ли уже дошел туда.

Смутно было на душе у каждого: воевали-воевали, а все зря, приказано отступать. И далеко ли? А потом?

Когда в пути минуло около получаса, Свечкин велел остановиться, построиться. Взводные доложили, что все люди налицо, за исключением раненых, отправленных раньше. Спросил, есть ли раненые еще. Их можно отправить на повозках. Кедрачев хотел заявить о Воропушине, но промолчал: тот сказал, что рана терпимая и строя он не покинет.

— Товарищи бойцы! — сказал Свечкин.— Под давлением превосходящих сил противника нашему батальону приказано отойти за Тису и закрепиться на ее правом берегу. Оставлено прикрытие с двумя пулеметами, так что можем отходить спокойно. Идем к мосту, отсюда верстах в пяти. Перейдем по нему и встанем на позицию. Таков приказ командования. Все понятно? Тогда — шагом марш! Дозор, вперед!

Шагали в уже плотно окутавших землю сумерках. Они быстро густели, серовато-сизая дымка, застлавшая все

вокруг, становилась синее, уже и траву нельзя было разглядеть — она ощущалась только ногами; вечер становился ночью — безлунной, непроглядной...

Шли молча. Не слышно было обычных в походе разговоров — только мерный звук шагов, смягченный, словно размываемый, шелестением молодой травы. Чем больше темнело, тем плотнее держались друг к другу. Кедрачеву очень хотелось более подробно узнать: что же происходит на фронте? Но спросить было некого — Свечкин едва ли знает больше того, что сказал. Вот Янош, как комиссар, непременно должен быть в курсе. Но где он? Что-то не видно ни Яноша, ни командира батальона, ни начштаба. Все где-нибудь в голове колонны? Наверное...

Впереди, в сумраке, проступило маленькое, бледное светящееся пятнышко.

«Что это? — стал всматриваться Кедрачев. — Горит что-то?»

Идущие впереди остановились. Послышался недоуменный говор. Вдоль колонны пробежал кто-то, приглушенно крича:

— Где командир батальона? Где командир батальона?

— Что стоим? — недоумевали бойцы.

Но вот откуда-то из передних отрядов донеслось:

— Мост горит...

— А как же мы? Отрезаны?

— Отрезаны... Отрезаны...— зашелестело по рядам.

— Что делать? Где командиры?..

— Да здесь я! — негромко отозвался Нечитайло.— Чего раскудахтались?

— Раскудахтаешься... Какой-то вражина мост запалил.

— Куда теперь податься?

— Пропадаем! — тоненько всхлипнул Холонец.

— Не вопи! — оборвал его Кедрачев.— Разнюнился, а еще боец Красной армии. Сейчас все узнаем. Не оставят же нас так.

— Командиры взводов, ко мне! — послышался в темноте высокий голос Свечкина.

— Ну вот, — поспешил Кедрачев успокоить Холонца, — сейчас будет порядок. Коробку не потеряй со страху...

— Здесь она...

Прошло три-четыре минуты, и впереди послышался слитный топот ног — колонна заворачивала назад, вот ее голова уже проходит мимо, впереди вне строя шагают несколько человек без винтовок. Командир батальона, начальник штаба и Янош... Подойти, спросить его? Но голо-

ва колонны уже прошла мимо, зашевелился замерший было строй роты, разворачиваясь вслед за прошедшими. Вот очередь дошла и до отделения Кедрачева.

— Шагом марш! — скомандовал он.

Снова брели темной ночной степью по уже влажным от росы травам, шли, оглядываясь. Пламя горящего моста таяло, таяло в дымчатой синеве, вот и совсем исчезло, только еще некоторое время держался, впитываясь в ночной мрак, бледно-розовый отсвет.

Впереди замаячили темные пятна. Кроны деревьев, белая стена, колодезный журавель, высоко вздернутый в ночное небо. Какой-то хутор, а может, деревушка. Путь пошел под уклон, по сторонам зачернели плотной массой кусты лозы, пахнуло ночной свежестью.

Остановились возле самой воды, сырой песок податливо оседал под ногами. Неподалеку слышался незнакомый говор — там остановилась сербская рота.

— Нечитайло! — позвал из темноты Свечкин.— Где у тебя которые с пулеметом?

— Здесь! — откликнулся Нечитайло, стоявший, как оказалось, поблизости.

— Давайте ко мне!

Проталкиваясь между толпившимися возле воды бойцами, Кедрачев вышел на голос командира роты.

— Мадьярские товарищи с пулеметом с вами? — спросил Свечкин.

— Один товарищ. Другого в лазарет отправили. Взамен я своего дал.

— Ладно. Обождите здесь. Вам особо важная задача будет. Внимание, товарищи бойцы! — крикнул Свечкин.— Здесь будем переправляться на ту сторону. За ночь все должны быть там. Но переправляться пока что не на чем. Придется строить плоты. Командиры взводов! В деревне изыскать топоры и пилы, валить деревья, по берегу поищите лодки. Берите все, что пригодно, вплоть до винных бочек. Пустых, конечно, во избежание греха...

— Товарищ командир! — перебил его голос Фаркаша.— Бочка не надо брать! Виноградарь без бочка невозможно. Ему вино — как хлеб...

— Извини, товарищ! — охотно поправился Свечкин.— Насчет бочек это я погорячился... Эй, слушайте все! Бочек не брать! Приступайте!

Слышно было, как зашумели, расходясь по берегу, подымаясь к темным дворам, бойцы, русский говор мешал-

ся с польским, сербским. Затрещали ломаемые ветки кустарника, подступавшего к самой воде, — видимо, кто-то намеревался плести плотики из лозы.

— Вы потом переправитесь,— сказал Свечкин Кедрачеву.— А теперь за мной!

Командир роты вел их куда-то все дальше по крутой тропинке, что петляла меж кустами вдоль полого подымающегося берега. Наконец вышли на ровное место. Вблизи белела невысокая ограда, отделяющая чей-то сад, деревья которого во тьме казались непроглядно густыми, стояли черной бесформенной стеной.

— В заслон вас ставлю, поскольку у вас пулемет,— объяснил Свечкин.— Пока все не переправятся. Да вы не сомневайтесь, я для вас плотик припасу.— Он чиркнул зажигалкой, посмотрел на компас, вынутый из кармана, что-то прикинул по нему: — Здесь и располагайтесь, чуть подальше от ограды,— он прошел несколько шагов,— вот по этой канавке. Так, чтобы река была за спиной. Направление стрельбы, если противника услышите-увидите, вот так! — показал он рукой.— По сторонам тоже поглядывайте. При первых признаках противника дайте три выстрела подряд. Патронов хватит?

— Штук по полста на каждого,— доложил Кедрачев.

— Для пулемет — мало,— добавил Фаркаш.— Очень просьба — присылать. Коробка две, лучше — три, четыре.

— Попробую,— неуверенно пообещал Свечкин.— Ну, счастливо оставаться. Без приказа не отходить. Если что — дам знать.

Свечкин ушел — прошуршали по росистой траве, удаляясь, его шаги.

— Значит, так,— распорядился Кедрачев,— ставим пулемет посередине, сами — по сторонам. Никитенко наблюдать вправо, Шишкареву — влево. Воропушин и Холонец потом сменят. А ты,— обратился он к Рабину,— так и будь в помощь товарищу Фаркашу. И пулемет постигай.

— Постигну,— снисходительно улыбнулся Рабин,— этот механизм не сложнее швейной машины, а я их чинил.

— Вот и распрекрасно. Ты у нас мастер на все механизмы,— сказал Кедрачев и предупредил всех: — Не шуметь, не разговаривать, чтобы противника не прозевать. Тише мыши быть, понятно?

Через несколько минут на новой позиции установилась полнейшая тишина. Слышно было только, как где-то позади, наверное в саду, мелодично вызванивают свою немудрящую песенку цикады. Снизу, от берега, доносились при-

глушенные отрывистые голоса, слышался звучный в ночной тишине стук топора. Но с той стороны, откуда ожидался противник, не доносилось ни звука, ни искорки не было видно в черноте ночи. Земля, нагретая солнцем за день, была тепла, это чувствовалось даже через примятую траву, лежать на которой было мягко, спокойно. И, несмотря на то что на сердце у каждого было тревожно, усталость все же брала свое — понемногу клонило ко сну. Так уж привык солдат — тревожно не тревожно, но если тихо, ночью, после маятного дня, сон подступит неодолимо. Разве только необстрелянному какому, пороху еще только чуть нюхнувшему, страх не даст заснуть. Но в отделении все — бывалые солдаты, кроме Рабина, да и тот теперь уже обстрелянный. Расположились поудобнее, затихли. Но сам Кедрачев не мог позволить себе заснуть. Борясь с накатывающей дремотой, прислушивáлся: не прозевать бы противника!..

Он наказал Шишкареву и Никитенко смотреть в оба и часа через полтора, если заснет, разбудить его. И после этого как-то незаметно погрузился в непробудный солдатский сон, крепкий даже на самой неудобной постели.

Когда Никитенко разбудил Кедрачева, там, откуда ожидался противник, чуть розовато обозначился рассвет. Хотя поле перед позицией было еще серо и смутно, по нему стелился туман, стекая потихоньку по откосу берега к реке. Неясный топот послышался в предутренней дымке, из нее вынырнули, смещаясь, сливаясь и размыкаясь, силуэты двух или трех всадников. Всадники быстро приближались, их фигуры росли с каждым мигом, вот они уже метрах в пятидесяти, едут шагом, медленно, словно выплывают из тумана.

Кедрачев тронул за плечо прикорнувшего возле пулемета Фаркаша, показал на приближающихся всадников:

— Видишь?

— Вижу! — встрепенулся Фаркаш.

— Окликни по-своему, может, ваши?

Приподнявшись, Фаркаш крикнул.

Силуэты всадников резко колыхнулись, послышался частый топот копыт, он быстро удалялся — конники растаяли в тумане. Кедрáчев привстал на одно колено, вскинул винтовку, выстрелил три раза подряд. Выстрелы разбудили всех. Бойцы схватились за винтовки, Фаркаш взялся за пулемет. Рабин занял место рядом, готовый подавать ленту,— он уже освоился с обязанностями второго номера.

— Конная разведка.— Кедрачев, передернув затвор, выбросил гильзу, запах сгоревшего пороха на секунду ударил ему в ноздри.

— Холонец! — позвал он.— Беги вниз, на берег, разыщи комроты, доложи: только что видели румынский разъезд. Живо!

Холонец забросил за плечо ремень винтовки, побежал. Но едва он скрылся, как раздался голос Свечкина: услышав выстрелы, он уже спешил узнать, что случилось. Выслушав Кедрачева, сказал:

— Переправа на тот берег затянулась. Продержитесь, пока не переправятся все. Могу обрадовать — вы теперь не одни на прикрытии. Правее вас, на краю хутора, командир батальона поставил еще один пулемет.

Свечкин ушел. Теперь уже никому не спалось, не дремалось. Небо на востоке, в стороне, откуда ожидался противник, заметно посветлело, но оставалось синевато-серым, утренняя заря еще не окрасила его в свои теплые тона, и сквозь медленно редеющую ночную дымку начинала вдали прорисовываться неровная, полого-волнистая линия горизонта с выступающими на ней кое-где шершавинками рощ и виноградников.

С реки потянуло холодком, наверное, переменилось направление ветра, хотя его совсем не ощущалось, недвижны были листья на кустах, росших вдоль канавки, в которой расположились бойцы. Холодком потянуло и по сердцу Кедрачева — с каждой минутой уходит ночь, а переправа еще не закончена. Может, не скоро поступит команда оставить позицию, и неизвестно, что к тому времени предпримет противник. Возможно, он сейчас, после кавалерийской разведки, уже двинулся сюда.

Прошло еще немного времени. Чуть зарозовел нижний край неба на востоке. Степь впереди открылась вся, до горизонта, еще дымчатая, голубовато-зеленая.

«Простор-то какой!» С внезапно всплывшим радостным чувством оглядывал Ефим Кедрачев пространство, распахивающееся перед ним все больше, по мере того как уходили ночные тени, таял гнездившийся в низинах сумрак. Какая земля здесь обжитая, возделанная, к каждому клочку руки приложены. Не первый год Ефим в Мадьярщине, походил по ней, повидал, знает, какова она, но сейчас будто впервые открылась перед ним эта земля. Может быть, потому, что по-новому смотрит он теперь на нее? Сначала, когда привезли в эшелоне с другими пленными, поместили в лагерь и стал ходить на работы, все,

на что ни взглянул бы вокруг, казалось постылым, ничем не радовало. Потом, когда вышел из лагеря и стал жить мечтой о том, как бы скорее покинуть чужбину, словно и не замечал, какая она, венгерская земля,— ведь мыслями, чувствами, надеждами он был уже далеко от нее, на милой сердцу родной стороне. А вот теперь, когда повоевал в здешних краях, пусть немного, всего лишь день-другой, и сейчас, когда ждет новых, возможно, совсем скорых боевых испытаний, видя эту землю в величавом свете близкого восхода, сбрасывающую туманный покров ночи, особенно остро не только умом, а и сердцем, каждой клеткой тела ощутил не такую уж маловероятную печальную возможность остаться навсегда на этой земле, стать ее частицей...

— Кавалерия!

— Где? — встрепенулся Кедрачев.

— Вон, вон, правее, из-за виноградника показалась!

Теперь и Кедрачев разглядел: вдалеке, еще верстах в двух, быстро движется, растянувшись по полю, колонна всадников.

— Холонец! — позвал Кедрачев.— Мигом к Свечкину, доложить!

Холонец сорвался с места.

Колонна тем временем разделилась надвое, всадники перешли на рысь. Очевидно, они хотели ворваться в прилепившийся к берегу поселочек одновременно с двух сторон в надежде, что вряд ли за несколько ночных часов красные успели создать здесь прочную оборону.

Конники быстро приближались. Они скакали уже не слитной массой, а развернувшись на ходу в шеренги. Еще минута-другая — и они будут здесь, а спастись от кавалерии негде, место открытое. Если и побежать под укрытие садов и оград — едва ли успеешь, порубят на ходу... Стрелять? На ходу в скачущего всадника не очень-то попадешь... Подпустить и встретить залпом?

Все эти мысли проносились в сознании Кедрачева с молниеносной быстротой. Он еще не знал, какую даст команду. Заметив боковым зрением, что Фаркаш разворачивает пулемет в сторону приближающегося врага, Кедрачев крикнул ему:

— Чуточку обожди! Подпустим ближе!

— Куда уж ближе, товарищ отделенный! — не выдержал лежавший рядом Торопыгин.— Стрелять надо!.. Стрелять, пока не стоптали!..

Скакавший впереди всадников офицер выхватил шашку,

взмахнул ею, обернувшись; в мягком свете утра блеснули шашки над головами остальных.

— Теперь давай! — махнул Фаркашу Кедрачев.

Гулкая очередь пулемета заглушила глуховатый по травянистой земле, но грозный топот копыт, нараставший с каждой секундой. Еще секунду-две вражеские кавалеристы продолжали мчаться вперед. Но вот под одним рухнула лошадь, подмяв седока. Другой вылетел из седла, упал на землю, а одна нога осталась в стремени; лошадь продолжала скакать, волоча его. Кедрачев пальнул из винтовки по офицеру, скакавшему впереди, крутя шашкой. За ним, пригибаясь к седлам, продолжали мчаться его солдаты. Но пулемет настойчиво продолжал свой смертный перестук. Вдруг офицер круто повернул коня, вслед за ним развернулись и остальные.

Конники удалялись так же стремительно, как перед тем приближались. Тело сваленного пулей с седла наконец отцепилось от стремени. Его конь, оставшийся без седока, видно, хорошо приученный к строю, скакал следом за удалявшимися всадниками. А тот кавалерист, под которым был убит конь, бежал следом за своими, бежал спотыкаясь, то и дело оглядываясь, ножны путались у него в ногах, а шашку он, кажется, потерял.

Кедрачев, охваченный азартом, выстрелил вслед бегущему два-три раза, хотел выстрелить еще и уже передернул затвор, но вдруг ему почему-то стало стыдно. «Что это я, ровно на охоте... Бежит — и шут с ним, патроны на него тратить...»

Рядом продолжали стрелять, видно, азарт охватил не одного его.

— Прекратить огонь! — закричал Кедрачев.— Патроны береги!

Стрелять перестали. Только справа, от окраины поселка, еще доносился сухой треск выстрелов и короткие, но частые пулеметные очереди, наверное, и там отбивали атаку кавалерии. Вскоре стрельба затихла всюду.

Вернулся запыхавшийся Холонец.

— Эх, друже! — шутливо посочувствовал ему Торопыгин.— Самое интересное ты пропустил — атаку в конном строю. Редко такое увидишь.

— Не увижу — и слава богу! — ответствовал Холонец.— Командир роты сказал: оставаться на месте, наблюдать во все глаза, если румыны покажутся, дать знать.

— А что долго пропадал?

— Командира искал. Он же не на позиции — на берегу.
— Чего он там делает?
— Насчет переправы старается.
— Плоты сделали?
— Мало. На весь батальон — три. Делать не из чего. Хотели по дворам насчет досок-бревен поразведать, да комиссар строго наказал ничего у крестьян не брать. Я сам видел, с одного двора ворота притащили, так велел обратно на место поставить.
— А много на тот берег переправили?
— Где — много? На плотик пять-шесть умещается, не боле. Да двоим надо обратно плотик гнать — река, говорят, дюже быстрая. Еще и половины не переправили. Вот раненых — всех.
— Да... Видно, не скоро до нас очередь дойдет.
— Как бы румыны нас здесь не прижучили,— сказал Никитенко.— Не успокоятся же на том, что кавалерию мы отбили.
— Может, и успокоятся, раз увидели, что с ходу нас в реку не опрокинуть,— посчитал своим долгом пресечь сомнения Кедрачев.— Но все равно сидеть нам здесь, пока все наши не будут на той стороне. Товарищ Фаркаш! У тебя еще много лент снаряженных?
— Одна-едина. В пулемет стоит. Две — пусто! Три. Больше нет.
— Негусто... Вот что, товарищи! Придется раскошеливаться. Оставим по три обоймы, остальное — пулемету отдадим. Товарищ Рабин! Собирай патроны и заправляй ленты!
Кедрачев первый расстегнул патронташ, высыпал в подставленную Рабиным бескозырку патроны, отсчитав себе только полтора десятка. Его примеру последовали остальные. Лишь молчаливый Воропушин, пошарив у себя в подсумках и по карманам, виновато глянул и не отдал ничего.
— А ты? — не замедлил обратиться к нему Кедрачев.— Почему не отдаешь?
— Нету лишних, — буркнул Воропушин. — Откуда взять?
— Всем поровну выдавали, ты не больше нас потратил!
— Выходит, больше.
— Что-то не заметно было... А ну-ка, покажи!
— Чего показывать? — Воропушин сжался.
— Показывай, показывай!

— Да вы что, товарищ отделенный командир? Обыск делаете? Мне, раненому бойцу? Словно вору какому! Не имеете права!

— Ты это, Воропушин, брось! — пришел на помощь Кедрачеву Никитенко.— Постановлено сдать,— значит, сдать. Не в свое хозяйство добро зажимаешь.

— Ты моего хозяйства не трожь! Оно мое и боле ничье. Нечего меня хозяйством попрекать!

— Темнота ты деревенская!

— А ты, Никитенко, городской, сильно грамотный! А чей ты хлеб в городу ешь? Мой!

— Да бросьте вы! Нашли, о чем спорить! — вмешался Торопыгин. — Ты, Воропушин, пардон, гони патроны!

— И верно, все отдали, один ты жмотничаешь! — поддержал молчавший до этого Шишкарев.

— Так отдашь? — спросил Кедрачев.

Сердито засопев, Воропушин развязал свой заплечный мешок — у него единственного в отделении был такой мешок, в котором он хранил неизвестно что,— и, молча покопавшись в нем, выложил, тщательно дважды пересчитав, пятнадцать патронов, высыпал их в шапку Фаркаша. Тот вместе с Рабиным начал набивать опустошенную ленту.

День входил в полную силу, солнце поднялось высоко в безоблачном небе, и далеко-далеко стала видна степь в темно-зеленых пятнах виноградников и кустарников, в буровато-изумрудных полосах пашен, уже покрытых всходами. Все вокруг дышало миром и покоем. И странно было видеть на зеленой, золотящейся под солнцем траве убитую лошадь — шагах в трехстах от позиции отделения. Все смотрели на нее и неторопливо рассуждали о том, добрался ли ее всадник до своих или же прячется где-то, вжавшись в траву. Вдруг Воропушин, не принимавший участия в общем разговоре, молча поднялся и пошел вперед, в поле.

— Ты куда?! — крикнул ему Кедрачев.

Воропушин оглянулся, сделал успокаивающий жест рукой — дескать, скоро вернусь — и пошагал дальше. Все с любопытством следили за ним. Вот он дошел до лошади, нагнулся, что-то делает... Снял попону, седло, уздечку, все это взгромоздил на себя, тащит.

— Вот хозяйственный мужик! — первым рассмеялся Торопыгин.— Раненный-раненный, а глядите, как свои трофеи прет! Ну зачем ему в пехоте конская сбруя? Разве что здешним на молочко сменяет?

— Они и без того угостят! — улыбнулся Холонец.— Вон там,— обернувшись, он показал на ближнюю хату, беленые стены которой выглядывали из-за листвы сада,— я, когда от комроты бежал, заглянул воды напиться, а мне хозяйка молока вынесла. Просила, чтобы мы на тот берег не уходили. Не хочет под иностранную власть.

— Все мадьяр — не хочет! — отозвался Фаркаш.— Здесь наша земля!

Подошел, тяжело ступая под своей ношей, Воропушин. Свалил добытое, обтер рукавом вспотевший лоб, сел, потрогал, кривясь, раненую руку.

— Болит? — спросил Кедрачев.

— Растревожил малость.

— И зачем тебе было тащить?

— Да ведь такое добро! Не пропадать же ему! — Воропушин посмотрел на свою добычу, видимо, соображая, куда же ее приспособить.

Находчивый Торопыгин поспешил посоветовать:

— Попону — под себя, чтобы не на сыром лежать, седло — перед собой, упор для винтовки хороший. А уздечку... уздечку на себя надень, чтоб не потерялась.

— Шутки тебе,— буркнул Воропушин. Но все-таки последовал совету. Только уздечку спрятал в свой необъятный мешок.

— Ну вот, всех удобнее устроился. Вот и наблюдай теперь,— сказал Кедрачев.

— Средь бела дня открыто едва ли сунутся,— заметил Никитенко.

Но этому предположению не суждено было оправдаться. Прошло совсем немного времени, и раздался глуховатый голос Воропушина:

— Едут!

— Кавалерия? — вскочил Кедрачев.

— Не, везут чего-то. Вроде пушки.

Теперь и все разглядели: вдалеке, за виноградником, промелькнули упряжки с передками и орудиями, сколько их — сосчитать не удалось.

— Холонец! — распорядился Кедрачев. — Сбегай-ка еще на берег, найди Свечкина или Нечитайло, скажи про пушки.

Холонец вернулся быстро, доложил:

— Сказал. Велел дальше наблюдать.

— А как там переправа? Скоро наша очередь?

— Половину батальона, верно, перевезли. Комиссар

смотрит, чтобы по очереди. А командир батальона и начальник штаба уже на той стороне.

— Ладно, подождем своего времени. Вот только артиллерия, черт ее побери...— Кедрачев вновь глянул на далекий виноградник.

Прошло еще не больше часа. Воздух уже утратил утреннюю прохладу, солнце поднималось все выше, и было слышно, как в безоблачном сияющем небе неумолчно звенит жаворонок.

Щелчок далекого винтовочного выстрела был еле слышен. Он, конечно, не мог заглушить песни жаворонка, самозабвенно выводившего свои рулады прямо над головами бойцов. Однако никто, после того как прозвучал этот далекий выстрел, уже не слышал жаворонка. Внимание всех обратилось в ту сторону, откуда донесся выстрел,— справа от берега. Там вслед за первым выстрелом послышались другие. Перестрелка разгоралась. Значит, правее противник подошел к берегу, атакует с фланга!

Прерывистый свист возник где-то в вышине, он быстро удалялся к реке, и через секунду-две донесся раскатистый звук разрыва. Все оглянулись — черный дым вставал из-за деревьев ближнего сада. Вспыхнули встревоженные голоса, их погасил командный окрик. И тотчас же вверху вновь возник знакомый, с пришепетыванием, глуховатый посвист, и позади, на берегу, грохнул разрыв. Шаркнули где-то поблизости, по кустам, осколки. И громко, надсадно выругался Шишкарев. Все обернулись к нему. Он сидел, на уровне лица держал правую руку и, морщась, рассматривал ее. С обшлага, затекая с ладони в рукав, капала кровь.

— Вот врезало! — растерянно проговорил Шишкарев.— И в руку, и в затвор... Как я теперь стрелять буду?

— Ну-ка, покажи! — подвинулся к нему Кедрачев.— Да тебе, однако, насквозь пробило! Никак ты стрелять не будешь... Ладься на тот берег — и в лазарет.

Общими усилиями забинтовали Шишкареву рану, накинули ему на шею ремень — получилась перевязь для раненой руки.

— Патроны по карманам у меня соберите,— предложил Шишкарев и посмотрел на свою винтовку, лежавшую у ног:— Тоже раненая...

— Ты лечись как следует,— положил ему руку на плечо Кедрачев,— и возвертайся побыстрее.

— Так ведь не успею! — сдерживая боль, улыбнулся Шишкарев.— К тому времени неужто Антанту не разобьем?

— И то правда,— согласился Кедрачев.— В таком разе домой вместе поедем.

— Вот на это я согласен! До встречи, братки!

Шишкареву помогли выбраться из канавки, служащей окопом, и он, осторожно придерживая раненую руку, пошел вниз, к воде.

Тяжело дыша, возле Кедрачева опустился Нечитайло. Отер тыльной стороной руки пот со лба, поправил сбившуюся бескозырку.

— Командир роты приказал вправо вам податься, оттуда стрелять. Собирайтесь, отведу.

То и дело пригибаясь при звуках пролетавших поверху снарядов, двинулись вслед за Нечитайло на новую позицию. Отсюда еще дальше видна была степь, но виден был, если оглянуться, и берег, за спиной косо уходил в обе стороны вдаль невысокий обрыв, жидко поросший кустиками, пересеченный ведущими к воде овражками-лощинками.

— Вон оттуда,— показал Нечитайло на одну из дальних лощинок правее,— по переправе и стреляют. Увидите, что неприятель покажется,— открывайте огонь.— И добавил с досадой:— Эх, была бы у нас хоть одна пушечка...

Нечитайло ушел. Фаркаш наготове лежал у пулемета. Кедрачев продолжал внимательно посматривать то в сторону лощинки, куда указал Нечитайло, то в степь — кто знает, откуда раньше покажется враг?

Но вот из выходившей к берегу лощины, за которой следили все, показались вражеские солдаты. Развернувшись в короткую, но довольно плотную цепь, левый фланг которой почти примыкал к воде, а правый — к береговой круче, они шли вдоль берега, приближаясь к переправе и, видимо, не опасаясь ответного огня: с места переправы их еще не было видно.

— Фаркаш, давай! — крикнул Кедрачев.

Пулеметчиком Фаркаш был искусным, бил точно. Рабин, уже как заправский второй номер, исправно подавал ленту. Вражеская цепь смешалась. Первые несколько секунд наступающие еще пытались идти вперед, но вот они дрогнули, повернули назад, скрылись в лощине. Фаркаш, экономя патроны, перестал стрелять — и через минуту-другую вражеские солдаты показались снова. И вновь натолкнулись на огонь пулемета.

Кедрачев опасался, что румыны засекут их пулемет и вызовут по нему огонь артиллерии. Но пока что артиллерия не меняла прицела.

Остановится противник или возобновит натиск?

У каждого в душе шевелился червячок опасения: батальон переправится, а они не успеют, останутся наедине с врагом. Те же чувства владели и Кедрачевым, только он, командир, не хотел, не имел права их проявлять.

Как же обрадовался он, когда, оглянувшись, увидел, что по береговой круче к ним поднимается Гомбаш! Оживились все: комиссар с ними, еще на этом берегу, не спешит переправиться.

Гомбаш присел рядом, посмотрел вправо, вдоль берега:

— Хорошая позиция! — и добавил с улыбкой:— Пора и вам уходить. Там внизу, у воды, плотик. А пулемет пока останется здесь. Для последнего прикрытия. Отправляйтесь!

— Ну, товарищи дорогие...— Кедрачев положил руку на плечо Фаркаша, глянул на Рабина:— Мы будем ждать вас.— Скомандовал:— Все вниз, к воде! — Видя, что Гомбаш прилег рядом с Фаркашем, спросил обеспокоенно:— А ты, товарищ комиссар?

— Я переправлюсь с пулеметчиками.

При этих словах Гомбаша Фаркаш быстро, взволнованно сказал ему что-то по-венгерски, так быстро, что Кедрачев не уловил ни слова. Видя, что Гомбаш отрицательно повел рукой и бросил короткое «Нэм!» [1], догадался: Фаркаш хотел убедить комиссара, чтобы тот уходил со всеми. Кедрачеву стало совестно: как можно оставить друга, а самому уйти?

Гомбаш, видимо, заметил его растерянность:

— Мы скоро вас нагоним. Услышим две короткие очереди — значит плотик за нами выслан. За нас не беспокойтесь, переправляйтесь. Переправляйтесь! — повторил он жестче, видя, что Кедрачев колеблется.

— Все вниз! — скомандовал Кедрачев.— На плоты! — Заметив, что Воропушин схватил в охапку седло и попону, крикнул: — Да брось ты свою сбрую!

Воропушин со своим грузом не расстался, съехал вместе с ним по крутому склону к воде. «Ну и жадюга! — усмехнулся Кедрачев.— Ведь все равно бросит...»

Он хотел последовать за своими бойцами, которые один за другим кто съезжал, кто сбегал с кручи к береговой кромке, как вдруг совсем близко ахнул разрыв, взметенная земля пронеслась черным вихрем, на миг затмив небо, и в лицо Кедрачеву ударило пылью. Когда он проморгался, увидел: из лощины вдоль берега вновь шла вражеская

[1] «Нет!» *(венг.)*

пехота, а Фаркаш припал к прицелу, готовый нажать на спуск, но его остановил Гомбаш, что-то проговорив по-венгерски. «Правильно, поближе подпустить их...— одобрил Кедрачев, изготавливая винтовку к стрельбе.— Нескладно получается: мое отделение там, я здесь... Ладно, пусть уплывают без меня, не ждут...»

Вражеская цепь видна была уже отчетливо. Фаркаш, слившийся с пулеметом, нетерпеливо глянул на Гомбаша, но тот сделал знак: «Подожди!» И тут издалека, из-за реки, донеслась короткая пулеметная очередь, тотчас же вторая, а следом за нею еще и еще. Суетливо заметались на берегу синеватые фигурки. Гомбаш приподнялся:

— Уходим, пока прикрывают!

Вчетвером, таща пулемет и патронные коробки, спустились по крутому, кое-где в осыпях глины откосу к самой кромке воды и увидели уходящий к противоположному берегу плот, глубоко осевший под заполнившими его бойцами. А навстречу шел связанный из древесных стволов, с наспех обрубленными сучьями небольшой плотик, который, с трудом преодолевая течение, гнали двое бойцов.

— Сюда, сюда! — закричал Кедрачев, опасаясь, что с плота их заметят не сразу.

Плот сносило течением в сторону лощины, из которой только что пытались выйти к месту переправы вражеские солдаты. Кедрачев, Гомбаш, Фаркаш и Рабин, таща пулемет и патронные коробки, вдоль кромки воды спешили навстречу плотику. Тот уже близко. Два бойца, привстав на колени, изо всех сил выгребают лопатами, которые у них вместо весел.

— Давай сюда! — замахал бескозыркой Кедрачев.

Плот ткнулся в берег.

— Быстрей грузись, а то накроет! — крикнули с плота.

Не прошло и минуты, как все погрузились. Затащили пулемет, забрались сами. Только Рабин замешкался, устраивая коробки с лентами, влез последним. На плоту было тесно. Рабин пристроился на самом краю, винтовку на ремне закинул себе на шею.

Под тяжестью пулемета и людей плотик тяжело осел. Между бревнами его плескалась и хлюпала вода, течение норовило стащить его в сторону врага. Находившиеся на плотике гребли отчаянно, чтобы поскорее пересечь реку, гребли не только лопатами, но и руками, хотя это мало могло помочь. Правый берег приближался мучительно медленно, не столько приближался, сколько проплывал мимо сносимого течением плота. Возле плота чиркнула о воду

пуля, другая... Скорее бы доплыть! Все следили, когда же приблизится правый берег. Он казался таким желанным — низкий, поросший лозняком, стеной стоящим у воды — зеленой стеной, которая сможет укрыть.

Глухой треск — пуля ударилась в бревно плота, отколов щепку, та промелькнула перед глазами Кедрачева, плюхнулась в воду.

— Так твою разэтак! — громко выругался боец с лопатой: вторая пуля угодила ей в черенок, лопата вылетела из руки, булькнула в воду. Теперь вся надежда оставалась на единственного оставшегося гребца.

Плот шел заметно медленнее, течение все настойчивее завладевало им.

Просвистело еще несколько пуль. Вдруг Рабин, резко дернувшись всем телом, головой вперед полетел в воду, вскинул руки к шее, очевидно, спеша сбросить с нее ремень винтовки, но не успел — мелькнула его спина, взметнулись брызги... Кедрачев рванулся, чтобы ухватить Рабина, сам не удержался на плоту, ухнул с головой в воду. Вынырнув, поспешно глянул в одну сторону, в другую: где же Соломон? Найти, вытащить!..

Что-то кричали с плота, он не разобрал что.

Где же Рабин? Еще держится на воде или?..

Чьи-то руки подхватили Кедрачева, подтянули к плоту. Он не спешил взбираться на него, только кинул ладони на крайнее бревно.

— Не видите? — спросил с надеждой.— Я поищу!

— Не надо! — удержал его Гомбаш.— Не спасешь и себя погубишь. Мы все уже осмотрели. Наверное, его сразу... Только вот...

Кедрачев глянул в сторону, куда показал комиссар: на волне вверх дном качалась бескозырка с красной кокардой.

Попеременно изо всех сил гребли единственным веслом-лопатой; плот медленно, но все-таки приближался к берегу. А следом за ним плыла намокшая, уже не державшаяся на поверхности бескозырка. Умер Соломон Рабин солдатом, едва успев стать им, и не вернет его венгерская река Тиса, не дождутся его в далеком Каменец-Подольске ни жена, ни мать, ни дочери...

Еще совсем немного...

Несколько рук ухватились за гибкие, еще не густо одетые листвой ветви, подтянулись к ним — плот наполовину скрылся в зарослях, застрял в них. Подтянуть его ближе нельзя: мешает лозняк, стоящий в воде.

Прошуршали в листве несколько пуль. Неужели противник все еще видит плот?

Но плот уже оставлен. С трудом вытаскивая ноги из цепкого холодного ила, раздвигая упругие прутья лозняка, все бредут к берегу. Его еще не видно, он прикрыт зарослями, которым, кажется, нет конца, они сомкнулись вокруг зеленой стеной. Но должен же быть когда-нибудь берег!

Глава девятая

ПОСЛЕ ОТХОДА

От невидимой реки, скрытой зарослями, пахнуло сырым, еще по-весеннему прохладным ветерком, и Кедрачев зябко поежился: «Шинельку бы!..» Ветерок усиливался. Зашептались меж собою еще не густые листья лозняка, заглушая и без того еле уловимый говорок струй под невысокой кручей.

Чем сильнее шумела листва, тем большее беспокойство охватывало Кедрачева: «Этак и не услыхать, ежели что с реки... А не увидишь и подавно — кусты впереди, и ночь темная... Пониже к воде спуститься? Да там, поди, мокро». Он пошевелился, удобнее устраиваясь на ветвях, которые наломал, чтобы не сидеть на сырой земле, и стал напряженно вслушиваться.

После высадки на правый берег Тисы Кедрачев с товарищами первым делом принялись разыскивать свою роту и вскоре нашли ее неподалеку, в прибрежной буковой роще. Там, оказывается, собрался уже почти весь батальон — только несколько бойцов были оставлены возле воды дозорными. Особых опасений, что румыны станут переходить Тису, не было: стало известно — они сами считают ее новой линией разграничения. Было досадно, горько, что пришлось отступить. Горько, хотя все знали, что их вины в этом нет: удержаться на левом берегу было невозможно — слишком велик перевес в силах.

Под деревьями, где ночная тьма особенно густа, лежали и сидели бойцы, подложив под себя кто что мог,— свежая весенняя трава была влажной от ночной росы. Никто не знал, какой последует приказ: одни говорили, что батальон поставят на позиции вдоль берега, другие — что отправят на отдых, а на смену ему придет какая-то часть Красной армии. Постепенно разговоры смолкли — сон сморил утомленных бойцов.

Наступивший день прошел спокойно, в неторопливых делах: чистили оружие, чинили обмундирование, брились — словом, приводили себя в порядок после боевых дней. К вечеру батальон перевели в село, в получасе ходьбы от берега, разместили по дворам.

А в полночь всех поднял резкий звук рожка батальонного горниста.

Когда выстроились на сельской улице, командир роты Свечкин сообщил: противник только что попытался потихоньку, без боя, высадиться из лодок на правом берегу, но был обнаружен дозорами, вспугнут ружейным огнем и ретировался. Свечкин предупредил: в любой момент противник может повторить попытку высадиться — поэтому необходимо усилить оборону берега. Для этого от каждой роты должно быть выделено по одному взводу. В русской роте выбор пал на взвод Нечитайло. Всем остальным взводам надлежало пока оставаться в полной боевой готовности.

С тех пор как взвод занял позицию на берегу, прошло уже часа два. На реке по-прежнему было тихо. Ветерок, временами встревоженно шумевший листвой, притих. Снова стало слышно ровное журчание воды. Под этот звук, такой спокойный, безмятежный, хотелось мыслями уйти куда-нибудь подальше от сегодняшних, сиюминутных тревог и опасений, хотя внимание Кедрачева ни на секунду не ослабевало: не послышится ли плеск весел? не прошуршит ли борт лодки о нависшие над водой ветви? не донесутся ли приглушенные чужие голоса?.. Его уши оставались настороже. Но вместе с тем он в какой-то мере все же отключился от тревожных опасений и ожиданий. И, как это нередко случалось и на фронте и в плену, ему хотелось думать не о том, что вокруг и чем живет он сейчас, а о том, что было когда-то, и о том, что может статься в будущем, если судьба пощадит его и оставит живым.

Не мы распоряжаемся своей памятью, а она нами. То, что нам хочется забыть, иной раз никак не забывается, несмотря на все наши усилия. То, что хочется помнить всегда ясно, бывает, тускнеет в памяти. Она действует по каким-то своим законам, не всегда соответствующим логике наших чувств. Ефиму хотелось сейчас мысленно унестись в родную сторону, в несбыточно далекий Ломск, где остались дорогие его сердцу люди, а память перехватывала мысли на пути, заворачивала их туда, куда было поближе,— к дому, где осталась Лайошне. Он знал, чувствовал,

был уверен — она не перестает думать о нем, может быть, надеется, что он вернется к ней, когда наступит мир. Ефим ничего не обещал, честно не обещал, когда расставались. И полагал, что этим подведет черту и для нее, и для себя. А вот, поди же, думает о ней часто. Иной раз — чего греха таить — и взгрустнется. Ведь Лайошне, видно, крепко к нему привязалась, надеялась и его привязать к себе так, чтобы он не смог, не захотел уйти. Но ведь ушел... И надо было уйти. Обязательно надо! Нельзя жить по неправде. А ведь как получилось? И Лайошне вроде как обманул — надежды ее обманул,— и перед Натальей неладно. Вот почему и сказал себе твердо: «Если у Натальи с кем что и было за время войны — то нечего, брат, тебе обижаться: квиты. Сказать-то легко... Эх, война, разлучница злая. Да не только разлучница, случается — и сводит. Вот с Лайошне свела. И развела. Вроде наперед знал, что обязательно разведет, и скоро. А все же какой-то корешок остался, саднит... Яноша с Олюнькой тоже война свела, да и развела — может, насовсем. А вдруг отыщется сестренка — и вернут они с Яношем свое счастье? Это не раньше, конечно, чем война везде кончится. Янош рассказывал — в восемнадцатом, когда поженились, все гадали, как им жизнь устроить, где жить. В ту пору это, конечно, трудно было решить. А теперь, когда и здесь советская власть, все очень просто получится: революция отменит все границы, езжай куда душе угодно, из державы в державу — все одно что из губернии в соседнюю, запросто. Скорее бы такое времечко подоспело. Досадно, конечно, что здесь война пока что не в нашу пользу оборачивается. Наступали-наступали, а пришлось за Тису отойти. Когда теперь снова на тот берег? Но ничего. Может, вскоре все к лучшему обернется, опять за Тису пойдем — не отдадут же мадьяры свою землю румынскому королю за здорово живешь? Да и то подумать — очень даже возможно, что сейчас, пока тут на месте стоим, за Карпатами наша Красная Армия с Украины уже к границе подходит... Вот ежели соединимся — ходи назад, королевское войско!.. Верно, тогда вся война здесь быстренько закончится, и можно будет прямой дорогой домой...» И снова вернулись мысли о Наталье, о Любочке, обо всем, что оставил в родном городе в июне семнадцатого, когда нежданно-негаданно угодил в маршевую роту.

О многом передумал в эти ночные часы под журчание реки Ефим Кедрачев. Его размышлениям ничто не мешало: ночь, еще не по-летнему длинная, прошла спокойно.

Перед рассветом взвод сменили, и Кедрачев вместе с товарищами отправился отдыхать.

Без особых событий прошло еще три дня — батальон продолжал оставаться все в том же селе. Небольшая часть бойцов, посменно, занимала позиции на берегу на случай, если румынские войска вновь попытаются перейти Тису. Свободные от дозорной службы не бездельничали: усердно ходили в учебные атаки, упражнялись в прицеливании — патронов для учебной стрельбы не выдавали, берегли для настоящего дела. Под руководством комиссара проводились политические занятия — они заключались главным образом в чтении вслух газет и в разъяснении прочитанного. В русскую роту изредка поступала единственная в Венгрии газета на родном языке — «Правда», издаваемая будапештской группой большевиков. Но чаще приходили газеты венгерские — их приносил Гомбаш и, собрав всю роту, читал вслух, вернее, пересказывал по-русски, добавляя и то, чего в газетах не было, но что ему было известно из других источников.

Из объяснений комиссара становилось ясным, что положение на фронте серьезно, однако не так уж худо, как им казалось, когда пришлось отходить за Тису. Оказывается, отступили не все войска Красной армии: в трех местах они остались на восточном берегу, удержав плацдармы, с которых можно будет потом наступать вновь. Мало того, одна из дивизий Красной армии на северо-востоке, неподалеку от города Ньиредьхазы, перейдя в контрнаступление, отбросила врага назад. Радовал рассказ комиссара о том, что в Будапеште и в других городах идет массовая запись добровольцев в Красную армию, создаются новые и новые рабочие батальоны, которые уже начинают прибывать на фронт.

Глава десятая

ПРЕРВАННЫЙ ПРАЗДНИК

День, когда прибыло пополнение, стал как бы праздничным: занятия были отменены, в связи с тем что распределяли вновь прибывших. Как и другие роты батальона, русская ощутимо поредела после боев на левом берегу Тисы — одних, как Шишкарев, пришлось отправить залечивать полученные раны, не так мало было и тех, что остались под невысокой, увенчанной столбиком с пяти-

конечной звездой насыпью братской могилы, на краю деревенского кладбища, в тени старой плакучей ивы.

Основательнее других пополнилась в этот день русская рота — все больше бывших пленных, внимая призыву большевиков, приходило к решению быть в рядах Красной армии республики. Пополнение сербской роты составили не только те, кто в свое время был пленным в Австро-Венгрии, но и несколько солдат, перебежавших из югославских полков, стоявших вместе с французскими войсками на юге Венгрии. Самое маленькое пополнение получила польская рота, всего человек пять: поляков в Венгрию за войну попало немного — в русской армии их почти не было, да и многие из тех, что оказались в австро-венгерском плену, спешили, как рассказывали прибывшие в батальон поляки, всеми способами пробраться на родину, ставшую самостоятельным государством.

Под вечер, когда суета с определением вновь прибывших постепенно улеглась, в роте появился комиссар Гомбаш. Поинтересовался, как распределили пополнение, поговорил с новыми бойцами, напомнив, что теперь, когда батальон полностью укомплектован, он в качестве важного резерва командования в любой момент может быть отправлен на фронт, где положение все тревожнее, так что надо быть наготове.

Попрощавшись с бойцами, Гомбаш тронул за рукав Кедрачева, позвал с собой. Они пошли по деревенской улице.

— Ты хотел мне что-то сказать? — спросил Кедрачев.

— Да ничего особенного. Просто хотел потолковать, ведь давно не видались.

— Давно? Ты у нас в роте каждый день.

— Да, но тебя вижу лишь среди других. Ты ко мне даже не подходишь. Делаешь вид, что мы с тобой не очень-то знакомы.

— Знаешь... Не хочется перед другими выпячивать, что комиссар— мой дружок. Как-никак начальство.

— Ах, Ефим, какое же я начальство? Я — представитель партии. Со мной каждый может запросто, тем более ты.

— Неловко мне перед другими...

— Ладно, зачем это — ловко, неловко. Мы же действительно старые друзья. Да и родственники к тому же. И я, хоть и вижу тебя каждый день издали, честно говоря, соскучился по тебе.

— И я — по правде...

— Тебе, наверное, легче. С кем-нибудь из товарищей можешь душу отвести. А мне... Я среди командования нашего батальона как белая ворона. Вернее, как красная ворона. Наш командир батальона, Баргаи, держится со мной, как с чужим. Вслух не высказывает, но мысли его знаю — он считает, что комиссары вообще в армии ни к чему, всеми действиями старается дать мне понять, что считаться со мной не намерен, согласовывать со мной своих приказов не будет.

— А ты что, не можешь его прижать? Тебе же от партии власть дадена.

— Как я его прижму? Жаловаться на него в высшие инстанции? Так смотря кому моя жалоба попадет. Там, в руководстве, особенно в военном, немало таких, которые поддержат Баргаи, потому что они — единомышленники. Они тоже против коммунистов и пролетарской власти.

— Это как же так: у власти — и против власти?

— А вот так! Они против диктатуры пролетариата, их больше устроила бы такая демократия, как в буржуазных странах.

— Но они же считают себя коммунистами...

— Считают... Считается, что все социал-демократы, приняв программу коммунистов, влились в коммунистическую партию. Но подлинных коммунистов значительно меньше, чем бывших социал-демократов. Мы, коммунисты, понимаешь, Ефим, как бы растворились в социал-демократах. Их в партии на одного настоящего коммуниста знаешь сколько приходится? Вот и проводи пролетарскую линию... Многие из этих господ в душе считают, что не социал-демократическая партия в коммунистическую влилась, а наоборот, коммунистическая — в социал-демократическую, а поэтому надо не пролетарскую, а соглашательскую линию гнуть.

— Вот какие пироги, оказывается!

— Да, с горькой начинкой... Так что хочешь не хочешь, а с Баргаи мне приходится ладить. Меня, Ефим, самое главное в нем устраивает, я тебе об этом уже говорил, — то, что он искренне хочет сражаться за нашу родину. Это первое и главное. А вот второе, очень важное, — за какую? Уж он-то явно не за советскую. Хотя и понимает, неглупый он человек, что сейчас мы, коммунисты, — единственная реальная сила, которая может возглавить борьбу за то, чтобы Венгрия осталась самостоятельной. Вот только это меня с ним и мирит. Только потому и терплю его показное пренебрежение моей работой для партии.

— Прямо-таки напоказ тебя не признает?

— Почти что... Знаешь, Ефим, я даже ценю в нем его прямоту. По крайней мере, сразу видно, чем человек дышит. Он ведь не стесняясь мне говорит: вы, коммунисты, на многое способны сейчас, во время потрясений, но в будущем нацию должна возглавить другая реальная сила.

— Да он настоящая контра, твой Баргаи! Кто нами командует, это же страшно подумать! Продаст он нас в подходящий момент, обязательно продаст, Янош!

— Не думаю... Но, как у вас в России говорят, на то и щука, чтобы карась не спал. На то и комиссар в батальоне, чтобы никакой измены не было.

— Углядишь?

— Надеюсь.

— Ну а с начштаба нашим ладишь? Чью руку он больше держит — твою или командира?

— А ничью. Он как бы нейтральный. Что Баргаи прикажет — делает, что я прикажу — тоже. Только сначала у Баргаи спросит, потихоньку от меня, надо ли делать.

— А у тебя спрашивает, если комбат приказал?

— Спрашивает. И тоже потихоньку от него.

— Ну тогда еще куда ни шло... А вообще, Янош, не завидую я тебе. Сочувствую, можно сказать, от всей души.

— Спасибо, друг. Ты проводишь меня до штаба? — спросил Гомбаш, видя, что они отошли уже на порядочное расстояние.

— Провожу. А ты мне расскажи подробнее, если сам в курсе, как на фронтах дело обстоит? Ты уже рассказывал сейчас бойцам, да я поздновато подошел, у комвзвода задержался. Только и успел услышать, что обстановка серьезная. Конечно, и сам понимаю, что серьезная, раз пришлось нам за Тису убираться. Но это здесь. А как в других местах? Ты вот сказал, что нас вроде в главном резерве держат и могут кинуть в самое горячее место. А где сейчас всего горячее?

— Даже трудно сказать,— задумался Гомбаш.— На севере чехословацкие белогвардейцы захватили Мукачево, нацеливаются на Мишкольц. Международная контрреволюция действует согласованно — на юге французы начали наступление, а с собой и армию сербо-хорватско-словенского королевства тянут. По непроверенным слухам, мы на юге потеряли уже три города. Ну и здесь у нас, на Тисе — враг вот-вот через нее полезет,— надо все силы напрячь и сделать незыблемый заслон. И не только заслон.

Одной обороной мы войну не выиграем. Гнать надо врагов с нашей родины. А мы, вместо того чтобы все помыслы только этому отдать, вынуждены тратить силы на внутрипартийную борьбу. Воюем речами с социал-демократами, со всеми, кто в этот тяжелый момент хлопочет и тайно, и явно о вытеснении коммунистов из правительства, о возврате к буржуазной демократии. Воюем с теми, кто верит обещаниям Антанты дать Венгрии мир и хлеб, как только коммунисты уйдут из правительства.

— Ишь куда закидывают!

— Далеко закидывают, Ефим. И не стесняются говорить об этом открыто, навязывают нам дискуссии.

— Чего?

— Споры навязывают. Вместо того чтобы действовать сообща — споры. Эти споры отвлекают внимание от главного — как отстоять и независимость Венгрии, и советскую власть. Две эти главные части разделять нельзя.

— Да-а...— озабоченно протянул Кедрачев.— Доходили до нас слухи, что в высшем руководстве не все друг с другом в ладу. Фаркаш — ты его знаешь, вместе с ним через Тису уходили, он к нам теперь частенько заглядывает — рассказал как-то, будто в одной будапештской газете статейка была, что коммунисты в правительстве неправильную политику ведут...

— Если бы только одна статейка и только в одной газете! К сожалению, такие статейки появляются довольно часто.

— Ты меня хоть убей, Янош, никак в толк не возьму: почему не прикрыть такие газеты?

— Не так-то просто. Свобода слова и дискуссии — что тут поделаешь? Есть люди, особенно много таких в профсоюзах, где социал-демократы сплошь да рядом в руководстве, которые чуть ли не все, что советская власть сделала, подвергают недоброй критике, толкают нас просить милости у Антанты. Только они нас не собьют. Ленин еще когда — в самый первый день, когда по радио узнал, что Венгрия стала советской, — радовался, что наша политика самая твердая, идет в коммунистическом направлении. А эти шептуны...

— Побольше бы Ленина слушать, может, и присоветовал бы, как шептунам язык окоротить. И насчет всего другого.

— Это ты, Ефим, прав. Жаль, с Лениным только по радиотелеграфу связь.

— А все же советуются с ним?

— Советуются. Да много ли скажешь по телеграфу? А как хотелось бы знать его мнение — столько вопросов больных! Особенно насчет партии. Как сделать, чтобы она была единой, как монолит. Чтобы в ней не было шатающихся и колеблющихся, чтобы ни тайных, ни явных врагов среди нас не осталось!

— У нас в России сумели же! Враз.

— Ну, далеко не сразу... Ты ведь еще при Временном в плен попал, так что не знаешь, что потом было. А я очевидец. Да, после Октября большевики взяли власть. Но сколько к советской власти лепилось и меньшевиков, и эсеров — и даже посты занимали, особенно левые эсеры. Только после того как они в июле прошлого года в Москве мятеж устроили, их из государственного аппарата вычистили, а до того очень даже считались. А у нас обстановка еще сложнее, все надо учитывать.

— Чего долго учитывать? Согнать с высоких должностей всех, которые шатающиеся и назадсмотрящие...

— Легко сказать, Ефим! У вас в России и то не сразу это сделалось, хотя большевики — партия с большим опытом. А наша партия? Нас попросту еще очень мало, убежденных коммунистов. Вот примкнувших — полным-полно. А в них, в каждом, еще разбираться надо.

— Трудное ваше положение, как погляжу.

— У нас вот и в батальоне-то членов партии немного... И в вашей роте — тоже.

— Так ведь где было нашему брату в партию вступать? Когда в лагерях были или в батраках?

— Теперь-то есть возможность. Вот ты сам об этом не думал?

— Как тебе сказать? — Вопрос друга застал Кедрачева, казалось, врасплох. — Я же еще с семнадцатого года, с той самой поры, как меня знаешь, всей душой за большевиков. Но считал, что не заслужил, чтобы вступать. Грамотешка не та...

— Ну этот мотив я от тебя еще в Ломске слышал. При чем тут грамота? Для вступления в партию образовательный ценз не требуется. Если ты внутренне готов...

— Да нутром я за милую душу! Всю программу принимаю.

— Вот и отлично. Я давно уж хотел насчет этого с тобой поговорить. Правда, пока мне еще не ясно, как решать этот вопрос. Своих, венгров, мы принимаем. А вот как оформлять прием иностранных товарищей — указаний еще не поступило. Вот в русском батальоне, ну, в том,

откуда вас из Келенфельда на пополнение взяли, слышал я, с приемом проще...

— Янош, а где сейчас этот наш первоначальный батальон?

— Где-то на нашем участке фронта.

— А командует кто-нибудь из ваших, как у нас Баргаи?

— Нет, из ваших, русский. Каблуков по фамилии. Там ведь, кажется, твои товарищи остались?

— Были... Дужников, например. Повидаться бы, если батальоны рядом окажутся. Да, каким же манером у них в партию принимают?

— Через будапештское бюро большевиков... Но мы, Ефим, еще вернемся к этому вопросу. Важно, чтобы ты сам решил.

Кедрачев полагал, что этот попутный разговор пока что так и останется без всякого продолжения. Но неожиданно для него обстоятельства сложились так, что к вопросу о вступлении в партию пришлось вернуться довольно скоро.

Утром следующего дня стало известно, что на предстоящее празднование Первого мая в Будапешт поедет от Интернационального батальона делегация, в состав которой будут выбирать сами бойцы на ротных собраниях, по одному от каждой роты, и что надо выбрать наиболее отличившихся в недавних боях, причем командиры рот и взводов не могут быть избраны — предпочтение отдается рядовым. В этот же день состоялось собрание в русской роте. Называли многих кандидатов. Но командир роты Свечкин неожиданно для Кедрачева выдвинул его. С великим смущением слушал Кедрачев слова комроты о том, что Кедрачев отлично провел ночную разведку перед боем, стойко прикрывал со своим отделением переправу батальона за Тису.

Рота дружно проголосовала за Кедрачева.

На следующий день делегация батальона — кроме Кедрачева в ней были серб, поляк и два венгра — поездом выехала в Будапешт. Возглавлял избранных делегатов комиссар. У него кроме этого поручения были еще дела в Центральном Комитете партии.

До Будапешта было чуть больше ста шестидесяти километров, но поезд преодолевал это расстояние чуть ли не целый день. Это никого не удивляло: за войну поизносились паровозы, требовал ремонта путь — на некоторых участках состав плелся поистине с черепашьей скоростью.

Под стать всему были и вагоны — старенькие, скрипучие. В одном из таких вагонов, не разделенном на купе, с деревянными скамейками, и разместилась делегация Интернационального батальона. На бесчисленных остановках из окон вагона можно было довольно часто увидеть эшелоны, шедшие навстречу товарные вагоны, а то и открытые платформы, заполненные бойцами: Будапешт и другие города слали пополнение на фронт. Многие из новых бойцов ехали еще не обмундированными, в рабочих спецовках и в пиджаках, но винтовка была у каждого — видимо, оружия в арсеналах республики хватало, чтобы вооружить свою защитницу — Красную армию.

Но вот наконец и Будапешт. Приехали туда уже под вечер. На трамвае Гомбаш повез подопечных ему делегатов в отведенное для них место. С любопытством и каким-то непонятным волнением рассматривал Кедрачев из окна трамвая городские улицы. Словно впервые видел этот город. А ведь он прожил здесь несколько месяцев. Правда, в центре бывал редко, больше ему были знакомы серые кварталы продымленного Чепеля. А сейчас трамвай шел по улицам Пешта — центральной части города, вдоль бульваров, одетых в свежую зелень, мимо магазинов, еще хранящих пышные вывески довоенного времени, но большей частью с железными щитами на витринах, мимо барских особняков с богатой лепниной по фасадам, с плотно задернутыми шторами на высоких зеркальных окнах, с наглухо закрытыми дверьми подъездов. Странным казалось Кедрачеву, что всего в нескольких часах езды отсюда — фронт, что на берегу Тисы в окопах сидят товарищи, ждут врага, который в любую минуту может вновь начать военные действия. Может, вот сейчас, когда делегаты спокойненько едут на трамвае, чтобы праздновать Первое мая, батальон принял бой. Еще несколько дней назад между бойцами прошел слух, что под Первое мая Антанта, чтобы испортить народу праздник, обязательно начнет наступление. Но праздник все-таки будет! Об этом говорили яркие плакаты, расклеенные на стенах, на жалюзи, закрывающих витрины, на афишных тумбах. То тут, то там возле домов виднелись люди с лестницами, подымающие на фасады алые полотнища с лозунгами, водружающие на стенах и над крышами красные флаги, гирлянды бумажных цветов. «У нас попроще украшалось»,— заметил про себя Кедрачев, вспомнив первомайский праздник, первый в его жизни, участником которого ему довелось быть в родном Ломске в семнадцатом году. Но ведь тогда и праздник

был, можно сказать, не совсем настоящий — при Временном правительстве. Правда, Совет уже создали, но советской власти еще не было. Теперь, может быть, тоже очень даже украшаются к празднику. Взглянуть бы, как сейчас Ломск выглядит, перед Первым мая. Там, поди, еще холодно. Деревья стоят голые, разве что почки набухли, если солнышко пригрело. А здесь зелень уже вовсю...

— Приехали! — прервал его размышления Гомбаш. — Выходим, товарищи!

Он привел делегатов к зданию с двумя колоннами у входа, увитыми лепными изображениями плодов и цветов. Меж колоннами поблескивала широкая стеклянная дверь с медными досками-вывесками по сторонам.

— В этой гостинице поместимся, — сказал Гомбаш. — Здесь теперь общежитие.

Войдя вместе с другими в просторный, с мраморными стенами вестибюль, подымаясь по широкой лестнице, блистающей медными перилами, украшенной по сторонам белыми статуями, Кедрачев с удивлением рассматривал всю эту, как ему казалось, потрясающую роскошь. Уж так сложилась его жизнь, что до этого не приходилось ему видывать чего-либо подобного. Да и где мог увидеть подобное он, простой рабочий ломской спичечной фабрики? Не вытерпел Кедрачев, сказал Гомбашу в восторге:

— Красотища какая! Небось здесь одни буржуи раньше жили?

— Да, остановиться в этой гостинице стоило солидных денег. Но теперь она национализирована и принадлежит народу. На первомайские праздники гостиница отведена для делегатов, которые съедутся со всей Венгрии.

Разместив делегатов по комнатам, Гомбаш сказал Кедрачеву, ожидавшему в коридоре:

— А теперь пойдем в наш номер.

Комната, куда он привел Кедрачева, была просторной, с лепным потолком, с двумя высокими окнами, выходившими на набережную и задрапированными тяжелыми, красного бархата занавесями. Посреди комнаты стояла широченная, полированного дерева, ничем не застланная кровать, с высоким изголовьем, украшенным резным изображением двух резвящихся младенцев с крылышками, по поводу которых Кедрачев сказал:

— Ангелочки, как в церкви, чудно́! Только почему у них в руках стре́лки?

— Это не ангелочки, а амуры, божки любви, — объяснил Гомбаш. — Древние верили в такие божества.

— Ну теперь оно понятно, каким богам тут молились...

— Как это у вас говорят? Утро вечера мудренее? — Гомбаш показал на необъятное ложе.— Ты, Ефим, ложись с одного края, я — с другого. Жаль только, что ни подушек, ни одеял нету. Понимаешь, когда гостиницу отбирали у старого хозяина, все постельные принадлежности куда-то делись. Припрятал, наверное. И неизвестно, найдут ли.

— Да чего там! Мы, Янош, по-солдатски. Котомку под голову — и лады. Только малость подзакусим, навроде ужина.

Они развязали свои солдатские вещмешки, достали полученный на дорогу паек: натертое красным перцем деревенское сало, хлеб, — разложили на мраморном подзеркальном столике, поели, разулись, улеглись.

— Завтра у нас день для подготовки. Я с утра пойду в ЦК, узнаю, как и что, а вы все ждите меня здесь,— предупредил Гомбаш. — Да! — вспомнил он. — Хочу, Ефим, вернуться к нашему недавнему разговору.

— О чем это?

— О твоем вступлении в партию. Надо, в конце концов, решать этот вопрос. И насчет тебя, и насчет других. У нас в батальоне получилось несоответствие: среди связистов и пулеметчиков членов партии хватает — многие вступили еще до записи в Красную армию, у себя дома. А вот в вашей роте, да и в соседних, где венгров нет, процент партийности ничтожно мал. Я уже говорил тебе, что до сих пор нет указаний, как принимать иностранных подданных. Поэтому в ротах нет еще своих партийных организаций. Но так не может продолжаться...

— Выясняй, Янош, не для одного меня, для всех. А я — что ж? Готов. Только страшновато малость: вдруг спросят что при приеме — и осрамлюсь.

— Не бойся, не осрамишься. Не экзамен ведь...

Утром Гомбаш сразу же ушел. Его не было довольно долго. Вернулся он весьма довольный:

— Завтра во время демонстрации будем стоять на трибунах! Там нам отведены места, как дорогим гостям. А для тебя, Ефим, у меня новость особая: сейчас мы отправимся к твоим землякам.

— К каким это?

— В будапештское бюро большевиков. Я уже там был, договорился. Нас ждут.

Вскоре они были уже в бюро. Оно помещалось в одном из неприметных зданий на узкой улочке, которые во мно-

жестве отходят от бульваров и магистралей Пешта. В большой комнате, где в простенке между окнами висел портрет Ленина, а над ним — кумачовое полотнище с надписью белыми буквами: «Да здравствует Российская Коммунистическая партия большевиков!», сидело на разномастных стульях и стояло человек пятнадцать — двадцать, с виду — все фронтовики. Вполголоса переговаривались, потихоньку покуривали в рукав. Чувствовалась какая-то торжественная напряженность в том, как все эти люди держались, и Кедрачев догадался, что и они приглашены за тем же, за чем Гомбаш привел его. Так оно и оказалось.

Вызывали по очереди в соседнюю комнату. Выходили по-разному — кто скоро, кто не очень, — но все радостно-смущенные.

— Вот видишь, — решил приободрить друга Гомбаш. — Пока еще никому не отказали. Представляют ведь проверенных товарищей. Вроде тебя.

Но Кедрачев и после этих слов не успокоился. «Вдруг спросят что-нибудь такое, а я...» Но даже боязнь осрамиться, проявить свое невежество не заслоняла сейчас главного. Он понимал, что нет в его жизни ничего, что могло бы воспрепятствовать приему в партию, — наоборот, но все же... Мысленно с лихорадочной быстротой перебирал он сейчас свои поступки, суждения, дела, словно листал, бегло взглядывая, страницы своей жизни за последнее время, спрашивал себя: всегда ли был честен? как относился к людям? как вел себя в бою?.. Янош, конечно, скажет или уже сказал о нем только хорошее. Но самому-то с себя можно и надо спросить строже. Ведь сейчас предстоит, если примут, большой перелом в жизни, из соседней комнаты выйдешь другим, другой с тебя будет спрос — по большому счету, по счету сполна. Быть партийным — лестно. А привилегию это дает, как любит повторять Янош, только одну — спрос с коммуниста самый высокий, и за себя, и за других, с кем жизнь идет вместе. Полностью ли готов ты к этому, Ефим Кедрачев?

— Пошли! Нас зовут! — тронул его за плечо Гомбаш.

Все произошло значительно быстрее, чем предполагал Кедрачев. В комнате, куда они с Гомбашем вошли, за столом сидели трое самых обыкновенных на вид штатских. Сидевший посредине, с небольшой бородкой и очень внимательным, проникающим, как показалось Кедрачеву, в самую душу взглядом, предложив им сесть на стоявшие возле стола стулья, выслушал Гомбаша, который рассказал не только о том, как Кедрачев вел себя в недавних

боях, но и о том, как еще в Ломске, после Февраля, он был председателем ротного солдатского комитета и во всем следовал большевикам.

Выслушав до конца и не перебив Гомбаша ни одним вопросом, человек с бородкой сказал ему:

— Ваша рекомендация звучит вполне убедительно.— И, обернувшись к сидящим рядом, спросил: — Как находите, товарищи? Я считаю, что товарищ Кедрачев достаточно проверен в деле, чтобы партия могла на него положиться. Будут вопросы к товарищу Кедрачеву?

— Будет вопрос! — отозвался один из сидевших.

У Ефима дрогнуло сердце: «Сейчас спросят...»

— Вы понимаете, товарищ Кедрачев, что нахождение в партии не дает никаких преимуществ, кроме одного — быть первым там, где всего труднее?

— Понимаю, — тихо ответил Ефим. — Я уже давно обдумал.

— Будут еще вопросы?

Вопросов больше не было. Председательствующий взял со стола небольшой кусочек картона из стопочки таких же, лежавших перед ним на столе, обмакнул ручку в чернила и вывел на нем фамилию, имя и отчество Кедрачева, расписался, передал ему:

— Поздравляю, товарищ Кедрачев! С этой минуты вы считаетесь членом Российской партии большевиков. Великая честь и великая ответственность перед пролетариатом не только России — всего мира. Мы сейчас даем вам временное удостоверение вместо партийного билета. Когда вернетесь на родину, предъявите это удостоверение в партийную организацию, получите билет по всей форме. У нас здесь нет соответствующих бланков. Еще раз поздравляю!

Крепко держа удостоверение в руке, Кедрачев вышел, не вышел — словно бы вылетел, не чуя ног, не слыша поздравлений шедшего за ним Гомбаша и тех, кто еще ждал своей очереди. Еще и еще раз прочитав все, написанное в удостоверении, старательно спрятал его во внутренний карман куртки, ощупал, хорошо ли лежит, сердце колыхнулось от мысли: «Вот получу партийный билет — это же хранить всю жизнь... не замарать ничем...»

А на следующее утро Кедрачев вместе со многими другими делегатами воинских частей, фабрик и заводов, приглашенными на праздник в качестве почетных гостей, стоял в их тесной толпе на широких ступенях парламента и ждал начала демонстрации. Просторная площадь была еще пустынна. Но вот грянул военный оркестр, и показа-

лась первая колонна. Впереди нее шел человек, одетый в широкий красный плащ, а над колонной, словно алый лес, двигались транспаранты, знамена на высоких древках, увитых гирляндами цветов, меж ними на больших щитах плыли плакаты, изображающие рабочего, разрывающего цепи, Свободу в алом платье, с мечом в одной руке и с рогом изобилия в другой. «Вот здорово! — восхищался Кедрачев. — Вот это празднуют! Красиво как!..»

Проходили мимо колонна за колонной, взлетало над рядами демонстрантов тысячеголосое «Эльен!»[1], и Кедрачеву хотелось угадать, в какой из колонн идут рабочие чепельского завода, на котором он работал. Может быть, и Габор, и другие проходят мимо парламента, не подозревая, что на его ступенях среди почетных гостей стоит Ефим Кедрачев. Надо будет потом, когда колонны пройдут, спросить Яноша, не найдется ли сегодня свободного времени, чтобы съездить на Чепель проведать старого приятеля Габора, может быть, заглянуть на завод: как-никак проработал там не один день, многое стало своим, от сердца не оторвать, из памяти не выкинуть.

Когда демонстрация кончилась, Кедрачев сказал Гомбашу о своем желании. Тот обрадовался:

— Намечены встречи делегатов с рабочими коллективами. Я с товарищами поеду на один из заводов, по разнарядке ЦК. А ты поезжай на Чепель, на свой металлический. Будем считать это первым твоим партийным поручением — рассказать рабочим о том, как бойцы оправдывают доверие рабочего класса на фронте.

— Мы-то не шибко оправдали, — смутился Кедрачев. — Что я им рассказывать буду? Как румыны нас за Тису поперли?

— Верно, хвастаться нам особо нечем, — согласился Гомбаш. — Но пойми, Ефим, мы отступали под давлением превосходящих сил противника. Это не бегство. Бойцы, и ты в том числе, честно и храбро выполняли свой долг. Разве ты можешь в чем-нибудь упрекнуть себя или товарищей? И, что ни говори, мы не пустили врага дальше на нашу землю.

— Что ты меня уговариваешь? Я же все понимаю. Только лучше бы кто-то из своих коренных им рассказал. А я — что? На заводе работал недолго, да и по-мадьярски — не мастак. И на митингах не приходилось...

— Да какие митинги! — успокоил его Гомбаш. — Будешь в гостях у приятеля, ну, попроси, чтобы и своих то-

[1] Да здравствует! (*венг.*)

варищей позвал тебя послушать. Да и сам расспроси, какое у них настроение, как дела на заводе. Потом бойцам в роте расскажешь.

— Ты и впрямь агитатором меня сделать хочешь.

— А член партии, мой дорогой Ефим, всегда и везде должен быть агитатором, не только на собраниях и митингах. Ты теперь не должен забывать это ни на минуту.

— Крепко берешь, Янош. Ладно, не забуду.

Знакомым маршрутом в трамвае, который обгонял толпы расходящихся после демонстрации, Кедрачев добрался до Чепеля и поспешил к Габору Мадачу. Ему хотелось повидать и своих земляков, оставшихся на заводе, после того как он вступил в Красную армию. Не работает ли еще кто-нибудь из них: ведь и они, наверное, вступили в интернациональные части? Впрочем, Габор должен знать.

Как и предполагал Ефим, своего приятеля он застал дома — тот только что вернулся с демонстрации и садился обедать. Он очень обрадовался неожиданному гостю, усадил его, как Кедрачев ни отнекивался, зная, что с продуктами в Будапеште плохо, за стол, вытащил давно припасенную, заветную бутылку вина, купленную еще до того, как в числе прочих декретов, обнародованных советским правительством в первые же дни его существования, был опубликован и декрет о запрещении продажи спиртных напитков.

— Продавать вино запрещено, но нигде не сказано, что нельзя выпить уже купленное! — заявил Габор и лихо наполнил бокалы.

Они выпили за здоровье друг друга, за первомайский праздник — и принялись за суп-гуляш, который приготовила по случаю праздника жена Габора из каким-то чудом раздобытого мяса. Как водится, гуляш был крепко сдобрен паприкой — красным перцем, но это теперь не останавливало Кедрачева, уже привыкшего к мадьярской еде. Поначалу, когда вышел из лагеря, от такой пищи во рту горело — водой не залить.

Отвечая на расспросы Габора, Ефим рассказал, каким образом оказался в Будапеште, не преминул упомянуть, какое событие в его жизни произошло вчера, не удержался, чтобы не похвастаться, — показал свое временное партийное удостоверение, и это дало повод Габору провозгласить тост в честь такого события. Когда Кедрачев спросил, не остался ли кто-либо из русских солдат работать на заводе, Габор хлопнул себя по лбу в досаде, что сразу не сообразил: приятель Кедрачева, с которым он вместе

жил на одной квартире, Рекемюк, вернулся и работает, живет там же.

— Пошлю за ним, момент! — предложил Габор и, не дожидаясь ответа, выбежал из комнаты.

Через минуту вернулся, сказав, что за Рекемюком побежал соседский мальчишка. Тотчас же в комнату заглянул сосед Габора, знакомый Кедрачеву, — он тоже работал на металлическом. Габор пригласил и соседа к столу, тот сел, но от еды деликатно отказался.

Через несколько минут в дверь заглянул мальчишка, сообщил: Рекемюка нет дома, но хозяйка обещала передать, когда вернется, что его ждут.

— Ну расскажи, как там, на фронте, — попросил Габор.

Ефим стал охотно рассказывать, хотя его и смущало то, что хвалиться особенно нечем. Но рассказать было о чем — все-таки они остановили врага. Он говорил, что боевой дух бойцов, немного упавший, после того как пришлось отойти за Тису, сейчас поднялся вновь, особенно когда прибыло пополнение. Конечно, все бойцы обеспокоены тем, что на ряде участков фронта противник наступает, но все верят, что его удастся остановить и затем отогнать — ведь силы Красной армии прибавляются с каждым днем, а в армиях Антанты солдаты не очень-то хотят воевать против советской Венгрии — тут он вспомнил о румынском солдате, которого они захватили в плен во время разведки, а затем, узнав о его настроениях, отпустили.

Кедрачев рассказывал, Габор переводил своим товарищам, которых набралось в комнате уже около десятка — всем было интересно послушать человека, только что приехавшего с фронта, да еще своего, который недавно работал на заводе.

Кедрачева слушали оживленно, перебрасываясь словами на родном языке, и вдруг вспыхнул ожесточенный спор между Габором и одним из его гостей, краснолицым толстяком с лихо закрученными черными усами. Кедрачев припомнил: кажется, этот человек работает в кузнечном цехе, машинистом парового молота, под его началом несколько человек; этот краснолицый, так сказать, рабочая аристократия. Спорщики говорили быстро, горячо, Ефим не успевал улавливать суть спора. Но вот краснолицый грохнул кулаком по столу так, что задребезжала неубранная посуда, вскочил, оттолкнув стул, и стремительно вышел, под конец, уже с порога, бросив какую-то короткую злую фразу. После его ухода разговор сразу сник.

— Что этот, с парового крана, так рассердился? — спросил Габора Кедрачев.

— Недоволен, что в правительстве тон задают коммунисты. Считает, если бы не они — с Антантой можно бы договориться о прекращении военных действий, и тогда в Будапешт пошли бы эшелоны с продуктами, которые, как говорят, стоят наготове где-то в Австрии. Но я не верю,— добавил Габор,— что Антанта так добра.

— И я не верю... Что же до сих пор не идет Петро?

— Может, пошел в гости к каким-нибудь своим соотечественникам и вернется поздно. Не бесполезно ли ждать? Уже темнеет. Говорят, по случаю первомайского праздника будет грандиозный фейерверк на Будайской цитадели. Мы все, — Габор показал на товарищей, — собирались его посмотреть. Заодно и тебя проводим.

— Ну что ж, если Петро нет... Ладно, пошли!

Через полчаса они были уже в центре — в Пеште. Стояли среди густой толпы на набережной Дуная, у парапета, смотрели на противоположный берег, где на фоне уже почти совсем потемневшего неба, понизу еще слегка присвеченного малиновой полоской заката, высилась величественная гора с уже смутно видными стенами старинной приземистой цитадели.

Полоска заката с каждым мгновением истончалась, тускнела, гасла. И вот в уже ставшее темно-фиолетовым небо от подножия цитадели взлетел высоко вверх струей гигантского фонтана золотистый рассыпающийся огонь, и вслед ему, догоняя, взметывались другие огни — малиновые, голубые, зеленые... С треском рассыпались они в небе над цитаделью, рождая клубы густого, подцвеченного всеми цветами дыма, и в этом дыму, пробивая его, возникали все новые и новые струи возносящегося цветного пламени. Его недолговечный свет пробегал по темной воде Дуная и словно размывался в ней, чтобы уступить место новым отсветам. «Красиво-то как! — залюбовался Кедрачев и вдруг подумал: — Лайошне бы показать... То-то порадовалась бы! В деревне у себя что видела? Скотину да поле...» Эта мысль была мимолетной, как свет фейерверочной ракеты. А все же оставила дымчатый, грустный след — уже не было того бездумного мальчишеского восторга, с которым он встречал каждый новый всплеск праздничных огней.

Кедрачев не спешил возвращаться в гостиницу. Медленно шел по улицам, на которых, несмотря на поздний час, было еще полно народу, слышались песни, веселые

голоса — Будапешт продолжал праздновать первый в истории Венгрии Первомай при народной власти. «А наши сейчас на Тисе в окопах сидят», — подумалось Кедрачеву, и тут же нахлынула привычная тревога: фронт так близко и почти везде, как говорил Янош, враг пытается наступать. А здесь празднуют... И правильно, что празднуют! Значит, уверены в силе республики, в том, что враг дальше не пройдет.

В гостиницу Кедрачев вернулся довольный праздничным днем — и на демонстрации побывал, и на фейерверк посмотрел, и, главное, — с Габором встретился. Жаль только, Петро повидать не удалось. Где его нелегкая носит? Ну может, завтра еще найдется времечко. Янош говорил, что после праздника погостят еще в Будапеште день-другой, делегаты будут выступать в казармах столичного гарнизона и на заводах, а у него вдобавок еще остались какие-то дела в ЦК — он ведь не только комиссар Интербата, а что-то еще для агитпропа делает.

Когда Ефим возвратился в свою комнату, он застал Гомбаша уже спящим на краю широченной постели. Будить друга не стал, осторожно примостился с другого края и мгновенно уснул. Снилось ему совсем несуразное: что он с дочкой Любочкой на руках стоит на набережной Дуная и показывает ей на праздничные огни, взлетающие над Крепостной горой, а рядом — не то Лайошне, не то Наталья...

Сквозь сон, уже под утро, он слышал, как кто-то позвал Яноша, тот, кажется, поднялся. После этого Кедрачев проспал примерно часа два и проснулся оттого, что почувствовал, как его трясут за плечо.

— Вставай! — услышал он встревоженный голос Гомбаша.— Да вставай же, Ефим!

— Что случилось?

— Я только что из Центрального Комитета. Все делегаты срочно возвращаются в части — вчера Антанта двинула на севере в наступление войска буржуазной Чехословакии, они уже взяли Мишкольц.

— Пропраздновали мы тут, язви ее...

— Не праздновали бы — все равно то же случилось бы. Собирай, Ефим, наших батальонных, будешь за старшего, сейчас же возвращайтесь в батальон с любым первым же составом, который пойдет в сторону фронта.

— А ты?

— Я бы тоже вернулся с вами, но мне поручено выступить на нескольких митингах на заводах — с призы-

вом срочно вступать в Красную армию. Нужны мощные силы, чтобы остановить противника на севере. Ты понимаешь, что такое для моей родины Мишкольц? Это железная руда, крупнейшие металлургические заводы. Антанта знает, куда метить в первую очередь. Чем больше у Антанты будет успеха на севере, тем больше она отдалит нас от Карпат, за которыми — Советская Россия.

— Эх, кабы наши с той стороны поднажали!

Ни Гомбаш, ни тем более Кедрачев не знали еще, что вчера, Первого мая, правительства Советской России и Советской Украины вновь осудили вероломный захват Бессарабии войсками румынской короны, что Украина потребовала немедленного освобождения северной Буковины от захватчиков и, не получив ответа на это законное требование, двинула свои войска в наступление. В то самое время, когда чехословацкие легионеры кичатся тем, что взяли Мишкольц, а румынские генералы готовят новое наступление за Тису, Красная Армия Украины успешно продвигается в Галиции, в Бессарабии, подходит к Днестру у Рыбницы и Бендер. Это вызывает большую тревогу Антанты. Еще в конце апреля румынский полковник Димитру, прикомандированный к ставке французского командования в Белграде, телеграфировал румынскому генеральному штабу: «Французы просят румын и чехословаков сделать все, чтобы воспрепятствовать соединению венгров с украинцами. Союзники уже предприняли необходимые меры, чтобы изолировать Венгрию от остальных районов Европы».

— Ну собирай наших — и в путь! — сказал Гомбаш. — Я скоро вернусь в батальон. Только где я вас найду? Фронт приходит в движение. Не исключено, что наш Интербат перебросят на другой участок.

— Найдешь! Будем ждать! — Кедрачев крепко пожал руку другу: — А мы, товарищ комиссар, пока тебя не будет, не подведем. Будь уверен.

— Слово коммуниста? — напомнил Гомбаш.

— Теперь уже слово коммуниста.

Глава одиннадцатая

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

В час, когда Кедрачев с другими делегатами уже возвращался с попутным составом на фронт, Гомбаш выполнял данное ему поручение — выступал на митинге на ва-

гоноремонтном заводе. Трибуной служила стоявшая на путях посреди просторного заводского двора украшенная красными флагами товарная платформа с приставленной к ней наскоро сколоченной лесенкой. Эту своеобразную трибуну окружала плотная толпа рабочих и железнодорожников.

Окончив речь, Гомбаш отодвинулся, уступая место следующему оратору, — и тут вдруг на него словно вихрь налетел. Его шею обхватили горячие, трепетные руки, раздался какой-то не то стон, не то крик, смешавшийся с удивленными возгласами вокруг, щеку опалило жаркое дыхание. Он сразу узнал это дыхание — единственное, неповторимое, — но не поверил, не смел поверить своим чувствам: слишком невероятным, немыслимым все это казалось, как фантастический сон. Наваждение какое-то...

С того летнего дня восемнадцатого года, когда их ломский интернациональный батальон пробирался по лесам на запад, к Екатеринбургу, чтобы соединиться с Красной Армией, и он, выбежав на лесной проселок и онемев от ужаса, увидел страшные следы бандитского нападения, прошло уже много месяцев. И все это время он, захлестнутый стремительным круговоротом событий, как только выдавалась свободная минута, возвращался мыслями к тому дню, к судьбе Олек. Нет, что бы ни говорил разум, — он не мог поверить, смириться с мыслью, что она погибла. Да и почему он должен был верить в это? Среди раненых — убитых на проселке — ее не было. Косыночку обронила... Тащили ее, наверное, а может быть, в перепалке ей удалось скрыться? Его поиски перед отъездом ни к чему не привели? Да что это были за поиски! Попробуй найди человека в нормальных-то условиях, а в чересполосице фронтов гражданской войны, которая повсюду! Но он найдет ее обязательно! Вот победит революция, наступит мир — и они с Ефимом начнут искать Олека — продуманно, методично, не упуская ни малейшей возможности...

Как часто рисовался в его воображении счастливый момент встречи! Обстоятельства этой встречи каждый раз представлялись различными, но в одном Гомбаш был уверен: именно он, мужчина, муж, глава — так приучили его с детства, — найдет Ольгу. Он и представить себе не мог, что все произойдет совсем иначе, что она найдет его, что она, Ольга, окажется способной совершить невозможное: в условиях войны пересечь границы, приехать в незнако-

мую страну, в водовороте событий искать его там, где это действительно наиболее вероятно... И найдет!

Он стоял растерянный, оглушенный, боясь поверить в реальность происходящего...

Но нет, это она — живая, видимая, осязаемая!

— Олек! — Он наконец увидел ее лицо — пряди темных волос, разметавшиеся по лбу, широко раскрытые, счастливые, прозрачные от слез глаза, улыбающиеся полураскрытые губы.

Вместе с Ольгой — они не расплетали рук — сошел с трибуны по шаткой лесенке, не помня себя, не слыша шума удивления вокруг: никто не понимал, что произошло, что это за женщина, которая взбежала на трибуну, бросилась на шею товарищу с фронта, выступавшему на митинге.

Уже закончились все выступления, уже поднялся лес рук — все проголосовали за то, чтобы пополнить ряды Красной армии рабочими вагоноремонтного. А Янош и Ольга, обнявшись, все стояли возле платформы-трибуны, не замечая любопытных взглядов.

— Как воскрешение из мертвых... — шептал Янош, не отрывая взгляда от лица Ольги. — Как воскрешение твое и мое. Ты жива, ты со мной? Не верю своим глазам! Не верю!

Только сейчас он заметил — рядом с Ольгой стоит его отец.

— Товарищ Гомбаш! Товарищ Гомбаш! — звали его. — Пора ехать на следующий митинг!

— А? — очнулся наконец он. — Сейчас, сейчас... Простите, товарищи. Это моя жена... Да-да, моя жена нашлась! Олек, ты поедешь с нами.

Только поздним вечером, когда все выступления Гомбаша закончились, он вместе с Ольгой и отцом вернулся в гостиницу-общежитие, — как представителю фронта, ему предстояло еще и на следующий день выступать на нескольких митингах. Вообще-то, следовало бы поскорее вернуться в свой батальон, который, вероятно, опять на передовой линии, в любую минуту может быть брошен в бой. Как там без него? Но товарищи из ЦК считают, что его слово — слово человека с фронта — очень многое может значить для призыва добровольцев. Им виднее. Как говорят у русских — нет худа без добра. До утра свободен! И рядом Олек, они могут быть вдвоем — Ефим уехал, а отца удалось устроить в соседнем освободившемся номере.

...Не могли насмотреться друг на друга, не могли наговориться досыта в эту ночь они, опьяневшие от счастья. Ольга подробно рассказала, что произошло с нею с того момента, как она отправилась сопровождать раненых. В первые минуты, когда конные бандиты на лесном проселке напали на обоз с ранеными, она, может быть, и успела бы ускользнуть: близ дороги стеной стояли кусты,— но не в силах была покинуть раненых. Чем она могла им помочь? Бандиты изрубили их всех. Ее же, как ни отбивалась, скрутили, швырнули на повозку, с которой были сброшены убитые, и привезли в село, где помещался штаб белых. Связанную, ее представили офицеру. Тот без особого интереса посмотрел на пленницу, сказал бандитам с усмешечкой: «Что же вы, одной большевички испугались? Развяжите!» А когда ее развязали, пренебрежительно махнул рукой: «Я женщин в плен не беру. Ваша добыча — делайте с ней, что хотите!»

Бандиты увели Ольгу в другой двор, где у них было что-то вроде своего штаба, заперли в кладовушку при сенях — маленькую каморку с крохотным, только руку просунуть, окошком в бревенчатой стене.

С трепетом ждала, как решится ее участь. Перед взором проносились страшные картины недавнего: бандит, ражий детина с налитым кровью лицом, перегнувшись с седла, обрушивает удар шашки на голову раненого; два бандита — бородач в синем картузе и мордастый парень с расцарапанной щекой — это она успела, — навалившись на нее, заламывают ей руки за спину, вот она, связанная, на повозке, катящей без дороги, через кусты, меж деревьями; телега подскакивает, и затылок больно ударяется об ее дно, на котором, если скосить глаз, виднеется алое пятно — кровь кого-то из раненых.

Слышно, как разговаривают едущие верхом позади телеги бандиты:

— Ну и стерва! Всю рожу мне раскровянила. Братцы, дайте, я ее...

— Обожди! Велено пленных живьем представлять.

— Да я ее жизни не решу. Я только отмщение воздам!

— Потерпи!

В тягостном ожидании проходили часы... Уже засинели в окошечке сумерки, когда за дверью раздались шумные голоса. По доносившимся словам она поняла: бандиты вернулись из какого-то нового налета, он был удачным, но не обошлось без потерь — поминали какого-то Ваньку, ко-

торому пуля угодила «промеж глаз». Слышно было, как в избе началась шумная пьянка. Сжавшись в комок, Ольга приготовилась к самому худшему. А может быть, о ней и не вспомнят?

Но вот два голоса приблизились к двери кладовой. Ольга услышала:

— Ты, Иван Афанасьич, мне не препятствуй! Я с энтой большевичкой позабавлюсь, отпущу ей красные грехи!

— Какие у ей грехи! — увещевал другой голос, принадлежавший, видимо, более пожилому. — За ранеными ходила, вот и весь грех! Не трожь девку!

— Какая она девка! Небось с комиссарами... Пусти!

— Иди-ка ты, парень, в избу!

— Ладно! Пойду пока. Все одно по-моему будет. Ребят кликну, мы сообща.

— Выпей еще сперва... Потом уж!

Ольга втиснулась спиной в угол, прижала руки к груди, готовая обороняться. Но голоса удалились от двери, слились с теми, что доносились из избы, стало слышно, как там загалдели. Галдеж сменила громкая нестройная песня, прерываемая пьяными возгласами.

Ольга ждала, готовая ко всему. Из избы по-прежнему слышалась только песня. Хриплые, сбивчивые голоса тянули:

На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой...

И вдруг сквозь доносящийся из избы шум она услышала, как кто-то возится с запором двери.

«Сейчас ворвутся...» Стиснула зубы, в страхе закрыла глаза...

Дверь открылась, но как-то медленно, тихо.

— Слышь, дева... — послышался осторожный шепот. Она открыла глаза и в синеватой сумеречи увидела перед собой невысокого, тщедушного вида мужичка с куцей бородкой, с непокрытой головой, на шее из-под распахнутого ворота темной рубахи тускло отсвечивал нательный крестик. — Ты, дева, иди, скрывайся куда... — бормотал он с пьяной размягченностью, трогая ее за рукав. — Я-то совести еще не пропил... Бог-то, он видит... Я не за ваших, любого изничтожу. Но тебе-то за что страдать? На дочку ты мою похожа. Померла дочка-то во цвете лет... Иди, дева, беги, скройся куда, а то ведь сотоварищи мои окаянные налили зенки...

Ольга помнила, как этот, с крестиком, вывел ее в тем-

ные сени, где за прикрытой в избу дверью слышался гомон бандитского гульбища, подтолкнул ее к выходу на крыльцо — на дворе было уже почти совсем темно, шепнул:

— Вон туды, на огороды...

Едва успела она, метнувшись через безлюдный двор, где у прясла было привязано несколько оседланных лошадей, выбежать через полуоткрытые жердевые воротца на огород, как на крыльце раздались возбужденные голоса. Ольга упала в картофельную ботву, приникла к влажной от вечерней росы земле. До ее слуха донеслось:

— Это куда она делась? Неужто штырь из пробоя вывалился, когда дверь толканула?

— Айда имать ее!

— Да где поймаешь? Поди, уж далеко чешет!

— Счас коня заседлаю...

— Куды тебе на коня! Пеши едва на ногах держишься...

— Хрен с ею! Пошли дале пить!..

Огородами Ольга ушла в лес, начинавшийся сразу за селом. Шла куда глаза глядят, не пугаясь ни темноты, ни ночных лесных шорохов, — лишь бы уйти подальше... Обессиленная, свалилась под деревом в траву и мгновенно заснула. Проснулась от зябкого предутреннего ветерка, платье было влажным от ночной сырости. Чтобы согреться, пошла быстрее. Но куда идти? Она знала — батальон шел на соединение с Красной Армией в сторону Екатеринбурга, — значит, на запад. Она и пошла, держась так, чтобы восходящее солнце оставалось позади. Натолкнулась на проселок, ведущий как будто на запад. Пошла краем его, готовая в любую минуту, если возникнет опасность, метнуться в чащу леса. Проселок подвел к деревне. Войти в нее побоялась — неизвестно, свои в деревне или белые. Долго сидела в кустах перед крайними избами, приглядываясь. Очень хотелось есть. Но войти в деревню так и не решилась. Обойдя ее стороной, пошла на запад, стараясь держаться подальше от дорог и троп. Увидела на поляне пастуха. Пастух не старый и не молодой, однорукий, видно из калек-солдат, как-то сразу вызвал у нее доверие. Да и лес был кругом, в случае чего убежать нетрудно. Вышла к пастуху, объяснила, кто такая, спросила, какая в их местности власть. Пастух сказал, что недавно пришли белые, а где красные войска — не знает, сам он инвалид и до политики не касается, лишь бы его не трогали. Он накормил ее вареной картошкой,

хлебом, дал молока, которое с необычайной для однорукого ловкостью тут же надоил в котелок. А потом, приглядевшись к Ольге, сказал:

— Тут неподалечку наши местные, такие же, вроде тебя, спасаются. Хошь, сведу?

Пастух привел ее в глубь лесной чащи, где в шалашике, неприметно стоящем в самой глуши, сидели два мужика — два сельсоветчика, успевшие убежать от карателей, когда те нагрянули в деревню, и теперь не знающие, что же им делать дальше. «Ну-что же, примыкай к нашей компании, — сказали они Ольге. — Будем мозговать, как дальше быть». «Мозговали» еще день, на второй решили — того же хотела и Ольга — пробираться на запад, к Уралу, где еще держится советская власть. Пастух снабдил их принесенным из деревни, от их домашних, продовольствием, и они пошли.

Несколько дней пробирались лесом, и наконец достигли цели. Ольга примкнула к одной из красноармейских частей, ее взяли сестрой в санитарную часть. Расспрашивая всех, она наводила справки: неизвестно ли что-нибудь о ломском интернациональном батальоне? Вышел ли он на соединение с Красной Армией? Узнать ей не удалось ничего. Командир полка, принимавший в ней с самого начала живейшее участие, посоветовал попытаться устроиться в эвакогоспиталь: туда поступают раненые из разных частей, там больше шансов узнать о ломском интербате, если он только где-нибудь вышел к своим. Вняв этому совету, Ольга с очередной партией раненых отправилась в эвакогоспиталь. Начальник госпиталя — добрый старикан, из земских докторов, посочувствовал ей, определил сестрой в приемное отделение и вдобавок обещал через штаб навести справки: есть ли в составе действующих на фронте частей ломский интернациональный батальон? не влился ли он в одну из них? Вскоре он порадовал Ольгу: батальон к своим вышел, хотя как самостоятельная часть перестал существовать — его бойцы пошли на пополнение других частей. Значит, ее Ваня, как звала она Яноша, где-то близко? Как его разыскать? С надеждой и страхом приглядывалась ко всем поступающим в госпиталь раненым: нет ли среди них Яноша? Или хотя бы кого-нибудь, кто знает о нем...

И вдруг однажды, уже ближе к осени, в начале сентября, когда принимали вновь прибывших, один из раненых, лежавший на носилках, окликнул Ольгу. Оказалось, он из интербата, венгр, хорошо знающий Яноша Гомбаша,

находившийся с ним до самого выхода батальона к своим. От этого бойца Ольга узнала, что ее Ваня уже месяца два как откомандирован в Москву на какую-то новую службу. Ольга возликовала: теперь-то найдет! Ваня, конечно, жив-здоров, поскольку не на фронте. Написать бы ему... Но куда? Москва так велика...

Все, с кем Ольга служила в госпитале, сочувствовали ей. И нашли способ, как сделать так, чтобы она поскорее отыскала своего Яноша. Ей устроили назначение в санитарный поезд, следовавший с ранеными прямо в Москву. Было условлено: если найдет мужа — может остаться с ним. Не найдет — пусть возвращается.

Пока Ольга ехала в санитарном поезде, в нем о ее горе узнали все. И когда прибыли в Москву, Ольге помогли устроиться в том госпитале, куда сдали раненых, и она продолжила розыски. Она не без хлопот узнала, что Яноша направили работать в редакцию газеты, издающейся для красноармейцев-венгров на их родном языке. А в редакции сказали, что Гомбаш откомандирован. Куда? Нельзя ли ей поехать к нему? Как ни добивалась Ольга, никто не дал ответа на этот вопрос. Она стала догадываться, что отъезд мужа связан с какой-то тайной. Но не такова была Ольга, чтобы сдаваться перед трудностями! Расспрашивая, кого только можно, и прежде всего всех попадавшихся ей на глаза венгров-красноармейцев, которых в Москве было много, она в конце концов всяческими правдами и неправдами доискалась, что Гомбаш — в подмосковном лагере в числе бывших военнопленных, ожидающих возвращения на родину. Наконец-то нашла! Но к радости примешалась горечь: как же Ваня решил уехать, ничего не зная о ней? Она бы никогда этого не сделала... Но может быть, винить его не в чем, а все обстоит как-то иначе? Ведь неспроста же не хотели ей говорить, куда он направлен? Почему? Обеспокоенная сомнениями, она поспешила в лагерь. Бросилась расспрашивать о муже венгерских солдат, находившихся там, нашла тех, кто еще недавно жил с ним в одном бараке. И узнала наконец: Гомбаш накануне отправлен с очередным эшелоном...

При всем своем стойком характере Ольга не выдержала — опустилась на вытоптанную землю плаца перед бараками, горько зарыдала. Не слышала, как пытаются успокоить ее столпившиеся вокруг солдаты-мадьяры, как переговариваются, обсуждая, нельзя ли ей чем-нибудь помочь. Только когда один из них тронул ее за плечо, она

подняла заплаканные глаза и с удивлением увидела, что окружена людьми.

У солдата, который заговорил с ней, добрые, внимательные глаза, усы и виски тронуты сединой. Он взял ее под руку, повел куда-то. Она шла безвольно, механически передвигая ноги, не замечая, что их сопровождают и другие солдаты, оживленно переговариваясь на своем языке.

Солдат привел ее к одному из бараков, к двери, на которой был нарисован красный крест, сделал рукой знак остальным, чтобы не входили, и ввел Ольгу в дверь — за нею оказалась небольшая комната, в которой стояли белый столик и дощатый топчан. Солдат усадил Ольгу на топчан, предложил прилечь — он хорошо говорил по-русски. Но Ольга лечь отказалась, села к столику, закрывая ладонями заплаканное лицо — слезы продолжали литься неудержимо. Она была в полной растерянности: что же еще можно предпринять? Неужели след Вани оборвался непоправимо? Нет, нет, нет! Невозможно поверить, что он уехал насовсем, что не попытается отыскать ее... Но когда это будет? И что станется с ним за это время? Ведь она ничего не сможет узнать о нем, и неизвестно, узнает ли когда-нибудь...

Погруженная в свои горестные раздумья, она не видела, как из внутренней двери в комнату вошел человек в белом халате, о чем-то шепотом спросил солдата, приведшего Ольгу, и, выслушав ответ, удалился.

— Меня зовут Шагвари, — по-русски представился ей солдат, присаживаясь на скамью рядом. — Я помощник лагерного фельдшера... Да откройте же ваше лицо! — сказал он с мягкой настойчивостью. — Я понимаю ваши чувства, вашу боль... Ее понимают все наши товарищи. Мы хотели бы вам помочь. Но как? Может быть, вы напишете вашему мужу и кто-нибудь из нас, когда мы вернемся на родину, отыщет его и передаст вашу весточку? Очередной эшелон отправится через несколько дней.

— Я напишу... — прошептала Ольга. — Спасибо, я напишу... Только я сама хотела бы поехать к мужу!

— Увы, это невозможно! — развел руками Шагвари. — В эшелоне одни солдаты. По спискам. Строгий контроль...

— Я ничего не испугаюсь! — с отчаянной решимостью воскликнула Ольга. — Возьмите меня с собой! Пожалуйста... — Она не думала, есть ли хоть малейшая возможность осуществить ее желание, она умоляла: — Возьмите меня, прошу вас!

Шагвари, как мог, отговаривал ее, старался успокоить.

Ему вторили и другие мадьяры, постепенно наполнившие комнату, с доброй улыбкой говорил что-то вновь появившийся человек в белом халате — тот самый фельдшер, в подчинении которого находился Шагвари.

Постепенно Ольга пришла в себя. Жадно выпила кружку воды, которую ей предложили, привела в порядок волосы, выбившиеся из-под белой госпитальной косынки. Шагвари еще раз предложил ей написать письмо мужу и принести его в лагерь на следующий день.

— Мы сделаем для вас все, что возможно. Мне очень жаль вас. У меня на родине такая дочь, как вы...

— Дай-ка мою жакетку. Она там, на вешалке, — прервала рассказ Ольга. И когда Янош подал, она, покопавшись в карманах, вытащила оттуда изрядно измятый, тщательно заклеенный конверт:— Вот оно, мое письмо. Как видишь, привезла сама... Потом прочитаешь...

На следующий день Ольга снова пришла в лагерь. Она нашла Шагвари и, стесняясь своей настойчивости, но не в силах обуздать ее, стала просить: нельзя ли каким-нибудь образом все же устроиться в готовящийся к отправке эшелон? Она согласна на все — лишь бы ехать: «Хотите, в каком-нибудь ящике всю дорогу просижу, пусть меня только в Венгрии выпустят!» Она понимала, что просьба ее неразумна, выглядит ребячеством, однако желание ехать было столь велико, что она не могла не высказывать его вновь и вновь.

Как и в первый раз, вокруг нее собрались солдаты. И когда Шагвари, выслушав ее пылкие просьбы, в очередной раз печально развел руками и повторил, что устроить ее в эшелон невозможно, один из солдат вдруг что-то воскликнул — и все оживленно заговорили, заспорили. Ольга не понимала слов, но догадывалась, что речь идет о ней.

— А знаете, — сказал Шагвари, когда спор постепенно утих, — мы, кажется, что-то сумеем для вас придумать, если вы так решительны. Приходите послезавтра.

— А эшелон не уйдет?

— Не волнуйтесь, не уйдет!

Через день утром Ольга вновь пришла в лагерь.

— Мы сообща придумали кое-что,— сказал Шагвари.— Если, конечно, вы согласны испытывать те неудобства, которые несет для вас длительное мужеское общество...

— Ох, спасибо! Я на все согласна. Только бы доехать...

Шагвари посвятил ее в план, который разработал с то-

варищами, растроганными тем, как рвется к мужу, их соотечественнику, молодая русская женщина. План был тайным, о нем полагалось знать далеко не всем. Заключался он в следующем. Как только станет известен день отправки эшелона, Ольга, предварительно коротко, по-мужски, подстригшись, приходит в лагерь, ее в стороне от любопытных глаз переодевают в военную форму, посвященный в ее тайну солдат-канцелярист заносит ее в списки под именем молодого солдата-венгра. Ольгу определяют в теплушку, под опеку едущих там солдат. На всякого рода проверки, построения она выходить не будет, чтобы кто-нибудь из непосвященных не догадался, что под солдатской формой скрывается женщина. А чтобы она могла не покидать теплушку, будет официально зафиксировано, что солдат такой-то болен. Об этом позаботится Шагвари — он в эшелоне будет исполнять обязанности санитара.

Прошло еще несколько дней, наполненных нетерпеливым ожиданием — срок отправки эшелона приближался. Ежедневно в свободное от работы в госпитале время Ольга приезжала в лагерь, к Шагвари, узнать: «Когда же?» В госпитале она договорилась, что ее отпустят, как только станет известно, что она может уехать к мужу.

И вот наступил долгожданный день. Был он слякотным, небо покрывали серые тучи, сыпал нудный, холодный дождь вперемешку с вестницей скорой зимы — белой мелкой крупой. Ольга ничего не замечала. Ей было тепло, даже жарко, все в ней пело, как в радостный весенний день, — наконец-то, наконец она едет к любимому! Вот удивится Ваня, когда увидит ее!

Ольга не очень задумывалась над тем, какие трудности и, может быть, неприятные, даже страшные неожиданности могут встретиться ей на пути. Не хотелось думать, что хитроумный план Шагвари и его товарищей может потерпеть крах, что при какой-нибудь строгой проверке ее могут разоблачить и высадить.

Сейчас, с коротко подстриженными волосами, в австрийской суконной шапке с козырьком, в великоватой потрепанной шинели и в солдатских брюках, заправленных в брезентовые гетры, обутая в такие же, как у других, тяжелые армейские ботинки, — она как будто ничем не отличалась от других обитателей лагеря. Шагвари сказал, что она внесена в список как солдат Ласло Киш — Вася Маленький, если перевести на русский.

С нетуго набитым вещевым мешком, в котором были

сложены ее платье и жакетка, Ольга, до поры спрятанная ее покровителями в укромном углу барака, ждала посадки. Только тут она впервые за последние дни ощутила страх: а вдруг не удастся, что тогда?..

Все обошлось благополучно. Вскоре Ольга была уже в теплушке, среди трех десятков солдат, заняла показанное ей место на нижних нарах и притаилась там.

Еще несколько часов томительного ожидания — и эшелон наконец тронулся...

Много дней тащился состав по разбитым войной железным дорогам через Россию и Украину, подолгу стоял на промежуточных станциях и разъездах. Уже вплотную надвинулась зима, все чаще поля по сторонам пути становились белыми от первого снега. Он то выпадал, то таял, был непрочным, как непрочно было все вокруг — в городах, через которые проходил эшелон, менялись власти, на станциях все меньше было видно немецких солдат; после того как в Германии произошла революция, Брестский мир стал недействительным, германская армия покатилась к себе домой.

Наконец эшелон пересек границу Венгрии.

После того как они покинули эшелон и Ольга, сменив военную форму на свою прежнюю одежду, перестала быть солдатом Ласло Кишем, Шагвари привез ее к себе в Сольнок, где у него на окраине города был хотя и небогатый, но просторный дом, населенный многочисленной семьей — мать, жена, четверо уже взрослых сыновей и дочь. Вся эта семья и составляла рабочую силу в небольшой гончарной мастерской, которой по наследству от отца владел Шагвари. Ольга рвалась поехать в Вашварад. Она уехала бы сразу, но слишком плохо знала венгерский язык, чтобы рискнуть добираться одной. Шагвари охотно вызвался ее сопровождать, тем более что от Сольнока до Вашварада всего около сотни километров — поездом можно обернуться туда и обратно за день.

Ольга не знала домашнего вашварадского адреса мужа. Возможно, он называл его, да она запамятовала. Зато хорошо помнила, что отец Яноша служит на почте — этого достаточно, чтобы найти его.

Уже давно стояла непривычная для Ольги мягкая венгерская зима с частыми оттепелями, отчего ей все казалось, что осень никак не кончается, что время не движется. Но вот наконец Шагвари собрался поехать с нею в Вашварад.

Приехав туда, они сразу же пошли на почту, спросили

господина Гомбаша. Ольга с трепетом ждала этой встречи. «Вдруг свекру чем-нибудь не покажусь? Конечно, Ваня говорил про меня только хорошее, но кто знает... Женился-то не спросясь...» И снова зашлось тревогой сердце.

Но вот навстречу им вышел седоватый, чуть сгорбленный человек в мешковатом форменном кителе, с короткими, дожелта прокуренными усами, с лицом, изрезанным морщинами. Скользнул взглядом по Ольге, о чем-то спросил Шагвари. Тот начал торопливо объяснять. Ольга от волнения не понимала почти ничего, хотя за время, что провела среди венгров, немного поднаторела в их языке. Она видела, как добреет, становится теплее взгляд Гомбаша-старшего. Со все возрастающим интересом он смотрит на нее и что-то говорит Шагвари успокаивающим тоном.

Шагвари тотчас же перевел:

— Ваш супруг благополучно доехал до родного дома, но сейчас его здесь нет, он в Будапеште.

И добавил, что от Яноша родители получили два письма, он пишет, что находится на партийной работе. А недавно сообщил, чтобы по прежнему адресу ему не писали, о новом он известит. Пока извещения нет — наверное, Янош очень занят. Но не нужно беспокоиться, он напишет, обязательно напишет! И как только узнает, что приехала жена, примчится за нею. А пока — господин Гомбаш считает так — она будет ждать мужа в его семье.

Услышав это, Ольга растерялась. Так надеялась, что Ваня дома. И вот, оказывается... Скорее в Будапешт!.. Только где его там искать? Надо ждать, пока он сообщит адрес. Ждать в его семье? Отец его, кажется, добрый человек... А мать? Как примет новоявленную невестку, свалившуюся словно снежный ком на голову? И как сделать так, чтобы не стать нахлебницей в чужом, в общем-то, доме?..

Но Шагвари, что называется, уже передал ее с рук на руки отцу Яноша. Пожелал всего наилучшего, напомнил, что его дом — всегда и дом Ольги, распрощался и, осыпаемый словами благодарности, уехал.

С этого дня началась ее жизнь в доме Гомбашей. Первое время она чувствовала себя довольно стесненно — главным образом из-за того, что недостаточно хорошо понимала по-венгерски, объяснялась с помощью жестов. Смущал и непривычный уклад дома, она боялась чем-нибудь нарушить его, сделать что-то не так, а как сде-

лать — не всегда умела, да и стеснялась спросить. Раньше она легко осваивалась в любой непривычной обстановке. Но здесь все было слишком уж необычно.

Особенно угнетало Ольгу в первое время то, что она живет за чужой счет, ничего не внося в дом. С малых лет она привыкла сама, своими руками зарабатывать на жизнь. Ее тяготило положение иждивенки, хотя родители Яноша — она это чувствовала — старались, чтобы она не испытывала в этом отношении никакой неловкости. Впрочем, скоро выход из положения был найден. Через знакомых устроили так, что Ольга стала получать работу на дом из белошвейной мастерской. Целыми днями старательно строчила она на имевшейся в доме швейной машинке лифчики, сорочки, наволочки и весь свой не очень-то богатый заработок отдавала матери Яноша. Ольга всячески старалась заслужить ее расположение — ей казалось, что свекровь относится к ней сдержанно, отец держится както теплее. «Наверное, не такую жену хотела она для своего сына», — с грустью думала Ольга. Со временем мать Яноша заметно изменилась — стала чаще заговаривать с нею, сделалась более предупредительной. Ольга радовалась и удивлялась: в чем причина такой перемены?

— Думаю, ничего удивительного здесь нет, — сказал Янош. — Ведь ты из далекой, непонятной страны, да, непонятной для пожилой женщины, всю жизнь прожившей в Вашвараде. А жена сына должна стать для матери родной. Как дочь... Привыкнуть к этому ей было непросто. Потом — ты же знаешь — у меня была девушка... Эржика, можно сказать, невеста. Теперь-то она замужем. Она ждала меня. Мама хорошо знала ее и жалела... И наконец, повинна в этой перемене и ты сама, да-да! Ты такой человек... Хороший, добрый, тебя нельзя не полюбить. Вот и мама тоже...

— Да, теперь мы с нею почти совсем, как свои. Много говорили о тебе, гадали: где ты? что с тобой? скоро ли напишешь? А ты все не писал!

— Так уж получилось, милая. Тем более не знал, нет, даже предполагать не мог, что ты отважишься проделать такой путь ко мне. А если бы знал — ни за что не согласился бы, чтобы ты ехала так. Мало ли что могло случиться?!

— Знаешь, Ваня, самое трудное для меня было — не дорога, меня опекали, я была уверена, что довезут в целости. Самое трудное было — ждать тебя. Два твоих письма пришло, а куда писать тебе — неизвестно. А потом

и ты не писал — это когда партийных начали хватать. Твой отец рассказывал — в газетах было: все руководство в тюрьму посадили. Я догадывалась — скрываешься ты. А вдруг и тебя схватят? Потом, когда советская власть установилась, надеяться стали — теперь-то сообщишь свой адрес, тогда мы, отец или я, напишем тебе, и ты приедешь за мной! Наконец пришло от тебя письмо — и опять без обратного адреса! Коротенькое: жив, здоров, уезжаю на фронт, оттуда напишу. И не писал... Я извелась вся, а вдруг тебя убили?

— Знал бы, что ты здесь, любыми средствами... А так... Знаешь, я перед родителями виноват. Думаю: напишу, напишу, а закрутят дела — все откладываю. И никак не соберусь.

— Представляешь, как мы терзались: не случилось ли чего? Потом догадались — не до писем тебе. И вдруг первого мая — телеграмма из Будапешта! Ты жив, здоров, но в Вашварад съездить не успеешь, вернешься на фронт.

— Если бы я знал, что ты в нашем доме!

— Приехал бы?

— Постарался бы вырваться хоть на денек, хоть на час! Не знаю, удалось бы или нет. На фронте такая обстановка... А ты молодец! Какой ты молодец у меня, Олек!

— Благодари отца, что он сразу согласился поехать со мной!

— Он у меня старик хороший... Ну рассказывай дальше!

...Как только от Яноша пришла обрадовавшая всех телеграмма, Ольга загорелась: немедленно в Будапешт! Повидаться, пока он снова не уехал на фронт, пусть хоть узнает, что она здесь. Она готова была тотчас же бежать на вокзал, вскочить в первый же проходящий в сторону Будапешта поезд.

Отец и мать Яноша с сочувствием отнеслись к ее желанию. Может быть, такой случай представится не скоро — кто знает, сколько продлятся военные действия, неизвестно, когда Янош сможет вновь отлучиться с фронта... Но как она одна поедет в Будапешт, еще толком не зная языка? Где она там, в огромном городе, будет искать мужа? Отец предполагал, что Янош, скорее всего, приехал в столицу по своим партийным делам, поэтому справки о нем, наверное, можно будет навести в Центральном Комитете партии. Посудили-порядили, и в конце концов отец

решительно заявил, что поедет вместе с Ольгой: ему тоже не терпелось повидаться с сыном.

Телеграмма пришла первого мая под вечер. Было решено выехать ближайшим, проходящим ночью поездом, и ранним утром они были уже в Будапеште. В Центральном Комитете не сразу удалось добиться, где можно разыскать приехавшего с фронта комиссара Гомбаша. Все были встревожены начавшимся в этот день наступлением Антанты, до предела заняты формированием и отправкой на фронт пополнений. Старый Гомбаш и Ольга уже пали духом — кто-то сказал им, что, по всей вероятности, комиссар вместе со своими делегатами спешно возвратился на фронт. Хотя, может быть, они еще застанут его там, где он остановился. Поспешили в указанную им гостиницу. Там узнали, что делегация действительно уже уехала, а комиссар Гомбаш оставлен для выступлений на митингах — призывать, чтобы вступали в Красную армию. Отец хотел было подождать Яноша в гостинице. Но Ольге не терпелось: вдруг Янош не заедет в гостиницу, а сразу уедет на фронт во главе тех добровольцев, которых сагитировал? Узнав у дежурного по гостинице, где должен выступать Гомбаш, они поспешили по его следам. На первый митинг опоздали — он закончился, Янош уже уехал. Настигли его только на третьем митинге, на вагоноремонтном заводе, приехав туда как раз в момент, когда Янош держал речь. Ольга едва дождалась, пока он закончит говорить...

А потом они втроем вернулись в гостиницу. Долго разговаривали. Было решено, что расстанутся только завтра утром. Янош уедет на фронт, а отец с Ольгой вернутся домой. Янош устроил отца на ночлег в соседнем номере, из которого только что уехали делегаты-фронтовики, и они с Ольгой остались вдвоем, наконец вдвоем после долгой разлуки.

Вдвоем... Оба удивились, когда за окном посветлело и розоватый свет раннего майского восхода, оттесняя ночные тени, потянулся по потолку. Неужели уже прошла ночь?

— Ты помнишь? — шепнул Янош в ухо Ольги, касаясь его губами и вновь ощущая ее нежную теплоту. — Год назад в Ломске, когда мы первый раз остались одни... Помнишь?..

Ольга ничего не сказала, но по мимолетному, легкому движению ее щеки, которое он уловил бровью, он понял ее ответ: «Помню...»

Щемящее чувство нежности к ней охватило его. Нежности и трепета перед тем, как недолговечно их счастье — счастье быть рядом, вместе видеть розоватый свет начинающегося дня. Этот день принесет им разлуку — опять неизвестно насколько, может быть, навсегда — ведь война... Он положил ладонь на ее теплое обнаженное плечо, словно желая удостовериться, что она еще здесь, что судьба еще не оторвала ее от него. Если бы можно было не разлучаться!..

— Я поеду с тобой! — вдруг, словно угадав мелькнувшую в его голове мысль, еле слышно шепнула Ольга.

— Что ты! — испуганно откликнулся он. — Опять рисковать твоей жизнью, твоим... — у него сбилось дыхание, сбились слова. — Нет, нет! Ты вернешься с отцом в Вашварад и будешь ждать меня! Я стану писать как можно чаще, каждый день... Победим врагов, и я приеду.

— Нет уж! — Ольга приподнялась, в ее голосе зазвучали такие знакомые Яношу решительные нотки. — Не затем я ехала, Ваня, чтобы снова с тобою расставаться!

— Мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты...

— А мне не будет спокойнее, если я не буду знать, что с тобой, не буду видеть тебя.

— Но ведь неудобно, Олек, комиссар жену привез. Пойдут разговоры: за юбку держится...

— Когда мы с тобой воевали в интербате у нас в Сибири, никаких разговоров не было. Почему же здесь будут? Я не за тем к вам в батальон явлюсь, чтобы ты за меня держался. Дело себе найду. В Ломске была сестрой, и здесь стану. А по-вашему я скоро совсем научусь. Уже почти все понимаю.

— Олек, Олек, не огорчай меня! Дай мне возможность уехать со спокойным сердцем...

— Я хочу быть с тобой! Не гони меня...

Спорили долго. Потом, когда встретились с отцом Яноша, он включился в спор, приняв сторону сына. Но и вдвоем они не смогли переубедить Ольгу. Под конец, видя, что Яноша никак не уговорить, она прибегла к последнему средству:

— Не возьмешь с собой — все равно приеду на фронт и отыщу тебя!

Теперь уж Янош не сомневался, что Ольга приведет свою угрозу в исполнение.

Что оставалось делать?

Пришлось согласиться. Это очень расстроило отца: горестно разводя руками, он повторял:

— Янош, сынок! Ну что я скажу твоей матери? Да я побоюсь сказать... Разве женщине место на войне? И как твоя жена поедет, Янош? Она же не взяла в дорогу никаких вещей!

В конце концов и старику пришлось смириться. Впрочем, при всем своем огорчении он в глубине души не мог не порадоваться, что у Яноша такая любящая жена...

Глава двенадцатая

«ЕФИМУШКА, ЭТО Я!»

Тени от прибрежных деревьев, под которыми в окопчиках, с трудом выдолбленных в пронизанной корневищами земле, укрывались Кедрачев и его товарищи, уже легли на воду. Под деревьями стало сумрачно, хотя противоположный берег — желтоватая линеечка глинистой отмели, поверху отороченная широкой полосой зелени, — был еще светел, как в разгар дня.

О, как всем хотелось, чтобы наступила наконец ночь! Конечно, едва ли она будет спокойной. Не исключено, что, прикрываясь темнотой, интервенты попытаются где-нибудь поблизости переправиться. Но должна же угомониться их артиллерия! Антанта не жалеет снарядов.

Ладно бы пушки ударили, раз, другой, третий — да и знать бы, что на какое-то время замолчат. Так нет, бьют! Бьют с перерывами. Только подумаешь: все, кончилось, — а через минуту, глядишь, снова зловещий шелест наверху и гулкий звук разрыва; щелкая по ветвям, сбивая листья, жужжат осколки. Почему артиллерия бьет так уверенно? Ведь позиции, спрятанные в прибрежных зарослях, с той стороны не разглядеть. Будто врагу кто-то сведения дал, куда стрелять... Может, не зря ходят разговоры о предателях, затаившихся в штабах? Там полно бывших офицеров...

Тени на воде все длиннее, плотнее, медленно ползут к вражескому берегу.

Вот наконец затихло. Да настроиться на спокойный лад трудно. Неизвестно, что происходит вокруг.

Эту позицию заняли во второй половине дня, когда стало известно, что южнее противник переправился через Тису и теснит части Красной армии. Сначала интербатовцев бросили на помощь части, оборону которой противник уже почти прорвал, и помогли ей удержаться. После этого

две роты батальона — польскую и сербскую — оставили там же в обороне, а русскую перебросили к берегу, где до этого не держал оборону никто.

Напряженно вглядывались бойцы в уже подернутую синеватой дымкой реку, противоположный берег которой все непрогляднее заволакивали, скрадывали сумерки. Тревожные мысли обуревали Кедрачева. Что происходит левее, дальше, на северо-западе? Говорят, там уже третий день идут бои с чехословацкими легионерами, которыми командуют, за неимением пока что своих, французские генералы. Взяв 1 мая Мишкольц, легионеры продвигаются на восток, к шахтерскому городу Шальготарьяну.

Возьмут его,— значит, окажутся в тылу войск Красной армии, держащих фронт на Тисе. Если бы побольше сил, чтоб отбросить врага хоть на самых опасных направлениях... Янош остался в Будапеште агитировать, чтобы вступали в Красную армию. Еще не вернулся. Хорошо бы возвратился с пополнением. Уплотнили бы фронт, тогда, глядишь, и отбросили бы врага за Тису.

Шаги и негромкие голоса позади отвлекли Кедрачева от его мыслей. Говорили по-русски и по-венгерски. Это Свечкин и Нечитайло.

— Забирай своих и уводи дальше по берегу, влево! — говорит Свечкин.— А здесь займут позицию товарищи мадьяры. Подымай людей!

— Пополнение! — обрадовался Кедрачев.— Слышь, товарищи, пополнение!

Все оживились. Увидели: Нечитайло ведет за собой человек двадцать, одетых в военное и в штатское, все — с винтовками.

— Отколь пополнение-то? — спросил Кедрачев, когда Нечитайло вошел на позицию.

— Из Будапешта. Все мастеровой народ, заводские. Есть которые из солдат.

— Давайте, давайте, товарищ Нечитайло, быстрее переводите людей! — торопил подошедший Свечкин.

За ним, в сгустившейся уже тьме, сливаясь воедино, тесной кучкой стояли люди, над головами которых маячили стволы винтовок с широкими ножевыми штыками. Странно было здесь, на передовой, видеть шляпы и кепки. Пришедшие вполголоса разговаривали меж собой. Вот мелькнул огонек зажигалки, и тотчас же раздался сердитый окрик. Огонек, испуганно трепыхнувшись, погас.

«Народ-то совсем не тертый,— отметил Кедрачев.— Невдомек, что с того берега огонь могут приметить...»

— Кедрачев, подымай своих! — распорядился Нечитайло.

Следуя за взводным, бойцы шли влево по берегу. Лес там редел, начинался луговой, почти свободный от деревьев берег, возле воды поросший кустарником. Здесь, на открытом месте, русской роте был отведен новый рубеж. Нечитайло указал Кедрачеву позицию для его отделения, велел окапываться тотчас же, невзирая на темноту. Но когда попробовали, то оказалось, что почва очень вязкая, лопаты выворачивали не землю — грязь. Решили ждать: когда посветлеет — тогда и выбрать для позиции наиболее подходящие места. А пока наломали веток на подстилку, чтобы было посуше, и улеглись; наблюдать за рекою остался Воропушин, сам вызвавшийся на это,— что-то не спалось старому...

Не спалось и Кедрачеву: от реки тянуло сыростью, снизу, из-под веток, тоже холодило. Да и мысли не давали покоя: что принесет завтрашний день? И Яноша что-то долго нет. Неужто все еще агитирует? А может, послали его куда-нибудь?

Кедрачев старался перебить беспокойные мысли приятными воспоминаниями — все-таки здорово, что побывал в Будапеште... Время тяжелое, а праздник, что и говорить, хороший сумели мадьяры устроить. Шествие-то какое было! А салют с Крепостной горы... Жаль, пришлось срочно уехать. Ну ничего, хоть отоспался на гостиничной постели после окопных ночей. Здесь-то опять толком не поспишь. Май уже, по-здешнему — лето почти, а ночь какая холодная! Невольно вспомнишь добрым словом старую свою шинельку, ту, что оставил на хранение Габору. Не взял, понадеялся, что новую выдадут. А не выдали до сей поры.

Проснулся Кедрачев от приглушенного и все-таки зычного голоса Нечитайло:

— Подымайтесь, товарищи! Окапываться надо!

По реке, закрывая противоположный берег, стлался белесый туман. Небо на востоке заметно посветлело. Бойцы, кряхтя и покашливая, вставали, брались, у кого были, за лопатки. Нечитайло отвел отделению Кедрачева позицию на самом берегу, она была удобна: от глаз противника ее прикрывали плакучие ивы, окунавшие ветви в воду.

— Будете здесь вроде как в боевом охранении,— напомнил Нечитайло.

Работа шла споро — земля была мягкая, влажная, лишь кое-где пронизанная корнями. И, несмотря на то что

в отделении на десятерых имелось всего три лопатки, вскоре для каждого был вырыт окоп для стрельбы сидя. Нечитайло, который пришел проконтролировать работу, остался доволен, распорядился:

— Отдыхайте! Да за тем берегом смотрите! И себя не выказывайте.

Без особой нужды никому не хотелось сидеть в сыром окопе. Расположились под тенью раскидистой ивы, которая надежно заслоняла от взоров противника. Не спеша занялись завтраком, его получили еще с вечера — хлеб и сало со шкуркой, красной от паприки. Запивали кипятком, согретым в котелках на устроенном в ямке потайном бездымном, из сухих сучьев, костерке. Конечно, хорошо бы поесть горячего, но кухня, Нечитайло обещал, только к обеду прибудет.

Еще не закончили завтрак, как снова появился взводный, объявил:

— Вон за теми кустиками вся рота собирается. Комиссар вернулся, говорить будет. Оставь, Кедрачев, одного наблюдать — и все туда.

Рота уже почти вся собралась, когда подошло отделение Кедрачева. Комиссар сидел на пеньке и о чем-то вполголоса беседовал с командиром роты. Кедрачев с удовольствием подумал: «Совсем Янош свойским стал, по-нашему говорит, как по-своему».

Заметив Кедрачева, Гомбаш, как обычно, сдержанно кивнул. Ефим ответил тем же: на людях они всегда старались не подчеркивать своей близости.

Однако Ефиму показалось, что Янош посмотрел на него по-особому значительно и даже слегка улыбнулся ему, будто приготовил какой-то сюрприз. Что такое? Спросить? При всех неудобно...

Тем временем рота собралась, и Гомбаш начал говорить:

— Вас, товарищи, наверное, интересует, как обстоят дела по всему фронту? Противник остановлен, хотя и не отказывается от намерения наступать. Помогли нам подкрепления из Будапешта — теперь и наш батальон занимает меньший участок обороны.

— Так и будем стоять?

— События покажут... Пока не ставим себе задачи наступать. Вот нарастим силы... Сейчас главное — удержать фронт! Пока у нас всего меньше, чем у противника,— и людей и пушек. Впрочем, в Будапеште, откуда я только что прибыл, огромный подъем. Призыв партии — револю-

ция в опасности! — дошел до всех. Ожидается, что и многие ваши соотечественники тоже вступят в Красную армию, присоединятся к вам и к другим русским интернационалистам, которые служат в разных частях армии республики. Вот,— Гомбаш вынул из кармана сложенную газету, тряхнул ее, она развернулась, — в будапештской русской «Правде», вы эту газету большевиков знаете, опубликован призыв: «Товарищи русские! Будапешт не сдается!»

— Чего же раньше пополнения не слали, пока мы за Тисой стояли? Глядишь, не пришлось бы на этот берег мотать!

— А верно говорят, будто в тылу изменники?

— Изменники? — повторил Гомбаш.— Скрытые враги? Есть, конечно. С ними власть пролетариата борется железной рукой, как и у вас в Советской России. С ними вопрос прост — кто кого. А вот с маловерами... С маловерами дело обстоит сложнее. Маловеров надо убеждать. Откровенно вам, товарищи, скажу: если бы нашей партии не пришлось спорить с маловерами, которые считают, что нам от интервентов все равно не отбиться, мы бы значительно раньше сумели организовать подкрепления и не было бы такого трудного положения на фронте, как сейчас. Но уже обозначился перелом. Вы и другие части Красной армии приняли на себя самый тяжелый удар и остановили врага. Теперь наши силы с каждым днем растут. В Будапеште я своими глазами видел, как рабочие рвутся в бой за свою пролетарскую власть. Революционный правительственный Совет призвал к оружию рабочих только с восемнадцати до сорока пяти лет. А знаете, сколько желающих вступить в Красную армию? Многие обижаются, если их не берут. Помню, в железнодорожных мастерских после митинга почти две тысячи рабочих построились, сами разбились на роты и потребовали: дайте обмундирование, оружие, отправляйте на фронт! В Будапеште не успевают направлять поток добровольцев. Да вы и сами видели — прибыло пополнение, а еще не все обмундированы.

— Видели! Поговорили даже. Хотят воевать...

— Вот видите, не так уж плохи наши дела.

Кедрачев заметил, что Янош нет-нет да и остановит взгляд на нем. Что бы это значило?

Когда бойцы стали расходиться, Ефим, против обыкновения, сразу направился к Гомбашу. Тот полуобнял его, отвел в сторонку, сказал заговорщицки:

— Я тебе, Ефим, хочу сейчас передать...
— Что?
— Привет... От сестренки...
— От Олюньки? — Ефим оцепенел.
— От какой же еще? У тебя, насколько мне известно, сестра одна...
— Да что ты узнал? Она жива? Где она?.. Говори же!
— Совсем недалеко.
— Да где же она, где?
— Успокойся... Олек в батальонном лазарете...
— В лазарете? Что с нею?..
— Жива, здорова. Будет служить у нас.
— Ничего не понимаю!
— Сейчас поймешь. Только не упади от удивления.— Янош шутливо придержал Ефима за рукав: — И не превращайся в столб. Имей терпение, все расскажу...
— То-то ты на меня так глядел!
— Не терпелось сообщить тебе. Так вот, слушай...
И Янош рассказал, как встретился с Ольгой, каким образом ей удалось добраться до Будапешта.
— Ну и ну! — вымолвил Ефим, выслушав друга. — Кто бы мог подумать, что моя сеструха такое своротит! Верно говорят — любовь чудеса творит!
— Это точно! — подтвердил Янош.
— Нет, постой! — спохватился Кедрачев.— Чему ты радуешься? Что опять Олюньку на фронт приволок? Тебе бы поберечь ее, а ты и рад — лишь бы к себе поближе. А если с нею опять что случится? Не дело женщине на фронте быть...
— Знаю. Я уговаривал ее, не хотел брать, как и год назад, когда уходили из Ломска. Ты что, не знаешь характера своей сестры? Уж если захочет...
— Характер знаю. Да и ты должен характер иметь. Ты — муж. И отвечаешь за жену.
— Я старался ее удержать, отправить обратно к моим родителям. Ни в какую... Пришлось согласиться. Разве лучше было бы, я б ее не взял, а она потом сама отправилась бы отыскивать меня по всему фронту? Да и тебя, кстати...
— Вестимо, не лучше... Ну да ладно. Назад ее не отправить, так я чувствую.
— Нет уж...— вздохнул Гомбаш.
— Ты ее хоть на передовую не пускай. Не ровен час, попадет в переплет.

— Не пускаю. Строго-настрого приказал фельдшеру, начальнику лазарета, чтобы оттуда никуда не отлучалась. Она уже рвалась повидаться с тобой. Сказал, сам придешь, только тем и удержал.

— Сейчас бы можно, пока тихо...

— Вот и не откладывай. Это же неподалеку, на хуторе. Спросись у своего строгого Нечитайло и отправляйся. А я в сербскую роту пойду. Олеку передай, что раньше вечера не вернусь. Да она знает...

— Ладно, сейчас пойду. Только к своим загляну да взводному скажу.

Ефим вернулся в отделение. Все уже находились на облюбованном месте — под сенью ив, закрывавших их от глаз противника. Только Воропушин сидел в своем старательно замаскированном ветвями окопе и внимательно наблюдал за противоположным берегом, посасывая самокрутку.

— Приметно что-нибудь? — спросил Кедрачев.

— Да нет, ничего,— ответил Воропушин.— Похоже, угомонился румынец...

— Вот и распрекрасно. Сейчас тебя сменят.

— Да я не устал. Все одно сидеть.

— Ну как хочешь...

Кедрачев недоговорил: донесся чуть приглушенный расстоянием звук разрыва.

— Вот и угомонился! Как думаешь, где это?

— Да ежели на реку смотреть — правее будет, с полверсты отсюда, а может, и поболе,— обстоятельно, как он все делал, рассудил Воропушин.— Не по нас, значит.

— Все одно по нас...— успел сказать Кедрачев, и тотчас же донесся звук второго разрыва и следом третьего.

— Однако румынец всерьез начал,— привстал, вглядываясь в противоположный берег, Воропушин.

— Смотри в оба! — предупредил Кедрачев. Он собрался крикнуть своим бойцам, чтобы спускались в окопы, но увидел, что они и без команды уже сделали это, и спрыгнул в свой окоп. «Однако начинается... Вот тебе и повидался!»

Он напряженно всматривался в противоположный берег. Но там не было видно никакого движения. Где-то в стороне все чаще грохотали разрывы. Вражеская артиллерия била непрерывно. Прислушиваясь к неумолкающей канонаде, бойцы переговаривались:

— Неспроста бьет — переправиться норовит.

— А кто там оборону держит?

— Кажись, поляки. Дальше — Будапештский пролетарский полк. Свечкин сказывал.

Вдруг звуки разрывов как оборвало. Это встревожило еще больше: может, противник уже переправился?

Донесся далекий стукоток выстрелов, глухо прозвучала пулеметная очередь.

— Вроде на нашей стороне...

Стрельба слева становилась все слышнее, как будто приближалась.

— Товарищ отделенный! — крикнул Никитенко.— Надо бы обстановку прояснить! Как бы не досидеться нам тут...

— Сходи спроси взводного,— предложил Кедрачев.

— Это я мигом! — согласился Никитенко и, бойко вывалившись наверх из окопа, побежал.

Вскоре он вернулся. Лицо его блестело от пота. Он на бегу крикнул:

— Противник уже на этом берегу! Мост навел! Жмет на наших соседей слева. Взводный велел ждать...

Ждать, не видя противника? А чего дождешься? В бою легче: видишь, какова опасность, и знаешь, что нужно делать.

Стрельба слева, за дальними купами прибрежных деревьев, то вспыхивала, то затихала. Продвигается враг или его удалось остановить?

Кедрачев в конце концов не выдержал, разыскал на соседней позиции взводного, спросил:

— Что происходит слева?

— Сам беспокоюсь,— ответил Нечитайло.— Соседи воюют, а мы сидим тут... Свечкин наш тоже ничего не знает. Сейчас к нему командир батальона связного присылал. Я спросил его: какая там, на левом фланге, заваруха? А он только рукой махнул: плохо, дескать...

— Нечитайло! — тяжело дыша, подбежал Свечкин.— Заворачивай взвод влево, фронтом вон туда,— показал он в направлении, откуда доносилась учащенная стрельба.— Польскую роту с позиций сбили...

— Что же это товарищи поляки оплошали?

— А ты бы на их месте не оплошал? С того берега снарядов сколько положили?! Трудно удержаться...— Свечкин смахнул фуражку на затылок, ладонью отер пот со лба: — Давай быстрей, Нечитайло! К другим взводам я сам.

Кедрачев бегом вернулся к своим. Те уже словно догадались, что оставаться на прежнем месте не придется, выбирались из окопчиков, возбужденно переговариваясь.

Покинув обжитую позицию, бойцы быстрым шагом идут вслед за взводным вдоль берега через реденький лесок, навстречу стрельбе. На плечо Кедрачеву упала веточка с несколькими листьями, зацепилась. Он смахнул ее, слегка удивившись: почему ветка, зеленая, гибкая, вдруг отломилась? И тут же понял: сшибло пулей. Видимо, уже на излете, почти неслышные, медлительные пули пролетали поверху, все настойчивее шурша листвой. Шедший следом за Кедрачевым Никитенко то и дело покрякивал, отмечая:

— Проехала...

Холонец, шагавший за ним, при каждом свисте пули пригибался, едва не падал.

— Эх, вояка! — съязвил Никитенко.— А еще на фронте был! Чего ей кланяться, раз она пролетела?

Стрельба впереди участилась, пули теперь уже непрестанно прошивали листву, щелкали по стволам. Спереди донесся высокий голос Свечкина:

— Бего-ом!

Команду тотчас зычно повторил Нечитайло:

— Бего-ом!

Теперь уже не шли — бежали, лавируя меж тонкими стволами. Вот впереди засветилось открытое пространство. Близка опушка.

— В цепь! Ложись! — раздалась команда Свечкина.

Кедрачев упал в невысокую густую траву, выставив винтовку. Всматриваясь вперед, увидел быстро двигающихся врассыпную вдоль берега людей. Они то бежали, то останавливались, но с каждой секундой приближались. Было еще непонятно: враг это или свои?

Свои! В серо-зеленых куртках и в синих австрийских мундирах. Отходят, отстреливаясь. Двое с пулеметом: один тащит треногу, другой — ствол. «Уж не Фаркаш ли?» — попытался присмотреться Кедрачев, да не разглядел.

Протрещали сухие сучья под тяжелыми торопливыми шагами — мимо пробежал в сбитой на затылок бескозырке Нечитайло, прокричал хрипло:

— Кедрачев! Окапывайтесь быстрее!..

Кедрачев взглянул вправо, влево. Сосредоточенно орудует лопаткой Воропушин; Никитенко, сняв с винтовки штык, роет им, с напряженным лицом, хекая, перерубает корни. Ему жарко, он сбросил бескозырку, распахнул куртку. Только Холонец лежит, втянув голову, держа приклад у плеча. Не поймешь: то ли закрыл глаза со страху, то ли зажмурился и целится.

— Холонец! — крикнул Кедрачев.— Копай быстрее, потом мне лопатку дашь!

Не подымаясь, Холонец выдернул из-под себя лопатку.

— На!

— Сам сперва! — оттолкнул лопатку Кедрачев. — Да не бойсь задницу поднять! Не убьет!

Холонец нехотя повернулся на бок, чуть приподнялся, начал выковыривать из-под себя землю.

...Минуло полчаса. Мимо прошли добровольцы рабочего полка, еще без солдатской привычности держащие винтовки. Вместе с ними отходили бойцы польской роты. Раненых тащили на самодельных носилках, сделанных из жердей и винтовок, продетых в рукава курток, или вели под руки. Отступавшие заняли позиции рядом с русской ротой. Командиры спешно развели их по местам. Раненых собрали в одном месте — позади, в тени деревьев.

Артиллерия противника смолкла. Тихо. Только где-то в гуще ветвей тенькают лесные пичуги.

«Где Янош? Что с ним? — подумалось Кедрачеву.— Ведь не бережется, в самый огонь норовит... Олюнька-то, верно, изводится о нем. Что она знать может в лазарете? И обо мне, конечно, беспокоится. Весточку бы дать, да как? Разве что к раненым сбегать, попросить их или санитаров передать сестре, что цел, дескать...»

Он оглянулся. До деревьев, под которыми собраны раненые, не так уж далеко. Да и не отправляют их еще. Наверное, повозок ждут. А вот и повозки! Две или три, быками запряженные, пробираются меж деревьев. «Как же это, на быках-то? Неужто лошадей в деревне не нашлось? Так сбегать, что ли?»

И тут он увидел, что вдоль позиции, часто останавливаясь, идет Гомбаш. Сейчас не время для собраний и митингов, но комиссар использует любую возможность, чтобы поговорить с бойцами. Вот он подошел к Кедрачеву. Тот сразу спросил:

— Олюнька-то знает, что ты жив-здоров?

— От санитаров узнает, я им тут помог немножко — раненых побыстрее отправить.

— А что там слыхать?— показал Кедрачев в сторону противника.

— Переправляют артиллерию. Она еще не встала на огневые позиции.

— Когда же наша артиллерия подойдет?

— Обещают. Знаешь, Ефим, есть хорошая русская пословица, как порой долго приходится ждать обещанного...

— Слушай! — вдруг осенила Кедрачева мысль.— А что, если рвануть, пока вражьи пушки на позиции не встали, смять пехоту и прямым ходом к переправе? Глядишь, еще и орудия у них захватим.

— Не ты один это советуешь. Я уже предлагал командиру батальона. Настаивал, можно сказать. Доказывал, что внезапный удар будет эффективен и сил у нас для этого хватит. Но и Баргаи, и начальник штаба решительно против. Фойяш — тот, по-моему, просто боится рисковать, а Баргаи...— Гомбаш понизил голос, не желая, чтобы его услышали:— Баргаи, по-моему, вообще не очень жаждет нашего успеха... Мне это кажется все больше. Давай не будет об этом! Не время сейчас предаваться сомнениям.— Гомбаш пошел дальше.

Кедрачев вернулся к прерванной работе. Примерно через час он отрыл себе окоп. Заканчивали углублять окопы и другие. Раньше остальных, как бы оправдывая свою фамилию, завершил работу Торопыгин, хотя за неимением лопатки действовал штыком и котелком. С довольным видом усевшись в ячейке, из которой видна была только его голова с белесым вихорком, торчавшим из-под бескозырки, он бойко покрикивал своим ярославским говорком:

— Давай-давай, ребятки, нажимай! А я покурю. Кто даст?

Никитенко ответил ему негромко:

— Румын даст, как услышит. Из пушки...

— Пушка большая, а я маленький,— отшутился Торопыгин.— Где ей в меня попасть?

— Попадет! — вмешался Кедрачев.— Больно ты голосистый.

Опасения по поводу того, что «румын даст», оказались не напрасными. Едва бойцы успели углубить окопы, как раздался свист летящего снаряда. Он разорвался где-то далеко позади. Значит, противник уже переправил артиллерию и начинает обстрел... А ответить ему нечем... Все притихли.

Второй разрыв громыхнул ближе, осколки защелкали о стволы деревьев, словно кто-то, забавляясь, заколотил по ним палкой. Сбитые сучья, кувыркаясь, пролетали над головами, нахлестом падая поблизости в траву.

— Ну держись, ребятки! — храбрясь, крикнул Торопыгин и присел — третий снаряд разорвался еще ближе.

— Санитаров! — раздался испуганный крик.

Загомонили тревожно голоса — очевидно, кого-то ранило.

— Миленький, потерпи немножко...— вдруг донеслось до слуха Кедрачева.

Он рывком оглянулся и чуть не выронил винтовку от неожиданности: Олюнька? Она! В красноармейской куртке, на рукаве — белая повязка с красным крестом. С нею два санитара. На траве стоят носилки. Ольга рядом на коленях, поправляет на груди раненого бинт. Она стоит спиной к Ефиму и, поглощенная своим делом, не видит его.

«Ослушалась-таки!..»

Не помня себя, Кедрачев в один миг оказался возле сестры:

— Ты?

Бинт вывернулся из пальцев. Ольга ловко подхватила его.

— Ефимушка, это я!..

— Да как ты сюда!..— У него перехватило дыхание.— Ты же обещала Яношу... Здесь стреляют!

Ольга быстро домотала бинт.

— Обещала, Ефимушка. Однако столько раненых...— И повелительно сказала санитарам: — Несите к повозкам!

— А ты? Отправляйся с ними!

— Нет. Я здесь останусь. Вдруг ранят кого...

— Уезжай, говорю!

— Не кричи... Я на тебя и посмотреть не успела...

— Я на тебя тоже. Не до того сейчас. После наглядимся...

Суматошно застучали винтовочные выстрелы.

— Иди к повозкам! — крикнул Ефим.— Переживай за тебя тут! Нам воевать надо!

— Но, Ефимушка...

— Уходи! Сию же минуту уходи!

Вид Ефима был грозен и непреклонен. Ольга быстро подхватила санитарную сумку и побежала за носилками. Через несколько секунд Ефим уже не думал об Ольге: показалась вражеская пехота. И все его помыслы и чувства сосредоточились теперь на единственном: отбить атаку!

...Сколько минуло времени? Час? Два? Три? Счет ему был потерян. Вражеская цепь то залегала под огнем, то подымалась вновь и постепенно приближалась. Как ни

экономно стреляли бойцы, у каждого оставалось лишь по три-четыре обоймы.

Наступило непрочное затишье — атакующие залегли. Может быть, ждут, что их поддержит артиллерия? Но артиллерия почему-то молчит...

Шорох позади привлек внимание Кедрачева. Он обернулся и чуть не взорвался от гнева:

— Ты опять здесь?

— Здесь, Ефимушка...— покорно ответила Ольга. Она лежала ничком на траве в нескольких шагах от его окопа. Показала рядом с собой: — Вот, забирайте!

— Патроны? — изумился Кедрачев. Только сейчас он разглядел две коробки из оцинкованного железа, связанные грязными, в бурых пятнах бинтами. — Где взяла?

— На повозках, которые за ранеными, привезли... Раненые говорили: патроны кончаются. Я повозки отправила, а сама сюда...

Она недоговорила — поверху с вкрадчивым посвистом пролетело несколько пуль. Кедрачев схватил сестру за плечи, прижал ее к земле.

— Скорей назад!

— Боюсь! — совсем по-детски призналась Ольга.

— Сюда не боялась?

— А отсюда боюсь...

Впереди в поле, только что казавшемся безлюдным, опять зашевелились вражеские солдаты. Они бежали, низко пригибаясь, так, что не видно было лиц. Издали казалось, что атакуют безголовые.

Кедрачев тщательно прицелился в одного из бегущих, выстрелил — солдат не то упал, не то пригнулся еще ниже. В прорези прицела снова возникла фигура в синеватом мундире, во французской каске, похожей на шляпу-котелок с короткими полями. То ли тот самый, то ли другой. Кедрачев выстрелил, солдат исчез из прицела.

«Не показывается... А если залег? Выстрелить еще? Но ведь патроны... Да патронов же теперь вдоволь!» Отомкнул штык, лезвием его вспорол крышку ящика, блеснула золотистая россыпь патронов. Ухватил сверху горсть, сунул в карман куртки, крикнул:

— Разбирай патроны!

Кто ползком, кто вперебежку, спешили бойцы к ящикам. И только сейчас Кедрачев заметил, что Ольга на прежнем месте.

— Ты еще здесь! — рассвирепел Кедрачев.— Уходи сей же момент!

— А если кого-нибудь ранят?..
— Сами управимся!
— Все равно не пойду. Боюсь я...
Ефим не стал больше спорить. Он-то знал нрав своей сестры.
— Вот сволочи! — услышал он злой голос Никитенко.— Да кто это сделал — того бы головой в топку! Ты погляди, товарищ Кедрачев! — Никитенко протягивал ему пригоршню патронов.
Среди боевых, с остро торчащими пулями, виднелись куцые холостые.
— Ошибка...— удивился Кедрачев.
— Ничего себе ошибочка! Сверху боевыми присыпано, а дальше — сплошь холостые. Погляди!

Кедрачев запустил пальцы в ящик поглубже, поворошил патроны. Действительно, под тонким слоем боевых сплошь, до самого дна, лежали холостые.

Он услышал, как всхлипнула Ольга. Обернулся. Она плакала, уткнув лицо в ладони.
— Ты что?
— «Что», «что»? Я радовалась, думала — помощь вам, а оказывается, вон что!
— Ладно уж! Только слез твоих не хватает... Спасибо за старанье — и давай отсюда!
Над головами тяжким косым дождем прошла, уносясь в сторону, пулеметная очередь. В стороне кто-то вскрикнул.
— Слышь, ранило кого-то! — даже обрадовался Кедрачев: теперь есть повод отправить Ольгу в тыл.— Взгляни, может, в лазарет сопроводить... Да пригибайся, пригибайся...
— Знаю! — Ольга, низко пригибаясь, побежала к раненому.
Кедрачев заглянул в подсумок — с десяток патронов, не больше. Не богаче и у остальных. У Холонца и того меньше — расхлопал со страху.

Лежали, следили за противником. Переговаривались:
— Чем стрелять, братцы? У меня две обоймы всего.
— И у меня две.
— Зато холостых — два ящика. Врага пугать.
— Испугаешь его...
— А что? Начнем бить холостыми, как подымется. Может, не сразу разберет — глядишь, и потопчется, прежде чем в атаку побечь.

— Дурной он, что ли, холостой от боевого не отличит?
— Как же быть, если опять пойдет?
— Может, подвезут боеприпаса?
— Жди. Снова бы холостых не подкинули. Вражина какой-то в тылу орудует.
— Измена!
— Как с изменой фронт держать?..
— Ладно, чего слезы лить? — прекратил разговоры Кедрачев.— Плачемся! Выходит, мы не солдаты революции, а...
— Но-но! — остановил его Никитенко.— Ты хоть и командир, а лишнего не говори! Мы за революцию жизнь готовы...
— Жизнь отдать — не хитро. Вот как от врага отбиться?
— А вот как! Подымутся румыны — открываем огонь холостыми, чего их жалеть? Не остановятся — подпускаем ближе. Заряжаем остатними боевыми. А как подойдут — три залпа, прицельных! — предложил Никитенко.
— Только надо, чтобы не одно наше отделение, а все,— внес поправку Воропушин.— Чтоб разом, вся рота.
— Валяй, товарищ Кедрачев, к ротному!
— Я Нечитайле сперва скажу.
Пригибаясь, Кедрачев пробежал на левый фланг, где находился взводный. Выслушав, Нечитайло похвалил:
— Хорошо твои ребята придумали. Ротному скажу, чтоб стрелять всем по одной команде.
Кедрачев вернулся к себе.
Прошло немного времени — и снова зашевелились синеватые мундиры, замаячили круглые серые каски. Захлопали вразнобой выстрелы. Бойцы палили, не жалея холостых. Вражеская цепь замешкалась: до этого по ней еще не вели такого частого огня, и противнику было ясно — у обороняющихся патронов в обрез, стреляют, только тщательно целясь. И вдруг — шквал огня. Но вскоре атакующие возобновили движение, даже прибавили шаг: несомненно, противник понял — по нему стреляют холостыми. Кедрачев видел, как, взмахивая обнаженной саблей, идет чуть впереди солдат офицер. Вот он сделал свободной рукой шутливый жест, будто ловит пулю, а затем бросает ее солдатам. Его жест повторил кто-то из солдат. Цепь пошла быстрее. Многие весело помахивали руками, как бы приглашая обороняющихся стрелять еще. «Ну погодите!— озлился Кедрачев.— Вот вставлю обойму с боевыми да как врежу...» Но команды еще нет, и он сдержал себя. А

цепь тем временем подошла уже шагов на полтораста. Сейчас возьмут штыки наперевес и побегут в атаку...

Нетерпение двигало руками Кедрачева. Он выпалил последний, остававшийся в магазине винтовки холостой патрон и, не дожидаясь условленной команды, потянулся за заветной обоймой боевых. И в тот же миг до его слуха донесся зычный голос Нечитайло:

— Боевыми — заряжай!

Выстрелы стихли. В напряженной тишине слышны были только торопливый лязг затворов да веселые крики наступающего противника — он, видно, совсем уже ничего не опасался, полагая, что у красных бойцов кончились даже холостые патроны.

— Целься! — прокатился голос Нечитайло.— Взво-од...

Кедрачев затаил дыхание, ловя на мушку офицера, бойко размахивающего саблей, словно дирижирующего на ходу. Офицер шел, оборотив голову к своим солдатам,— он совсем осмелел, шагал быстро, часто перебирая ногами в сапогах, начищенных до такого блеска, что в них вспыхивало искорками солнце. Палец Кедрачева замер на спусковом крючке.

— Пли!

Кедрачев нажал на спуск. Звук выстрела его винтовки потонул в дружном раскате залпа. В прорези прицела метнулась фигура офицера, блеснули и померкли его сапоги.

— Заряжай!

— Целься!

— Взво-од — пли!..

Вражеская цепь смешалась, кто-то в ней падал, кто-то повернул назад, кто-то еще по инерции бежал вперед. Офицера не было видно.

— Пли! — ударил пятый залп.

Те вражеские солдаты, что еще секунду назад продолжали наступать, тоже повернули. Вдогонку им защелкали выстрелы: бойцы по-прежнему стреляли боевыми, но уже вразнобой.

— Прекратить огонь! — разнеслась команда взводного.

Над полем боя воцарилась тишина. Слышно было только, как возбужденно переговариваются бойцы:

— Здорово мы их подманили!

— Теперь и холостых бояться будут!

— А офицер-то, офицер! Ручкой пулю ловить изволил! Вот и словил!

— Это я его сшиб.

— Ты? Я тоже по нему целил. Уж больно нахально себя вел.

«И я целил!» — хотел сказать Кедрачев, но сдержался: и без него много охотников считать, что попали в офицера. Да и не до того было ему сейчас: он снова забеспокоился об Ольге — ушла или нет? Поблизости не видать. Спросил товарищей:

— Куда сестренка моя делась, не видали?

— А вон в кустах позади, раненых перевязывает.

«Ну и пусть!» Кедрачев уже смирился с тем, что ему не удалось отправить Ольгу в тыл. Станет тихо — сама с ранеными уедет.

Шел час за часом. Противник не предпринимал больше попытки наступать. Он вообще не подавал никаких признаков жизни, словно его и не было впереди. Лишь кое-где в траве синели мундиры убитых.

Бойцы чистили винтовки, потихоньку, чтобы не видно было со стороны противника, углубляли окопы.

Солнце склонялось к дальнему краю степи. Вот уже и сумерки, густея, расплылись вокруг. В тишине стал слышен стрекот цикад, начавших свой ночной концерт.

Бойцы, кроме оставленных для наблюдения, уже укладывались спать — кто в своем окопе, кто рядом,— как появился Нечитайло с приказом собираться. Он объяснил: пришло новое пополнение, Интернациональный батальон передает свой участок обороны вновь прибывшей части и отводится на отдых в село, километрах в трех от передовой.

Глава тринадцатая

ТРЕВОЖНЫЙ ОТДЫХ

Время шло уже к полуночи, когда Кедрачев возвращался в роту из батальонного лазарета, куда ходил проведать сестру. Там он застал и Яноша — тот только что вернулся с позиций, куда после суток отдыха, первой по очереди, были посланы сербская рота и венгерская пулеметная команда. Посидели, поговорили не спеша — благо, как сообщил Янош, на передовой тихо, не похоже, что противник собирается снова наступать.

Чтобы вернуться в свою роту, Кедрачеву надо было пройти через все село и еще немного полем до бывшего господского имения, преобразованного теперь в государственное хозяйство,— там и располагалась на отдыхе рус-

ская рота. Янош рассказал, что он настаивал разместить роту в селе, по дворам, — и к позициям, на случай чего, ближе, и с народом единения больше. Но командир батальона и начальник штаба отвергли его предложение на том основании, что не следует обременять крестьян военным постоем, да и собирать бойцов по дворам в случае тревоги будет сложнее, чем если сосредоточить их в одном месте. И Гомбаш вынужден был согласиться.

Кедрачев пересек обширный, выбитый копытами скота и исчерченный следами повозочных колес двор, приблизился к длинному сараю, в котором был расквартирован его взвод. В сарае было темно и тихо, наверное, все уже спали. Но, подойдя поближе, заметил у дверей крохотную алую точечку, смутно светящуюся в темноте — кто-то курил. Оказывается, Воропушин сидит на лежащей у сарая перевернутой водопойной колоде.

— Не спится? — остановился Кедрачев.

— Разговор тут вел с одним местным. Только что ушел.

— Завидую. С мадьярами запросто толковать можешь.

— Так ведь два года здесь в работниках по деревням жил. Наловчился малость балакать.

— Я тоже жил. А вот языка все не осилю. А с кем же балакал?

— Конюх, он же и сторож ночной заодно. Ране в батраках здесь у помещика был и теперь, как общественное хозяйство устроили, тут же, на прежнем деле.

— Я слышал, у них и управляющий прежний, что при барине был.

— Точно. Оставили как в хозяйстве понимающего.

— Что же поменялось у знакомца твоего? Работа прежняя, управляющий тот же...

— Еще как поменялось! При помещике имел он то, что ноне? И деньгами больше получает, и зерном, опять же землю дали под огород, под кукурузу, а еще, по советскому декрету, соли два пуда с четвертью в год, керосин выдают, дрова, солому и сено для коровы, пара башмаков положена...

— Значит, доволен?

— Как тебе сказать?! Мужик он и есть мужик, хоть где. Ему свое иметь хочется. Мечтает землю получить. По новому закону будто обещают давать безземельным по пять хольдов, это две с половиной десятины.

— Не шибко...

— Это по-нашему ежели. По-здешнему — уже можно хозяйство завести. Но я, товарищ Кедрачев, так считаю: всю помещичью землю здесь надо бы крестьянам раздать, как у нас в России, чтоб каждый мог самостоятельным хозяином стать.

— А может, и правильно, что землю по хозяевам не раскидали, а сделали общественной?

— Тебе, товарищ Кедрачев, должно, непонятно, что это значит: барскую землю — да мужику. Городской ты... Да у вас в Сибири-то, сам сказывал, и помещиков нету.

— Зато других живоглотов хватает, не милосерднее барина. Из своих же деревенских, и такие, что тебя и со своей землей, и с барской, ежели получишь, запросто заглотят. У вас в Саратовской разве нету таких?

— Как не быть, есть. Только, думаю, товарищ Кедрачев, советская власть им окорот дать должна.

— Должна, беспременно.

— Эх, краем глаза повидать бы, как там у нас... Смекаю — сеять уже кончают. Моему хозяйству тоже от барской землицы, должно, перепало. Только вот как баба одна с ребятишками управится? Старшому-то — одиннадцать...— Воропушин задумчиво помолчал.— А здешние хозяйки тоже, которые без мужиков, маются, все еще с войны ждут, из плена. Вот вернутся — и всю бы им барскую землю отдать.

— Так уж и всю? А батракам?

— Ну им тоже, чтоб не обидеть. Хватит, поди, на всех помещичьей земли?

— Может, и хватит... Но, знаешь, я так рассуждаю: очень много здесь таких, в батрацком звании. Ну получат они землю. А ведь кроме земли, так я понимаю, нужно тягло, плуг нужен и все такое прочее. Откуда на всех взять? Барского, прикидываю, не хватит... И что тогда бедному с землей делать? В аренду богатею какому отдать да обратно к нему в наемщики идти? Вот ведь какая закавыка получается...

— Да, закавыка,— согласился Воропушин.— Но придумают чего-нито. Лишь бы мир наступил да все хозяева к своим дворам вернулись, и наши, и мадьяры, что в России застряли.

— За одно воюем... Комиссар рассказывал, будто многие венгры, что после плена в России остались и в Красной Армии воюют, стали просить об отправке на родину, чтобы в свою Красную армию вступить. Наше правительство об этом венгерскому сообщило, а то передало своим

через наши газеты: оставайтесь пока в Российской Красной Армии, сражайтесь за общее дело.

— Может, все ж пробьемся навстречь друг другу, а, товарищ Кедрачев?

— Может, и пробьемся. Только нам пока не пробиваться приходится, а отбиваться.

— Не слыхал, как оно сейчас на фронте? Не жмет румынец?

— Пока вроде не жмет. Но все может случиться. Вот спать уляжемся, а вскочим по тревоге. Так что спать надо про запас. Пойдем?

— Ты ступай, Ефим. А мне что-то не спится. Все о доме думаю... Покурю еще малость здесь, у огонька, пока вовсе не загас.

Оставив погрузившегося в свои раздумья Воропушина, Кедрачев вошел в сарай, где слышалось сонное дыхание товарищей, в темноте, на ощупь, отыскал свое место на соломе, прилег. Однако как ни старался — заснуть не удавалось. Вертелись в памяти слова Воропушина: «Может, все ж пробьемся навстречь друг другу?»

Это была его давняя мечта: наступит же в конце концов день, когда Красная армия начнет наступление и их батальон дойдет до границы Советской России. Тогда станет возможным получить весточку от своих, из далекого Ломска, и сообщить о себе — ведь работает же почта! Он напишет Наталье... Обо всем. Как жизнь его носила — лагерь, завод, Красная армия... Только вот как признаться ей, как рассказать о Лайошне? А что, как не простит она, видеть не захочет? «Нет, — решил Ефим, — так уж сразу писать необязательно. Вот когда свидимся, то как на духу расскажу... Да и как Наталья-то прожила эти годы? Может, и у нее что было... Тогда и вины моей перед ней нету...»

Снова и снова перебирал Ефим в памяти разговор с сестрой, когда она неожиданно явилась перед ним, словно воскресла. Жадно расспрашивал о жене, о дочери. Ведь ничего, ровным счетом ничего не знал о них уже два года. А Ольга, после того как он покинул Ломск, жила там еще целый год, встречалась с Натальей. Ольга рассказала, что Наталья долго ждала писем от него, что она с матерью все уговаривала ее: жди, вернется Ефим. А отец — тесть невзлюбил Ефима с самого начала — считал, что простой мастеровой не пара дочери конторского служащего, твердил ей другое: не жди, пропал твой комитетчик непутевый, о жизни думай, к тебе солидный человек

серьезный интерес имеет. Этот солидный человек не кто иной, как пожилой уже и вдовый механик с той самой бывшей обшиваловской лесопилки, где служит тесть. Если ему верить, влюблен тот механик в Наталью без ума, согласен взять и с маленькой Любочкой. Наталья ответила тогда отцу, что не меньше года будет верно ждать мужа. В мае восемнадцатого, незадолго до того как Ольга вместе с интербатовцами покинула Ломск, Наталья приезжала в город, девочку докторам показывать. Всю ночь проговорили они. Терзалась Наталья, не знала, как дальше быть: год прошел, от Ефима — ни единой весточки, а отец свое гнет: выходи за механика. Судили-рядили они, уговорила Ольга ее подождать еще год. С тем Наталья и уехала. Больше они и не встречались. Увидев, как омрачилось лицо брата, Ольга спохватилась: «Может, не надо было, Ефимушка, все это тебе рассказывать, чтобы сердце себе не рвал? Глядишь, еще сладится ваша жизнь, как вернешься, дочка же у вас». «Нет,— возразил он,— очень даже надо было». Сейчас тот, второй год, что Наталья себе назначила, в аккурат закончился. Как узнать: ждет ли?

Лежал Кедрачев, ворочаясь без сна на колкой сухой соломе, мысли его упорно бродили за тысячи верст — в родной стороне. Старался представить, как живет Наталья, как выглядит Любочка — уже четвертый годик ей. Интересно, в кого пошла больше — в мать ли, в отца? Помнит ли его? Да где там! Редко приходилось видеться, немудрено, если и забыла по малолетству. А может статься, уже другого отцом кличет, механика с лесопилки...

Кедрачев рывком приподнялся: донесся далекий гул. Рядом, шурша соломой, поднимались бойцы, прислушивались.

— Никак, румын опять наступает?

— Может, наоборот — наши вперед пошли?

— Отдохнули, товарищи, хватит...

— Выходи строиться! — прогремел голос Нечитайло.— В полном боевом!

Молчаливо равнялись, держа винтовки в правой руке, левой проверяя на себе: все ли взято?

Слышно было, как в темноте быстрым шагом пристраиваются другие отделения и взводы.

— Рота, смирно! — Это уже голос Свечкина, властный, но по-юношески ломкий, немного растерянный.— Товарищи красноармейцы! Противник снова начал... От командования приказа нам еще нет, но будьте готовы вы-

ступить на передовые позиции. Будьте готовы исполнить долг революционных бойцов!

...И вот молчаливая колонна идет улицей села, под ногами податливо раздается отяжелевшая от ночной росы пыль, смягчая слитный звук шагов. По сторонам, за смутно белеющими во тьме глинобитными оградами, темные окна домов — село спит, и только из какого-то двора доносится встревоженный лай собачонки.

— Шире шаг!

Село уже позади. Проселок меж подернутых синеватой дымкой полей. Развилка дорог с каменным распятием на массивном квадратном постаменте. Здесь остановились.

Впереди послышался топот копыт, особенно отчетливый в ночной тишине,— какой-то всадник рысью ехал навстречу роте. Вот он уже у развилки, наклонясь с седла, громко спрашивает:

— Где командир?

— Я! — откликается Свечкин, подходя к всаднику.— Кто такой?

— Из конной разведки! Я к вам, а вы уже здесь... Командир батальона приказал — вашей роте быть в полной готовности, но оставаться на месте.

— А мы уже здесь... Слушай,— спросил Свечкин,— что там за пальба? Противник снова полез?

— Пробовал. На польскую роту. Отбили. Сейчас тихо.

— Скачи обратно, скажи командованию — рота готова действовать.

Всадник ускакал. У всех на душе стало спокойнее. Засветились огоньки самокруток, кое-кто уже прилаживался на волглой траве прикорнуть, пока время позволяет.

Начало светать — в мае ночи коротки. Чирикнула, встречая утро, невидимая в траве степная пичуга. С каждой минутой все быстрее редела ночная дымка, и вот уже проступили вокруг крыши и купы деревьев оставшегося позади села, тонкий шпиль колокольни и одна-единственная фабричная труба ближнего городка.

Но видно, не суждено было роте довершить прерванный сон. Когда над краем степи показалось еще не слепящее, словно сонное, солнце, послышались далекие, отчетливо прозвучавшие в утренней тишине винтовочные выстрелы. Странно, что выстрелы доносятся не со стороны позиций, а с противоположной. Нетрудно было определить, что стрельба слышится из городка. Впрочем, городок-то в тылу, там никак не мог оказаться противник.

Поразмышляв недолго, Свечкин послал в городок тро-

их бойцов разведать, что там происходит, и как можно скорее вернуться. Бойцы пошли скорым шагом. Ведь до городка не меньше трех верст. Свечкин нетерпеливо прохаживался вдоль дороги. Бойцы видели, как волнуется командир: рота бездействует, а меж тем в городке происходит что-то серьезное. Двинуть туда? Однако приказано ждать распоряжений.

Вдалеке послышался, нарастая, машинный гул. По дороге, ведущей от села, к развилке мчался, вздымая за собой невысокую, но густую пыль, грузовик с необычно высокими бортами. Вот он достиг развилки, круто повернул на дорогу, ведущую в городок, и помчался по ней. Только успели рассмотреть бойцы, что борта грузовика обиты стальными листами — оттого и кажутся они такими высокими,— во весь борт нарисована красная звезда, а под нею какая-то надпись по-венгерски.

— Да это же «ленинские сыновья»! — воскликнул Кедрачев.

— Точно, они! — подтвердил Никитенко.— В город спешат. Значит, заваруха какая-то...

Этот грузовик, переделанный в броневик, и раньше встречался бойцам на прифронтовых дорогах. Они уже знали: необычный автомобиль принадлежит отряду имени Ленина — венгерским чекистам, которыми командует заместитель народного комиссара по военным делам Тибор Самуэли. Известно, что он — гроза контрреволюционеров: если где-то вспыхивает мятеж против советской власти, Самуэли со своим отрядом молниеносно появляется там, действует решительно, быстро, беспощадно.

В городке все явственнее слышалась стрельба. Уже никому не сиделось на месте. Стояли, напряженно всматриваясь в сторону городка, толпились вокруг Свечкина, ожидая, как же он наконец распорядится. Свечкин молчал.

Вдруг все увидели: по дороге уже из городка к развилке мчится знакомый грузовик. Вот он круто затормозил. Над броневым листом кузова поднялась голова в черной бескозырке — старший из разведчиков, посланных Свечкиным, перепрыгнул через борт:

— Товарищ командир роты! Нас броневик подхватил по пути. Командир отряда товарищ Самуэли со своими бойцами остался в городе. Там бунт против советской власти. Товарищ Самуэли просит помочь! Чтоб мы на броневике туда!

— Садись! — обернувшись к бойцам, скомандовал

Свечкин.— Сколько вместится — в машину, остальные — бегом!

Кедрачев со своим отделением стоял к грузовику ближе других; он, возможно, промедлил бы, но расторопный Никитенко толкнул его под руку:

— Давай!

Несколько мгновений — и Кедрачев с товарищами уже в кузове. Машина круто развернулась, погромыхивая своим железным одеянием — листы брони, видно, пригнаны наспех, кое-как, — и к городку. Кедрачеву, прижатому к борту, видно, как следом за машиной бегут остальные бойцы. Они постепенно отстают, отстают, вот их уже совсем скрыла завеса пыли.

Один из разведчиков, которых посылали в городок, сидел в кузове среди бойцов и увлеченно рассказывал:

— Мы до городка дойти не успели, как этот броневик нас обогнал. Может, и не заметили нас — мы обочиной шли. Глядим — обратно катит. Уже пустой. Только шофер да еще один с ним. Остановились, один по-нашему умеет, кричит: садитесь! Мы думали, в город опять, а он — сюда! За подмогой. Без нас, видать, не справятся. В городе-то знаете что творится?

Разведчик рассказал, что в городке ночью, когда началось вражеское наступление, контрреволюционеры подняли мятеж. Очевидно, выступление было согласовано. Мятежники хотели ударить в спину. В городке в эту ночь не было даже маленького подразделения Красной армии. Местный Совет мятежники захватили врасплох, им удалось быстро, за какие-нибудь два-три часа, еще до рассвета, занять ратушу, где размещался Совет. Они арестовали и бросили в подвал ратуши коммунистов, сорвали с ее башни красный флаг, заняли затем почту, телеграф, железнодорожную станцию, прервав всякую связь с Будапештом. Лишь одному из коммунистов удалось ускользнуть от мятежников и выбраться из города. Он на велосипеде домчался до ближней железнодорожной станции, где действовал телеграф, сообщил в Будапешт о мятеже — и оттуда тотчас же выехал на бронированном грузовике сам Самуэли с двадцатью бойцами своего отряда. Не раздумывая долго, Самуэли направил свой «броневик» к ратуше, стреляя на ходу. «Ленинские сыновья» разогнали охранявших ратушу мятежников, заняли ее, освободили арестованных. Над башней ратуши вновь заплескался на утреннем ветру красный флаг. Ошеломленные внезапным налетом, мятежники, однако, быстро пришли в себя. Засев в

ближних к ратуше домах, они открыли стрельбу, надеясь вновь захватить ее. Самуэли и его бойцам пришлось перейти к обороне. Вот тогда-то он и послал за помощью, вспомнив, что по дороге видел какое-то подразделение Красной армии.

...Сокрушая громыханьем утреннюю тишину безлюдных еще улиц, «броневик» мчался к центру городка, где впереди, как путеводный знак, высилась над крытыми позеленевшей от старости черепицей домами тонкая башня, на шпиле которой реял просвеченный восходящим солнцем алый флаг. Вот и мощенная булыжником площадь. На противоположной стороне ее — ратуша. От ее широких, полукругом, ступеней бежит навстречу человек в военной форме, в сбитой на затылок фуражке с красным значком — он машет рукой. Грузовик, скрежетнув тормозами, резко останавливается. Со всех бортов спрыгивают интербатовцы. Грузовик круто разворачивается и уносится обратно.

Узкий двор ратуши огражден высокими, сложенными из серого камня стенами. В нем оживленно: в одном месте два человека в серых мундирах и таких же фуражках с красными значками раздают винтовки и патроны, по-видимому, рабочим, в другом — получившие оружие строятся в ряды. Перед ними нетерпеливо, пружинящей походкой прохаживается невысокий молодой человек в блестящей под солнцем черной кожаной куртке, фуражка с автомобильными очками на тулье сдвинута на затылок. Он обрадованно машет вбежавшим во двор интербатовцам, показывает на рабочий строй.

Вот уже и интербатовцы в строю. Нечитайло, оглядев, все ли успели пристроиться, быстрым шагом подходит к человеку в кожаной куртке, что-то говорит, тот утвердительно кивает, делает знак рукой — строй замирает.

Человек в кожаной куртке, обращаясь к строю, громко говорит по-венгерски. Вот он поворачивается к интербатовцам и говорит по-русски:

— Я — заместитель народного комиссара Самуэли. Благодарю вас, что прибыли вовремя. Контрреволюцию здесь, в городке, надо добить... Кто, товарищи, среди вас старший?

Нечитайло выступил на шаг из строя:

— Я командир взвода... А ротный следует.

— Знаю. Ваши товарищи скоро присоединятся к нам. Ждать их времени нет. Помогите освободить вокзал. Там мятежниками захвачены наши товарищи. Каждая минута промедления может стоить им жизни!

...Несколько минут бега по безлюдным, еще не проснувшимся улицам городка — один из чекистов указывает путь. Бегут, держась поближе к стенам и заборам, чтобы было меньше риска попасть под выстрелы мятежников — те могут оказаться везде. Вместе с интербатовцами бегут и несколько только что вооружившихся рабочих. Бегут небольшими группами, по три-четыре человека, чтоб не скапливаться, на случай если попадут под обстрел. Кедрачев, Никитенко и Торопыгин держатся вместе. Воропушин и Холонец что-то отстают. У Кедрачева мелькнула мысль: Воропушин малость грузен для быстрого бега, да и не молод. А вот Холонец не нарочно ли отстает? Испугался?

Кедрачев видит спину гулко бухающего ногами Нечитайло. Суконная куртка взводного потемнела на лопатках — бежать жарко, солнышко уже высоко, пригревает... Да что солнышко — добежать бы скорее до какого-нибудь затишного места, а то хоть и вдоль заборов, а на самом виду.

— Стой! — хрипло командует Нечитайло и прижимается к каменной ограде, вдоль которой они бегут. Все следуют примеру взводного. Чекист-проводник оборачивается к Нечитайло, что-то говорит ему, тот согласно кивает, командует:

— Налево, в обход!

Сворачивают в узкий проулок, огражденный с обеих сторон дощатым забором со следами давней покраски, выбегают на просторный товарный двор станции. Он почти пуст, только несколько порожних ящиков валяется на земле, перемешанной со шлаком, подернутой травяной порослью. Впереди виден пакгауз с настежь распахнутыми широкими воротами.

Интербатовцы следуют за взводным и чекистом, рядом с которыми — невесть откуда взявшийся человек в синей форменной куртке железнодорожника. Кажется, он теперь и есть основной проводник, ведет куда-то за пакгауз. Там — две или три рельсовые колеи, на одной из них — пустой товарный вагон с раскрытыми дверьми, ручная дрезина. Вооруженные рабочие, только что бежавшие рядом, свернули куда-то в другом направлении, интербатовцы теперь одни. Через пути виден пустынный перрон, за ним — одноэтажное здание вокзальчика.

— Ложись! — негромко командует Нечитайло.

Кедрачев падает возле края шпал, на пахнущую мазутом и молодой травой землю. В стороне вокзала щелкнул винтовочный выстрел, словно отвечая ему, прозвучал

второй, и через две-три секунды выстрелы захлопали учащенно — очевидно, завязалась перестрелка между засевшими в здании мятежниками и вооруженными рабочими, атакующими вокзал с площади.

К Кедрачеву, пыхтя, но резво, подбежал, сгибаясь в три погибели, почти стелясь по земле, Нечитайло, жарко задышал ему в ухо, щекоча острым усом:

— Слушай сюда! Пока там, с площади, огнем отвлекают, мы — к вокзалу втихаря... Давай со своими!

— Пошли! — махнул Кедрачев бойцам. Он еще не поднялся, а Торопыгин и Никитенко легко вскочили, деловито поднялся Воропушин. Неподалеку звонко щелкнула о рельс пуля, от вокзального здания донесся выстрел.— Быстрее! — торопил Кедрачев, увидев, что Холонец медлит.— Ну!

Вторая пуля хлестнула о рельс. Холонец вновь припал к земле. Внезапная волна ярости накатила на Кедрачева.

— Труса празднуешь! — крикнул он и, уже не глядя на Холонца, рванулся вперед, за бойцами, опередившими его шагов на двадцать.

Он уже почти поравнялся с ними, когда услышал слева от себя шумное дыхание, топот — нагонял Холонец. Вот он обогнал Кедрачева и остальных, вырвался вперед, вот перебежал немногочисленные пути и достиг края перрона, возвышающегося над путями почти на половину человеческого роста, присел под платформой, как за парапетом.

Через несколько секунд все присоединились к Холонцу. Тот сидел скрючившись, зажимая ладонью правой руки левую ниже локтя, винтовка лежала у него на коленях.

— Ранило? — подбежал к нему Кедрачев.

— Есть немножко,— виновато улыбнулся Холонец.— Правда, пуля только скользнула, я еще могу.— Он показал на свою винтовку.

— Кровь идет?

— Мало.

— Все одно перевяжи.

Несколько пуль просвистело поверху.

— Заметили, теперь не подпустят,— нахмурился Кедрачев.— Надо было сразу, да вот...— Он глянул на Холонца, и лицо того мгновенно покрылось краской смущения, губы дрогнули, он пробормотал что-то, пряча глаза. Кедрачеву стало жаль его и неловко за свою недавнюю резкость. Подобревшим голосом сказал:— Ладно уж, старайся не отставать. Да перевяжись, перевяжись!

Пригнув головы, они пробежали вдоль платформы, повернули к вокзалу. Свиста пуль они больше не слышали, хотя выстрелы стучали все чаще, и можно было догадаться, что бой за вокзал разгорается.

Вот и угол платформы. Кедрачев осторожно выглянул. До вокзала — рукой подать. Перебежать еще один путь, вскочить на перрон, метнуться к стене вокзала, в окно или в дверь, а там уж... Может, подождать, пока атакующие с площади подтянутся поближе, и тогда совместным броском?.. Стрельба идет ожесточенная, и ни одна пуля не летит сюда, — значит, внимание мятежников приковано к площади. Нас они не видят.

«Есть ли кто ближе к вокзалу?— Кедрачев внимательно осмотрелся. Никого не увидел.— Выходит, одни мы тут. Ну что ж, будем действовать! Только голоса не подавать, а то приманим обстрел...»

Никитенко, Воропушин, Торопыгин и Холонец ждали команды. Не упустить момент — перебежать, пока сюда не стреляют!

Кедрачев закинул винтовочный ремень за плечо, приподнялся, шепнул предупреждающе:

— Быстрее! К стене! — и, с силой оттолкнувшись от земли, перебросил тело наверх через край платформы. Подымаясь, увидел, что Торопыгин, Никитенко и Холонец — уже рядом, наверху платформы, только Воропушин на секундочку отстал, еще переваливается через край — понятно, года уже не те, чтобы скакать. Но он не подведет!

Впятером они пробежали те полтора-два десятка шагов, что отделяли их от стены вокзала, припали к ней. «В окно бы — да внутрь! — подумал Кедрачев. Но окна в торцевой, короткой стене вокзала, смотрящей на пути, поблизости не было.— Пойдем вдоль стены, найдем окно... Главное, не задерживаться, не терять ни секунды, пока не заметили...»

Он сделал шаг, другой — и вдруг увидел пыльное стекло подвального окна, небольшое, но пролезть можно. «А если через подвал?» — пришло решение.

Надавил носком ботинка на стекло, оно с хрустом посыпалось. Нагнувшись, хватил прикладом по раме — из нее вылетели последние остатки стекла. Рванул расшатанную раму, выдернул ее, отшвырнул в сторону. Сунулся в открывшееся темное отверстие, но оказалось, что за оконной рамой — решетка из толстых железных прутьев. Нагнулся, чтобы попробовать, нельзя ли своротить решетку,— и

вдруг отпрянул от окна, схватив винтовку, прижался к стене.

— Ты что? — удивленно спросил Никитенко.

— Там кто-то есть!

— Кто? Гады, факт! Прячутся! Пальнем...— Никитенко поднял винтовку.

— Обожди! — остановил Кедрачев.— А вдруг не гады? — Приказал Холонцу:— Крикни-ка в окошко по-мадьярски, спроси, что за люди. Только в него не суйся — еще пальнут.

Холонец осторожно приблизился к окну, прокричал туда. Ему из подвала тотчас же наперебой отозвалось несколько голосов. Холонец сказал что-то еще, голоса из подвала зазвучали громче, отчаянно-тревожно, чего-то просили, о чем-то предупреждали.

— Кто там? — в нетерпении спросил Кедрачев.

— Арестованные бандитами!

— Во! — повернулся Кедрачев к Никитенко.— А ты — «пальнем»! Пальнул бы!..

— Да я что ж?.. Кто знал...— смутился тот.

— Товарищ командир! — торопливо говорил Холонец.— Там железнодорожники, партийные... Они боятся, что в последний момент бандиты расправятся с ними, мы не успеем их освободить... Говорят, ход в подвал из зала ожидания, их заперли в камере хранения. Просят оружие!

— Вот что! — распорядился Кедрачев.— Холонец, сунь им свою винтовку! Да скажи, чтоб оборонялись в случае чего, а мы поспешим их выручить.

— Как же я без винтовки? — растерялся Холонец.

— Все одно она тебе, при раненой руке, без большого толку.

Холонец медлил: расставаться с винтовкой ему явно было жаль.

— Давай-давай! — торопил Кедрачев.— Да скажи им!

Нехотя Холонец снял винтовку с плеча, сунул ее в окно прикладом вперед, прокричал вслед несколько слов по-венгерски. Из подвала откликнулись голоса.

— Объяснил? — спросил Кедрачев.— А теперь давай назад!

— Как — назад? — растерялся Холонец.

— А так: винтовкой владеть не можешь, да и нету ее у тебя. Чего же зря...

— Что, значит, зря? — В голосе Холонца звучала обида.— Никуда не пойду! Тут останусь, с вами...

— Вот как! — удивился Кедрачев.— Не ожидал, брат...

Добро, оставайся! Только чем воевать будешь? Обожди...— Он отомкнул от своей винтовки штык: — Бери! Держи здоровой рукой. Все не без чего будешь.— И позвал всех: — Пошли! И так замешкались...

Он добежал до угла здания, глянул, молча дал знак рукой. Все поспешили за ним.

Когда обогнули угол, им открылась площадь перед вокзалом, мощенная булыжником. Она была безлюдна. Посреди площади недвижно лежал человек в синей куртке железнодорожника, вероятно убитый, рядом валялась винтовка. Из дверей вокзала хлестали сухие, как удары бича, выстрелы, от пуль на камнях мостовой то и дело взметывались фонтанчики пыли. «Наших не подпускают!» Кедрачев окинул взглядом дальний край площади, надеясь увидеть своих, но никого не увидел — атакующие прятались, видимо, в дворах на противоположной ее стороне.

Шагах в трех впереди Кедрачев заметил окно первого этажа с разбитыми стеклами, из которого то и дело раздавался винтовочный выстрел — кто-то из мятежников избрал себе здесь позицию.

— Видишь? — шепнул Кедрачев стоявшему вплотную за ним Никитенко.

— Вижу... Была бы граната...

— Нету ни единой. Давай так, раз мы всех ближе. Стреляем в окно и кидаемся! Вдвоем. А они,— показал взглядом на остальных,— для прикрытия. Давай! Пока — мы, а там и наши подоспеют.

Выставив винтовку перед собой, Кедрачев в два шага достиг разбитого окна, косо сунул ствол винтовки между переплетами оконной рамы, дважды выстрелил. За окном кто-то шарахнулся, громко, испуганно закричал. Кедрачев выстрелил еще раз и увидел, что Никитенко с размаху бьет прикладом в раму. Она громко хрястнула, подалась внутрь. Оттеснив Кедрачева, Никитенко прыгнул в проем, и сразу же там, внутри, грохнул выстрел. Кедрачев перекинулся через подоконник и очутился в небольшой комнате. На столе стоит телеграфный аппарат, дверь в коридор распахнута,— значит, Никитенко уже там. Поспешил вслед. Оказался в полутемном коридоре с тремя-четырьмя дверями по стенам. Вот и Никитенко! Свирепо ругаясь, преследует человека в зеленой шляпе, с трехцветной повязкой на рукаве пестрого пиджака, с винтовкой в руке.

Выбежали в небольшой зал ожидания с деревянными скамейками у стен. Только сейчас Кедрачев заметил, что

за ними следуют Воропушин и Торопыгин, только Холонец куда-то исчез. Ну и пусть. Что он может навоевать одной рукой?!

А куда делся тот, в зеленой шляпе? В зале — никого. А ведь, кажется, стреляли отсюда.

Гулкий, над самым ухом, выстрел... Стрелял Воропушин. Прижавшись к стене, он поспешно передергивал затвор, показывая взглядом на проход, ведущий в зал из коридора:

— Там...

Кедрачев вскинул винтовку, и в это время совсем рядом раздался голос Холонца:

— Скорее! Скорее! Сюда! Я нашел ход!

Они и опомниться не успели, как, увлекаемые Холонцом, оказались на ступеньках лестницы, ведущей вниз, в небольшой полутемный коридорчик, в конце его слышались громкие, встревоженные голоса, выкрики. Вот заскрежетало железо, прогремел выстрел, гулко отдаваясь под сводами. На миг стало тихо. И снова взорвались голоса. Послышался шум свалки, чей-то отчаянный вопль, опять — выстрел, второй...

Навстречу Кедрачеву бежал, оглядываясь, багроволицый усатый толстяк в распахнутой куртке коричневого сукна с кожаными нашивками, с револьвером в руке. Вот он обернулся, вскинул руку, намереваясь выстрелить. Кедрачев ударил его прикладом по локтю. Револьвер вылетел из руки толстяка. Взвыв от боли, он повернулся к Кедрачеву и вдруг бросился на него, выставив растопыренные, скрюченные пальцы. Кедрачев не успел увернуться — пальцы вцепились ему в горло, в глазах потемнело. Он шевельнул зажатой в руках винтовкой, норовя оттолкнуть от себя навалившееся на него тяжелое, жаркое тело, но усилия оказались тщетными. Кедрачев чувствовал, что задыхается. Вдруг какая-то сила оторвала от его горла железные пальцы. Кедрачев глотнул воздуха, в глазах посветлело. Увидел: Никитенко и Воропушин оттаскивают усатого, а тот, словно обезумев, яростно выкрикивает какие-то ругательства, старается вырваться из удерживающих его рук. Рядом мечется растерянный Холонец, кричит обалдело:

— Дайте винтовку! Винтовку мне!.. Я его...

Громкие голоса и топот заглушили его крик. Откуда-то выбежали возбужденные люди. Один, в разорванной на груди рубахе, с длинными растрепанными волосами, с багровым шрамом наискосок через лоб, рванулся к схва-

ченному бойцами мятежнику, ударил его кулаком по лицу, вырвал из рук другого, такого же растерзанного человека винтовку, отскочил на шаг, вскинул...

— Обожди, своих побьешь! — Кедрачев успел отвести ствол винтовки в сторону.

Человек выкрикнул что-то, но винтовку опустил. Бойцов и мятежника, которого они крепко держали, окружила толпа освобожденных. Все они кричали, перебивая друг друга, показывая на схваченного, а тот, не смиряясь со своим положением, яростно вырывался, пока ему не скрутили руки назад и не бросили на пол. Но и в этом безнадежном положении он не успокоился — извивался, пытался вскочить, свирепо ругался, глядя на бойцов и освобожденных узников, обступивших его кольцом. Один из узников уже успел подобрать револьвер, выбитый из рук врага, размахивал им, посверкивая большими, навыкате, глазами. Остальные поддерживали его шумными возгласами, жестами.

— Чего они хотят? — спросил Кедрачев Холонца.

— Казнить изверга требуют! Это самый главный из здешних контрреволюционеров. Когда увидел, что их дело проиграно, он еще с одним из шайки ворвался в камеру хранения и хотел всех перестрелять. А там уже была моя винтовка! — с гордостью добавил Холонец и повторил: — Требуют расстрелять! Он избивал их, даже убил кого-то. Не сейчас, раньше, наверху, когда захватывали вокзал.

— Зачем же своим судом?.. Представим по начальству. Переведи. Да я и сам скажу!

Напрягши все свои познания в венгерском языке, Кедрачев сказал, что хотел. Его выслушали не без ропота, но к связанному рваться перестали, только шумно переговаривались, показывая на него.

Сверху раздался знакомый голос Нечитайло:

— Кедрачев! Вы там, что ли?

— Здесь! — откликнулся Кедрачев.

— Давай все сюда! Кончено дело.

Тесной гомонящей гурьбой недавние узники подымались наверх, таща своего пленника. Враг был, видно, непримиримый и свирепый: затихнув ненадолго, после того как ему связали руки, он снова разбушевался, извивался, пытаясь вырваться, ругался, плевался, словно сам набивался, чтобы захватившие его вышли из терпения и прикончили. Но его терпеливо тащили наверх и только там, когда он начал особенно бушевать, связали. Он и тогда не притих, продолжал бешено выкрикивать ругательства.

В зале ожидания теперь было людно — сюда сошлись почти все, штурмовавшие вокзал. Был здесь и Свечкин со всей ротой, и несколько бойцов отряда Самуэли. Нечитайло подвел отделение Кедрачева к Свечкину:

— Вот они, пропавшие души, товарищ командир. Раньше всех сюда проскочили!

На площади послышался шум мотора подъезжающего автомобиля. Все взоры обратились к выходу.

Быстрой походкой вошел Самуэли, придерживая болтающийся в такт шагам маузер в деревянной кобуре. Поискал взглядом, нашел Свечкина, стремительно подошел, пожал ему руку, сказал несколько слов — без перевода понятных слов благодарности. Потом подошел к лежащему у стены связанному главарю мятежников. Спросил что-то у рядом стоящих, отдал короткое приказание. Главаря подхватили, развязали ему ноги. Самуэли, еще раз глянув на него, резким движением показал на дверь — арестованного вывели.

— Куда он его? — спросил Кедрачев Холонца.— К стенке?

— Велел передать в революционный трибунал.

— Значит, по закону желает.

Как только арестованного вывели, Самуэли отдал какое-то новое распоряжение. Несколько человек, сплетя руки носилками, внесли убитого бойца. Его положили на отодвинутый от стены деревянный диван, и Кедрачев, взглянув ему в лицо, вздрогнул: «Буковкин!» Да, это был тот самый Буковкин, которого когда-то так сурово осудили товарищи за выпитую чарку. А сегодня, когда начался штурм, он первым ринулся через площадь к вокзалу...

Глухой гул голосов прокатился по залу, когда внесли еще одного погибшего и положили на другой диван рядом с Буковкиным. Синяя куртка железнодорожника на убитом была в пятнах крови, в груди торчал винтовочный ножевой штык, им была пригвождена к груди красная книжечка.

Самуэли, стремительно подойдя к убитым, сдернул фуражку. Его примеру последовали остальные. Самуэли заговорил. Голос его был суров и страстен. Без перевода можно было понять, о чем говорит он — о жестокости врага, о необходимости борьбы с ним, о вере в победу... Он недоговорил. С площади вбежал боец, что-то сказал вполголоса. Самуэли круто повернулся, на ходу надевая фуражку, поспешил, почти побежал к выходу. Следом заторопились его бойцы. Как только все скрылись за дверью, до-

несся рык заведенного автомобильного мотора, было слышно, как машина с ходу взяла большую скорость.

«Знать, не кончилась заваруха...» — понял Кедрачев.

Глава четырнадцатая

КРАСНАЯ ЛЕНТА

Шла уже вторая неделя мая. Стояли солнечные, порой даже жаркие дни. И тихие... На участке фронта, где находился Интернациональный батальон, противник после недавней неудачи не предпринимал новой попытки наступать. Вскоре после того как русская рота, оказав отряду имени Ленина помощь в подавлении мятежа, вернулась в батальон, его весь отвели во второй эшелон — место Интернационального батальона на передовых позициях занял только что прибывший на фронт Будапештский рабочий полк. Но батальон на всякий случай позади передовых позиций готовил запасные — рыл окопы, устраивал пулеметные гнезда. На этой второй линии обороны держали только нескольких сменяемых наблюдателей, все же интербатовцы были расквартированы в ближней деревне. Шли регулярные занятия. Снова и снова изучали винтовку, тренировались в перебежках и атаках, упражнялись в штыковом бое, беспощадно пронзая камышовые и соломенные чучела. Надо сказать, что всем этим занимались без особого рвения, уже не с той охотой, как вначале, когда только получили оружие и держать его в руках было вроде и в охотку. Как-никак долгие годы солдатчины сказывались — намахались штыком, набегались. А вот на политзанятия, на беседы, которые проводил комиссар, ходили с удовольствием — дело было новое и интересное.

Было у бойцов еще одно разлюбимое занятие — в усадьбах, где они квартировали, помогать крестьянам в разных хозяйственных делах. И не только ради того, чтобы в благодарность получить угощение. Соскучились солдатские руки по вольной работе. В свободное от занятий время часто можно было видеть, как, скинув по жаре красноармейскую куртку и засучив рукава рубахи, кто-то из бойцов вместе с хозяевами чинит плетень или ладит бричку, готовит корм скоту, работает в саду или в огороде. А Торопыгин нашел себе особое занятие: решил смастерить на память хозяевам дома, в котором он находился на постое, стол — да не простой, а с резными ножками. Над этими

ножками он и трудился почти все свободное время, спеша закончить работу раньше, чем батальон вдруг поднимется с места. Товарищи, случалось, удивлялись: «Ну что ты с таким копотным делом связался?» На это Торопыгин отвечал: «Соскучился по своему мастерству. Хоть душу отведу».

В спокойном тыловом житье все чаще одолевали мысли о далеких родных краях, о близких сердцу людях. Судили-рядили, старались предугадать, когда же придет долгожданная весть о наступлении Красной Армии России и Украины — ведь Ленин призвал Красную Армию прийти на помощь Венгерской советской республике. То, что противник притих, объясняли его страхом оказаться сразу между двух огней: подойдет Красная Армия с востока — начнут и здесь. Ведь недаром все время прибывает пополнение. Слышно, что в Будапеште формируются все новые и новые рабочие полки. Ожидали пополнения и в Интернациональном батальоне.

Однажды утром стало известно, что пополнение прибыло. Кедрачев сразу попросил Нечитайло:

— Дай мне в отделение человека три! У меня Шишкарев надолго выбыл по ранению. И Холонец винтовки держать не может— рука не зажила.

— Три — жирно будет, другим тоже надо. А одного для тебя, так уж и быть, выпрошу у комроты. Как новенькие прибудут.

— Ну, хотя бы одного.

Вскоре Нечитайло, вернувшись от ротного, сказал Кедрачеву:

— Иди, выбирай, кто понравится. Пополнение возле школы.

Подойдя к маленькой деревенской школе, по случаю каникул свободной от учеников и занятой штабом батальона, Кедрачев увидел возле крылечка на траве десятка полтора бойцов, одетых в новенькое красноармейское обмундирование, такое же серое, как и у интербатовцев, только несколько другого оттенка.

Возле вновь прибывших лежали нехитрые пожитки — тощие вещмешки, котомки, ранцы. Вокруг новеньких толпились любопытные интербатовцы, расспрашивали, нет ли земляков. Были здесь и «сваты», вроде Кедрачева, — приглядывались, кого бы взять себе.

Кедрачев подошел, стал присматриваться. «А это кто ж с такой торбой к нам прибыл?» — усмехнулся он, увидев на траве рядом с бойцом, сидевшим к нему спиной,

большущий, туго-натуго, под самую завязку, набитый мешок с лямками, сделанными из обмоток. Что-то знакомое почудилось ему в фигуре владельца мешка. Заглянул сбоку — и сам себе не поверил: неужели Еремей? Еремей Жуков! Окликнул:

— Жуков!

Боец обернулся на голос, вскочил:

— Никак, Кедрачев?

— Он самый.

— Едва признал тебя в этой мундировке...

— Да и я тебя... Как ты попал сюда, Еремей? Ты же не хотел в Красную армию.

— Вот захотелось...— Еремей окинул Кедрачева оценивающим взглядом: — А ты справен с виду. Харчи-то здесь как?

— Не голодаем. Да ты расскажи, как же передумал? В Будапеште, помнишь, не уговорить тебя было.

— Так мужик — он знаешь как? Сперва пощупат, потом поверит. Ну и я той же манерой...— Еремей говорил уклончиво, казалось, расспросы Кедрачева его смущали. — Давай-ко сядем...

Отошли в сторону, Еремей, ухватив за лямки свой мешок, заботливо положил его рядом.

— Чего это ты в него натолкал? — покосился Кедрачев.

— Да так... — нехотя протянул Еремей.

Присели. Еремей вытащил памятный Ефиму красный кисет:

— Закуривай моего!

— Спасибо! — Ефим взял кисет, удивляясь неожиданной щедрости Еремея — он запомнил его прижимистым мужичком.

— Не чаял, не гадал, что тебя встречу... — Еремей явно медлил, поглядывая на Кедрачева, как показалось тому, с некоторой опаской.

«Боится, что посмеюсь над ним? — подумал Кедрачев. — Как ни крутил Еремей, а пришлось в Красную армию вступить». Щадя самолюбие Еремея, Ефим решил его не расспрашивать: захочет — расскажет сам. Спросил только:

— Ты сейчас из Будапешта?

— Я оттедова давно,— ответил Еремей.

— Давно? Где же до сей поры ошивался?

— Неподалечку от здешних мест, за Тисой-рекой.

— Там же румыны теперь!

— То теперь. Еще на той неделе не было. И жил я там как у христа за пазухой. У вдовы одной...

— Так и скажи, а то — у христа! И как ты к вдове за пазуху попал?

— Так все румынские власти виноваты...— В голосе Еремея слышалось смущение.— Пошли мы тогда, в марте еще, компанией... Думали, румыны нас пропустят. А они — ни в какую. В трех местах пытались пройти. Не пущают, и все. Конечно, если бы хабар дать... Да какой с нас хабар? Сколь годов в плену... Потыкались мы, потыкались по румынским заставам. Гонют отовсюду. А потом прослышали мы: пропускают румынские власти на Констанцу, город такой на море, а оттуда пароходом в Россию можно. Обрадовались мы, совсем было наладились. Да раздумали в эту самую Констанцу.

— Чего же? Воды забоялись?

— Не... Услыхали от верных людей — не попадем мы домой сразу-то, сначала нас в белую армию, к генералу Деникину. Вроде уговор такой есть между ним и румынским королевством: кто из плена — того к Деникину. Ну мы и подались назад. С чего это станем за Деникина воевать, против своей, народной власти, что мужику землю дала?

— И сразу сюда, в Красную армию подались?

— Не, не сразу. Решили разбредаться кто куда. Я поначалу хотел обратно под город Папу, на нагретое место. Да больно далеко. Как без харчей? Побираться — стыдно... Тут товарищ мой присоветовал: давай, грит, пристроимся на жилье поблизости от румынской линии, чтобы в случае если разрешат по домам — так враз. Ну и подались мы в здешнюю округу: прослышали, что живут богато, в степях земли жирные, скота держат множество, к тому же раз река, то, значит, рыба, а я до нее сызмальства охоч. Словом, так получилось — пригрелся я у одной вдовы. Одна она в доме, ну и я вроде как работник. Живем в наше удовольствие. Вдруг будто дождь грозовой — войско румынское заявляется. Первый день ничего: пришли и пришли, людей никого не трогали, только курей и свиней брали. А я им — без всякого интересу. Они, может, вообще считали, что я здешний — по одеже-то похож. Живем день, другой. А на третий заявляются во двор два офицера с солдатами и еще один какой-то невоенный с ними, длинный такой, в шляпе, с записной книжкой. Моя хозяйка как увидела эту жердь в шляпе — обмерла вся. Управляющий помещичий вернулся. А в книжечке у него значится, в какой двор что из помещичьего имения взято. Не самовольно взято — советская власть раздавала. Моя хозяйка тог-

да получила вола рабочего — тягла у нее не хватало. Хороший вол. Я на нем и попахать и повозить успел. Как стали солдаты вола из хлева выводить, хозяйка моя к управляющему — не отбирайте вола, хозяйству разор. А он, зараза в шляпе, как толканет мою — она оземь шмяк! Тут уж я не стерпел, кинулся на него: ты что, стервец, женщину обижаешь? Где это такие права, чтоб оземь бросать? А он как врежет мне под глаз! Ну тут я его сгреб! Да солдаты подбежали, вцепились в меня, а офицер как начал, как начал охаживать плетью! И — в сарай под замок. Ну, думаю, порешат меня... Ночью провертел башкой дыру в камышовой крыше и вылез. К своей забежал, хоть и боязно: вдруг у нее солдаты на постое? Нет, не было. Кинулась она ко мне — ох да ах, что будет? Говорит: полезай на чердак, там тебя буду схоронять. Оно бы и ничего — пищу носила бы, да и погрела когда. Поначалу согласился. Сутки просидел, и стало всякое размышление на меня находить. Главным манером, сколь мне еще сидеть и что я высижу? Думал-думал да и сиганул ночью через речку. Лодка там в камыше в затайке была — соседа нашего, рыбак он...

Еремей прервал свою речь, взволнованно затянулся. У Кедрачева, хоть и решил он не попрекать Еремея, все же вырвалось:

— Не вышел, значит, твой план?

— Какой такой план? Переплыл я благополучно.

— Да я не про то...

— А про чего ж?

— Да ладно, ладно...

Но Еремея, видно, задело за больное:

— Нет, скажи, на что намекаешь?

— Ну уж если хочешь... Только не обижайся, прямо тебе скажу: если бы все такие, как ты, не сидели бы у баб под подолами, а в строю состояли, может, и не дошли бы румыны до села, где ты пригрелся...

— А что я мог? Куда было податься, когда нас румыны со всех дорог завернули?

— Знаешь куда. В армию. Еще в Будапеште.

— Так ведь кто его знал... Я думал — как легче.

— То-то. А получилось — тяжелее. В Красную армию как попал?

— Да как? Попервоначалу метил: опять в работники к кому ни то, только подальше от фронта. Ну пошел от села к селу, приглядываюсь. А самого тоска, можно сказать, точит: до коих буду блукать среди чужого народу? И вот

в деревне у колодца, смотрю, солдаты остановились, часть какая-то. По мундировке вроде мадьяры, а по личностям, по разговору — наши. Обрадовался, подошел. Они меня сначала и за своего-то не признали, пока не заговорил: одежа на мне мадьярская, от хозяйских щедрот. Разговорились, а один из них, вроде старшой, корить меня начал: мы, грит, воюем за здешнюю и всемирную советскую власть да за то, чтобы до дома скорее добраться, а ты неизвестно где блукаешь, чуть к белым генералам на службу не угодил. Ну пронял он меня. Тогда на чердаке сутки не зря думу думал.

— Дошло, значит, до сознания?

— Дошло... Теперича я от своих — никуда. Слышь... — спросил он после паузы,— а ты как, в рядовых или в начальстве ходишь?

— Невелико начальство — отделенный командир. Давай в наш взвод, ко мне в отделение — как раз одного не хватает, по ранению выбыл.

— Это конечно... — протянул Еремей. — Только уж больно ты мужик сердитый, все грехи мои вспоминашь...

— Ладно уж! Отпустятся тебе грехи твои, кроме того, который со вдовой. Так пойдешь под мой начал?

— Чего же не пойти?

— Ладно. С командиром роты поговорю, чтобы, как всю вашу команду примут, тебя в мое отделение... Будем вместе воевать.

— А может, оно и без войны обойдется? Дай бог, глядишь, и в румынском королевстве — революция?

— Что гадать? Не похоже пока... Хотя слыхал, бастуют там. Да поживем — увидим. А ты, Еремей, вправду к нам в отделение ладься.

Сказал это Кедрачев — и вроде против своей воли сказал: не шибко ретивым бойцом, верно, будет Еремей; человек он такой — все для себя выгоду ищет. Может, спокойнее кого другого выбрать?

Но почему-то не хотелось Кедрачеву — а почему — он и сам объяснить бы не мог, — оставаться в стороне от судьбы Еремея Жукова.

В тот же день, под вечер, когда уже кончились занятия, ротный горнист неожиданно для всех заиграл сигнал сбора.

— Строиться без оружия! — была дана команда.

Когда строились, Кедрачев с беспокойством обратил

внимание на то, что Жукова нет. Вот уже рота в строю, а Еремей все не появляется... «Ну погоди ж ты!» — разозлился Кедрачев и хотел уже доложить взводному о «нетчике», но тут перед строем появился комиссар, держа в руке свернутую в трубочку газету. Кедрачев поглядывал по сторонам, все еще надеясь, что непутевый Еремей появится и встанет в строй. А того все не было. Ну ладно, пока Янош речь держать будет, может, он и объявится. Подольше бы говорил Янош. Но ему, верно, и в другие роты надо. С каждой ротой беседует по отдельности — языки-то разные. Надо как-нибудь спросить: неужто он уже и польский, и сербский выучил за такое-то время?

— Товарищи! — заговорил Гомбаш.— Спешу сообщить вам радостную весть! Только что получено сообщение: на севере Красная армия советской Венгрии совместно с рабочими отрядами нанесла под Шалготарьяном контрудар по войскам чехословацкой буржуазии, по легионерам, пытавшимся захватить этот город. Сначала легионеров заставили остановиться перед Шалготарьяном — рабочие успели оборудовать оборонительные позиции. А теперь гонят прочь. Легионеры отходят к Мишкольцу. Это очень важный для республики город: там железоделательные заводы, поблизости рудные шахты. Легионеры будут цепляться за Мишкольц изо всех сил. Наше наступление на Мишкольц уже началось. В нем участвуют будапештские рабочие полки, рука об руку с ними воюют также интернациональные части. Если нам удастся взять Мишкольц, приблизится час соединения с Красной Армией Советской России. Ведь от Мишкольца дорога ведет в Словакию, народ которой ждет нас как освободителей от гнета буржуазии. А Словакия — рядом с Советской Россией. Вам откроется, дорогие русские соратники, дорога на Родину! На Советскую Родину, которая вас ждет! Я верю, вы скоро увидите ее!

Гомбаш посмотрел на оживившиеся лица и, как показалось Кедрачеву, встретясь с ним взглядом, улыбнулся.

— Пока еще распоряжений нашему батальону нет. Но я уверен — мы не останемся в стороне. Части Красной армии уже направляются на север — и эшелонами, и походным порядком. Могу сообщить: туда уже проследовал русский интернациональный батальон — тот, которым командует товарищ Каблуков. Полагаю, вы не отстанете от своих товарищей. Приказ к походу может поступить в любую минуту. Будьте готовы.

После комиссара говорил командир роты. Строго на-

ставлял, чтобы все привели в полный порядок оружие, обмундировку и обувь, предупредил, чтобы не было никаких отлучек — приказ о выходе может поступить в любой час дня или ночи. Кедрачев слушал ротного со все возрастающим беспокойством: где же Еремей, бык его забодай, куда запропастился? Доложить взводному сразу же, как строй распустят, или подождать — может, все же появится? Решил подождать.

Свечкин закончил говорить, скомандовал:

— Взводам — разойтись по квартирам!

Квартирой для взвода был, как это уже повелось на всяком новом месте, сарай в одном из дворов. По летнему времени решили не стеснять хозяев, не размещаться в доме.

Когда все пришли на взводную квартиру, Кедрачев потихоньку отозвал Никитенко:

— Разговор есть.

Присели за сараем, прислонившись спинами к нагретой солнцем за день саманной стене.

— Что делать будем? — спросил Кедрачев. — Жуков, будь он неладен, пропал.

— Зачем брал такого? Знал ведь, что шатун этот твой Еремей. Не понравилось у нас — вот и смылся. Добровольно, как и пришел...

— Да за такое дело... Это ж дезертирство!

— Теперь ищи-свищи.

— Выходит, надо докладывать?

— Само собою. Чего ждать?

— Может, все ж подождем до ночи?

— Ну как знаешь...

Только за несколько минут до вечерней поверки Кедрачев решил больше не медлить и доложить взводному.

— Может, с ним случилось что? — выслушав, сказал Нечитайло.

— Что с ним случится! Я его нрав знаю. У какой-нибудь солдатки греется.

— Знаешь, а выбрал... Доложу ротному, после поверки пойдем искать по всем дворам. А до поверки обождем. Вдруг объявится?

Поверка началась, когда уже совсем стемнело. Перед строем стоял Свечкин со списком роты в руках, ему подсвечивал фонарем один из бойцов.

Вот уже очередь дошла и до взвода Нечитайло. Свечкин называет фамилии бойцов отделения Кедрачева. От волнения Кедрачев даже откликнулся не сразу.

— Жуков!

Молчание.

— Жуков!.. Где боец Жуков? — строго поглядел Свечкин.

— Здесь я! — послышалось откуда-то сзади.

У Кедрачева отлегло от сердца: «Успел!»

После поверки, когда все разошлись спать, Кедрачев и Никитенко позвали Еремея во двор. На это приглашение он откликнулся неохотно.

Когда зашли за сарай, Кедрачев накинулся на Еремея:

— Почто самовольно отлучался?

— Куда отлучался? — попробовал отвертеться тот. — Я на поверку успел.

— В последний момент. А до того?

— Да что?.. — невинно улыбнулся Еремей. — Нешто нельзя в свободное время?

— А если тревога?

— Ну какая теперича тревога? Румын не наступает.

В разговор вмешался Никитенко:

— Он не наступает, дурья твоя башка, так, может, мы наступать начнем! Слышал, что комиссар давеча на построении говорил? Да где слыхал — духу твоего не было... На Мишкольц наши движутся. И мы там скоро понадобимся. В любой момент.

— А я — вот он тут! — улыбнулся Еремей.— Да разве я куда денусь? Одной тут помог за соломой съездить. На быках. А обратно, как воз нагрузили, — колесо рассыпалось. Что ж, женщину в беде оставить? Ну пока изладили да до дома доехали — тут уж и вечер. Ну а как не зайти, ежели зовет?

— Ловко устроился! — не то с завистью, не то с осуждением сказал Никитенко.— Это не ты один, каждый приспособиться может.

— А что ж? — охотно согласился Еремей. — Кажный не кажный, а баб, что без мужиков маются, в здешних местах в достатке. — И добавил, погасив улыбку: — Как и у нас тож.

— Вот-вот, разбредемся все по бабам — кто воевать за советскую республику будет? — строго поглядел Никитенко. — Революционная дисциплина должна быть?

— Ну должна...

— Вот сегодня к нам газета пришла, «Правда», которую в Будапеште для нас большевики печатают на русском языке. Мы все читали, а тебя не было. А тебе надо бы слушать поболе прочих, елова твоя башка!

— Почему это поболе?

— Да потому, что там про дисциплину сказано, вроде специально для тебя. Очень хорошо сказано, я запомнил: мы, солдаты здешней Красной армии, должны равняться на нашу русскую Красную Армию, не будь там товарищеской дисциплины — не гнала бы она из России Антанту, которую и мы отсюда гнать должны.

— Это мы понимаем, — солидно ответил Еремей и вдруг обиделся: — Да что ты мне все поучение даешь? Я теперь, может, сам сознательный...

— А то даю, что мне тебя, елова башка, жалко! — вспылил Никитенко. — Тебе все хаханьки! А мы с ним, — кивнул на Кедрачева, — тебя от беды отвести хотим.

— От какой?

— Вот был тут у нас один, — вспомнил Никитенко, — вечная ему память, помер-то с честью. А было... Загулял он, вроде тебя. Так мы сообща постановили забрать у него обмундирование, и пусть идет куда хочет. Вот и насчет тебя: ежели повторится — сдавай форму, обряжайся в чего хошь и топай на легком катере...

— Ты меня не пужай! Не шибко боюсь! — испуганно воскликнул Еремей.

— Не боишься? Ну ладно, в таком разе мы сейчас и соберем наших. Обсудим, как ты за соломой ездил. А потом и решим, оставлять тебя или пустить на полную свободу, без казенной одежи, конечно... Ну как, созываем собрание? — повернулся он уже к Кедрачеву.

Тот, поддерживая игру, ответил нарочито спокойным голосом:

— А что ж, и соберем, пока товарищи не спят. Сейчас взводному скажу. Он же еще не знает про быков и солому.

— Да что вы, что вы, братцы!.. — вскинулся Еремей. — Разрази меня гром, ежели я еще куда денусь!.. — Из него так и сыпались слова, которыми он хотел убедить, что впредь не подведет.

— Ну ладно! — прервал Никитенко его излияния. — Пусть тебя и в самом деле разразит гром и вся артиллерия главного калибра, коли мы в тебе еще обманемся. А пока, так уж и быть, на первый случай поверим тебе. Так, Ефим?

— Пусть так! — согласился Кедрачев. — А ты, Еремей, на кухню успел?

— На кой мне кухня? Меня хозяйка угощала. Только на поверку дуже торопился, всего и не попробовал, что выставила. Так она мне еще сала и хлеба на дорогу дала.

— Ну ты не пропадешь! Смотри не поскользнись на том сале...— Спохватился: — Поздно уж. Все спят, поди. Пошли и мы.

Поспать досыта в эту ночь не удалось. Рожок горниста затрубил в необычно ранний час. Была дана команда строиться в полной готовности к походу. Все были рады ему. Только Торопыгина сигнал несколько огорчил: стол не успел он доделать, еще одну ножку вырезать осталось. Когда построились, Свечкин объявил: предстоит идти на ближнюю железнодорожную станцию — весь батальон перебрасывается на Северный фронт, под Мишкольц, вливается в наступающие там войска.

На станции уже стоял готовый к погрузке состав — весь из открытых платформ. Польская и сербская роты подошли почти одновременно с русской. Погрузились быстро, и состав тотчас же тронулся. Ехали, овеваемые неторопливым дорожным ветерком, любовались проплывавшими по сторонам зелеными, чуть волнистыми полями и осыпанными белым цветом садами встречавшихся на пути деревень. Казалось, ничто не напоминает об идущей войне, только раза два за густыми кронами деревьев промелькнули черные обгорелые стропила — память о недавних боях. Чем дальше ехали, тем все более неровными становились поля, по сторонам вздымались холмы, покрытые деревьями. И вот уже путь идет меж лесистых гор, по узкой долине, рядом с бегущей внизу речушкой, что весело скачет по камням, посверкивая на солнце.

Ехали недолго, часа четыре. Солнце еще не достигло полуденной высоты. Состав остановился на маленьком разъезде. Кругом теснились, круто взбегая вверх, плотно одетые смешанным лесом горные склоны. Немного выше железнодорожного пути тянулась вдоль склона ниточка узкоколейки со стоящими на ней красно-рыжими от руды вагонетками. Возле узкоколейки в склоне горы чернели входы в шахты. Около шахт не видно было ни души: очевидно, работа из-за военных действий прекращена.

Быстро выгрузились. Сидели на траве, на старых шпалах, валявшихся вдоль пути. Ждали Свечкина — он ушел к командиру батальона. Слабый, еле слышный рокот, доносившийся откуда-то сверху, привлек внимание всех. Высоко в небе еле приметной пташкой летел аэроплан.

— Это чей же? Наш или вражий?

— Не разглядишь... Ежели вражий — пальнуть бы по нему залпом.

— Не достать... Да, может, и свой, на разведку летит?

— Эх, так бы, братцы, пролететь к дому родному, через все фронты...

— А я и пеши согласен. Только бы домой...

Рокотание авиационного мотора затихало, вот и совсем смолкло, крохотной точкой растаял аэроплан в ослепительно голубом, без единого облачка небе.

Никто из бойцов не подозревал, что является свидетелем полета, о котором через несколько дней станет известно в Венгрии всем, что на аэроплане летит человек, которого они видели недавно, когда в прифронтовом городке подавляли контрреволюционный мятеж.

В тот утренний час, когда Интернациональный батальон был еще в пути, на будапештском аэродроме стоял готовый к полету аэроплан, собранный из частей других изношенных, более непригодных машин, — это был единственный самолет, которым располагала сейчас Венгерская советская республика. Затянутый в кожу летчик был уже в кабине и ожидал, когда же займет свое место единственный пассажир — среднего роста молодой человек в черной кожаной куртке и фуражке с пилотскими очками на тулье. Это был Самуэли, срочно отозванный с фронта. Улыбаясь, он говорил стоявшим возле него людям:

— Ну что ж, товарищи представители рабочего Совета! Если верите распущенным про меня слухам, что я увожу с собой золото республики, — обыщите! Пожалуйста, прошу вас, обыщите меня и машину!

Представители выглядели смущенно. Один из них сказал, разводя руками:

— Да что вы, товарищ Самуэли! Мы верим вам, а не сплетням. Счастливого пути! Привет товарищу Ленину!

Да, Самуэли отправлялся к Ленину. Предстояло преодолеть несколько сот километров над своей и вражеской территориями, долететь до Советской Украины, оттуда добраться в Москву... Минует день-другой — и Самуэли войдет в кабинет Ленина в Кремле. Здесь все знакомо ему по прежним встречам: мягкое кресло, в которое так радушно усаживает Владимир Ильич; письменный стол, на нем рядом с лампой под зеленым абажуром — свечи, на случай если погаснет электричество; во всю стену — карта с флажками, обозначающими фронты. Сейчас линия флажков совсем близко от границ Венгрии. Когда в последний раз, в прошлом году, был у Ленина, флажки находились от нее далеко. А теперь Красная Армия Советской России наступает. Пройдут дни, Самуэли вернется в Будапешт,

запомнив от слова до слова тот первый их разговор, нетерпеливый голос Владимира Ильича: «Рассказывайте подробнее обстановку! По радиотелеграфу я информирован лишь вкратце. Наступаете на Северном фронте? Уже под Мишкольцем? Близко Словакия? Хорошо! Когда подойдете к ее границам — там неизбежен будет революционный взрыв. Представляете? Словакия станет советской республикой. Мостом, соединяющим нас и вас! Союз наших республик — это будет уже не по зубам Антанте. Мы стараемся пробиться на помощь вам. Но это трудно...»

Исчез, словно растаял, в пронизанном солнечным светом небесном просторе неизвестный бойцам самолет...

Свечкин вернулся не скоро. С ним пришли комиссар Гомбаш и три человека в рабочих куртках и пиджаках, с красными ленточками на кепках и шляпах, каждый — с винтовкой. Свечкин подвел их к бойцам, представил:

— Эти венгерские товарищи — из рабочего отряда, здешние шахтеры. Вон там,— показал он на склон, где чернели отверстия шахт, — руду добывали. А когда чешская белогвардейщина эту местность захватила — ушли партизанить сюда, в горы. В этих пещерах и обосновались. Захватчики-легионеры сюда и сунуться боялись, в городе отсиживались. Теперь рабочие отряды из лесу выходят, с Красной армией, то есть с нами, идут в наступление. Наш батальон получил приказ наступать на Диошдьер. Это городок, где живет пролетариат, который поблизости, в городе Мишкольце, трудится — там заводы по выплавке руды, заводы металлических изделий. Чешская буржуазия хочет их себе прибрать. Не выйдет! Возьмем Диошдьер — двинемся на Мишкольц! Наша рота идет головной. Эти товарищи выделены нам в проводники, поведут лесом, чтобы легионеров раньше времени не растревожить. Местность товарищи знают. Только вот беда — ни один по-русски не понимает. Ну да ничего, как-нибудь объяснимся, на революционном языке. А сейчас строиться — и выступаем! Вопросы есть?

— Есть вопрос! — выступил вперед Кедрачев.— Легионеры — это что за войско? Добровольцы-белогвардейцы или из мобилизованных?

— Узнавал я у комиссара, — ответил Свечкин. — Легионеры — они неодинаковые. Есть самые ярые контрреволюционеры, на которых красный цвет действует, как на быка. Эти в расправах над беззащитными свирепствуют. Вот у товарища Часара, — он показал на одного из партизан, — жену и детей расстреляли. А есть такие, которым контрреволюция голову задурила, поверили, что Венгрия будто бы

покушается на их родину, и пошли добровольцами. Есть и просто подневольные, мобилизованные. Эти, особенно из словаков, не рвутся воевать. А вообще, после того как легионеров от Шалготарьяна погнали, у них дух пал. Воюют уже не так ретиво. Учтите, но благодушию не поддавайтесь. Враг есть враг. В лесу противник встретиться может внезапно. Так что будьте начеку! Оружие иметь заряженным, штыки примкнутыми...

Закончив наставления, Свечкин повел роту вверх по лесистому склону. Шли вытянувшись цепочкой — так легче пробираться через кустарник и меж деревьями, ветви которых местами переплетались настолько, что трудно было пройти.

Впереди колонны — Свечкин с проводниками, с ними — головной дозор, одно отделение.

Лес был густой, гористый, малохоженый, в нем почти не попадалось троп, идти приходилось напрямик, через чащу. Лучи солнца, поднявшегося уже высоко — было около полудня,— едва-едва пробивались сквозь кроны, по-летнему плотно одетые листвой. Высокие, с раскидистыми ветвями дубы, буки, грабы ревниво задерживали солнечный свет, и лишь кое-где на редкой, хилой в частолесье траве лежали золотистые блики. Кедрачев слушал слаженный, ритмичный шелест травы и потрескивание опавших сухих сучьев под ногами, и представлялось ему, что идет он не в строю, а один, и не здесь, на чужбине, а в какие-то далекие-далекие мальчишеские годы по тайге близ родной Пихтовки. Так любил он ходить с приятелями по мальчишеским делам. Без всякой практической цели. Просто ему нравилось быть наедине с высокими красноватыми, похожими на медные колонны кедровыми стволами, со стройными, тесно толпящимися одна к одной белоствольными березками, брести, как в сказочном сумрачном царстве, темным ельником, где под мохнатыми пониклыми ветвями совсем не растет трава, а земля усыпана таким толстым слоем старой рыжей хвои, что если сесть или лечь — так словно на плотный, сухой ковер. Потом, после того как они с сестрой Олюнькой осиротели и дядя, работавший на спичечной фабрике, взял их к себе в город, в деревне, в тайге бывать почти не приходилось. К городу он привык, постепенно перестал тосковать по Пихтовке, но долго она казалась ему далеким, навсегда утраченным раем, хотя жизнь там для Ефима была далеко не райская — круглый год с малолетства в бесконечном и беспросветном крестьянском труде. Бывало, что подолгу и не

вспоминалась родная Пихтовка — а вот поди же, вспомнилась почему-то сейчас здесь, в чужеземном лесу. В чужеземном... А чем-то уж и в своем. Вот в первый год войны, как попал на фронт на Карпаты, тоже пришлось по лесам, по горам походить — шагай, солдатушки, бравы ребятушки... Да вот не виделось там ничего похожего на родную землю — наоборот, все казалось чужим, неладным, только и мысли было — выбраться оттуда. «А сейчас вроде по своей земле, за нее воевать иду, вроде так оно и надо. Само собой разумеется, как мировая революция победит — все под одно будет, никаких границ, никаких государств разных. А конечно, что же тогда делить, зачем? Все станет сообща. Вот Янош у нас в Сибири воевал, как за свою землю, я здесь — тоже так. В батальоне нашем сербы, поляки, австрийцы даже есть, ну, и венгры, само собой, — и все заодно. Понадобится, позовут — и мы хоть в Польшу, хоть в Сербию пойдем. Дело-то общее. Вот и выходит — нет никаких границ для тех, кто за него воюет...

Привал! Ну что ж, дадим ногам отдых, покурим.

— Кедрачев!

— Я, товарищ командир взвода!

— Командир роты приказал головной дозор поменять — передышка им. Возьми свое отделение и — в голову. Пойдете, пока другими не сменят.

— Понятно... Эй, друзья! Подымайтесь, пошли! Самое почетное место у нас теперь.

— Уж чего почетнее! — отозвался, степенно поднимаясь, Воропушин.— Чуть чего — нам в первую голову...

— Ладно, не журись, папаша! — хлопнул его по плечу Торопыгин.— Забоялся, что ли?

— Так на войне только дурак ничего не боится. Мы неприятеля боимся, он — нас...

— А он нас еще больше бояться должен. Не он, а мы за правое дело воюем!

— Ладно, на меня агитацию не напущай! — отмахнулся Воропушин.— Лучше вон Еремея поагитируй, а то он разулся и ботинки на сучки понадевал, чтобы проветрило. А вдруг — в ружье?

Кончен привал. Теперь Кедрачев со своим отделением идет впереди. Если оглянуться, то едва-едва разглядишь за деревьями голову ротной цепочки, где шагает со своими связными командир роты. Направляя Кедрачева в дозор, Свечкин велел держаться в пределах видимости, но как можно дальше, чтобы, если обнаружится противник и го-

ловной дозор даст сигнал тревоги, рота имела возможность развернуться. А сигнал надо дать не выстрелом, не голосом, чтобы не обнаружить себя, а послать кого-нибудь из дозорных к командиру роты.

Впереди всех шли шахтеры-проводники, следом — Кедрачев и Холонец, которого Кедрачев держал при себе в качестве толмача — на свои познания в венгерском языке он не очень полагался: одно дело — неторопливые разговоры в зимний вечер со старым Палом Мадачем или обстоятельные, когда можно переспросить, беседы с Габором; здесь же, в боевой обстановке, неверно понятое слово, секунда промедления могут обернуться большой бедой.

Гулкий хлопок винтовочного выстрела разорвал лесную тишину.

Кедрачев вскинул винтовку, шарахнулся за ближний ствол. Успел увидеть: присел за соседним деревом Никитенко, укрылся за кустом Воропушин, Еремей с размаху бросился на землю, выставив перед собой винтовку,— только видит ли он что-нибудь через траву с лежачего положения?.. Кто стрелял?

Впереди мелькнула фигура в синевато-зеленой форме, в похожей на шлем шляпе с какими-то висюльками на боку, с винтовкой в руках. Мелькнула и исчезла...

«Легионеры! Комроты выстрел непременно слышал, значит, посылать к нему не надо...»

— Огонь! — крикнул Кедрачев.

Отделение пальнуло почти залпом, все выстрелы слились в один — раскатистый. Из кустов ответили, но вразнобой, недружно, и снова меж темными стволами поднялась и тотчас же опустилась фигура легионера.

Тут Кедрачев увидел, как Никитенко, выстрелив на ходу, выскочил из-за дерева с винтовкой наперевес, крича непонятное:

— Полундра-а!

«Куда ты?» — хотел остановить его Кедрачев, но какая-то лихая сила вытолкнула его из-за дерева, и он, уже весь во власти этой силы, побежал вслед за Никитенко. Боковым зрением заметил: поднялись, бегут следом и остальные, стреляя на ходу. Только Жуков еще подымается... Вот побежал и он...

Впереди меж деревьями возникло еще несколько синевато-зеленых мундиров, они метнулись в сторону. Легионеров было, очевидно, немного, может быть, тоже только дозор. Они убегали, прекратив стрельбу.

Кедрачев больше не стрелял и не кричал, бежал мол-

ча, охваченный азартом преследования. Только на мгновение вспыхнула мысль: «Не велели отрываться... Но ведь враг бежит!»

Ага, среди легионеров, кажется, есть и офицер! Конечно, офицер, сабля на боку. Размахивает револьвером, пытается остановить солдат. Кажется, ему удается. Солдаты поворачиваются, видны лица — потные, испуганные. «Никак, в рукопашную сойдемся?» По спине Кедрачева пробегает холодок. Что это? Один из солдат бросает винтовку, вскидывает руки вверх — и тотчас же падает в густую, высокую на прогалине траву: офицер, злобно прокричав что-то, выстрелил в него. «Ах ты сволочь! — Кедрачев, не останавливаясь, навскидку, стреляет в офицера. — Эх, не попал!» Офицер еще яростнее размахивает револьвером, пытается остановить солдат, но те продолжают убегать. Только один или два, замедлив бег, оборачиваются и стреляют. Кедрачев почему-то уверен, что ни одна пуля в него не попадет. Выстрелы гулко раскатываются по лесу. И вдруг наступает тишина. Легионеров уже не видно. Убежали? Притаились?

— Стой! — спохватывается наконец Кедрачев. Только сейчас вспоминает он наказ Свечкина: не зарываться, в бой не ввязываться. Задача дозора — предупредить, если будет обнаружен противник. «Попадет мне от комроты...»

— А, гад, вот ты где!..— услышал он рядом голос Никитенко.

— Про кого ты?

— Да вон офицер... К дереву прислонился. Ранен, должно.

Возле Кедрачева, шумно дыша, остановился Часар, поднял винтовку.

— Погоди! Живьем возьмем,— остановил его Кедрачев.— Офицер — птица важная.

Часар не ответил, только сурово взглянул на Кедрачева, покачав головой.

«Не понял, что ли?» Кедрачев поискал взглядом Холонца:

— Объясни!

Тот сказал несколько слов, и Часар нехотя опустил винтовку.

Все смотрели на скрюченную фигуру офицера за деревом — одной рукой он держался за ствол, другой сжимал револьвер.

— Живьем берем! — повторил Кедрачев.— Холонец и Часар, со мной! Воропушин и Жуков, слева заходите, да

осторожно, а ты, Никитенко, с Торопыгиным — справа, в тыл. Как зайдете — свистни, мы на него все разом. Да зря не высовываться!

Припадая к земле, бойцы бросились каждый в назначенную ему сторону. И тотчас же из-за дерева, за которым прятался офицер, щелкнуло три торопливых пистолетных выстрела.

Часар снова вскинул винтовку к плечу. Кедрачев резким словом остановил его. Часар недовольно сверкнул глазами, но от выстрела воздержался.

— Сдавайся! — крикнул Кедрачев офицеру.— Плен, плен давай!

Ответом был новый выстрел. На счастье, он не достиг цели — офицер, вероятно, не очень явственно видел своих противников, палил наугад. Может быть, его уже и не слушалась рука...

— Плен давай! — снова крикнул Кедрачев. Повернулся к Холонцу: — Может, не понимает? А ну крикни почешски! Сможешь?

— Смогу. — Холонец что есть мочи выкрикнул что-то.

В ответ снова раздался выстрел.

— Прохлопает он скоро все патроны из своей пукалки,— сказал Кедрачев.

— Да как бы нас кого не хлопнул,— опасливо шепнул Холонец, а Часар гневно выругался непонятными словами, винтовка в его руках словно сама рвалась прикладом к плечу.

Из-за спины офицера донесся короткий пронзительный свист.

— Берем! — Кедрачев ринулся вперед, повелительно крича: — Плен! Плен давай!

Подбегая к офицеру, увидел, как тот, крутнув головой, вскинул руку с револьвером, выстрелил туда, откуда донесся свист, потом повернулся, взмахнул револьвером, и у Кедрачева на миг похолодел лоб. «А ну как напоследок не промажет?» Но офицер вдруг отбросил револьвер, выхватил саблю и, крутя ею над головой, выкрикивая какие-то злобные слова, припадая на ногу и спотыкаясь, выбежал из-за дерева навстречу.

Часар, вырвавшись вперед, обогнал всех и, не добежав до офицера шагов пяти, выстрелил в него. Офицер дернулся, хотя устоял на ногах, балансируя всем телом и саблей. Часар выстрелил еще. Офицер стал падать, однако сабли не выпустил, кажется, он хотел взмахнуть ею, но она беспомощно моталась в его руке.

— Стой! — крикнул Кедрачев.

Часар уже ничего не слышал. Офицер свалился, хотя был жив, пытался подняться, сабли из рук не выпускал. Подбежав к нему, Часар в упор выстрелил еще и еще.

— Да ты что! — догнал его наконец Кедрачев.— Живым же нужен! Спятил, что ли?

Показывая на себя и на офицера, который лежал спиной вверх, вытянув руку с зажатой саблей, Часар, тыча пальцем куда-то вдаль, заговорил с надрывом, горячо, быстро, так, что Кедрачев не понимал ни слова.

— Что он мне доказывает? — спросил он Холонца.

— Он говорит, что не смог сдержаться, потому что его родных приказал расстрелять такой же офицер, может быть, этот самый. А еще говорит: этот офицер не хотел сдаваться, бросился с саблей — как в него не стрелять?

— Можно б и без того, и так бы взяли. В штаб представили бы. Он мог бы рассказать что-то важное. Это ты, парень, зря!

И Часар, не поняв слов, но, видимо, догадавшись, в чем смысл упрека, виновато опустил голову.

Кедрачеву не было жаль офицера — враг есть враг: не ты его, так он тебя. Однако враг был храбрый, с одной саблей против скольких пошел, притом раненный. Конечно, надо было его живым взять. Впрочем, и Часара понять можно. «Доведись мне встретить врага, что мою семью порешил,— стерпел бы я? Наверно, нет...»

Подошли бойцы, которых Кедрачев посылал окружить офицера.

— Вот гад, до последнего саблей махал! — высказался Никитенко.— Правильно его!

Кедрачев хотел возразить, но вместо этого попросил, показав на убитого:

— Глянь, может, какие бумаги у него, для штаба нужные.

Все смотрели, как Никитенко с брезгливым выражением расстегивает на груди офицера мундир в свежих кровяных пятнах, запускает пальцы в карманы...

— Вот,— протянул он Кедрачеву,— письмо какое-то. А это, в корочках, удостоверение, что ли? Вот еще карточка...

— Торопыгин! — спохватился Кедрачев.— Беги что есть духу назад к командиру роты, обскажи, что и как. Спроси — нам дальше идти или всех дожидаться?

Сдвинув головы, все рассматривали найденное у убитого, только Часар остался в стороне: чувствовалось — ему

не по себе, хотя он и делал вид, что занят своей винтовкой,— клацнув затвором, выбросил стреляную гильзу, вставляет новую обойму, она почему-то не влезает — похоже, пальцы не слушаются его.

Все рассматривали фотографию — на ней был изображен тот самый офицер, который лежал неподалеку от них, вмявшись в лесную траву. На фотографии он в аккуратном мундире, рука положена на эфес сабли, сияя улыбкой, смотрит не на фотографа, а чуть в сторону, где рядом сидит молодая женщина в белом кружевном платье с целомудренно-высоким, охватывающем шею воротником, в светлой шляпке с узкими полями, украшенной сбоку букетиком мелких цветов. Она тоже улыбается, но не офицеру, а чему-то своему, глядя прямо в аппарат.

— Красивая у него мамзель! — не удержался Никитенко.— Теперь, выходит, ищи себе другого...

— Найдет! — шевельнул фотографией Кедрачев.— Такая — да не найдет! Ну ладно, что карточкой-то любоваться. Вот интересно, что в письме... Холонец, осилишь прочесть? Держи-ка!

Холонец взял письмо.

— По-чешски писано... Попробую...— Он, сосредоточенно шевеля губами и сдвинув белесые брови, прочел письмо про себя, обстоятельно объяснил:— Ну, в общем-то, понятно. Этот,— он движением головы показал на убитого,— отцу своему писал, да отправить не успел. Отец у него, надо понимать, помещик. Тут в адресе имение указано...

— Что ж он пишет?

— Жалуется, что воевать становится труднее, потому что коммунисты собирают большие силы. И на солдат своих жалуется, особенно на словаков.

— А на солдат за что?

— Что многие не хотят воевать, ругают французских генералов, что те гонят чехов и словаков захватывать чужие, венгерские земли. Еще пишет: жители, и словаки и венгры, не очень привечают легионеров, недовольны, что они пришли. И еще написано: «В деревнях смотрят на нас как на врагов, все от нас прячут, не признают нас за освободителей...»

— Освободитель нашелся!

— А еще пишет, что отпуска для свадьбы просить не хочет до полного истребления красной чумы...

— Принимайте! — послышался веселый голос Торопыгина.

Кедрачев оглянулся: тот идет, неся три винтовки — две

за плечами и одна в руках; его сопровождают два совсем молоденьких легионера, с растерянно-улыбчивыми лицами, у каждого в руке — красная ленточка.

— Вот,— доложил Торопыгин, показывая на легионеров,— приятели: один чех, другой словак. Оба из трудящегося народа, воевать против Красной армии не хотят. Винтовки отдали. Я им говорю: тащите сами. А они: нет.

— Да где ты их взял? — изумился Кедрачев.

— Сами взялись. Бегу и вижу, из кустов поднялись, красные ленты кажут. Говорят, сразу сдаться хотели, как мы с ними столкнулись, да офицера боялись. Вот в этого,— он показал на одного из солдат,— как он руки поднял, офицер стрельнул, ну, он и упал в куст, затаился, пока ихние не убегли.

— А до комроты не успел добечь?

— Да чего, они вон уже идут. За деревьями, гляди...

Через минуту-другую подошел Свечкин со связными, следом — и остальные бойцы. Кедрачев доложил обо всем происшедшем.

— Молодцы, не растерялись,— похвалил Свечкин.— Но выругать вас, товарищ Кедрачев, следует: почему в первую же минуту связного не послали? Хорошо, что мы стрельбу услышали, поспешили вас догнать. Могло бы кончиться гораздо хуже для нас, если бы все легионеры так же охочи были воевать, как этот офицер. Жаль, живым его взять не сумели. За это вас тоже похвалить нельзя.

— Да мы хотели...— начал Кедрачев и вовремя осекся: не надо, чтобы недовольство командира пало еще и на Часара — ему и без того хватает...

— Ну ладно.— Свечкин заторопился: — Документы офицерские давайте мне, перебежчиков возьмем с собой. И — быстрее вперед! Идем в обход, с другими ротами соединимся перед Диошдьером. Следуйте за проводником, товарищ Кедрачев!

В этот момент оба легионера взволнованно заговорили, показывая на красные ленты, которые уже успели нацепить на свои шлемовидные шляпы, закрыв ими кокарды. Оба показывали то на эти ленты, то на себя и, взмахивая руками, куда-то в сторону.

— А! — догадался Свечкин.— Хотите по домам? Только когда дойдем до ваших мест. Иначе свои же офицеры расстреляют вас за то, что перебежали. Так что пока держитесь возле нас.— Тут Свечкин увидел, что Торопыгин, подойдя к солдатам, сует им их винтовки, а они не берут.

— Да не надо им винтовок! — улыбнулся Свечкин.— Они отвоевались.

— Понятно, товарищ командир роты! — Торопыгин, однако, не оставил попытки передать винтовки.— Ясно, что отвоевались. Только я не слуга им, чтоб их винтовки таскать. Патроны взял, пригодятся, а винтовки пускай сами тащат...

— Пусть тащат!— не стал возражать Свечкин.— Ну хватит, постояли. Товарищ Кедрачев, берите проводника — и вперед. Без промедления извещайте в случае чего, да пальбы без надобности не открывайте.

К середине дня, двигаясь все время лесом, рота вышла к окраине Диошдьера — рабочего пригорода Мишкольца, во фланг позиций легионеров, которые намеревались оборонять Диошдьер. Вслед за русской ротой подтянулись две другие роты Интербата и пулеметная команда. Одновременно сюда подошли остальные части Красной армии и местные рабочие отряды, подтянулась артиллерия.

Бой за Диошдьер был ожесточенным, но недолгим. Командование легионеров, видя, что позиции на флангах вот-вот будут прорваны, опасаясь за свой тыл в Диошдьере, где начали действовать группы вооруженных рабочих, спешно оттянуло свои войска из города. Однако, отойдя километра на два-три, части легионеров стали закрепляться перед Мишкольцем.

Интернациональный батальон вошел в Диошдьер в середине дня, спустившись с горы прямо на его окраинную улицу, в конце которой высился окруженный рвом древний разрушенный замок — четыре квадратные башни, соединенные стенами. Это было самое высокое сооружение в округе, поэтому наблюдательный пункт решили устроить на одной из башен. И само собой получилось, что, когда командир батальона и начальник штаба взобрались на одну из башен, чтобы попытаться разглядеть в бинокли новые позиции легионеров в стороне Мишкольца, в замок набрался народ: как всегда, поближе к командованию расположились телефонисты; сочли, что нет лучшего места, чем за каменными стенами, повара с полевой кухней; там же облюбовали себе «позицию» и батальонные слуги Эскулапа, развернув перевязочный пункт во дворе — под высокой зеленоватой, замшелой стеной замка, из которой кое-где выпали камни, оставив темные ниши, поросшие чахлой травкой и мхом. Вместе с батальонным фельдшером Ольга перевязала уже всех раненых; тех, которые не могли ходить, передали в местную больницу. Пока делать

было нечего. Ольга сидела, прислонясь спиной к стене, от которой исходила приятная в такой жаркий день прохлада. Сняв тяжелые солдатские башмаки, вытянула ноги — находилась, набегалась сегодня: сначала — поход по лесному бестропью, потом — бой. На душе было спокойно и радостно: бой кончен победою, Ваня цел и невредим — она уже видела его. Правда, поговорить не пришлось: она сопровождала раненых, а он на обочине дороги о чем-то разговаривал с командиром батальона и, кажется, даже не заметил, что она прошла мимо. Ладно, еще будет время для разговоров, главное — жив, не ранен. Чего же еще можно желать?

Рассеянным взором оглядывала она просторный двор замка, вымощенный квадратными, глубоко осевшими в землю, полузаросшими плитами. Дымит у противоположной стены полевая кухня; два телефониста тянут куда-то через двор провод, спустились с башни и идут к воротам командиры — Баргаи и Фойяш. С кем это они встретились в воротах? Плохо видно... Да это Ваня!..

Она в нетерпении привстала — вот сейчас, босиком, так и побежала бы к нему!.. Даже после короткого боя встреча с любимым — как после долгой разлуки: ведь даже самый короткий бой может обернуться разлукой...

Наконец разговор закончился, от ворот Гомбаш идет во двор.

— Ваня! — устремилась она навстречу.

— Олек! Я не видел тебя целый день...

— А я тебя видела! — И ласково упрекнула:— А ты на меня и внимания не обратил...

Сели рядом, взявшись за руки, на какие-то мгновения все окружающее словно отодвинулось от них.

— А знаешь, — сказал Янош, — Баргаи и Фойяш говорят, что с башни очень далеко видно. Пойдем посмотрим?

— Если с башни видно далеко, то и нас на башне издалека увидят... Вдруг начнут стрелять?

— Моя храбрая женушка, кажется, становится трусишкой? Не бойся, это не так близко к противнику, чтобы в нас пальнул кто-нибудь, даже самый зоркий.

— Ладно, пойдем!

Они поднимались крутыми, позеленевшими от древности ступенями. Лестница изломами шла внутри башни, от ее стен, несмотря на теплый, почти знойный день, веяло холодком, погребной плесенью. Вот они поднялись, вышли на верхнюю площадку, огражденную барьером из источен-

ных ветром и дождями серых ноздреватых камней. Перед ними лежала долина, с двух сторон огражденная лесистыми склонами. В дальнем конце сквозь зелень проглядывали крыши каких-то домиков, за ними — несколько высоких заводских труб. Чуть правее неровно, толчками, подымался дымок.

— А где легионеры? Отсюда видно? — спросила Ольга.

— Без бинокля не увидишь. А бинокля у меня нет. Все хочу раздобыть...

— Как хорошо здесь! Над всем белым светом... Я себя словно птица чувствую! Нет, знаешь, кем я себя представила?

— Кем же?

— Не догадаешься ни за что.— Она смущенно улыбнулась:— Этот замок похож на те, что в старинных романах описаны, у Вальтера Скотта, помню... Представь себе: ты — мой рыцарь. Только что вернулся из похода, снял латы. Внизу, во дворе, твои воины. А я повела тебя сюда, на башню, показать, где я подолгу стаивала, когда тебя с войны ждала,— все глядела, глядела вдаль... А не дождавшись, спускалась вниз, в свои покои, и горько плакала... Но вот я дождалась тебя, мы стоим здесь и радуемся...

— Вот как! Ты, оказывается, сочинительница, Олек! Фантазерка... То-то, смотрю, задумалась. А ты и рыцарские романы читала?

— Да, представь себе. Не так много, конечно... Это все Сережа Прозоров, студент,— я же рассказывала тебе. Да ты знаешь его...

— Еще бы, воевали вместе!

— А ты о чем сейчас думаешь?

— Я тоже воображал. Только мои мечты вполне земные, реальные. Воображал, что вон оттуда, с востока,— он показал на трубы Мишкольца,— из-за гор, не этих, что мы видим, а еще дальше, из-за Карпат, идет к нам навстречу из России Красная Армия. И мы скоро встретимся где-то там.— Он показал на далекие, синеющие за Мишкольцем некрутые горы.

— А Красная Армия идет?

— Не знаю. Может быть... Ей сейчас приходится отбиваться от войск контрреволюции, они давят с юга. На какое-то время это может помешать им идти навстречу нам.

— Хоть бы поскорее! Тогда можно было бы вернуться в Россию...

— Ты так спешишь вернуться?

Ольга прильнула к мужу:

— Я хочу оставаться с тобой. Всегда и везде. И если случится расстаться, то ненадолго,— поспешила она добавить.— И буду ждать, ждать, ждать тебя!..

— Как в старинных романах ждали рыцарей прекрасные дамы?

— Так. И даже терпеливее.

Глава пятнадцатая

В СЛОВАКИЮ

...Длинные вечерние тени протянулись от деревьев поперек пути. Уповали на долгий привал, но команды все не поступало. Лишь когда вечерняя тьма сгустилась настолько, что лесная чаща, наполненная синим сумраком, стала совсем непроглядной, приказали остановиться и готовиться к ночлегу. Ушли во тьму высланные вперед и в стороны дозоры. Все остальные бойцы батальона стали устраиваться на отдых кто как — прямо на траве, на наломанных ветвях или на брошенных под себя шинелях, у кого они были.

За день батальон прошел по лесистым горам, по лесным тропам, а то и напрямик через чащу не меньше тридцати километров. Уже далеко позади остались и Диошдьер, и Мишкольц, взятый после короткого, но ожесточенного боя — легионеры неоднократно пытались отбросить наступающих огнем и контратаками. Правда, контратаки эти получались не очень активными: легионеры не проявляли рвения, а если и подымались навстречу наступающим, то лишь понукаемые офицерами. После взятия Мишкольца вражеские заслоны удалось сбить сравнительно быстро. Пройдя город, Интернациональный батальон, до этого действовавший вместе с рабочими отрядами шахтеров и металлистов, получил новую задачу и пошел дальше через лес уже один, имея только несколько проводников из местных красногвардейцев.

Время близилось, наверное, уже к полуночи, когда Гомбаш, обойдя роты и посоветовавшись с Баргаи и Фойяшем о предстоящих на завтра действиях, разыскал в темноте место, где расположился батальонный лазарет, и пришел к Ольге — она к этому времени уютно устроилась под кустом, на еловых ветках, которые наломали по-отечески опекавшие ее санитары. Набросив на себя куртку и положив голову на сумку с бинтами, она лежала, вытя-

нув натруженные за день похода ноги, и наслаждалась покоем. Незаметно слипались глаза. Но и сквозь сон до ее сознания продолжали настойчиво доноситься звуки, которые стали слышны вскоре после того, как смолкли голоса бойцов, устраивающихся на ночлег. Пели соловьи. Вначале неслышные, видимо, испуганные присутствием внезапно появившихся в их лесной вотчине людей, они постепенно пришли в себя и, убедившись, что им ничто не угрожает, начали заливаться вовсю, словно состязаясь друг с другом в певческом искусстве.

Сквозь непрочный, пронизанный соловьиными трелями сон Ольга почувствовала такое знакомое, легкое прикосновение — пальцы Яноша на какое-то мгновение коснулись ее шеи, натягивая сползший воротник куртки, которой она была укрыта. Почувствовала — и проснулась. После совсем недолгого сна голова стала почему-то удивительно свежей — так бывает в походе, когда порой несколько минут отдыха дают прилив необычайной бодрости.

— Закончил дела? — спросила она, чуть подвигаясь.— Тогда ложись, отдыхай. Ночи теперь короткие, а ты ведь раньше всех подымаешься.

— На то я и комиссар! — с шутливой гордостью отозвался Янош.— И ты спи, моя милая.

— Да вот сон что-то отлетел. Слышишь, как соловьи стараются?

— Слышу...— шепнул Янош, и по одному этому слову, по тому, как оно было произнесено, Ольга почувствовала, что и на него находит тоже состояние покоя, умиротворения, вызванное ночным соловьиным лесом.

Они молчали, но молчание это, как часто бывало меж ними, не разъединяло, а соединяло их. Может быть, и думали они об одном и том же...

— Знаешь,— вдруг еле слышно спросила Ольга,— что мне сейчас вспомнилось?

— Знаю... Прошлогодние соловьи. На Оби...

В его памяти ясно проступило лето прошлого, восемнадцатого года; пароход, на котором ломские красногвардейцы — русские и венгры — уходили от белых, плыли Обью на север, чтобы потом по Иртышу повернуть на юго-запад, добраться до Тюмени и соединиться с Красной Армией Восточного фронта. Вот такой же темной майской ночью они с Ольгой вдвоем на верхней палубе, возле трубы, смотрели в синее звездное небо и слушали соловьиные трели, доносящиеся с близкого лесистого берега...

— Мы с тобой загадывали тогда, где будем через год.

И ты мечтал, что такой же ночью мы будем смотреть на твое венгерское небо. Видишь, сбылось. И даже соловьи поют...

— Я все удивляюсь, Олек, как тебе удалось найти меня. Ведь это просто чудо! Чудо твоей любви! Я так боюсь потерять тебя... Знаешь что...— Янош замялся.— Давно собираюсь тебе сказать...

— Что, милый? Говори же!

— Не знаю, как ты к этому отнесешься... Я все время очень боюсь за тебя. Честное слово! Это даже мешает мне делать свое дело. Когда начинается бой и я не вижу, где ты,— самые страшные мысли приходят в голову.

— Да ничего со мной не случится! И не думай об этом.

— Нет-нет!.. Мне было бы спокойнее знать, что ты не под огнем. Война все-таки не для женщин. А что, если я тебя отправлю к своим в Вашварад?

— Что ты, Ванечка?! Да я, не видя тебя, изведусь! Здесь я хоть знаю, что с тобой. И видимся понемножку... Как я тебя оставлю? Мало ли как дальше пойдет? И вдруг тяжелые бои? Мы теперь все время будем наступать?

— Как на это ответить? Война есть война. Ее ход зависит не только от нас, от нашей стороны. Я ведь не знаю замыслов нашего высшего командования. Сегодня разговаривал с комиссаром рабочего полка — мы наступали рядом. К ним только что приезжал товарищ из Центрального Комитета. Рассказывал о перспективах войны... Завтра, когда прояснится наша новая задача, я, может быть, поделюсь с бойцами своими соображениями о том, что нам предстоит.

— Так поделись сначала со мной! Я ведь тоже боец. Даже с оружием! Вот! — Ольга положила его руку себе на бедро, и Янош ощутил упругую угловатость кобуры.

— Ого! — удивился он.— Револьвер! Поздравляю. Где раздобыла?

— Бойцы подарили. Они взяли его у легионеров.

— А ты знаешь, что сестрам милосердия не полагается оружие?

— А стрелять в сестер полагается? Нет? А в меня сегодня стреляли.

— Да что ты! Я говорю тебе — поезжай в Вашварад!

— Никуда я не уеду. Не бойся за меня...

— Но, Олек!..

— Не будем об этом! Лучше расскажи, что говорил твоему знакомому комиссару тот, который из ЦК.

Янош, однако, успокоился не сразу. Еще и еще раз пытался уговорить Ольгу уехать. И лишь убедившись в бесполезности этих попыток, стал рассказывать:

— Ближайшей нашей задачей будет, наверное, дальнейшее наступление на север, в сторону Словакии. Там назревает революционная ситуация, народ ждет нас. Оттуда ближе всего к Советской России.

— А хватит у нас сил? Может, подождать, пока придут новые полки? Говорят, по стране идет мобилизация.

— Ждать нельзя. Надо пользоваться моментом, пока Антанта не может навалиться на нас со всех сторон разом.

— Почему не может? Ведь ее войска стоят у венгерских границ.

— Стоять-то стоят... Знаешь, американцы и англичане хотели бы раздавить нашу республику руками французов — французская армия самая сильная из всех армий интервентов. А французы не спешат начать наступление.

— Почему?

— Причин много. Во-первых, французам не нравится, что в комиссии Антанты, в той комиссии, которая создана, чтобы управлять Венгрией, если им удастся сокрушить республику, главенствуют англичане и американцы. Во-вторых, во Франции большое движение против того, чтобы двинуть армию на нас. Многие французские солдаты не хотят воевать с нами. И в-третьих, правительство Франции обеспокоено тем, что Германия уклоняется от подписания мирного договора с нею — вдруг придется применить французские войска против Германии, а они застрянут здесь. Понимаешь, Олек? Мы должны воспользоваться моментом, пока французы окончательно не поладили с англичанами и американцами. Как воспользоваться? Сначала разгромить армию чехословацкой буржуазии. Ведь эта армия создана не для защиты своей родины, которой никто не угрожает, а для подавления нашей республики и для захвата части венгерских земель. Буржуазия, она и есть буржуазия, ей своего мало. Разгромим легионеров — повернем на восток, за Тису, погоним с нашей земли войска румынского короля. Сейчас для этого тоже удобный момент: часть румынских войск оттянута в Бессарабию, чтобы не пустить туда Красную Армию Украины.

— Ты надеешься, что победа может быть скоро?

— Я верю в это, Олек!

— И тогда начнутся наши старые сомнения...

— Какие?

— Где нам с тобою жить — у нас или у вас?

— Ты же знаешь, я хотел бы, чтобы мы остались в Венгрии. И ты... Ты ведь говорила, что тебе нравится моя родина.

— Нравится... Потому, что это твоя родина. И еще — очень аккуратно у вас все устроено. Дома каменные. И много такого, чего у нас в Сибири не водится. Знаешь, как я любовалась вишнями и яблоней в цвету? Как белым кружевом одеты... Первый раз в жизни увидела, как виноград растет...

— Потерпи немного, скоро, самой первой, черешня поспеет, и отведаешь прямо с дерева.

— А что такое — черешня?

— Дерево вроде вишни.

— А я и вишни ни разу не ела. Вот по яблочку, когда маленькие были, тетка нам с Ефимом один раз, на рождество, купила. Я свое яблочко все нюхала, нюхала — так оно сладко пахло. Понюхаю — и прячу. Тетка мне: «Ешь, а то испортится. Ефимка-то свое давно слопал». А я все берегла. Съела, когда оно уж вялым стало и пятнышками пошло. Удивлялась: как же так? Думала, яблоко — как святая вода, никогда не портится.

— Чудачка ты!

— Откуда мне было знать?.. Я то яблочко на блюдечке на окошке держала, хотела, чтобы и другие любовались, кто мимо пройдет.

— Ну вот, а здесь будешь есть яблоки весь год. И еще много чего... Хорошо ведь, а? Будем здесь жить?

— Ладно уж! Не в Сибирь же тебя тащить обратно. Только я своих в Ломске хочу проведать. Можно будет?

— Конечно! Мировая революция сотрет все границы!

— Я об Ефиме беспокоюсь,— вздохнула Ольга.— А ну как, пока он тут воюет, Наталью от него уведут?

— Если любит — не уведут.

— Не любит она его...

— Ты уверена? Трудно видеть в чужом сердце.

— Нет, я уже пригляделась. В девушках Наталья без ума была от брата, все выспрашивала: что говорил мне о ней? как относится? А как замуж вышла да Любочку родила — куда что девалось? Покрикивать на Ефима стала, неласкова с ним. Странно... Ребенок соединять должен крепче, а у нее — наоборот.

— Вот у нас будет правильно...

— Я очень этого боюсь... Не время сейчас. Война.

— Не бойся. Война скоро кончится. И кончится, уверяю тебя, нашей победой.

— Если бы так...

Он привлек ее к себе. Оба затихли. А соловьи над их головами продолжали самозабвенно насвистывать свою бесконечную песню. Ольга и Янош еще долго слушали ее, изредка перебрасываясь тихими словами. Но вот наконец к ним пришел сон.

— Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! — разбудил Яноша громкий голос.— Товарищ комиссар, вы здесь?

— Здесь. Я же говорил, где меня искать! — отозвался Гомбаш, приподымаясь, и увидел, что в лесу уже посветлело. Перед ним стоял посыльный.

— Вас ждут командир батальона и начальник штаба. Срочно!

— Скажите: сейчас буду!

Посыльный убежал. Гомбаш, надеясь, что Ольга не проснется, осторожно натянул на нее сползшую во сне куртку. Но она встревоженно спросила:

— Зачем тебя зовут?

— Возможно, поступил приказ... Да ты спи, спи пока.— Он ласково провел ладонью по ее щеке, как бы беря про запас частицу ее тепла, и быстро зашагал прочь.

А Ольга осталась лежать с сильно и тревожно забившимся сердцем, с широко раскрытыми глазами. Уже не слышно было соловьев, в дымке ночного тумана все отчетливее проступали темные стволы и ветви деревьев, робко тенькнула какая-то, из самых ранних, лесная птица. «Зачем его позвали? — старалась догадаться Ольга.— Что-то случилось? Может быть, противник переходит в наступление, и скоро — бой? Снова будут раненые... кровь... страдания...»

В последнем бою, вчера, перевязывала молодого бойца, почти мальчишку, венгра, кажется, из команды связи. Тяжелая рана, навылет, в поясницу, возможно, задеты внутренности — много крови. Все звал: «Нёвер! Нёвер!» — сестра, значит. О чем-то просил. А потом взял ее руку в свою да так и затих. Трудно было высвободить руку из его костенеющих пальцев. Так жаль паренька! И так тяготит чувство вины перед ним, что не смогла спасти, хотя вины ее, понятно, никакой нет — она же не волшебница, чтобы отогнать смерть. Страшно подумать, что подобное может случиться и с Ефимом, и с Ваней. Нет, конечно, нельзя, никак нельзя оставлять их и ехать в тихий Вашвград... А может, и немного ее осталось, этой войны?

Она хотела успокоиться, пыталась заснуть вновь, но сон уже напрочь отлетел, оттесненный поднявшейся тревогой.

Лежала, ворочаясь на подстилке из веток, смотрела, как все светлеет и светлеет в лесу — вот уже и макушки деревьев порозовели, восходит солнце...

Вскоре после рассвета батальон был поднят и двинулся дальше. Постепенно лес кончился, и батальон остановили перед опушкой. Сквозь редкие на краю леса деревья виднелись смыкавшиеся склонами многочисленные холмы, местами, больше понизу, поросшие кустарником. Далеко впереди, за холмами, под безоблачным небом чуть приметно синели горы — наверное, это уже Карпаты. На ближних холмах, на склонах, обращенных к лесу, виднелись крохотные неровные, будто рваные, черточки свежих окопов — там закрепились легионеры.

— Сейчас займем позицию для наступления,— сказал Свечкин, собрав бойцов.— Польская и сербская роты пошли в обход, лесом, чтобы ударить во фланг. А нам вместе с соседним полком — наступать напрямую. Трудно по открытому полю... Но нас поддержит пулеметная команда добровольцев. Из Австрии прибыли только что. И нашего батальона венгры-пулеметчики. Пулеметы огнем прижмут противника. А если он ударит артиллерией — не робеть, броском вперед из-под обстрела. Сигнал к началу для нас и соседей — один: красная ракета. Как взлетит — на ура в окопы легионеров, чтобы они опомниться не успели. С революционным порывом!

Рота развернулась в цепь и залегла под деревьями. На серебристо-серых гладких стволах золотились солнечные пятна.

— Эх, бука-то здесь сколько! — залюбовался Торопыгин.— А в наших краях не растет, нет! В Питер издалека его привозили.

— А зачем? — лениво спросил Еремей Жуков.— Какой с его прок?

— Как — зачем? — даже обиделся Торопыгин.— Для столярного дела. Знаешь, что это за дерево? Постругать — так он как полированный, а отполируешь — светится розовым огнем. Эх, братцы, когда в Питере жил, сколько я из такого бука гнутых кресел и прочей мебели сработал!.. Глядите-ка, кто к нам идет!

Из глубины леса шли люди в старой австро-венгерской форме, только с красными ленточками на кепи — австрийские интернационалисты. Они тащили тяжелые пулеметы на ногастых станках. Установили их на правом фланге — оттуда удобнее вести огонь по противнику, не мешая продвижению своих. На левый фланг прошли батальонные

пулеметчики-венгры. Кедрачев пристально всматривался: нет ли среди них старого знакомца Фаркаша? Так и не увидел. Может, его расчет послали с польской или сербской ротой? Кедрачев давно не видел Фаркаша — не выпадало случая,— уже начал беспокоиться: не пострадал ли его побратим в последних боях?

Отделение Кедрачева заняло исходную позицию на левом фланге батальона, там, где к нему примыкал новый, только что пришедший из Будапешта полк. Между интербатовцами и красноармейцами полка быстро завязались разговоры — незнание языка не служило препятствием: объяснялись, используя знакомые слова, а то и с помощью рук. Интербатовцы с любопытством рассматривали форму, в которой были вновь прибывшие: серо-голубые, с фиолетовым оттенком, суконные обмотки, такие же брюки и куртка с погонами, с валиком на конце правого плеча, чтобы удобнее нести винтовку,— валик особенно восхищал интербатовцев. Нравились им и фуражки, сшитые из того же сукна, что и обмундирование,— мягкие, с лакированным козырьком и витым шнурком впереди, с красной круглой кокардой. Среди интербатовцев прошел слух, что им тоже выдадут такое обмундирование — оно вводится для всей Красной армии.

Кедрачев поинтересовался у соседей, нет ли среди них кого-нибудь с завода, на котором он работал в Будапеште. Оказалось, что в полку вообще нет никого с Чепеля. Полк формировался в рабочем городке Эржебете, примыкающем к Будапешту со стороны Буды. Теперь, как с гордостью сообщили бойцы, по предложению рабочих город Эржебет первым из городов Европы переименован в город Ленина.

Начала наступления ждали почти до полудня — по слухам, для него подтягивались еще какие-то части. Наконец по цепи, от бойца к бойцу, прозвучала команда:

— Приготовиться!

Ждали недолго. Над опушкой, громко хлопнув, взлетела тусклая в свете дня красная ракета. Тотчас же интербатовцы рванулись вперед. Вровень с ними пошли бойцы эржебетского полка. Слева по окопам легионеров застучали пулеметы. Бойцы спускались под гору скорым шагом — ноги сами несли вниз по пологому травянистому склону. Казалось, что до окопов противника еще нестерпимо далеко: спуститься по склону, взбежать на высоту, где закрепился враг и откуда летят пули, каждая из которых может стать твоей...

Вот позади половина пути! Еще немного низом — и в гору! Видно, как левее, растянувшись широкой цепью по зеленому полю, спешат, не отставая, бойцы эржебетского полка. Черное дерево выросло из земли справа. Такое же — слева. Противник открыл артиллерийский огонь...

Все переходят на бег. Кедрачев нарочито чуть отстает от бойцов своего отделения, чтобы лучше видеть каждого, зато Никитенко — об этом они договорились заранее — мчится впереди всех, подает пример. Он часто оглядывается, покрикивает:

— Давай-давай!

Черные деревья разрывов вздымаются уже где-то позади. Бежать вверх по склону становится все тяжелее. Из вражеских окопов вразнобой щелкают винтовочные выстрелы, гулко бьет пулемет. Теперь останавливаться нельзя, иначе несдобровать. Вперед! Только вперед!

Вот уже и желтая глина свеженасыпанного бруствера — видно, рыли наспех, не успели замаскировать...

Самые последние, самые страшные шаги — когда до врага осталось их всего несколько. Потом, когда сойдешься с врагом лицом к лицу, охватит отрешенность и ничего не станет страшно. Страх вернется позже, когда уже нечего станет бояться...

Со штыком наперевес Кедрачев взбежал на бруствер вражеского окопа, спрыгнул в него, быстро глянул по сторонам — и в удивлении остановился: в окопе никого не было. Легионеры отступили, не приняв рукопашной.

Пробежав через брошенные противником окопы и перевалив высоту, бойцы, еще не остывшие от атаки, врассыпную спускались по склону. Им открылось ранее невидимое за высотой селение, вытянувшееся вдоль извилистой, стиснутой холмами лощины. Откуда-то справа слышалась беспорядочная винтовочная и временами пулеметная стрельба — вероятно, польская и сербская роты, обойдя противника лесом, пытаются отрезать ему путь отхода. Сверху хорошо видно, как по единственной улице селения на рысях уносятся военные обозные повозки, мчатся к лежащему на выезде мосту, перекинутому через узкую речку с крутыми берегами. Даже издали заметно, что речка бурная, то и дело высверкивает под солнцем, скачет по камням волна. Одна из повозок уже перед самым мостом... Но что это? Мост в какое-то мгновение встает дыбом, взлетают доски, балки. Кони, везущие повозку, шарахаются, повозка опрокидывается, легионеры, сидевшие в ней,

бросаются в разные стороны. Следующая за этой повозка круто останавливается, с нее соскакивают солдаты, разбегаются...

По мере того как бойцы спускаются по склону, все более открывается правая сторона селения — до этого ее заслонял лесистый холм. От бойца к бойцу волной пробегает тревога: справа, из леса, по скату высоты торопливо спускается вереница людей с винтовками, некоторые тащат пулеметы. На расстоянии фигуры кажутся очень маленькими.

«Легионеры?» Почти все замедляют шаг... Смотрят на Свечкина, который взялся за бинокль. Вот он опускает бинокль, улыбается:

— Наши! Поляки и сербы!

Еще минута, другая — и, пройдя меж огородами, русская рота выходит на деревенскую улицу.

Вначале пустынная — люди, очевидно, попрятались, опасаясь стрельбы,— улица постепенно наполняется народом. Мужчины в серых шахтерских брезентовых куртках и крестьяне в просторных холщовых рубахах, женщины, успевшие набросить праздничный платок или фартук, любопытные ребятишки, почтенные деревенские старцы с посошками в морщинистых руках, девушки, с улыбками бросающие бойцам на ходу только что сорванные цветы, и какой-то мужичок, в войлочной коричневой шляпе на затылке, в распахнутой рубахе, с пузатой оплетенной бутылкой в руке. Семеня вдоль колонны, он протягивает бутылку бойцам, весело выкрикивая что-то, с ухмылкой «для наглядности» прикладывает ее горлышко к своим губам.

Вдруг в этот праздничный шум диссонансом врывается отчаянный крик женщины. Она рыдает, прислонившись к беленой каменной ограде, вокруг толпятся односельчане. Эта женщина только что узнала страшную весть: ее муж рано утром пошел ловить рыбу возле моста, а легионеры, заподозрив, что он хочет взорвать мост, застрелили его. Сейчас она обнаружила тело мужа...

Речку переходят по узкому, наспех проложенному рядом с разрушенным мостом настилу шириной в одну доску. Переходят, чтобы не обрушить хрупкий настил, редкой цепочкой, соблюдая интервалы, поэтому на берегу перед мостом скапливаются бойцы, ожидающие своей очереди. У входа на настил стоят несколько человек в брезентовых спецовках, у каждого на рукаве — красная повязка, а на сдвинутой назад кепке — вырезанная из мате-

рии такая же звездочка. Это шахтеры — запальщики из рабочего партизанского отряда, которые взорвали мост, они же с помощью местных жителей соорудили переход. Улыбчиво смотрят на идущих мимо интернационалистов — дождались наконец-то освобождения! Рядом с шахтерами стоит командование батальона.

Ожидая очереди у настила, Кедрачев заметил среди бойцов сестру. «Совсем Олюнька солдатом стала. Давно уже не юбку, а штаны, как солдат, носит. Ей бы в платьях красоваться...» Обратил внимание: она стоит совсем близко к Яношу, но делает вид, что ей это безразлично. А самой, верно, не терпится подойти. Да и Яношу... Впрочем, на людях они обращаются друг к другу только официально: «Товарищ комиссар...», «Товарищ сестра...». Это Янош ее к такому приучил. Многие в батальоне, особенно из новичков, и не подозревают, что сестра, в солдатском обмундировании похожая на мальчишку, — жена комиссара. А может, лучше бы всем знать: комиссар и жены не жалеет, она — тоже на фронте.

Но вот пора переходить. Доски под ногами мягко пружинят, как бы не свалиться, не надо глядеть вниз, а глаза туда так и тянет. Нестерпимо сверкает под солнцем бурлящая на камнях вода, слышно, как клокочет. Искупаться бы! Да времени нет — вперед, вперед надо, вдогон врагу!

Весь день под жарким солнцем, солнцем победы, шли бойцы. Противник откатывался, лишь изредка огрызаясь пулеметным или орудийным огнем, но нигде ему не удавалось задержаться надолго. Победный поход от селения к селению продолжался. И всюду бойцов встречали как освободителей, бросали цветы, а многие жители, главным образом молодые парни, просили, чтобы их приняли в ряды наступающих, дали оружие.

Шли весь день. Лишь когда стемнело, остановились. Короткая летняя ночь пролетела быстро. На рассвете наступление возобновилось. Снова каменистые проселки, отчаянная жара, глоток воды из попутного колодца — и дальше, дальше, вперед; мимолетные стычки с огрызающимся врагом.

На третий день наступления стали попадаться словацкие села — Красная армия вышла за пределы венгерских земель. И здесь бойцов встречали как людей, несущих свободу: цветами и улыбками, красными флагами. Стоило вступить в село, как сам собой вспыхивал митинг. Жители заявляли, что они тоже в своем селении устанавли-

вают советскую власть, что готовы пополнить своими парнями ряды Красной армии. Один из таких митингов, в котором принял участие Кедрачев с товарищами, был особенно бурным и радостным: только что сообщили, что на севере, в горах, взят важный узел дорог — словацкий город Лученец, или, как его называют венгры, Лошонц.

Все дальше и дальше части Красной армии шли на север. Свыше сотни километров боевого пути осталось позади — вся северная Венгрия и часть восточной Словакии. Радостью победы полнились сердца бойцов Интернационального батальона. И в то же время все чаще тревога закрадывалась в их души. Ведь они наступают, все дальше уходят на север, а с востока по-прежнему нависает армия румынского королевства. Она в любой момент может ударить во фланг, воспользовавшись тем, что фронт Красной армии на Тисе не очень прочен: многие части сняты оттуда для наступления в Словакии. В селах, через которые проходили бойцы, местные жители рассказывали, что легионеры, отступая, грозились: «Мы еще вернемся и накажем всех, кто за красных. Вернемся, как только ударят румыны». Среди бойцов шли разговоры, что некоторые из наступающих частей повернут на Тису, чтобы предотвратить возможное там наступление противника.

И вдруг разнеслась весть, что по всей линии Тисы румынские войска спешно отступили, вернулись на левый берег, взорвав за собой мосты.

Сообщение прибавило силы, прибавило уверенности, что северный поход и дальше пойдет успешно. Как рукой сняло усталость, и легким казался путь, преодолимыми все заслоны, которые на пути наступающих пытался возвести враг.

В один из дней, на привале, в русской роте появился комиссар. Он приходил ежедневно — объяснял обстановку на фронтах, читал, вернее, пересказывал только что полученную газету. Русская будапештская «Правда», которую бойцы могли прочитать сами, приходила нечасто.

А на этот раз комиссар пришел со свежей газетой.

— Интересная новость, товарищи! — объявил он. — Из Москвы только что вернулся товарищ Самуэли. Тот самый, отряду которого вы помогали подавлять мятеж контрреволюционеров. Он проделал большой и опасный путь. Товарищ Самуэли виделся с Лениным. Он рассказал ему, как сражается наша советская республика. Товарищ Ленин прислал приветствие венгерским рабочим. Это не просто приветствие. Это программа. Нам предстоит трудная

задача — устоять в тяжелой войне против Антанты. В последние дни, возможно, некоторые из вас настроились слишком благодушно: все время наступаем, враг бежит. Но силы Антанты велики. В любой момент может случиться так, как уже бывало раньше,— враг навяжет нам тяжелый бой. Вот тогда никто не должен дрогнуть. А если дрогнет...— Комиссар заглянул в газету:— «Расстрел — вот законная участь труса на войне» — так пишет товарищ Ленин. Он обращается к венгерским рабочим. Значит, и к нам. Вот! — Гомбаш прочел, переводя дословно: — «Вы ведете единственно законную, справедливую, истинно революционную войну... Во всем мире все, что есть честного в рабочем классе,— на вашей стороне. Каждый месяц приближает мировую пролетарскую революцию. Будьте тверды! Победа будет за вами!»

В словах Ленина было столько зажигательной силы, что вся рота зааплодировала, как на митинге. Бойцы обступили комиссара:

— А где еще сейчас революция?

— Сколько нам осталось пройти, чтоб с нашими соединиться?

— А можно товарищу Ленину привет телеграфом послать?

Гомбаш обстоятельно отвечал на все вопросы. Объяснил, что в районах Словакии, освобожденных Красной армией, Советы уже созданы, что во всей Европе пролетариат поддерживает Венгерскую советскую республику, в которой видит пример для себя, что не исключено — в ближайшее время Советы возникнут и в других странах. Что же касается соединения с Красной Армией Советской России — остается пройти всего около полутораста километров, но идет ли Красная Армия навстречу или же занята борьбой с контрреволюционными армиями и поэтому замедлила продвижение — точных сведений пока нет. А насчет телеграммы Ленину сказал, что прямой телеграфной связи нет — мешают фронты,—сообщение с Лениным осуществляется через единственную радиотелеграфную станцию на Чепеле, но через нее передаются лишь правительственные депеши.

— Не огорчайтесь, товарищи! — поспешил сказать комиссар в утешение.— Нет сомнения, товарищ Ленин знает о вас. А приветствие ему пошлем прямо в Москву, когда дойдем до Карпат и соединимся.

— Скоро?

— Не знаю. Но твердо уверен, что настанет день, ко-

гда нас уже не в силах будут разъединить враги, и наши народы, как два брата, встанут навсегда рядом... Этот день придет!

Глубокая убежденность, звучавшая в словах комиссара, передалась бойцам. Все прониклись той же верой — желанный день наступит. Никому из этого множества охваченных общим желанием людей не дано было знать, что день этот придет очень и очень не скоро, что до того, как он наступит, не только утечет много воды, но и прольется много крови.

Глава шестнадцатая

ПЕРЕЛОМ

...Жаркие, ясные дни июня. Солнечно в небе, солнечно на душе. По зеленым долинам, вдоль шумливых горных речек, мимо вершин, что все плотнее сдвигаются по сторонам, идет Интернациональный батальон. Красная армия безостановочно наступает, продвигается все дальше на север, сбивая легионеров с рубежей, не давая им закрепиться. И чем дальше движутся красноармейские полки, тем больше вступает в их ряды добровольцев: и мужчин, и парней из попутных сел и городков, даже солдат противника — чехов и словаков. Немало их нарочно отстает от своих отступающих частей — они не хотят больше служить буржуазии, обманом захватившей власть в Чехословакии. Каждый день приносит радостные вести. Красной армией занят Прешов — словацкий город, от которого, если по прямой, уже не больше ста километров до советской границы. Лишь двадцать — тридцать километров остается до Карпат, за перевалами которых где-то, наверное совсем близко, действуют союзные армии России и Украины. Как греет бойцов щедрое июньское солнце, так согревает их сердца надежда, что скоро венгерская Красная армия соединится с армиями братских республик. Но из газет стало известно, что на Украине контрреволюционные войска под командованием генерала Деникина развернули наступление на Донецкий каменноугольный бассейн, и Красная Армия вынуждена бросить большие силы на отражение этого наступления. Все же всем хочется верить: близок день, когда где-то в Карпатах армии, у которых одна эмблема — красная звезда,— соединятся! От этой мысли легче становится бойцам, идущим по камени-

стым, пыльным, накаленным солнцем дорогам, легче кажутся и эти дороги, и тяжесть оружия и снаряжения и короче дорожные версты.

Однажды утром, когда батальон находился на марше, поступил совершенно неожиданный приказ — остановить продвижение. Приказ касался не только Интербата — всех наступавших частей.

— Почему? — недоумевали бойцы.— Легионеры уходят, а мы будем стоять?

Расположившись по сторонам дороги, с нетерпением ждали возвращения Свечкина, вызванного к командиру батальона.

Вернувшись, Свечкин собрал всю роту:

— Приказ остановиться — приказ главного командования. Он вызван необходимостью. Чтобы успешно наступать дальше, требуется подтянуть обозы, пополниться боеприпасами, привести войска в порядок. В Красную армию вступило много добровольцев, надо всех правильно распределить. А противник все равно расстроен, обратно не повернет, к наступлению он не способен.

Чувствовалось, Свечкин говорит искренне, сам верит в то, что утверждает, едва ли в приказе можно подозревать чей-нибудь подвох. И бойцы постепенно успокоились, даже, в общем-то, обрадовались передышке: пожалуй, и в самом деле на какое-то время следует остановиться, дать отдых ногам, тем более что противник оторвался. Вот кончится передышка, пополнимся патронами — и снова вперед!

После того как стал известен приказ, прошли еще немного до назначенного батальону места. Остановились на северной окраине большого селения, протянувшегося вдоль мелкой, но шумной, скачущей по камням речушки. Расположились во дворах, примыкавших к дороге, по которой только что наступали. Как приказал Свечкин, выставили дозоры и занялись кто чем: чистили винтовки, чинили обмундирование, стирали в речке белье, купались.

Отделение Кедрачева завидовало остальным: все отдыхают, а они сидят тут, на солнцепеке, у дороги, в дозоре. Предвкушали: вот придет смена — и скорей на речку!

Едва успели расположиться, как на дороге послышался быстрый топот копыт. Пригляделись — рысью едут с десяток всадников в красноармейских фуражках, в серых куртках со шнурами на груди— форма кавалерии Красной армии. Кавалеристов до этого бойцы видели лишь издали, а тут они, подскакав, остановились совсем рядом.

Один из конников, очевидно командир, сказал что-то по-венгерски, но так быстро, что никто толком не понял. Тогда, пробежав взглядом по лицам интербатовцев, командир спросил:

— Оросок?[1]

Это Кедрачев разобрал сразу.

— Русские, русские!

Командир, обернувшись, сделал знак одному из всадников, меднолицему усачу, на голове которого фуражка сидела по-казацки — чуть набекрень, из-под нее выбивался рыжий чуб. Тот подъехал поближе, воскликнул:

— Землячки! А я вас сразу и не признал!

— А мы — тебя! — рассмеялся Кедрачев.— Думали, вся кавалерия — мадьяры.

— Не! Наших, почитай, половина! — Усач кивком показал на своих спутников: — Казаки! Донские да кубанские. А вы каких губерний?

— Разных. Вся Россия за Венгрию воюет.

— Это верно...— Усач повернулся к своему командиру, перекинулся с ним несколькими словами по-венгерски, затем объяснил Кедрачеву: — Конная разведка мы. Командир интересуется — далеко ли противник?

— А мы его со вчерашнего дня не видали! — опередил Кедрачева скорый на язык Торопыгин.— Близко не подпускает: мы— к нему, он — от нас.

— Быстро воюете! — не то похвалил, не то пошутил казак.— На конях не догнать!

— А то! — всерьез обрадовался похвале Торопыгин.

— Ну не шибко-то быстро,— поправил Кедрачев.— Приказ нам — остановиться.

— Слыхали... Потому нас вперед и посылают.

Конники ускакали, обещав на обратном пути остановиться и рассказать о противнике, если что-то узнают о нем. Рассчитывали вернуться часа через два. Но прошло уже больше, а конников все еще не было видно. Время близилось к обеду. Кедрачев отрядил за ним Никитенко и Холонца. Вернулись они быстро. Никитенко нес ведро, прикрытое лопушком, из-под которого пробивался аппетитно пахнущий парок, Холонец под мышками — две большие круглые буханки.

— Мы вам не только ведро супа — ведро новостей принесли! — радостно провозгласил Никитенко.— Значит, так! Новость первая — теперь есть Словацкая советская рес-

---

[1] Русские? (*венг.*)

публика. Объявлено всенародно. Новость вторая — на запад от нас, в Чехословакии, в горах, за Дунаем, легионеры попытались наступать, но Красная армия их отогнала. Теперь она наступает! Есть там большой город — Братислава, так вот, прямо на него идет! То-то, поди, всполошились буржуи! Хотели венгерские земли загрести, а теперь не до жиру — быть бы живу!

— Это, конечно, приятственно,— помедлив, высказался Воропушин.— Только невдомек мне, может, ты, Никитенко, просветишь: зачем на запад наступать, когда на север надо, к России?

— Отвлекающий удар, надо полагать! — нашелся Никитенко.— Противник силы на запад перебросит, а мы здесь ударим после передышки!

— А не лучше бы без передышки? — усомнился Торопыгин.— Гнать легионеров, пока можно! Вон, казаки поскакали... Может, разведают — и снова вперед пойдем?

— Торопыгин, ты и есть Торопыгин,— вступил в разговор Еремей Жуков.— Вон мы и в речку еще не кунались, а ты — все вперед! Обожди. Хоть портянки простирнуть да высушить...

— Это верно,— поддержал Воропушин.— Раз остановили, значит, надобно. Начальству виднее. Верно говорю, товарищ отделенный командир?

— Верно! Только будь моя воля — я бы не здесь остановку сделал, а вплотную к противнику. Может, он до самых Карпат скатился, а мы тут стоим...

— Разведка вернется — скажет, где он есть! — рассудил Никитенко.— А наше дело — смотреть в оба! Я чего опасаюсь, товарищи? Как бы враг хитрость какую не придумал.

— Чего там придумает! — пренебрежительно бросил Торопыгин.— Отступает — и все.

— Не говори! — возразил Никитенко.— У легионеров, я слышал, французские генералы командуют. А они воевать ученые.

— Здесь в Красной армии тоже ученые есть,— подал голос Кедрачев.— Про Штромфельда слыхали? Начальника генерального штаба Красной армии? Башковитый, говорят.

— Из генералов, что ли? — спросил Торопыгин.— Не верю я генералам. Что нашим, русским, что здешним.

— Этого с другими генералами не равняй! — возразил Кедрачев.— Мне комиссар рассказывал про Штромфельда: из народа он, а до генерала дошел потому, что умен

очень. Его и при старом режиме ценили как самого знающего. А советской власти он сразу служить пошел, словно дожидался ее. Этому генералу верить можно!

— Точно! — подтвердил Никитенко.— Я про Штромфельда тоже наслышан. В армии все его уважают, говорил я с венгерскими товарищами.

— Я тоже с мадьярами толковал,— не сдавался Торопыгин.— Они своим генералам и офицерам не дюже верят.

В разговоре незаметно летело время, солнце перешло уже за полуденную высоту.

Кедрачев с товарищами ждал, что вот-вот на смену им подойдет другое отделение. Тем временем показались едущие обратно конные разведчики. Их лошади шли усталой рысью. Один из всадников сидел в седле криво, держа ногу не в стремени — на ступне белел бинт. Конники проехали мимо, не останавливаясь. Только знакомый уже казак приостановился, крикнул:

— Эй, пехота! Легионеры отсюда верст семь, на опушке. Окопы роют! — и, пришпорив коня, пустился догонять товарищей.

— Вот видите! — возмутился Торопыгин.— Я же говорил — наступать надо, пока они не окопались!

— Главному командованию предложение дай! — серьезным тоном посоветовал Никитенко.

Подошла смена. Освободившись, отделение отправилось на берег речки. Лежали на прогретых солнцем камнях, плескались в холодных, стремительных струях, занимались солдатскими постирушками. Незаметно подступил вечер. Пошли устраиваться на ночлег по примеру других — где-нибудь в одном из дворов. Но как только вступили в улицу села, услышали, что горнист играет сбор.

Рота выстроилась на широкой деревенской улице, вдоль ограды одной из усадеб. Ждали Свечкина — он вот-вот должен был вернуться из штаба батальона.

Построение было неожиданным, и все терялись в догадках — чем оно вызвано? Сейчас придет комроты и скажет... Может быть, есть приказ возобновить наступление?

Появился Свечкин. Он был заметно взволнован, губы напряженно сжаты. «Что с ним? — старался понять Кедрачев.— Не решается что-то сказать? Да ведь все поймем! Короток был отдых — ну так что? Не привыкать нам топать...»

— Товарищи! — голос Свечкина дрогнул. — Больше наступать не будем...

Ропот недоумения прошел по рядам.

— Да, не будем. Получен приказ главного командования Красной армии Венгерской советской республики немедленно прекратить военные действия...

«Мир? — внезапная радость всколыхнула Кедрачева.— Буржуи запросили мира!»

— Правительством получена нота Антанты,— продолжал Свечкин.— Антанта обещает освободить от румынских войск все венгерские земли по Тисе. Но взамен требует, чтобы Красная армия оставила здесь, в Словакии, все земли, которые освободила от легионеров. Правительство согласилось на такие условия.

— Баш на баш получается? — проговорил кто-то недалеко от Кедрачева.

А его охватило горькое недоумение: «Какой же баш на баш? Красная армия на всех фронтах Венгрии на выгодных позициях. Румыны убрались за Тису. Здесь совсем немного остается до русской границы, у словаков на всем нашем пути уже советская власть. На юге французы лезть не осмеливаются... Зачем же уступать? Так мечтали соединиться с нашими, дни и версты считали!.. Не случилось ли чего в Будапеште? Разве можно так запросто отдавать завоеванное? Ведь и раньше была нота Антанты — не остановились же... Почему же теперь? Свечкина спросить? Да он сам, поди, не знает. Был бы Янош — он, наверное, в курсе...»

Кедрачеву, как и всем в батальоне, не было известно, что ноту Антанты бурно обсуждали и в правительстве, и на Всевенгерском съезде Советов, который открылся сразу же, как закончился Первый съезд партии. Правые настаивали на принятии ноты, так как предвидели, что следом за военными Антанта предъявит и политические условия — она уже давала понять, что охотнее пойдет на соглашение, если в правительстве социал-демократы оттеснят коммунистов. За перемирие были и коммунисты, но совсем по другим соображениям: они хотели скорее получить мир наподобие Брест-Литовского — такой мир помог бы упорядочить внутренние дела, подавить контрреволюцию, дождаться улучшения положения Советской России на ее фронтах и новых революций на Западе. Об этой позиции партийного руководства Бела Кун информировал Ленина, прося его совета. Ленин ответил тотчас же: «Всякую возможность хотя бы временного перемирия или мира надо обязательно использовать». И предупредил: «Но ни на минуту не верьте Антанте, она вас надувает и только выигрывает время, чтобы душить нас и вас».

Решение было принято. В войска Красной армии пошел приказ.

Глава семнадцатая

ГОРЬКИЕ ДНИ

Батальон продолжал находиться все в том же селении, где его застал приказ о прекращении наступления. По-прежнему выставлялись дозоры в сторону противника, который ничем не давал о себе знать. Соблюдался распорядок дня с построениями и занятиями, но все делалось без недавнего рвения, дух уныния воцарился среди бойцов: столько труда, столько жертв положено, чтобы дойти до этих мест, и, оказывается, все впустую...

Комиссар собирал коммунистов батальона, растолковывал, как важно не утратить высокий боевой дух, просил разъяснять людям, что остановка наступления и отвод войск вызваны революционной необходимостью. И коммунисты разъясняли. Но настроение бойцов от этих разъяснений не поднималось. А некоторые стали искать утешения на стороне. Не удержался от такого соблазна и кое-кто в отделении Кедрачева. Однажды ушли неизвестно куда, не спросясь, ставшие дружками Торопыгин и Жуков, возвратились навеселе. Когда Кедрачев и Никитенко стали выговаривать нарушителям, что они кладут пятно на всех, те оправдывались: надо же чем-то залить кручину, ведь воевали, выходит, зря. Оправдать их, конечно, нельзя, но понять было можно: у каждого на душе смутно.

Настроение еще больше упало, когда дошли вести, что в Будапеште была предпринята попытка переворота: мятеж подняли недавние юнкера — курсанты академии и офицеры флотилии, которые привели свои корабли по Дунаю к центру Будапешта, спустив на них красные флаги.

В один из дней Гомбаш, встретившись с Кедрачевым, сказал, что завтра едет в Будапешт: зачем-то вызывают в Центральный Комитет партии, не исключено, что для нового назначения. Грустно стало Ефиму: уедет Янош и Ольгу, наверное, заберет с собою,— не станет рядом ни друга, ни сестры. Конечно, Ольге давно не место на фронте... Но что изменится? Увезет ее Янош с одного фронта на другой...

В роте, на людях, не было возможности подробнее

расспросить Яноша, что может означать его отъезд. Поэтому под вечер Ефим решил навестить друга, поговорить — может, удастся душу отвести. Словно камень на ней лежит с той поры, как остановились.

Ефим не очень надеялся застать Яноша там, где тот квартирует, в доме рядом со штабом,— большую часть времени комиссар проводит среди людей. И неожиданно для себя застал его на квартире. Янош что-то сосредоточенно писал и не сразу заметил остановившегося в дверях Ефима.

— А где сестренка? — спросил Кедрачев, поздоровавшись.

— У себя в лазарете.

— Что там делать, если раненых не предвидится?

— Для порядка. Вдруг заболеет кто.

— Разве что с тоски... Знаешь, Янош, на улице показываться неловко, пугает мысль, вдруг кто из здешних спросит: «Вы уйдете, а мы как?»

— И мне неловко,— признался Янош.— Так радовались люди, что мы пришли. А теперь что? Вернутся легионеры, принесут на штыках буржуазную власть. Как смотреть в глаза здешним? Сегодня я был на черепичном заводе — рабочие пригласили, беспокоятся: как им быть после нашего ухода? Некоторые хотят уйти вместе с нами и семьи взять — боятся преследований. Ведь ясно, что Словацкая советская республика рухнет, едва мы уйдем: у нее же нет еще своей Красной армии — только начали создавать, теперь уже и не успеют... Я объяснил рабочим, что мы никак не можем остаться, того требуют условия соглашения. Они поняли. А легче ли нам и им от этого? Тяжело сознавать, что надежды, которые народ возлагал на нас, не оправдались...

— Да, тяжело,— согласился Ефим. Помолчав, спросил: — Олюньку с собой забираешь?

— Нет... Может быть, удастся остаться в батальоне — уже сжился, не хочется уезжать. Мы с Олеком условились: сначала поеду один, а когда решится... Конечно, пришлось уговаривать ее остаться, сам знаешь... Какой смысл ей тащиться со мной, пока все неясно? Тем более что я надеюсь вернуться.

— Правильно,— согласился Ефим.— И можешь быть за нее спокоен. Военных действий вроде не предвидится?

— Да, перемирие, возможно, будет длительным. Хотя не очень верю я в миролюбие Антанты. Товарищ Ленин об этом постоянно предупреждает.

— Антанта Антантой,— заметил Кедрачев,— но, по-моему, не только ее опасаться надо. Промеж бойцов давно уже слухи ходят об измене. Уж на что наш начальник штаба с людьми обходителен, но и на него косо глядеть стали. А уж о командире батальона... У нас его и раньше не любили. Больно свысока на нашего брата смотрит, почти как в старой армии. Не может избавиться от прежнего офицерского гонора. Как думаешь, не продаст при случае?

— Честно сказать — теперь не знаю. У меня самого насчет Баргаи сомнения иной раз возникают. Хотя фактов против него никаких нет. Я тебе рассказывал: служит он честно, сражаться против внешнего врага считает своим долгом, но советскую власть не любит. Да и с чего ему ее любить? Он из старинной офицерской семьи, грустит об утраченных привилегиях и мечтает о «решительной силе», которая укрепит нацию. Для нас с тобой эта решительная сила — диктатура пролетариата. Для Баргаи — тоже диктатура. Чья — вот вопрос. Пытался я поговорить с ним...

— Ну и что?

— Да все вокруг да около. Твердит: «Я не политик, а солдат». Чувствую, недоговаривает.

— Что он, не понимает, что теперь и простого солдата от политики нельзя отделить?

— Все он понимает. Только вслух не высказывается.

— Боится, нутро его разглядишь.

— Оно мне более или менее ясно. Только самого главного не могу предугадать: что в нем, в конце концов, перевесит — нелюбовь к нашей власти или желание защищать отечество?

— Загадка, вижу, он для тебя.

— Загадка, Ефим... Вот начштаба — тот ясен. Пришел ко мне, спрашивает: «Как посмотрите, если я подам рапорт об освобождении от должности?» «Отрицательно, — говорю. — А почему вдруг?» Отвечает: «Чувствую, в батальоне мне не доверяют». Отговорил я его: в отставку во время войны не подают. Фойяш, я верю, честный служака.

— А у нас некоторые и про него неладно говорят.

— Что-нибудь определенное?

— Да нет, вообще... С того дня как приказ об отступлении вышел, от огорчения везде измену искать готовы. Очень недовольные бойцы в нашей роте.

— Не только в вашей. В польской митинг собрали, возмущались, что на полдороге к родине им приходится

назад заворачивать. Требовали продолжать наступление. Даже резолюцию хотели принять. С трудом отговорил.

— Уже и с поляками научился разговаривать?

— Представь себе, почти научился. Сам удивляюсь — ведь всего два месяца с ними дело имею. Мне языки еще в гимназии легко давались. Да и с поляками до плена, когда в австрийской армии служил, приходилось иметь дело: было их несколько в моем взводе. Каких только народов не встречалось у старого Франца в империи!

— Тебе по комиссарской должности все языки, что есть в батальоне, надо знать. С сербами, поди, тоже наловчился? А я вот один мадьярский никак не одолею...

— И с сербами. Но труднее всего говорить со своими соотечественниками. Они ведь особенно болезненно восприняли приказ об отходе. Нашлись горячие головы, заявили, что не подчинятся приказу и станут наступать.

— Что же они — нарочно или по несознательности?

— Видно, плохо работали там наши партийные товарищи, вот и поддались уговорам националистов. Не исключено, что и заведомые провокаторы потрудились, контрреволюционеры.

— Скажи, Янош, откровенно, как сам считаешь: есть ли измена, особенно в тылу? Очень уж много об этом говорят. Газеты почитать — так в Будапеште сплошные споры. Не возьмут ли верх соглашатели, которые Антанту надеются ублагостить?

— Как тебе сказать?.. В правительстве и в Центральном Комитете партии действительно есть разногласия. А как не быть, если в одной партии с нами — бывшие правые? Сейчас они ободрились, рассчитывают на свое большинство в органах власти. Но, как ни стараются, правительство остается советским. Хотя определенные потери с нашей стороны в нем есть. Например, товарищ Самуэли. Его недавно под натиском правых вывели из правительства. А за что? За то, что железной рукой давил гидру контрреволюции.

— Как же его в обиду дали? Помнишь, когда на Тисе стояли, пришлось нам контрреволюцию в одном городишке громить. Смелый и справедливый человек!

— И я вместе с ним воевал — еще в Москве, когда эсеров подавляли. Пламенный революционер!

— Пламенный, а из правительства выставили! Как это допустили товарищи коммунисты?

— Ничего нельзя было сделать, вопрос решался большинством голосов. Голосов правых.

10 Зак. 46

— Почистить бы партию от них...

— Конечно... Надо бы раньше позаботиться о том, чтобы не растворяться в социал-демократии. Теперь как это сделать, когда такое напряженное положение? Не время решать, кого оставить в партии, кого удалить. Если бы обстановка была хоть немного спокойнее... Вот уйдем отсюда, румыны — с Тисы, положение стабилизируется, тогда и можно будет подумать о чистке. А то ведь сгоряча напринимали в партию массу случайной публики. Весной, помнишь, в партию сразу — как это по-русски? — гуртом, да, гуртом вступали.

Долго сидел Кедрачев у друга, дождался, пока пришла Ольга, посидели еще втроем — давно не сиживали так, по-семейному.

Ушел Ефим поздно. Ушел с неуспокоенным сердцем: тревоги и сомнения, с которыми шел к другу-комиссару, не ослабли, не улеглись, наоборот, обострились после всего, что узнал о борьбе, которая идет в партии. До этого как-то не думалось, что соглашатели — такая сила. Ведь в его роте партийцы-большевики без колебаний, без шатаний. И в других ротах, Янош рассказывал, то же. Если член партии, то уж надежный. Интернациональный батальон, конечно, дело особое, здесь все добровольцы, фронтовики. Но, по словам Яноша, и в частях, где одни венгры, высок боевой дух. На передовой каждый — что стеклышко, насквозь просматривается. А в тылу, верно, труднее разглядеть...

Неспокойно спал Кедрачев в эту ночь. Разговор с Яношем заставил шире посмотреть на все происходящее — до этого его тревоги и заботы ограничивались пределами роты, в крайнем случае, батальона. Сейчас круг раздался — теперь он с беспокойством думал: чем кончатся в верхах споры-раздоры? Рассказать ли товарищам о разговоре с Яношем? Рассказать! Нельзя скрывать правду, хоть и горькую. Однако... Ну ладно, будут они знать, что в тылу, в Будапеште, нет полного единства. Разве это прибавит им бодрости, уверенности? И разговор с Яношем был доверительным... Так что же, скрыть? Почему скрыть? Ведь о разногласиях в партии открыто пишут будапештские газеты, об этом и Янош рассказывал в роте, и от других приходилось слышать. Так рассказать или не надо? Нет, не лежит сердце к такому разговору...

На следующее утро Ефим и Ольга проводили Яноша в Будапешт. А в середине дня батальон получил приказ: по-

ходным порядком идти к ближайшей железнодорожной станции для погрузки в эшелон.

Состав, как и предполагали, пошел на юг. Ехали уже знакомым путем — тем самым, которым направлялись на север для наступления. По вагонам шли разговоры, что выгрузка будет где-то неподалеку от берега Тисы, за которую, как уже было известно, румынские войска отошли сами, когда началось наступление на север.

Уходили назад лесистые горы, все более ровной и открытой становилась местность, вот потянулась по сторонам пути знакомая равнина с редкими перелесками, виноградниками, белыми стенами и оградами, красными черепичными и желтыми соломенными крышами попутных деревень. Гадали: пойдет ли эшелон дальше на юг или свернет к Тисе?

Свернул!

Уже в сумерках остановились на небольшой, многим знакомой станции: во время прошлых боев батальон действовал неподалеку. Настроение бойцов несколько поднялось: говорили, что, наверное, будет дан приказ идти к реке, до которой всего с десяток километров, а потом и переправиться — ведь по соглашению румынские войска должны отойти от Тисы на восток.

Глава восемнадцатая

СНОВА НА ТИСЕ

Второй день, как выгрузились. Приказа выступать все еще нет. В ожидании разместились во дворах пристанционного поселка, а то и просто под открытым небом — благо дни стоят жаркие, ночи — теплые. Дел пока нет, время проходит в разговорах — бойцы ходят в гости из роты в роту, сидят кучками где-нибудь в холодке, спасаясь от неистового солнца, неторопливо беседуют, каким-то образом понимая друг друга даже при плохом знании языка — венгры и русские, поляки и сербы, австрийцы и словаки. Всех занимает одно: до каких пор придется томиться в безделье на этой крошечной станции, через которую только раз в день проходит пассажирский поезд в Будапешт и оттуда? До Тисы — линии разграничения с румынскими войсками — от станции всего километров десять — двенадцать. Уже перестали идти с севера воинские эшелоны — отвод Красной армии окончен. А румынская армия,

по слухам, все еще стоит на противоположном, левом берегу Тисы. Почему она не уходит? Почему не выполняет условия соглашения?

В эти дни Ефим часто встречается с сестрой — благо той делать нечего, лазарет пуст. Ольга очень беспокоится о муже — скоро неделя, как он уехал, а вестей от него все нет. Ефим старается утешить ее, убеждает, что с Яношем ничего случиться не может, задержался по делам, а нет вестей, — значит, скоро приедет. Но успокоить Ольгу трудно, она все ждет каких-то неприятностей.

Чаще всего Ефим приходил проведать Ольгу попозже вечером. Она нашла себе приют неподалеку от станции, в доме стрелочника. Там ей отвели небольшую каморку-кладовушку — по летнему времени вполне подходящее жилье. Ефим любил эти минуты — сидеть с сестрой у крохотного окна, за которым густеют поздние июльские сумерки, или на скамеечке во дворе, под старой раскидистой сливой, на ветвях которой уже созревают, наливаясь синевой, плоды. Они говорят о Яноше, стараясь угадать, почему от него нет известий, вспоминают родные ломские края, близких людей, мечтают о возвращении туда после войны, строят планы на будущее. Ольга знает, что жить в Ломске ей не придется, уже смирилась с этой мыслью, но приедет туда, как только можно будет, обязательно.

Как все-таки хорошо, что здесь, на чужбине, есть свой, родной человек, кровинка, сестренка!..

В этот день, как и накануне, Ефим пошел проведать сестру, когда уже начало темнеть. Не найдя Ольги ни во дворе, ни в садике, направился к ней в каморку. Уже взявшись за ручку двери, услышал приглушенные голоса. Кто бы это мог быть у Ольги? В недоумении остановился, послушал, ничего не разобрал, кроме того, что Ольга взволнованно разговаривает с кем-то, постучал.

— Ты, Ефим? — послышалось из-за двери.— Входи, что же ты?

Открыл дверь и остолбенело остановился на пороге. Перед ним на узенькой кровати Ольги — другой мебели, кроме стола, в каморке не было — сидел Янош по-домашнему, в расстегнутой куртке, босой.

— Ты? — изумленно спросил Ефим.

— Как видишь! — Янош встал, шагнул навстречу.

— Давно приехал?

— Часа два уже. С попутным порожняком из Будапешта. На ходу прыгал.

— И как не расшибся! — с запоздалой обеспокоенностью воскликнула Ольга.
— Я спешил к своей милой женушке. И к своему батальону. Оправдывает это меня, Ефим?
— Оправдывает, коль руки-ноги целы. Насовсем вернулся?
— Угадал. Меня хотели назначить в другую часть, и даже с повышением, но я не хочу расставаться с моим Интербатом. Так что считайте, что я снова на своем месте. Я как приехал, сразу хотел пойти в роты, но Олек не пустила... — Он, улыбнувшись одними глазами, глянул на жену.
— Это кто кого не пустил... Молчал бы лучше! — С сердито-шутливым видом Ольга шлепнула мужа ладонью по руке. — А не терпится — иди. Сейчас все в сборе, спать укладываются.
— Не пожар. Лучше уж завтра с утра, — посоветовал Ефим. — Еще навидаешься, наговоришься с народом. Хорошо, что приехал. Прояснишь, что и как. Что в Будапеште про текущий момент говорят? У нас тут разные слухи ходят; неизвестно, кто их пускает.
— Что за слухи?
— Да всякие. Будто в Будапеште голод...
— Это близко к истине. С продовольствием очень тяжело. Подвоза почти нет. Разоренная войной деревня мало что может дать городу.
— Как же выйти из положения?
— Скоро созреет урожай за Тисой. Там самые хлебородные места. Если к началу уборки урожая эти области вернутся к нам, с продовольствием станет лучше.
— Когда-то это будет... Сколько мы уже стоим здесь... С севера отошли, по уговору, а румынские войска все еще на Тисе. Почему, Янош?
— Потому, что Антанта обманывает... А ей подыгрывают правые. Знаешь, какие слухи гуляют по Будапешту? Будто в Австрии стоят наготове эшелоны с продовольствием и Антанта двинет их в Будапешт, как только сменится правительство.
— Мечтают, чтобы народ за пайку хлеба власть свою продал?
— Вот именно! Но я убежден — и этого кусочка хлеба Антанта не даст. Одни обещания...
— Норовит, значит, поймать рыбку на крючок без наживки? А что же там, в Будапеште, думают? Надо же както положение исправлять...

— Я был в Центральном Комитете, разговаривал с товарищами, от которых многое зависит. Они склонны начать наступление здесь, на Тисе,— не добром, так силой заставить румынское правительство выполнить соглашение.

— Правильно! Сумели из Словакии легионеров выгнать — с королевским войском как-нибудь справимся. Оно вон само от нас за Тису убралось.

— Ты, вижу, бодро настроен. А остальные?

— Правду сказать, приуныли. Считают, что зазря наша победа на севере отдана. А если придет приказ наступать здесь — духом воспрянут. Как думаешь, придет?

— Когда я уезжал, в ЦК сказали, что надо поддерживать наступательный дух. Как я понял, приказ о наступлении может последовать скоро, хотя есть определенный риск.

— Какой?

— Антанта в ответ может начать всеобщее наступление. Правда, кроме риска есть еще и расчет.

— На то, что сможем быстро отбросить румынскую армию?

— Не только. Расчет на то, что французы по-прежнему будут нерешительны. На то, что сегедское правительство мало влияет на Антанту — ведь оно пока не имеет никакой власти. Там военный министр — адмирал Хорти. Слыхал про такого?

— Слыхал. Читали в газетах.

— Так он не только адмирал без флота. Но и военный министр без армии. Несколько сот контрреволюционных офицеров под его началом — это еще не армия. Словом, обстановка на фронтах складывается в нашу пользу. Завтра с утра пойду в роты. Буду говорить с бойцами.

...Предположение комиссара сбылось. На следующий день под вечер поступил приказ выступать. Он обрадовал всех: надоело безделье, неопределенность...

Выступили под вечер. Шли проселком, почти не езженным, впереди шевелились длинные тени идущих — путь лежал, как и ожидали, на восток, к Тисе.

Уже в сумерки проселок привел к опушке реденького леска, потек вдоль нее. Свернули в лес, прошли немного и уловили еле слышное журчание — за стволами деревьев в сумеречи мягко засветилась вода.

К берегу подходили скрытно, было приказано не курить и не разговаривать. Уже стемнело, потянуло туманом, когда наконец вышли к невысокому береговому обрыву и стали занимать указанные позиции. Отделение Кедрачева

едва успело расположиться, как пришел Нечитайло и увел всех за собой; по пути к ним присоединилось еще десятка два бойцов. На порядочном расстоянии от берега, на лесной полянке, среди травы, лежало несколько плотиков, сколоченных из необструганных стволов. Эти плоты, вполголоса объяснил Нечитайло, предназначены для переправы, надо, соблюдая полную тишину, подтащить их к воде. На этих плотиках будут переправляться только самые первые — разведчики, пулеметчики и телефонисты, которые потянут через реку провод. После того как они закрепятся на противоположном берегу, остальные перейдут реку по мосту из понтонов, который наведут саперы: понтоны должны вот-вот подвезти по железной дороге на ту самую станцию, где выгружался Интербат. Со станции к берегу их доставят на обозных лошадях с таким расчетом, чтобы за ночь навести мост и всех переправить.

Долго — где волоком по росистой траве, где подняв на плечи, где проталкивая боком через деревья и кусты — тащили плотики. Осторожно уже в плотно сгустившихся сумерках спустили их с берега и до поры оставили у кромки воды. Закончив работу, вернулись на свои позиции. Нечитайло предупредил, чтобы не пользовались ни спичками, ни зажигалками — противник с того берега наблюдает.

Томительно тянулись минуты и часы — ждали приказа начать переправу, а его все не было. Росло нетерпение: время уходит, начать бы переправляться, когда на реку легла темнота и по воде поволокся серый туман...

— Вот что, товарищи!— предложил Кедрачев.— Вы подремите малость, пока все тихо-спокойно, а я вместо наблюдателя побуду.

Пристроившись на наломанных ветвях, бойцы постепенно затихли. Кедрачев, подвинувшись ближе к берегу, сидел, смотрел сквозь путаницу ветвей на чуть заметную под пеленой тумана реку. Было тихо, только чуть слышно журчала под берегом, омывая поникшие ветви, вода да где-то неподалеку, в кустах, несмело, видимо чувствуя присутствие людей, потенькивал соловей. Было немножко зябко, от реки тянуло прохладным ветерком. Поджав ноги, Кедрачев съежился, привалившись на бок, прижав к себе винтовку, внимательно всматривался и вслушивался в ночную тишину. Ничто не нарушало ее...

Но вот его ухо уловило еле слышный всплеск. Что это? Рыба? Плеск повторился.

Насторожился, замер, крепче сжал винтовку. Но слы-

шалось только сонное журчание струи под кручей, и где-то невдалеке рассыпали неторопливые трели соловьи.

Однако через некоторое время новый звук заставил Кедрачева насторожиться: в ночной тишине громко треснул сухой сучок под чьей-то ногой, прошелестели раздвигаемые ветви. Кто-то шел к соседней позиции. Раздался оклик. В ответ прозвучал властный, спокойный голос. «Кто бы это мог быть?» Кедрачев не сдержал любопытства, прошел к соседнему посту, откуда донесся оклик, спросил дозорного:

— Кто это тут ходит?

— Командир батальона. Смотрит, где лучше переправляться.

Кедрачев вернулся на свое место.

Ни ему, ни другим бойцам не могло прийти в голову, что командир батальона Баргаи занимается не поисками удобного для переправы места.

Как только на реку лег туман, Баргаи вместе со своим ординарцем, который давно служил у него и был ему предан, на заранее припрятанном в прибрежном камыше челноке тайно переправился на противоположный берег. От встретивших его румынских солдат он потребовал, чтобы они провели его в штаб. Полковнику, которому его представили, он сказал, что больше не хочет служить коммунистам и видит спасение Венгрии только в полном примирении с Антантой. Он рассказал все, что знал о плане наступления, и предложил свои услуги в качестве советника. Полковник поблагодарил Баргаи, но сказал, что тот будет более полезен, если тотчас же вернется к своей должности, что его внезапное исчезновение, несомненно, встревожит командование Красной армии, а это может вызвать изменения в его планах. Не очень хотелось Баргаи возвращаться. Но ослушаться он не посмел.

Баргаи очень боялся по возвращении выдать себя чем-нибудь. Больше всего опасался, что его заподозрит комиссар. Давно — пожалуй, с первого дня, когда при формировании батальона он познакомился с комиссаром Гомбашем, — Баргаи казалось, что он чувствует на себе его изучающий взгляд, хотя Гомбаш ничем не дал повода думать, что не доверяет ему. Зная за собой тайный грех назревающего предательства, Баргаи все время мучился мыслью, что комиссар может догадаться о его помыслах. Для Баргаи комиссар, сам того не подозревавший, был как бы дамокловым мечом, постоянно висящим над головой, — ведь по праву своей должности Гомбаш должен

быть в курсе всех распоряжений и действий командира. Баргаи тщательно маскировал свою неприязнь к «партийному инспектору», как он про себя именовал комиссара. Маскировал, может быть, рискованно — откровенно высказывая свои взгляды. Но это был оправданный риск. Офицерское самолюбие Баргаи, жажда единоличной власти шли в разрез с намерениями Гомбаша решать все вопросы сообща. Баргаи не мог не считаться с комиссаром, старался не срываться, если даже бывал раздражен тем, что Гомбаш в чем-то с ним не согласен, держался с ним предупредительно и любезно — и, может быть, это способствовало тому, что Гомбаш относился к Баргаи без предвзятости.

Около полуночи, побывав в ротах, ожидавших начала переправы, Гомбаш вернулся в штаб батальона — в пастушью хижину, покинутую хозяином, видимо, с тех пор, как эти прибрежные места стали прифронтовой полосой. Пуст был и примыкавший к хижине, огороженный жердями большой загон — наверное, здесь, поближе к водопою, находился раньше гурт скота, принадлежавшего какому-нибудь помещику. Войдя в хижину, Гомбаш увидел только двух посыльных бойцов, дремавших в углу на брошенной на пол соломе, да начальника штаба, который, сидя у сколоченного из неотесанных досок стола, сосредоточенно рассматривал расстеленную на нем карту, на которой, чтобы лучше было видно, стояла крохотная керосиновая лампочка. Узнав, откуда Гомбаш пришел, Фойяш спросил озабоченно:

— Вы не встречали командира батальона? Он уже давно на рекогносцировке. Я уже начинаю беспокоиться.

— Да? Я слышал, что он был в роте Свечкина. В других не был.

— Странно, — пожал плечами Фойяш. — На рекогносцировке он должен был побывать везде. Может быть, поискать его?

— Где он может быть, кроме как в батальоне? Подождем, придет, — сказал Гомбаш спокойно, но внутренне встревожился. В самом деле, куда пропал Баргаи? Не заблудился же!

Прождав еще часа полтора, Гомбаш и Фойяш, теперь еще более обеспокоенные отсутствием командира, стали обсуждать: как вести его поиски?

В разгар этого обсуждения вошел Баргаи — с усталым видом, мокрый по пояс.

— Наконец-то, товарищ командир! — обрадовался Гом-

баш и добавил заботливо: — Вам, наверное, надо обсушиться?

— Ничего, я солдат, привык! — пренебрежительно махнул рукой Баргаи. — Понтоны еще не прибыли?

— Нет еще, господин обер-лейтенант! — поспешно ответил Фойяш, поперхнувшись на последних словах.

Он постоянно забывал, что в Красной армии отменено всякое титулование и что вместо «господин» следует говорить «товарищ» — к этому слову бедный Фойяш вообще никак не мог привыкнуть, даже Гомбаша он иногда величал господином комиссаром, после чего начинал рассыпаться в извинениях.

— Я тщательно обследовал берег на большом протяжении, побывал в полку, который будет действовать рядом, — как бы предваряя вопросы, заговорил Баргаи.— Наши соседи начинают форсировать реку на подручных средствах за два часа до рассвета, чтобы переправиться, пока темно, а с рассветом наступать. Мы не должны отставать от соседей.

— Но понтоны... — заикнулся Фойяш, — поскольку они не подвезены, форсирование реки придется отложить.

— Понтоны ждать не будем! — отрезал Баргаи.— Пусть по наведенному мосту переправляются части, которые станут развивать наш успех. Приказ командования не отменен, и мы должны выполнять его. Как считаете, комиссар?

— Согласен с вами! — не задумываясь, ответил Гомбаш, он был польщен тем, что командир батальона, обычно не очень-то охотно советующийся с ним, на этот раз поинтересовался его мнением. Где ему было знать, что Баргаи не хотел ничего менять в плане наступления потому, что этот план был уже выдан им противнику. — Бойцы жаждут наступления, они хотят освободить нашу родную землю.

— Вот и отлично, — с удовлетворением резюмировал Баргаи.— Надеюсь, начальник штаба более не будет нам возражать?

Фойяш молча пожал плечами.

— Посылайте в роты связных с приказом начать переправу! — распорядился Баргаи.

— Слушаюсь, господин... товарищ командир!

— Я пойду с передовым отрядом, — предложил Гомбаш.

— Хорошо! — согласился Баргаи. — А я — с основными силами батальона. Вы, Фойяш, переправитесь с резервом,

после того как мы прочно закрепимся на том берегу, переправитесь, надеюсь, уже по понтонному мосту.

— Слушаюсь... — вздохнул Фойяш. Было видно, что он не расстался со своими сомнениями и опасениями.

Уже через несколько минут Гомбаш был на берегу, на прогалине среди густого кустарника, где собрались для переправы и строились для последней проверки бойцы передового отряда — разведчики, расчеты двух пулеметов, два телефониста, нагруженные катушками с проводом. В невысокого росточка бойце в широких шароварах и с толстой санитарной сумкой на боку он в темноте не сразу узнал Ольгу. А узнав, чуть не охнул от неожиданности. Через секунду-другую придя в себя, отозвал ее в сторону, свирепым шепотом спросил:

— Неужели не нашлось вместо тебя мужчины? Кто умудрился послать тебя?

— Никто! Я сама... А фельдшер не стал возражать.

«Тебе возразишь!» — с досадой подумал Гомбаш. Решительно сказал:

— Сейчас же возвращайся и скажи фельдшеру, чтобы прислал вместо тебя кого-нибудь взамен или шел сам.

— Я не вернусь.

— Вернешься!

— Не кричи! — остановила его Ольга, хотя он вовсе не кричал. — Сказала — не вернусь... Ты идешь, а я? — Она снизила голос до едва слышного шепота: — Подумай сам: как я могу, если не буду знать, что с тобой...

— Но пойми... — начал было он и тотчас же прервал речь: кажется, их слышат. Не хватает, чтобы посторонние стали свидетелями их семейных разногласий, и еще в такой момент! Да ее и не переспорить, дело известное. — Пусть так... — шепнул он в досаде. — Только, пожалуйста, не лезь вперед. Чтоб тебя там не видели! Не заставляй еще о тебе тревожиться!

Она молча легко прикоснулась к его руке, как бы успокаивая, и поспешила в уже равнявшийся строй.

Глава девятнадцатая

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

— Приготовиться! — зашелестело от бойца к бойцу. — Подымайсь!

Встряхивались, сгоняя с себя дрему. Вставали, ненаро-

ком натыкаясь друг на друга, вскидывали на плечи ремни винтовок, взвякивал задетый прикладом приторочённый к поясу котелок или лопатка. Здесь, в прибрежных зарослях, темень держалась еще непроглядная, и видное меж ветвями небо было иссиня-черным, с чуть приметными искорками звезд, каким оно бывает в безлунные ясные летние ночи.

— Взвод, за мной! — послышалась негромкая команда Нечитайло.

Вытягиваясь в цепочку, бойцы зашагали вдоль берега, пробираясь меж стволами деревьев, огибая кусты. Шли молча, сосредоточенно: начинается настоящее дело, кому что выпадет впереди?

Шли недолго. Вскоре последовала команда остановиться. Спустились почти вплотную к воде, подернутой беловатым ночным туманом, сгрудились плотно за нависшими над ней кустами — здесь собралась вся русская рота. Приглушенные голоса доносились слева и справа: неподалеку на берегу сосредоточивались другие роты и команды — переправа уже действовала, плоты, заполненные бойцами, ушли на ту сторону. Отделение Кедрачева находилось совсем близко, всего в нескольких шагах от места, где к стволу ивы, купающей ветви в говорливых струях, был привязан канат, протянутый через реку, после того как через нее переправились самые первые. Низко нависая над водой, он уходил в серый туман, и было заметно, что канат чуть подрагивает — то ли его колеблет вода, то ли руки бойцов, ведущих к противоположному берегу невидный в тумане плот. Трудно было понять, уходит плот или уже возвращается. Вот в сером тумане смутно проступило темное пятно. Оно приобретало все более отчетливые очертания. Уже виден плот, который, подтягиваясь по канату, гонят двое или трое бойцов. Плот мягко ткнулся в берег, оттуда спросили:

— Как там?

— Тихо пока, — ответили с плота. — Из окопов румыны ушли без боя.

— Первый взвод, на плот по одному!

Сгрудившиеся под невысоким обрывом бойцы зашевелились. Кто-то, оступившись, бухнул в воду, вспыхнул смех и мигом погас. Бойцы опасливо размещались на плоту — слишком утлым казался он, — все жались один к одному. Стоявший возле дерева, к которому привязан канат, Свечкин вполголоса считал:

— Один, второй, третий, четвертый, пятый...

Окончив счет, резко, но тихо скомандовал:

— Хватит! Пошел!

Плот медленно стал удаляться, тая в тумане.

Когда пришли к переправе, Кедрачев думал, что его отделение переправится в числе первых. Однако ждать пришлось долго. Наконец подошла очередь его отделения.

— Приготовиться! — вполголоса предупредил он.

Освободившийся плот уже у берега. Вдруг резкий грохот расколол ночную тишину. Прошелестели сбитые взрывом ветви, комья земли плюхнулись в воду, кисло пахнуло сгоревшим порохом.

Кто-то из бойцов кинулся в сторону. Кедрачев разглядел: Холонец! Толкнул его в плечо: «Ложись!» И сам упал рядом на пропитанную сыростью травянистую землю.

— Чего ждать? — услышал над собой голос Никитенко. — Новых снарядов? Скорее на плот!

— Верно... — Кедрачеву стало стыдно, что он растерялся. Дернул за рукав Холонца: — Давай, пока не накрыло!

Кедрачев пропустил на плот всех своих, быстро оглядел: опасливо подобрав ноги, сидит Холонец, в самую середку забился Еремей Жуков, у Воропушина на шее связанные шнурками ботинки — предусмотрел на случай, если придется оказаться в воде. Все устроились, только самому Кедрачеву да еще Никитенко места не осталось...

Наверху грохнул новый разрыв.

— Никитенко, давай! — Кедрачев шагнул в воду, передал винтовку Воропушину, ухватился за край уже тронувшегося плота. Увидел, что и Никитенко последовал его примеру — тоже ухватился за плот, сунув кому-то свою винтовку.

Берег уходил назад, сливался с туманной тьмой. Плот шел быстро — канат перебирали сразу несколько человек. Кедрачев плыл, держась обеими руками за шершавое бревно, рядом покряхтывал Никитенко. Вода, в первые секунды обдавшая холодом, теперь казалась совсем теплой, да, верно, она и была такой, нагревшись за долгий июльский день.

Берег позади уже совсем утонул в белесой мгле. Плот, наверное, приближался к середине реки. Приглушенный расстоянием, сзади донесся новый разрыв.

— Вот гады! — тихо сказал Никитенко. — Точно бьют! И как узнали, откуда мы переправляемся?

Уже более глухо донеслось еще несколько разрывов, потом все стихло. Слышалось только напряженное дыхание бойцов, перебиравших канат, да журчание струи, об-

текающей плот, — здесь, на середине реки, все явственнее чувствовалось, как течение напирает на него.

Словно наливаясь стужей, с каждой минутой у Кедрачева тяжелели ноги, и он пожалел, что сгоряча сунулся в воду обутым — надо было, как Воропушин, снять ботинки...

Долго ли еще плыть? Туманная мгла немного посветлела, но все равно не видать ни оставленного берега, ни того, к которому плывут.

Но вот ноги, как-то неожиданно для Кедрачева, коснулись дна. Наконец-то!

Плот ткнулся в смутно белеющую у воды полоску отмели. С берега кто-то звал приглушенным голосом:

— Сюда, сюда давайте!

В ботинках хлюпало, ногам сразу стало жарко, надо бы переобуться. Некогда, скорее наверх! На пути встали густые заросли, сквозь них приходится продираться. Вот заросли пройдены. Оказывается, за ними — поросший травой склон, с которого, если оглянуться, видна река и даже чуть-чуть просматривается в серой дымке противоположный, только что покинутый берег. Как быстро посветлело! Ведь совсем недавно, когда плыли через реку, вокруг лежала непроглядная тьма...

Впереди, выше по склону, зубчатой полоской темнел лесок, а перед ним, чуть пониже, прорисовывалась извилистая линия обращенной бруствером к реке траншеи, в ней тут и там шевелились головы бойцов, которые переправились раньше и первыми заняли ее. К ним спешили присоединиться и остальные.

— Хороша траншея! — одобрил, устраиваясь рядом с Кедрачевым, Воропушин.— В полный рост! Вот только бруствер не в ту сторону. Не беда, новый накидаем...

— Стоит ли? — заметил Кедрачев. — Рассчитываешь долго сидеть тут? Навряд ли задержимся...

— И хорошо. А приспособиться, на случай ежели бой, все одно надо.— И Воропушин стал отстегивать лопатку, счастливым обладателем которой он был.

Кедрачев сказал остальным:

— Устраивайтесь, други, так, чтобы огонь по лесу вести.

— Да что мы тут, обороняться переправились? — пробурчал Никитенко. И тем не менее, положив на край траншеи винтовку, стал приспосабливать ее для стрельбы в сторону леса. Его примеру последовали и остальные.

Вдоль траншеи, по стороне, обращенной к реке, бы-

стрым шагом шли двое, оживленно размахивая руками, о чем-то, видимо, споря. Командир батальона и комиссар. «Прошли — нас вроде и не заметили», — посмотрел вслед Кедрачев.

— Что-то не поладили... — обратил внимание и Никитенко. — А, Ефим?

— Какого лада хочешь? Один — коммунист самый что ни на есть, другой — офицерская кость: спит и видит, как бы ему единовластно, без комиссара, командовать. Ладно, хоть честно служит.

— Не продаст, как думаешь?

— Комиссар говорил — можно верить.

— И то хорошо...

Вероятно, Никитенко и Кедрачев не остались бы такими спокойными, если бы знали, что явилось предметом спора командира и комиссара и к чему этот спор приведет.

Гомбаш и Баргаи спорили о том, что же предпринимать теперь, когда почти весь батальон переправился.

— Не следует спешить,— говорил Баргаи.— Закрепимся в столь любезно оставленной нам противником траншее, подождем, пока будет наведен понтонный мост и переправятся артиллерия и основные силы, тогда уверенно начнем наступать.

— Надо наступать немедленно,— возражал Гомбаш.— Не теряя ни часа, расширять занятый плацдарм!

— Простите, это выглядит несколько авантюристически...

— А ваше предложение, извините,— несколько оппортунистически,— стараясь не горячиться, в тон ему ответил Гомбаш.

В глубине души он понимал, что Баргаи, пожалуй, прав, но даже, став уже вполне взрослым человеком и достаточно опытным военным политработником, Гомбаш не всегда мог одолеть в себе ту юношескую горячность и категоричность в суждениях, которая немало навредила ему еще в гимназические годы, особенно когда он имел дело с человеком, к которому не лежала душа, а Баргаи был именно таким человеком.

— Я не силен в вашей политической терминологии, мыслю только военными категориями,— холодно усмехнулся Баргаи,— и считаю, что, пока наступление полностью не обеспечено, следует оставаться на укрепленной позиции.

— Но эта траншея была удобна для противника,— настаивал Гомбаш,— а для нас — нет. Почти вплотную перед

нами — лес. Он заслоняет обзор, противник может незаметно приблизиться, ударить...

— Какой может быть удар! Поскольку противник откатился, едва узнав, что мы переправляемся через Тису, нелогично полагать, что он добровольно, без боя, оставил позиции лишь затем, чтобы потом с боем возвращать их. Он теперь ни о чем, кроме как об обороне, не помышляет.

— И вы предлагаете оставаться в бездействии?

— Почему же? Уже выслана разведка, уточним обстановку, установим связь с соседними частями, если они уже переправились. Мы не можем действовать изолированно. Вы не согласны?

— Нет, почему же...

Разговаривая, Гомбаш и Баргаи дошли до места в траншее, где был установлен полевой телефон, провод от которого тянулся через реку туда, где остался начальник штаба. Фойяш должен был, если не наведут понтонный мост, обеспечить доставку на плотах боеприпасов и указать артиллерии, когда она подойдет, цели на случай, если понадобится открыть огонь по противнику прежде, чем пушки переправят.

— А вот и разведчики вернулись! — показал Баргаи на трех бойцов-венгров, шедших по траншее к месту, где он стоял с Гомбашем.

Разведчики доложили, что прошли в гору от траншеи к лесу, углубились в него, но противника не обнаружили. Лес тянется узкой полоской над берегом. За лесом — открытое ровное поле с небольшими перелесками, там — тоже никаких признаков противника.

— Видите, противник отступил! — воскликнул Гомбаш.— Так двинем батальон?

Он снова поймал себя на мысли, что, должно быть, поторопился. Но он знал, какой боевой порыв царит в батальоне, как рвутся бойцы в наступление, помнил, каким ударом для них был уход из освобожденной Словакии. Вероятно, желание поддержать этот наступательный дух и заставило его пренебречь соображениями прямой военной целесообразности.

— На войне необходима не только храбрость. Не менее важна и осторожность! — назидательно поднял палец Баргаи.— Противник видимостью отхода может приготовить и ловушку. Надо все взвесить, выждать. Я сам пройду через этот лес на опушку и понаблюдаю, а потом уже примем решение. Ждите меня здесь. И ничего не предпри-

нимайте до моего возвращения. Всем оставаться в траншее! — Он подчеркнул: — Всем!

Движением руки Баргаи подозвал своего ординарца, который неотступно следовал за ним. Ловко выбравшись из траншеи, зашагал к лесу, до которого было всего шагов пятьдесят. Через несколько секунд он с ординарцем скрылся в зеленой чаще.

Время шло...

«Сколько придется ждать? — с беспокойством думал Гомбаш, поглядывая на небо. Оно было уже золотисто-голубоватым, каким бывает в минуты, когда солнце, поднявшись над горизонтом, как бы обретает полную дневную силу. Оно поднялось еще невысоко — только чуть показалось над верхушками деревьев,— и от леска почти до самой траншеи обозначились длинные тени, они быстро укорачивались, словно спеша отступить. — Все-таки хорошо бы пойти сейчас вперед,— размышлял Гомбаш.— Доводы Баргаи основательны, и все-таки... Ведь уже весь батальон переправился, кроме обоза и лазарета... И это важно. Да, еще артиллерия... Вероятно, Баргаи прав...»

Его мысли прервал голос сидевшего рядом телефониста:

— С того берега спрашивают командира батальона Поговорите, товарищ комиссар?

— Да, конечно! — Гомбаш взял трубку.

Звонил Фойяш:

— Подошла артиллерия, а понтонов все еще нет. Может быть, начать переправлять орудия на плотах, соединяя их для этого по два вместе?

— Правильно! Все плоты пока на этой стороне. Сейчас переправим их обратно. Я распоряжусь.

Гомбаш стал вылезать из траншеи, чтобы спуститься к берегу, приткнувшись к которому стояли четыре бревенчатых плота, а возле них сидели несколько красноармейцев саперного взвода, из тех, кто обеспечивали переправу.

Вверху послышался такой знакомый зловещий шорох летящего снаряда. Гомбаш бросился обратно в траншею. Грохнул разрыв. Внизу, возле воды, опадал желтоватый вихрь взметенного песка. Один из плотов, сорванный с места, плыл по сверкающей солнечными бликами воде, медленно удаляясь от берега. Саперы возле плотов лежали ничком, вжимаясь в песок; один из них, видимо оглушенный или раненный, неловко, на четвереньках, карабкался по травянистому откосу вверх. Гомбаш хотел выбе-

жать к нему на помощь, но в эту секунду перед его глазами, заслонив карабкающегося сапера, всклубился черный дым, выбрасывая из себя рассыпчатые струи взвихренной земли.

Стенка траншеи вздрагивала от частых разрывов. Выглядывая в паузах между ними, Гомбаш видел, что вражеские снаряды упорно падают в то место, где стоят плоты. Это показалось ему странным: со стороны противника никак нельзя разглядеть места переправы — оно заслонено лесом, берегом,— а снаряды ложатся точно, словно кто-то корректирует огонь. Вот еще один плот вздыбился, разваливаясь на бревна...

«Разобьют нам всю переправу! — мелькнула мысль.— Останемся отрезанными... Что предпринять? Звонить на тот берег, Фойяшу, чтобы готовили новые плоты?..»

Артиллерийский обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. Гомбаш тотчас же велел телефонисту вызвать Фойяша.

Вскоре телефонист подал трубку. Гомбаш не успел сказать и двух слов, как Фойяш спросил: где командир батальона? Почему он сам не отдает распоряжений? Узнав, что Баргаи ушел на рекогносцировку в лес и до сих пор не вернулся, Фойяш чрезвычайно забеспокоился:

— Может быть, с ним что-нибудь случилось? Надо немедленно послать на поиски!

Беспокойство Фойяша передалось и Гомбашу: в самом деле, куда пропал Баргаи? Ушел он довольно давно, а до опушки леса, откуда он хотел осмотреть местность, несколько минут ходу, к тому же он должен был вернуться, услышав, что противник ведет артиллерийский обстрел.

Переговорив с Фойяшем, который заверил, что предпримет меры для изготовления в самое кратчайшее время новых плотов, Гомбаш спешно послал троих бойцов-венгров из числа батальонных разведчиков искать Баргаи.

Но как быть, пока не найден командир батальона? Пребывать в бездействии?

Гомбаш решил попросить Фойяша поскорее перебраться на этот берег. Формально в отсутствие командира батальона начальник штаба его замещает. Неудобно принимать какие-либо решения без него. Гомбаш попросил телефониста снова вызвать Фойяша.

В этот момент опять прогремел разрыв — на этот раз выше по берегу, почти на линии траншеи.

Вражеские снаряды ложились вдоль траншеи точно, как по заранее пристрелянной цели, — конечно, так оно и

было: противнику прекрасно известно, где находится траншея. Но откуда он знает, что в ней сейчас бойцы Интербата?

Снаряды падали с небольшими интервалами, один за другим: три-четыре — и пауза. Стреляла, видимо, поорудийно всего одна батарея, методически перемещая огонь с фланга на фланг. Черный дым разрывов взметывался то на бруствере, то позади траншеи, один или два снаряда угодили прямо в нее. «Всех нас здесь перебьет! — Холодок тревоги полоснул Гомбаша по сердцу.— Траншея наверняка пристреляна, надо броском вперед!»

Забыв, что велел телефонисту соединить себя с Фойяшем, Гомбаш быстро зашагал по траншее, повторяя:

— Вперед, в лес! Все — в лес!

Бойцы, уже и без его команды, выскакивали из траншеи, бежали к лесу. «Не один я такой догадливый!» — подумал Гомбаш.

Проследив, чтобы все покинули траншею, он вернулся к телефонисту, приказал:

— Предупредите тот берег, что уходим, и сматывайте провод!

Когда Гомбаш добежал до леса, сзади снова загремели разрывы: противник после небольшого перерыва возобновил огонь по траншее, теперь уже опустевшей.

Не задерживаясь в лесу, интербатовцы прошли его насквозь и вскоре достигли противоположной опушки. Слышно было, как над деревьями проносятся снаряды и рвутся позади, у берега, где не осталось уже почти никого. Вскоре обстрел прекратился.

На опушке, выставив наблюдателей, Гомбаш собрал командиров всех рот, чтобы посоветоваться: как быть дальше? Волей-неволей, а сейчас за батальон отвечал он. Командира батальона отыскать не удалось, а начальник штаба все еще за рекой, связи с ним нет.

Командиры рот единодушно высказались за то, чтобы не терять дорогого времени, идти на восток, выслав вперед разведывательные дозоры.

...Уже пройдено несколько просвеченных солнцем перелесков, пересекли широкое пшеничное поле с тяжело повисшими, почти созревшими колосьями. Шли осторожно, след в след, стараясь без необходимости не мять хлебов. Когда поле осталось позади, устроили привал в очередной рощице — ждали, пока дозорные дадут знать, что можно беспрепятственно продвигаться дальше. Все считали, что наступление разворачивается удачно, что румын-

ская артиллерия стреляла только затем, чтобы на некоторое время задержать наступающих и дать своим войскам беспрепятственно отойти с территории, которую они должны оставить по соглашению. Настроение у всех было спокойно-благодушным. Уже не верилось, что в этот полный солнечной истомы день может грянуть бой — противник-то уходит! Кедрачев и его товарищи сидели тесной кучкой на теплой, распаренной солнцем траве, не спеша перебрасывались словами. Еремей, задумчиво перетирая в ладонях сорванные на ходу колоски и дуя на них, чтобы отделить шелуху от зерен, говорил с грустью:

— Воюем вот, хлеб топчем, а здешнему крестьянину убыток. Дома-то, поди, тоже хлеб стоит, поспевает, хозяйской руки ждет...

— Ждет, коли посеяно...— откликнулся Воропушин.— Кто его знает, посеяно ли? Может, ни семян, ни тягла... С войной-то сплошной разор.

— Н-да...— вздохнул Жуков.— Знать бы, как дома сейчас. Не пустил нас румын весной. Может, теперь, как спихнем его с мадьярской земли, сговорчивее станет?

— Во! Слышите, какой сговорчивый? — приподнялся Торопыгин, напряженно вытянув шею.

Теперь услышали все: где-то впереди, чуть левее по направлению их движения, стучал пулемет короткими отрывистыми очередями.

— Наш или румынский? — прислушиваясь, старался догадаться Кедрачев.

— Какая разница...— озабоченно сказал Никитенко.— Важно — где-то слева соседи вошли в соприкосновение... А перед нами — тихо, противника не видать. Не заманивает ли? Теперь держи ухо востро.

Все подтянулись, лица стали напряженными.

...Шли уже не в затылок один другому, а развернувшись в цепь. Держали оружие наготове: звуки боя по-прежнему доносились слева, пулеметная дробь перемежалась отрывистыми винтовочными выстрелами. Вдруг стрельба стихла. Что произошло слева? Сбит там противник или, наоборот, остановил наступающих?

Батальон продолжал движение. Перелески становились все реже. Впереди открывалась беспредельная ровная, без единого кустика, степь, только далеко чуть заметной полоской синел лес да слева, в стороне, крохотными белыми пятнышками виднелись постройки какой-то деревни. Теперь интербатовцы шли по совершенно открытому лугу, поросшему желтоватой от нещадного летнего зноя, поряд-

ком выеденной скотом травой; кое-где на лугу виднелись идущие параллельно многочисленные тропы, выбитые копытами. Скота не было видно, хотя самое время было ему сейчас пастись. Может, его угнали захватчики или попрятали хозяева?

Опушка все ближе. Как хорошо спрятаться от палящего солнца в лесной прохладе... А может, там, в зеленой тишине, где-то и родничок найдется с прозрачно-чистой, ломящей зубы водой?.. До леса еще не меньше тысячи шагов — ну что же, через несколько минут над головой будет желанная тень. Кедрачев расстегнул жаркую суконную куртку — запаришься в ней, своя родная гимнастерочка для такой погоды лучше, она полегче... Глянул вправо, влево. Деловито шагает рядом Никитенко, сдвинув бескозырку по-флотски на лоб — ему она больше, чем кому-либо, идет. Сутулясь, ступает, тяжело ставя ногу, Воропушин. Его лицо, окаймленное небольшой бородкой — не любит часто бриться, из-за этого с ним постоянный спор,— блестит от пота. А Холонец шагает бодро, закинул винтовку за плечо, хоть и приказано держать на изготовку. Ничего, противника вроде пока не предвидится...

Раздался резкий хлопок, затем глуховатый множественный, падающий сверху свист и тупые удары о землю где-то совсем рядом. Шрапнель!

— Броском — вперед! — крикнул Кедрачев.

Цепь рванулась бегом, чтобы поскорее выйти из зоны обстрела, не дать врагу пристреляться.

Кедрачев огляделся. Все тут. Вот только Еремей... Где Еремей? Вот он... Догоняет, пытаясь на ходу снять свой необъятный мешок, за которым вьется дымок и болтаются какие-то тряпки.

— Ты что? — подбежал к нему Кедрачев.

— Попало,— бормотал тот, одной рукой держа винтовку, другой пытаясь снять лямки мешка. — Аккурат в меня попало!

— Ранен, что ли?

— Не знаю... Как вдарит!

Наконец Еремею удалось снять мешок. Кедрачев глянул на его спину. Сукно куртки было целым.

— Да что с тобой?— не мог понять Кедрачев.

— Взорвалось...

— Шрапнель не взрывается.

— В патроны попало...

— Ну счастливый ты. Спасло тебя твое барахло! — Теперь Кедрачев понял: запасливый Еремей сумел поти-

хоньку обеспечить себя патронами сверх нормы и, поскольку они не уместились в патронташе, спрятал их в мешке среди своих вещей. Шрапнельный «орешек», видимо, угодил в один из патронов, тот выстрелил, загорелось тряпье, которым был набит мешок Еремея.— Ну чудеса! — рассмеялся Кедрачев. — Ладно, не отставай! А то наши вон где! Давай за ними!

Когда догнали, Кедрачев убавил шаг.

Рядом бежит Торопыгин; топая, меряет шаги Воропушин; за ним, чуть приотстав, Жуков с разорванным мешком за спиной, из которого выглядывают, полощутся на бегу тряпки. Кедрачеву захотелось крикнуть: «Брось мешок! Не срамись!» Да не до того сейчас, главное — преодолеть оставшееся до леса пространство раньше, чем вражеская артиллерия ударит снова. Глянул еще раз в сторону Никитенко. Бежит, широко раскрыв рот, бескозырка сбита на самый лоб, единственные во всем батальоне ленточки хлещут по спине, дочерна пропотевшей... Деревья впереди словно сами спешат навстречу.

Перед глазами метнулась ветка с крупными, сочно-зелеными резными листьями. В уши давнул чей-то испуганный крик, чей-то торжествующий возглас. Хлопнуло несколько выстрелов — пулемет бьет... Вдруг его стук оборвался. Тишина обрушилась неожиданно, и в ней слышен только шелест мягкой лесной травы под ногами, возбужденные голоса. Разнеслась громкая команда Нечитайло:

— Не задерживаться! Через лес!

Остановились, пробежав лесок насквозь. Дальше распахивалась степь. Почти сразу у опушки начинались просторные хлеба.

Как только подтянулись отставшие, батальон продолжил движение. Но едва они выдвинулись с опушки, вновь начала бить шрапнелью вражеская артиллерия, и так, что интербатовцам пришлось отойти обратно в тень деревьев.

Там и нашел Гомбаша Фойяш, наконец перебравшийся через Тису. Гомбаш сразу обратил внимание, что он очень взволнован. Оказалось, не только потому, что мост до сих пор не наведен, не прибыли понтоны, а плоты слишком ненадежны, чтобы переправлять пушки. Еще одна новость потрясла Гомбаша. Отозвав его в сторонку, Фойяш вполголоса сказал:

— Это только для вас. Уже после того как я переправился, в прибрежном лесу нашли тяжело раненного ординарца нашего командира батальона. Во время рекогносцировки им неожиданно встретились двое в румынской

форме. Ординарец вскинул винтовку и выстрелил. Тут же выстрелили в него. Он упал. Уже теряя сознание, слышал, как Баргаи о чем-то заговорил с румынами, причем говорил не как с врагами, а как с добрыми знакомыми. Потом нагнулся к раненому, спросил: «Ты жив?» Раненый не в силах был ответить. Только слышал, как Баргаи сказал тем, двоим: «Готов. А жаль. Я отпустил бы его... Ну что ж, идемте...» Что было дальше, раненый не знает. Сознание оставило его.

— Вот как...— Гомбаша охватило жаром, он не мог найти слов, бешено забилось сердце: «Как же я, комиссар, не догадался, считал его честным? Моя вина, моя, только моя, и ничья больше! И будет справедливо, если за это меня партия покарает!.. Теперь понятно, почему румынская артиллерия бьет так точно! Баргаи — предатель! А Фойяшу верить можно? Он тоже офицер... Но что я? Фойяша нет оснований подозревать. Ведь я и Баргаи не подозревал... Нет, нет, Фойяшу можно верить».

— Я тоже потрясен,— сказал Фойяш, видя, что Гомбаш никак не может прийти в себя.— Теперь вся ответственность лежит на нас с вами. Надо обсудить, как действовать дальше.

— Хорошо,— постарался успокоиться Гомбаш.— Давайте обсудим.

— Теперь я понимаю замысел противника: сначала дать нам высадиться и даже немного продвинуться, потом разгромить нас и сбросить в Тису,— высказал свое мнение Фойяш.— Баргаи, очевидно, выдал наши планы. При таких обстоятельствах продолжать наступление рискованно. Необходимо установить связь с соседними частями, дождаться, пока будет переправлена артиллерия...

— Вы правы, конечно. Только очень жаль — люди так стремятся вперед...

Отделение Кедрачева лежало в тени опушки. Было приказано окопаться, но никому не хотелось этого делать. все надеялись, что скоро снова пойдут вперед. Уже два раза наведывался Нечитайло и требовал поскорее окапываться. Первым вырыл неглубокий окопчик Холонец и передал лопатку Торопыгину. Тот управился еще быстрее, всем видом показывая, что считает работу зряшной. А Воропушин неторопливо, с крестьянской обстоятельностью, продолжал трудиться над своим окопом, хотя он был уже достаточно глубок. На требование Кедрачева передать лопатку другому Воропушин отвечал:

— Еще чуток...

В конце концов не выдержал Никитенко, который ждал очереди:

— Ты себе тут целый погреб выроешь, а мы оставайся на открытом месте! Давай лопатку!

— Еще чуток! — ответил невозмутимо Воропушин.

И только по повторному требованию Кедрачева передал наконец лопатку. Неподалеку, за кустом, оживленно переговариваясь, устраивались на новой позиции только что пришедшие венгры-пулеметчики — расчет из трех бойцов. Кедрачев присмотрелся — один из них показался знакомым. Действительно, Фаркаш! Вот так встреча! Фаркаш сразу узнал Кедрачева, обрадованно протянул руку. Присели рядом, заговорили на смеси русского и венгерского. Фаркаш сообщил, что был ранен, недавно вернулся в батальон из госпиталя. Рассказал, что в Будапеште неспокойно, много разговоров о заговорах контрреволюционеров.

Беседовали недолго — Кедрачев ждал, что вот-вот с очередной ревизией заявится взводный. Так и получилось — едва он вернулся к своим, как пришел Нечитайло и потребовал, чтобы рыли глубже.

— Неужто вперед не пойдем, товарищ командир взвода? — спросил Кедрачев.

— Приказано закрепиться здесь. Шесть раненых в роте, один убитый. Нельзя напролом. И вообще, товарищи,— Нечитайло важно провел по усам,— чего не видно вам из ваших окопчиков, то видно с дерева, с батальонного наблюдательного пункта. А про то, чего не видно с нашего дерева, знает командование.

— Командование...— хмыкнул Еремей Жуков.— А правда, что наш командир батальона к врагу переметнулся?

— Правда... Недоглядели.

— Вот оно как начальникам-то доверять! — вскинул голову Жуков.— Мы под ими, а они нашего брата...

— Ты всех командиров без разбора не хай! — не дал ему договорить Нечитайло. — Может, мне или комроты товарищу Свечкину не доверяешь?

— Да нет, я что, — смутился Жуков. — известные же люди... Я про тех, которые выше.

— Ну и выше — тоже известные. Комиссару товарищу Гомбашу доверяешь?

— Комиссару? А как же! Партейный...

— То-то! По одному не суди.

...Томительно тянулся день. Давно вырыты окопы. Сколько придется в них сидеть? По-прежнему стояла тишина, противник не давал знать о себе. Впереди, истомленные зноем, в безветрии, недвижно стояли хлеба, за ними в дрожащем солнечном мареве, изжелта-зеленая, лежала степь с редкими перелесками, издалека похожими на плоские островки. Где-то там — противник...

Когда солнце перевалило зенит и пошло в тыл интербатовцев, почти одновременно слева и справа послышались далекие орудийные выстрелы. Все напряженно вслушивались: не начал ли противник наступать?

Но впереди было тихо и безлюдно.

Однако сердца бойцов все больше полнились тревогой: канонада на флангах батальона усиливалась, но было непонятно, свои наступают или противник.

...Противник атаковал интербатовцев со стороны хлебного поля, которое совсем недавно выглядело таким спокойным. Цепи вражеских солдат, едва заметных в хлебах, приближались. Откуда-то начали бить пушки, стреляя попеременно то шрапнелью, то осколочными снарядами. Трещали сбиваемые ветви, пороховой дым тянулся меж деревьями, заглушая запах прогретой солнцем листвы.

Враг наседал, подковой охватывая позиции батальона. Неизвестно было, что происходит на флангах. Может быть, противник уже заходит батальону в тыл?

Батальон продолжал обороняться, расходуя последние боеприпасы.

Видя, что иного выхода нет, Гомбаш и Фойяш, посовещавшись, отдали приказ перекатами отходить к реке — одни отходят, другие прикрывают огнем.

Когда отделение Кедрачева вместе со всем взводом вышло на лесную опушку, примыкавшую к берегу Тисы, от деревьев протянулись длинные вечерние тени, а в ложбинках и в глубине леса проступила предзакатная сумеречь. С отделением шел Фаркаш, который прикрывал отход пулеметным огнем. Его расчету опять не повезло, он остался один: два других пулеметчика были ранены, их унесли санитары. Бойцы помогали Фаркашу тащить тяжелый ствол пулемета, станок-треногу и коробки с лентами.

Остановились в знакомой, тянущейся над берегом траншее. Из леса, который бойцы только что прошли, длинной очередью ударил вражеский пулемет, захлопали винтовочные выстрелы — противник шел по пятам. Фаркаш открыл ответный огонь, стрелял скупыми очередями, экономил патроны.

Пока не дошли до траншеи, еще жила надежда, что удастся остановить противника. Но когда показался берег, стало ясно, что надежды бессмысленны: толпятся у кромки воды бойцы, торопливо отходят перегруженные людьми плоты. Плотов мало, в первую очередь переправляют раненых.

Как-то сразу опустились сумерки. Огонь противника постепенно прекратился.

Пользуясь наступившей передышкой, Кедрачев спросил у своих, сколько еще есть патронов. Ответы были неутешительными. Надеяться можно было только на Фаркаша — у него ленты три в запасе.

Недобрая, тревожная тишина повисла над позицией.

— Смотрите в оба! — предупредил Кедрачев товарищей.— Чтоб палец на спуске!

Совсем стемнело.

В траншее послышались неровные шаги, кто-то слабым голосом проговорил:

— Обожди, дай передохнуть... Мочи нет.

— Ну посиди, посиди,— послышалось в ответ.

«Никак, сестренка?» — насторожился Кедрачев. Шагах в трех от него на дно траншеи опустился, тяжело дыша, раненый, его поддерживала Ольга.

— Олюнька!

— Ефимушка?

— Я думал, ты на той стороне.

— Здесь я давно. Раненых вот переправляю... Последнего к плоту веду.

— Ты с ним переправишься?

— Нет. Отправлю — и сюда.

— Зачем?

— А вдруг еще кого ранят?

— Найдется и без тебя кому прибрать...

— Нет, я вернусь.

— Сестричка, пойдем! — заговорил раненый.— Отдышался я, пойдем, а то как бы без нас не уплыли...

— Не уплывут, не бойся! — Ольга помогла раненому подняться, сделала шаг, обернулась, спросила брата: — Где Ваня, не знаешь? Спрашивала — никто не видал.

— Куда ему деваться! Если не в нашей роте, так в польской или у сербов.

— Пойдем, миленький,— ласково сказала Ольга и, поддерживая раненого, повела его.

Кедрачев с тревогой посмотрел им вслед: «Ведь останется. А если начнется заваруха?»

Он прошел по траншее к Фаркашу. Присел рядом с ним закурить. Только потянулся за своей табачной коробочкой — услышал: подходят двое, тихо переговариваясь на русском языке. Комроты и комиссар!

Свечкин и Гомбаш остановились. Гомбаш о чем-то спросил Фаркаша на родном языке. Тот ответил утвердительно, положив ладонь на ствол пулемета.

— А, и ты здесь, — сказал Гомбаш, увидев Кедрачева, — на самом ответственном месте.

— Почему — на самом ответственном?

— К вашей позиции лес ближе всего. А там противник. Так что будьте начеку.

— Это само собой. Патронов бы нам...

— С ними задержка. Где-то застрял транспорт. Для вас соберем здесь.

— Как вообще дела?

— К сожалению, неважно.— Гомбаш заговорил громче, видя, что послушать его подошли и другие бойцы: — Противник и справа, и слева вышел к Тисе, взял нас и наших соседей в клещи. Мы будем стоять. Ночью должна прийти поддержка из-за реки.

— Можно надеяться, товарищ комиссар? — выдвинулся Никитенко.— Очень беспокоимся...

— Обещали... Понтоны где-то застряли, но должны отыскаться. Будет мост — будет и наша артиллерия на этом берегу.

Комиссар и комроты пошли дальше. Спохватившись, Кедрачев догнал их, тронул Яноша за рукав, шепнул.

— Слышь, Олюнька была здесь...

— Олек? — Гомбаш остановился, голос его прозвучал испуганно.— Она должна быть в лазарете... Отправь ее на ту сторону, если увидишь... Обязательно!

— Непременно отправлю. Прогоню!

Кедрачев вернулся к Фаркашу. «Может, зря мы с Яношем за сестренку испугались? Сил нам подбавят — снова вперед пойдем... Враг вроде притих. А что? Придет подмога — и погоним...»

Так пытался Кедрачев утешить, успокоить себя. Уж очень тревожно было на душе.

Ночная тьма плотно легла меж деревьев. Небо затянуло так, что не проглядывали звезды. Кедрачев сказал товарищам:

— Пока суд да дело — давайте поспим! Наблюдать будем по одному. И ты спи! — предложил он Фаркашу.— Покараулим за тебя.

...Сколько спал Кедрачев? Может быть, час, может быть, больше. Проснулся от толчка в плечо — Воропушин, оставленный наблюдателем, жарко-густым, приглушенным голосом говорил в самое ухо, щекоча его бородой:

— Слышь, отделенный! Идут!..

Кедрачев потянулся к винтовке.

В этот рассветный час противник возобновил наступление на позиции Интербата и на соседние с ним части. Румынская пехота наступала не очень рьяно, хотя обороняющиеся, сберегая патроны, не могли вести сильного огня: она то показывалась из леса, то вновь скрывалась в нем. Тогда опять заговорила молчавшая со вчерашнего дня вражеская артиллерия...

Когда солнце, слепя глаза стрелявшим из траншеи, показалось из-за макушек деревьев, положение на флангах батальона стало катастрофическим: оборонявшиеся правее и левее части Красной армии, не в силах сдержать противника, начали отходить за реку. Теперь враг теснил интербатовцев с трех сторон.

Как ни горько было думать об отходе, но Гомбаш, посоветовавшись с Фойяшем, решил переправлять людей за реку. Иного выхода не было: еще немного — и кончатся патроны; остаться здесь — значит погубить батальон.

К берегу спускались поочередно отдельными группами, оставляя в траншее небольшие прикрытия. Переправлялись на чем угодно — на плотах, на бревнах от разбитых плотов, на раздобытых где-то рыбацких лодках — и просто вплавь. Пенные столбы от падающих снарядов то и дело вздымались вокруг, накрывая многих...

Солнце поднялось уже высоко, когда Кедрачев и Фаркаш, прикрывавшие отход отделения, видя, что поблизости никого больше не осталось, выскользнули из траншеи и побежали к берегу, таща за собой пулемет. У Кедрачева в магазин винтовки вставлена последняя обойма, в пулеметных лентах нет ни одного патрона. Они надеялись, что им удастся переправиться самим и переправить пулемет. Но когда спустились к берегу, то не увидели там ничего, на что можно было бы погрузиться или за что можно было хотя бы зацепиться,— ни лодки, ни плотика, ни даже бревна. Только дальше по берегу возле воды копошились несколько бойцов, но до них было порядочно, а вражеские снаряды продолжали падать, взвихривая береговой песок.

— Не переправиться с ним,— показал Кедрачев на пулемет.

— Нет-нет! — замотал головой Фаркаш.— Нельзя бросать...

— Так разве я говорю — бросать? Разберем и зароем в песок — вот здесь, под кустом. Возвратимся — откопаем. Ведь вернемся!

— Да! Это наша земля.

Ладонями — больше нечем,— опустившись на колени, спешно вырыли в песке под кустом яму. Фаркаш отделил ствол пулемета, сорвал с себя нательную рубаху, завернул в нее ствол, надел куртку на голое тело. Быстро забросали пулемет, кинули сверху несколько сломанных веток.

— Место надо запомнить,— поднялся Кедрачев. А Фаркаш все еще стоял на коленях, положив ладони на взрыхленный песок, словно прощался со своим оружием.— Пошли! — поторопил его Кедрачев.— Еще вернешься за ним. Пока не поздно, может, переправимся на чем... Вон к тем бойцам давай!

Увязая в сыром песке, побежали вдоль береговой кромки к тем нескольким бойцам, которые, как теперь можно было разглядеть, сталкивали в воду голый, без коры, потемневший ствол дерева, в свое время, видимо, принесенный половодьем. Но не успели — бойцы уже столкнули ствол в воду и, облепив его со всех сторон, поплыли к противоположному берегу.

Кедрачев и Фаркаш остановились, ища, на чем бы уплыть. Но обратно не шли ни плоты, ни лодки. На берегу почти не осталось людей — большинство уже переправилось.

Вражеские снаряды продолжали падать в воду и на берег. Противник бьет наугад, вероятно, его артиллерийские наблюдатели не видят места переправы.

Разрыв снаряда заставил их броситься на песок, слышно было, как поверху просвистели осколки. Но они тотчас же вскочили и снова торопливо пошагали вдоль кромки воды, приглядываясь, на чем бы переправиться. Вдруг Кедрачев остановился как вкопанный: навстречу вдоль берега медленно, как потерянная, брела Ольга, взгляд ее был устремлен к оставленной всеми траншее, словно она надеялась там что-то рассмотреть. В глаза Кедрачеву бросилось: одежда Ольги потемнела от воды почти до пояса, прилипает к ногам, мешая идти, а Ольга будто и не замечает этого.

— Сестренка! — бросился к ней Кедрачев.— Почему ты здесь?

Рассеянным, отсутствующим взглядом Ольга глянула

на брата и Фаркаша, точно хотела рассмотреть что-то сквозь них.

— Ты почему не переправилась?

— Не могу... — слова, видно, давались Ольге с трудом. — Мне про Ваню сказали...

— Что сказали? — Сердце Кедрачева похолодело.— Случилось что?

— Не знаю... Мне сказали, ударил снаряд — и он упал.

— Да, может, и не задело его. Вон мы с Фаркашем сколь раз под снарядами наземь кидались.

— Нет-нет, я должна найти его!

— Да куда ты пойдешь? На том берегу ищи его. С минуты на минуту сюда румыны выйдут! Вот видишь! — Он быстро пригнул Ольгу к песку, припал сам, рядом бросился на песок Фаркаш — над ними пролетело несколько пуль.— Здесь они уже! — Кедрачев схватил сестру за рукав, махнул Фаркашу: — Давай поплыли!

Ольга в полубеспамятстве пыталась вырваться, но Кедрачев крепко держал ее. Крикнул Фаркашу:

— Бери ее с другого бока! Видишь, не в себе она...

Фаркаш понял все, хотя русских слов почти не знал. Взяв Ольгу под руки, они свели ее в воду. Она уже не сопротивлялась, только все оборачивалась на оставленный берег.

— Да не оглядывайся! — повторял Ефим.— Янош раньше нас переплыл. Там найдешь...

Они плыли, держа Ольгу в середине.

— Пустите, я сама...— сказала она и стала широко, по-мужски выгребать руками, отфыркиваясь от воды.

Поверху все чаще с коротким посвистом проносились летевшие вдогонку пули. Очевидно, румынская пехота уже вышла на опушку.

Берег, к которому они плыли, был еще далек, он уходил все левее, левее — быстрое течение сносило их. И Кедрачев был даже рад этому — пусть выносит из-под обстрела.

Они доплыли, наверное, почти до середины реки, когда Кедрачев со страхом подумал, что может не хватить сил, чтобы проплыть вторую половину реки: тянула вниз, связывая движения, намокшая одежда, гирями висели на ногах набухшие ботинки, мешала заброшенная за спину винтовка — она все время сползала, попадала под руку, ее приходилось то и дело поправлять. Кедрачев чувствовал, что силы оставляют его. Сбросить винтовку? Постараться разуться на плаву, как это сделал Фаркаш? А как же по-

том без оружия? Он поглядел на Ольгу. Ей, кажется, еще труднее. Как бы не утонула!.. Поддержать... Сбросить винтовку... Мысли путались. Он уже протянул руку к винтовочному ремню, давившему на грудь, как вдруг услышал задыхающийся голос Ольги:

— Смотрите! Бревно...

Действительно, впереди них, шагах в двадцати, плыло гонимое течением бревно, наверное, из разбитого плота. За его конец крепко держался обеими руками человек, его голова в черной интербатовской бескозырке была прижата к бревну, лица не было видно.

— Эй, товарищ! — окликнул Кедрачев, но человек на бревне не шевельнулся, не откликнулся.

Выгребая из последних сил, они нагнали бревно, ухватились за него, но и тогда человек не проявил никаких признаков жизни. Кедрачев тронул его за плечо — человек остался недвижим. И стало понятно: он мертв, держится окостеневшими руками и оторвать его от бревна нет никакой возможности.

Так и плыли они — трое живых и один мертвый.

Вот наконец достигли берега, вышли из воды и, обессиленные, упали в прибрежных кустах на высокую влажную траву, не обращая внимания на то, что под ними сырая, почти болотистая почва. Кедрачев с беспокойством смотрел на сестру — она лежала ничком, спрятав лицо в ладонях, намокшая белая косынка с красным крестом сбилась ей на шею, открыв спутанные влажные волосы, ее трясло. Кедрачев тронул Ольгу за плечо:

— Простыла? Иди за кустик, выжмись, посушись...

Она словно и не слышала. Беззвучно рыдала. Кедрачев заговорил с нею вновь, но Фаркаш сделал знак, чтоб он не тревожил, дал выплакаться. Вдвоем поднялись, осмотрелись. На заросшем высоким кустарником берегу слышались голоса, перекликавшиеся на всех языках, какие только были в батальоне: при переправе смешались интербатовцы из всех рот и команд.

— Надо своих искать...— заторопился Кедрачев.— Нам — свою роту, тебе — пулеметную команду.

— Да-да! — согласился Фаркаш. Лицо его приобрело горестное выражение: как он явится без пулемета?

Кедрачев попробовал успокоить его:

— Не взыщут с тебя! Ты же его неприятелю не отдал!

Фаркаш остался безутешен. Печально попрощался, сказав что-то, чего Кедрачев не понял, и скрылся за кустами. Кедрачев вернулся к Ольге. Она по-прежнему ле-

жала ничком, спрятав лицо в ладони, только плечи ее перестали вздрагивать.

— Не лежи на земле. Поди обсушись!

Ольга послушно поднялась. Лицо ее было каким-то отрешенным, словно вся она была не здесь, а где-то далеко-далеко...

— Не хорони ты его раньше времени!— вновь попытался Ефим успокоить ее.— Может, Янош сам тебя ищет. Уж, верно, наведался в лазарет, а тебя нет... Давай-ка поищем твою медицину. Да и мне роту отыскать надо. А попутно всех о Яноше спрашивать будем.

Он дождался, пока Ольга, зайдя за куст, привела себя в порядок, и они вместе отправились на поиски. Довольно долго ходили по берегу. В прибрежном кустарнике встречали людей из разных рот Интербата, красноармейцев из других частей, тоже отступивших за Тису. Наконец Кедрачеву удалось встретить нескольких бойцов своей роты, вместе с Ольгой он присоединился к ним. Спрашивал каждого: не видел ли комиссара? не знает ли, что с ним?

На этом берегу комиссара никто не встречал. Вспомнили только, что утром видели его на оставленном берегу, где он был с заслоном, прикрывавшим отход. Услышав это, Ольга вновь побледнела. Она крепилась, старалась не показывать своей тревоги, но Ефим видел ее состояние и продолжал расспрашивать о комиссаре каждого, кто им встречался. Удалось узнать, что штаб батальона находится неподалеку, в прибрежной роще, и что там — Фойяш. Может быть, ему известно о Яноше?

— Иди туда,— сказал Ефим сестре.— Может, что узнаешь.

Ольга ушла. «Хоть бы нашелся Янош!» Но если никто до сих пор не видал комиссара, то, вполне возможно, он остался за рекой — характер Яноша известен, да и должность к тому же... До последнего будет держаться...

Горюй не горюй, а дело надо делать. Уже собралось порядочно бойцов его роты, отыскались и товарищи по отделению — всем удалось переправиться благополучно, только Холонец утопил винтовку и без особой надежды поглядывал на встречных: не окажется ли у кого лишняя, ну, хотя бы у раненого, которому винтовка без надобности. Но раненых на берегу уже не осталось, всех отправили или в тыл, или в батальонный лазарет.

Постепенно порядок налаживался. Переправившиеся, кому как удалось, бойцы находили друг друга, своих командиров. К великой радости, Кедрачеву встретился Не-

читайло, посланный Свечкиным собирать бойцов. Нечитайло объяснил, что нужно как можно быстрее занять оборону по берегу, на случай если противник с ходу попытается форсировать реку.

Вскоре отделение Кедрачева, вновь собравшееся, залегло на новой позиции — в кустарнике над береговой кручей. Работали старательно — каждый понимал, что пускать врага дальше никак нельзя. У всех на душе было нелегко. Отступление есть отступление. Столько усилий, жертв принесли, чтобы зацепиться за левый берег, и вот все придется начинать сначала... А Кедрачеву было горше всех: нет вестей о Яноше. Неужто остался на том берегу?

Незаметно прошли дневные часы. По-прежнему ничто не нарушало тишины, легшей после того, как бойцы отошли за реку. Уже на закате по позиции взвода прошел Нечитайло, возвещая:

— Которые партийные — на собрание, вон в те кусточки!

— За меня остаешься,— сказал Кедрачев Воропушину и позвал Никитенко: — Пошли! — А у самого сердце екнуло: «Раз собрание — значит, здесь Янош... Как же без него? А вдруг кто другой проводить будет?..»

Когда они приблизились к месту собрания, Кедрачев чуть не ахнул от радости: жив! На полянке, меж кустами, где на траве сидели уже несколько человек, стоял, дожидаясь, пока соберутся все, комиссар Янош Гомбаш! Живой, невредимый!

Не удержался Ефим, подбежал, схватил за руку:

— Ты... А мы-то... а Олюнька...

— Уже нашел ее...— улыбнулся Янош.— Тоже глазам своим не поверила...

Янош коротко рассказал: с несколькими бойцами он прикрывал отход на правом фланге батальона, пока не переправились все. Противник вышел почти к реке, пришлось берегом уходить дальше. Дошли до позиций соседней части и там переправились.

Пока Кедрачев и Гомбаш потихоньку разговаривали в сторонке, подошли все, кого ждал комиссар. Немного их было в русской роте, членов партии большевиков,— не более двух десятков собралось на уже затянутой вечерними тенями полянке.

— Вас было больше...— заговорил комиссар. Голос его был печален.— Те, кто не пришел, уже никогда не смогут быть среди нас. Будем помнить о них. Будем верить — их жертва не напрасна...— Он помедлил, молчанием отдавая

дань памяти павшим. И заговорил вновь. Чувствовалось, он старается перебороть в себе горечь утраты — старается, но это ему не очень удается.— Знаю,— говорил Гомбаш,— на душе у вас нелегко. Да и как может быть иначе? Мы отступили. В этом нет вашей вины. По-русски как это говорится? Сила солому ломит... Мы не солома, не сгорим и не сломаемся. Я надеюсь, мы все-таки снова пойдем вперед. В некоторых местах войска Красной армии еще держатся на противоположном берегу. Прибыли наконец, правда с большим опозданием, долгожданные понтоны. Мост уже наводится там, где оба берега в наших руках. Ожидается подвоз боеприпасов. Нашей ошибкой было, что мы поторопились, начали наступление недостаточно подготовленными. Но теперь мы такой ошибки не повторим. Дождемся, пока подойдут подкрепления, и тогда ударим... Объясните все это вашим товарищам. Поддерживайте их боевой дух. Я знаю, многие приуныли после наших неудач, наших потерь. Разъясните товарищам: временные неудачи не должны погасить нашей веры в окончательную победу. Расскажите им, что нас поддерживает пролетариат не только Венгрии — всей Европы. Рад сообщить вам — и пусть это знают все,— что на завтрашний день, двадцать первое июля, назначена всеобщая международная забастовка в поддержку нашей Венгерской советской республики. Лозунг забастовки — руки прочь от советской Венгрии! Цель забастовки — вынудить Антанту вывести свои армии с нашей земли, а значит, должны будут уйти и те войска, что стоят против нас на Тисе. Может быть, нам и не придется действовать против них силой оружия. Но пусть эта надежда не расслабляет нас, не снижает боевого духа.

Ободренные, возвращались Кедрачев и Никитенко к товарищам, спешили поделиться с ними добрыми вестями. Может быть, и впрямь после всеобщей забастовки, о которой говорил комиссар, воевать больше не придется, наступит мир и откроется наконец долгожданная дорога домой?

Глава двадцатая

КУДА КАЧНУТСЯ ВЕСЫ?

Едва Кедрачев и Никитенко успели вернуться к товарищам и поделиться тем, что узнали от комиссара, как поступил приказ перейти на новые позиции — куда-то даль-

ше по берегу, где, как прошел слух, уже наведена переправа. Бойцы воодушевились: если перебрасывают к переправе, вероятно, скоро наступление.

Переход на новое место занял немного времени — всего три-четыре часа полевой дорогой от селения к селению вдоль Тисы. В одном из селений остановились. На улицах, дворах — всюду были красноармейцы, стояли распряженные повозки, дымили полевые кухни. Интернациональный батальон, пройдя селение, расположился неподалеку от окраины, в кустарнике возле дороги, ведущей к понтонному мосту, наведенному рядом с остатками старого, взорванного румынскими войсками при отходе. Командиры объяснили, что приказа о наступлении еще нет, но он может поступить в любую минуту. Однако проходили минуты, часы, прошел день, а приказа так и не поступило. Пошли разговоры: может, вступать в бой и не придется, если по всей Европе, как намечено, пройдет забастовка в защиту советской Венгрии. А возможно, забастовка перерастет в революцию? Революция во всех странах, мировая революция — в это так хотелось верить!

Прошел еще день. И стало известно — забастовки прошли лишь в Австрии и в Румынии. В других странах они не состоялись. Надежда сменилась разочарованием: не удалось европейскому пролетариату припугнуть Антанту, чтобы та ослабила нажим на Венгрию; похоже, не уведет добром румынское королевство свои войска с Тисы, значит, придется воевать.

Интернациональный батальон все еще находился там, где остановился, придя на новое место: в рощице близ понтонной переправы. На дороге не было почти никакого движения — лишь изредка проезжали обозные повозки, доставлявшие что-либо нужное для частей, находившихся уже за рекой, да иногда проходил посыльный. На той стороне, похоже, все было спокойно. Но затишье не успокаивало. Чувствовалось: что-то должно произойти.

Минул третий день.

Под вечер русская рота получила приказ занять оборону на берегу левее моста и окопаться. Другие роты должны были встать правее.

Все были удивлены: ведь ждали приказа о наступлении. Может быть, меры предосторожности принимаются на всякий случай? Ведь не раз бывало: сначала — в оборону, затем — в наступление.

Отделению Кедрачева выпало встать на позицию почти

возле моста. Уже когда совсем стемнело — на мосту стал слышен звук шагов идущей колонны. Она шла с противоположного берега. Катили колеса, постукивали копыта — следом за пехотой двигался и обоз.

Кедрачев кликнул Холонца:

— Слышь, сбегай к дороге, узнай, почему отходят!

Холонец вернулся быстро:

— На передней позиции были, оставили без боя.

— Почему?

— Не знают. Приказ командования.

Все бойцы, уже прикорнувшие было в своих окопчиках, поднялись — сон слетел мгновенно: почему отходят?

Некоторую ясность внес Свечкин, обходивший позиции роты и остановившийся в отделении Кедрачева. Все сразу заметили, что он расстроен — это чувствовалось по голосу. Когда его спросили, Свечкин объяснил: по данным разведки, противник сосредоточивает большие силы, чтобы сбросить Красную армию в реку всюду, где она еще стоит на левом берегу. Поэтому войска заблаговременно отводятся на правый, чтобы закрепиться там и не дать противнику форсировать Тису. Свечкин приказал готовиться к бою: не исключено, что противник попытается форсировать реку с ходу, следом за отходящими войсками.

Невесело стало на душе у каждого: ждали-то приказа наступать! Всматривались в синеватую полумглу, слушали, как идут и идут по дороге от моста молчаливые колонны.

Все реже слышится мягкий звук шагов по пыльному проселку. В последний раз прошелестели по дорожной пыли колеса повозок. Наступила тишина. Вскоре стало известно: на левом берегу не осталось никого, мост снят, все понтоны отведены к правому.

В тревожном ожидании встретили рассвет. Солнце с самого утра стало палить нещадно. Хоть бы на минутку окунуться в прохладную воду! Ведь вот она, рядом — всего-то с десяток шагов от окопа. Но это строго-настрого запрещено: противник, наверное, уже у того берега.

Шел час за часом, солнце перевалило зенит. На противоположной стороне — никаких признаков противника. Так же недвижны там прибрежные кусты, спокойно вьются над ними птицы.

В томительном ожидании миновал день. Под вечер от окопа к окопу прошел слух, что отход с противоположного берега был лишь маневром, чтобы ввести противника в

заблуждение, что где-то неподалеку, на Тисе, войска Красной армии готовят крупное наступление. Этот слух приободрил бойцов. С нетерпением ожидали, когда придет комиссар и все разъяснит: кто-то сказал, что он сейчас в сербской роте, скоро должен прийти и в русскую.

Комиссар появился, когда на опаленную дневным зноем землю уже опустилась вечерняя прохлада и сумеречные тени начали заволакивать берег.

Вся рота, кроме наблюдателей, собралась в прибрежном кустарнике. Комиссар рассказал, что противник, давно переставший считаться с условиями соглашения, теперь, когда общеевропейская забастовка в поддержку советской Венгрии не состоялась, уже не сдерживает своих захватнических устремлений и действительно подтягивает силы, готовясь к решительному наступлению, в котором надеется на свой численный перевес. Комиссар сказал прямо, без обиняков: возможно, очень скоро предстоят самые суровые испытания, в которых будет решаться судьба республики. Подкрепления придут. Но необходимо время, чтобы в Будапеште и в других городах сформировать новые рабочие полки и батальоны и отправить их на фронт. Теперь уже очевидно: бессмысленно надеяться, что Антанта выполнит свое обещание — отвести румынские войска. Только сила оружия позволит добиться освобождения захваченных территорий.

— Единственно, на кого можем надеяться,— сказал Гомбаш,— это на братскую Советскую Россию. Пользуясь гражданской войной там, войска румынского королевства захватили Бессарабию так же, как захватили венгерские земли по Тисе. У нас общий враг, и бороться против него будем сообща. Если Красная Армия России и Украины начнет наступление для освобождения Бессарабии — это поможет нам прогнать захватчиков с Тисы.

Последние слова комиссара вселили некоторую надежду. Но все-таки вражеского наступления ждали. Было приказано усилить наблюдение.

...Близилась полночь. Тихо журчала под берегом вода. Бойцы, кому не выпало стоять наблюдателем, укладывались спать. Как в пучину, провалился в сон и Кедрачев: наработался за день, каждую жилку наполняла усталость.

Сквозь сон до него донесся звук приглушенных выстрелов. В разнобойный перестук ружейной стрельбы вплелась длинная пулеметная очередь.

Проснулись все, схватились за винтовки. Сидели, при-

слушивались. Далекая стрельба длилась недолго, она стихла так же внезапно, как и началась.

Теперь уже никому не спалось. Лежали и сидели на примятых, пахнувших привядшей листвой ветвях. Тихо переговаривались, строили разные предположения, ждали, что будет дальше. Время шло. Установившаяся тишина не нарушалась ничем, и все бойцы постепенно заснули снова.

Только утром узнали, что ночью на участке соседней части, верстах в пяти правее по берегу, противник пытался высадиться с лодок, но был отогнан.

За рекой, над чуть заметными издалека вершинами деревьев прозрачной рощицы, медленно подымалось солнце, меняя розоватый цвет небосвода на золотистый. Кедрачев, глядя, как безмятежно и деловито выкатывается оно, прогоняя последние, застрявшие меж кустами тени, с внезапно остро кольнувшей тоской подумал, что над Ломском солнце всходит многими часами раньше, что его родные края так далеко, что и представить трудно все эти многотысячеверстные пространства, перепоясанные, разрубленные фронтами, исполосовавшими землю. В одной только России сколько сейчас фронтов!.. Из газет известно, что бои идут где-то возле Урала — отсюда это на полдороге к дому. Над Ломском солнце сейчас стоит уже высоко — наверное, там тоже жаркий день... Какое нынче число? Тридцатое июля? Еще день — и начнется последний месяц лета. Незаметно оно миновало. Правда, лето здесь длинное, не как в родных краях, где уже с августа дыхание осени начинает желтить лист за листом... Хотя бы к осени кончилась вся эта военная заваруха! Весной, когда в Будапеште вступал в Красную армию, был уверен: долго служить не придется, победа будет быстрой, не захотят пролетарии, которых Антанта одела в солдатские шинели, воевать против пролетарского государства. Вот ведь и не тронулась с места французская армия, да и югославская тоже, что стоят на юге Венгрии. А вот чехословацкая буржуазия сумела погнать своих солдат в бой, изловчилась им головы заморочить, что воюют они за свободу своей земли. Ну а румынским боярам да генералам и не понадобилось долго убеждать своего солдата, чтобы в бой шел. Послушный он, еще не раскумекал, за что надо воевать, за что — нет, как тот румынский солдат, которого взяли «языком» еще в начале лета, на Тисе же, когда ходили в ночную разведку. Все богу молился, боялся, что страшные красные убьют... Вот когда в Словакии воевали — сколько легионеров на нашу сторону переходило! А

здесь не слышно, чтобы кто-нибудь из румынских солдат перебежал. Боятся, запуганы. Красноармейцев им, наверное, как чертей рисуют...

Насторожился: «Что это? Где?» Откуда-то издалека доносились орудийные выстрелы, все более частые — вот уже целая канонада гремит. Звуки ее слышались, если смотреть в сторону реки, откуда-то справа.

Встал Торопыгин, покрутил головой, заявил уверенно:

— Наши бьют! По тому берегу... Точно! Наступление началось!

— Как это ты определил? — усомнился Никитенко.— Река же с извивами, не по линейке прочерчена. Попробуй, пойми издалека, где какой берег.

— Нет, это наши начали! — стоял на своем Торопыгин.— Ночью румыны сунулись, а теперь наши в ответ... Так что готовьтесь, братцы!

В его словах резона было мало, но всем так хотелось верить, что долгожданное наступление началось!

Теперь уже все стояли наверху окопа, слушали голоса неведомых пушек — они били безостановочно. Нетерпение охватывало всех.

Шли минуты. Минуло полчаса. Пушки продолжали стрелять. Можно было понять: бьют несколько батарей, и все с одного места, звуки канонады не удалялись и не приближались, они становились то более слитными, то более разнобойными. Вот выстрелы стали звучать реже, реже, совсем смолкли.

Все ждали. Может быть, действительно Торопыгин прав и вот-вот последует команда идти вперед?

Наконец увидели — к окопу бежит Нечитайло.

— Сыматься с места! — еще на ходу прокричал он.— Забирайте все!

— Куда? — спросил Кедрачев.

— Сам не знаю. Велено срочно собрать роту.

— Я ж говорил — наступаем! — возликовал Торопыгин.— Слава те господи, началось!

Оживленно переговариваясь, спешно собирались. Забрасывали за плечи вещевые мешки, подхватывали винтовки. Бросая прощальный взгляд на уже обжитую позицию, выходили к дороге, где нетерпеливо покрикивающий Свечкин собирал роту.

...Вытянувшись вереницей, быстрым шагом, почти бегом, где полузаросшим травой проселком, где напрямик через кустарник, сквозь прибрежные рощи спешили туда, откуда продолжали доноситься редкие, но все более от-

четливые звуки артиллерийской стрельбы. Жаркий пот заливал глаза, душной, тяжелой влажностью пропитал куртки на груди и на спине, словно липким горячим компрессом облегавшие тело, с каждой минутой тяжелее становилась поклажа, все больнее резал плечо ремень винтовки, весомее делались башмаки.

Без привалов час, второй... Наступление!

И вдруг на ходу пролетела весть, в которую, когда она дошла до Кедрачева, он не сразу поверил: наступают не свои, а противник, он уже переправился через Тису, продолжает продвигаться. Не поверил, хотя помнил, что говорил Янош о серьезности положения. Да, горько солдату на войне отступать, тяжко поверить в поражение...

Гул пушек, все более явственно доносящийся спереди, постепенно смолкал, вот уже смолк совсем, и это как-то отодвинуло вспыхнувшую тревогу: может быть, все-таки вперед пошли свои? Кедрачев необыкновенно быстро проникся уверенностью, что батальон спешно перебрасывают к месту какой-то другой переправы. Наверное, так было надо — в одном месте создать видимость отхода, а в другом, там, куда спешат они, начать действительное наступление. Это хитрый замысел командования, и он увенчается успехом, сейчас бой передвинулся за реку, и путь их батальона лежит тоже туда. И как-то легче стало бежать, не такой уж тяжелой казалась винтовка, давящая ремнем на плечо, и будто не так жарко...

Странной и непонятной показалась команда, которую прокричал оказавшийся где-то рядом Свечкин:

— Рота, стой! Занимай оборону!

«Оборону? Почему оборону?» Кедрачев, остановясь с разгона, споткнулся, чуть не упал, растерянно глянул вперед, куда они только что бежали. Там, на подступавшем к берегу поле высокой с мохнатыми макушками кукурузы, между густо стоящими стеблями, мелькали какие-то фигуры, нельзя было разобрать — свои это или враг? А еще дальше, где-то за кукурузным полем, чуть слышно потрескивали винтовочные выстрелы. По сторонам разбегались, разворачиваясь в цепь, бойцы, и Кедрачев крикнул своему отделению:

— Давайте вправо, влево!

Услышал, как где-то, уже совсем близко, за желтовато-зеленой стеной кукурузы, частой дробью заколотили винтовочные выстрелы. Видя, что его бойцы спешат залечь меж корявыми ветлами и кустами, сквозь которые солнечно поблескивает река, Кедрачев тоже бросился на волгло-

податливую, распаренную солнцем траву. Примяв ее, почувствовал, как сильно нагрета земля, она даже сквозь одежду обжигала тело — но это, наверное, только показалось ему. «Где же противник?» Не успел сообразить Кедрачев, как над ним невысоко, тоненько взвизгнула пуля, и он безошибочно определил, что прилетела она со стороны кукурузного поля, до которого было шагов пятьсот открытого пространства. «Значит, враг там, в кукурузе?» Упершись локтями в раздавшуюся под ним мягкую, теплую землю, взял винтовку на изготовку. «Вот где привелось бой принимать... А мы наступать надеялись!» Вздрогнул от выстрела, ударившего рядом,— выстрелил Торопыгин, крича:

— Вон он, вон!

Защелкали выстрелы справа и слева. Теперь и Кедрачев разглядел мелькающие за частоколом кукурузных стеблей синеватые вражеские мундиры.

Над головой снова взвизгнуло. Знакомый холодок — холодок первых минут боя, когда все чувства еще не собраны в единый кулак,— пробежал по спине Кедрачева. Но уже через несколько мгновений все в нем сжалось, как боевая пружина, стянутая взведенным курком, он деловито глянул вправо-влево, где залегли его товарищи, крикнул предупреждающе:

— Зря патронов не жечь! Только по видимой цели!

...Какой длинный, палящий день! Солнце словно остановилось. Приклад обжигает щеку, жжет пальцы сталь затвора, раскаленная от выстрелов и от нещадного солнца. В глазах дрожит знойное марево, мешает целиться — полоса кукурузных стеблей впереди кажется колеблющейся, трудно разобрать, что там.

Оттуда — уже в который раз — появляются вражеские солдаты. На желтовато-зеленой, выгоревшей от солнца траве перед кукурузным полем кое-где видны неподвижные синеватые пятна — лежат убитые. Их уже немало. Но время от времени противник снова и снова повторяет атаки.

Вот опять закачались метелки кукурузы, из ее чащи показались солдаты с винтовками наперевес. Как их много! Больше, чем в любой из сегодняшних атак.

— Огонь! Стрелять прицельно!..

Гулко хлещут справа и слева от Кедрачева винтовочные выстрелы. Стреляет и он. Хотя во вражеской цепи падает то один, то другой солдат, она не замедляет движения. Мелькают ноги в темно-серых обмотках, все вид-

нее полурасстегнутые, дотемна пропотевшие мундиры, посверкивают под солнцем лезвия штыков, мотаются на бегу у поясов холщовые патронные сумки...

Уже можно разглядеть лица, поблескивающие от пота, широко раскрытые, жадно хватающие воздух рты. Сейчас набегут, сомнут...

Какая-то внутренняя сила толкает Кедрачева, отрывает его от земли. Он вскакивает, кричит что-то, кричит яростно, но сам не слышит себя и не знает, что за слова вылетают из его уст. Весь он сейчас — непрерывный крик, сплошной порыв. Он видит только врагов, бегущих навстречу, и еще не ощутил, что сила, поднявшая его, передалась и его товарищам, они — все отделение, весь взвод, может быть, вся рота — поднялись в контратаку. Успел заметить — мимо, обгоняя, громко что-то крича, проносится Торопыгин, выбросив на вытянутых руках винтовку с нацеленным вперед штыком. Промелькнул оказавшийся рядом Нечитайло, в сбитой на затылок бескозырке, усы растрепаны, почему-то он размахивает винтовкой из стороны в сторону, словно ищет, в кого бы из врагов направить ее.

«Сейчас сойдемся!» Давно знакомый холодок отрешенности пробегает по телу Кедрачева, все мысли и чувства, кажется, выхолощены. Прямо на него бежит вражеский солдат — темное, не то грязное, не то загорелое, лицо, в черной поросли щеки, выпученные глаза, жало штыка направлено на Кедрачева...

«Вот оно!» Много воевал Ефим Кедрачев, знает — самое страшное, когда вот так, лицом к лицу, штык на штык, когда доли секунды решают, кто ударит первый. Между ним и солдатом не более пяти шагов...

Ефим вскидывает винтовку, стреляет. Солдат шарахается — ранен или просто испугался? Перед глазами Кедрачева уже не лицо — спина этого или другого солдата — синеватое сукно в темных пятнах пота. Спина стремительно удаляется. Догнать, ударить штыком!

Впереди возникает — совсем близко, в нескольких шагах — стена кукурузных стеблей. Туда скрываются вражеские солдаты, но не все — какой-то из них остановился, обернулся, вскидывает винтовку...

«Не попадешь! Не попадешь!» — словно заклинание, успевает произнести про себя Ефим и с разбегу вламывается в хрусткую чащу кукурузы, выстрела он не слышит.

Вопли, ругательства на русском и на румынском, то-

пот, треск ломающихся кукурузных стеблей, лязг сшибающихся штыков, выстрелы, хриплое «ура», вспыхнувшее и нарастающее горным обвалом...

Кто-то хлопает Кедрачева по плечу. Он видит перед собою усы взводного, слышит его задыхающийся голос:

— Стой!

...Распаленные атакой бойцы готовы преследовать противника и дальше. Но рота в отрыве от соседей, одна в необозримом кукурузном поле, и противник, опомнившись, может ударить с любого фланга.

— Приказ ротного — назад! — говорит Нечитайло Кедрачеву.— А ты молодец, первым поднялся.

— Ежели по правде, Торопыгин поперед меня рванул.

Но Нечитайло уже не слышит — быстро идет от бойца к бойцу, покрикивая:

— На прежнюю позицию! На прежнюю позицию!

Повернули назад.

— А где же Торопыгин? — первым спохватился Кедрачев.

Торопыгина нашли тотчас же. Он лежал на подмятых им, надломленных кукурузных стеблях лицом в землю, вытянув вперед правую руку с зажатой в ней винтовкой.

— Может, живой? — Кедрачев опустился на колени возле Торопыгина, коснулся его плеча, попросил: — Подсобите!

Торопыгина повернули лицом вверх. Пониже шеи темнел сгусток крови, смешанной с землей,— то ли пуля угодила, то ли вражеский штык.

Торопыгина подняли и понесли.

...Вечер наступил неожиданно: вдруг оказалось, что солнце уже коснулось вершин деревьев прибрежной рощицы и, как только оно опустилось за них, кукурузное поле впереди из желтовато-зеленого стало серым, его заволакивали длинные синеватые тени. По-прежнему было тихо: противник, после того как его отогнали контратакой, ничем не проявлял себя.

В этот сумеречный час затишья, оставив на позиции на всякий случай часть бойцов, русская рота хоронила товарищей, павших в последней атаке. Не было сейчас возможности похоронить их где-нибудь на кладбище, решили предать земле тела убитых поблизости от позиции, которую они защищали. Кроме Торопыгина было их еще четверо — из других взводов.

Местом погребения выбрали полянку, примыкавшую к берегу.

Лопатками и штыками вырыли последний, вечный окоп каждому в отдельности. Хоронили без торжественных речей, да и без прощальных залпов — патроны надо было беречь.

Опустив Торопыгина в могилу, встали вокруг, молча прощаясь с ним. Кедрачев положил на лицо Торопыгину его бескозырку, сказал тихо:

— Зарываем...

— Эх, без гроба, без креста,— глухо проговорил Воропушин.

— А чем крест изладим? — шепнул в ответ, не только сожалея, но и словно оправдываясь, Кедрачев.— Ножиком, что ли, вытешем?

А Холонец тем временем нагнулся над могилой, протянул руку, покрестил и конфузливо отдернул ее, уловив взгляд Никитенко, не то чтобы осуждающий, но как бы говорящий: «Ни к чему это...»

Когда над Торопыгиным вырос невысокий продолговатый холмик из серой лесной земли, Никитенко сказал:

— Надпись бы какую сделать, чтобы память осталась...

— Да кто тут увидит, в лесу-то? — усомнился Холонец.

— Как — кто? Люди, кто ни пройдет. Да и с реки,— показал Никитенко,— увидят, кто проплывет.

— Конечно, надо,— поддержал Кедрачев.— Только на чем написать? Ни доски, ни камня...

— А на дереве надпись сотворить! — предложил молчавший до того Воропушин и показал на светлокорый бук, высящийся над изголовьем могилы.

— И верно! — обрадовался Никитенко подсказке.— Ишь какой гладкий да светлый.— Он положил ладонь на глянцевитую серебристую кору дерева, провел раз-другой:— Помните, Торопыгин нам про деревья рассказывал, какое на что годится? Бук хвалил... Ну так и решили? Вырежем надпись покрупнее.

— На коре не годится. Непрочно, зарастет,— предупредил Кедрачев.— Затес надо сдать.

— Ты из леса родом, тебе виднее,— согласился Никитенко.

Отомкнув штык, Кедрачев начал счищать им кору на стволе на высоте плеч. Никитенко, встав с другого края ствола, тоже заработал штыком, расширяя затес. Холонец и Воропушин убирали щепу и стружки, падавшие на изголовье могильного холмика.

Вскоре затес был готов. Его беловатый квадрат чуть отсвечивал розовым.

Кончиком штыка Никитенко процарапал на гладко стесанной древесине буквы и тотчас же взялся их вырезать. Работа эта, как видно, была для него непривычной. Потрудившись некоторое время, он положил штык на могилу, пошевелил натруженными пальцами:

— Малость передохну. А пока давайте еще кто-нибудь! Успеть надо, пока не стемнело.

Резали попеременно, сменяя друг друга. Вот надпись готова:

КРАСНОАРМЕЕЦ ТОРОПЫГИН 1919

— Малость коряво получилось,— огорчился Никитенко.— Да что поделать? Не такие мы мастера по дереву, каким наш Торопыгин был.

— По нему хоть память будет, а вот Рабин наш, Соломон...— вспомнил Кедрачев.— Никакой могилки ему нету, унесла его река невесть куда... Знаете что? Давайте и о Рабине на этом же дереве напишем! Что с того, что не здесь он лежит? Он же тоже на Тисе жизнь положил.

Все согласились. На том же стволе, чуть пониже надписи о Торопыгине, сделали второй затес, вырезали:

КРАСНОАРМЕЕЦ РАБИН

Сняв бескозырки, стояли, как бы прощаясь с боевыми побратимами. Молчали. Потом Никитенко сказал тихо:

— Уходим сейчас... А товарищи наши здесь навеки. Придет время, кончится война, победит революция окончательно, здешний народ им непременно памятник поставит — они же за него жизнь положили.

— Оно так...— вдруг заговорил Воропушин.— Только как здешние люди прочитают, кто здесь лежит? Мы по-своему написали, а надо бы и по-здешнему.

— Верно говоришь! — поддержал его Никитенко.— Надо и по-мадьярски обозначить... Холонец, как по-мадьярски будет — русские красноармейцы?

Холонец на миг призадумался:

— Примерно — óрос вӗрӗш катонáк.

— Вот так и напиши. Мадьярскими буквами.

— Напишу. Только чтобы резать не одному мне.

— Поможем, ясно. Бери штык!

Уже совсем сгустились сумерки, когда общими усилиями над фамилиями Торопыгина и Рабина было вырезано:

OROSZ VÖRÖS KATONÁK

Было темно, когда комиссар Гомбаш вернулся на командный пункт батальона — к расположенному на краю виноградника погребку, в котором до нового урожая хранились пустые бочки и всякий хозяйский, нужный для работы на плантации инструмент. В погребке расположился Фойяш, ставший после исчезновения Баргаи исполнять, правда без особой охоты, обязанности командира батальона. Фойяш предпочитал, чтобы фактически командовал и за все отвечал комиссар, своими же основными обязанностями продолжал считать прежние: быть в курсе обстановки и предлагать решения, держать связь с подразделениями батальона и с высшим штабом. Вот и сейчас Фойяш был занят тем, что возле свечки, прилепленной к опрокинутому вверх дном ведру, писал донесение, положив бумагу на полевую сумку, которую держал на коленях. Рядом сидел боец с винтовкой, очевидно связной, дожидавшийся, пока начальник закончит писать. Занятый своим делом, Фойяш даже не заметил вошедшего комиссара, и тот остановился у входа, не желая мешать. Но не утерпел, спросил:

— Есть какие-нибудь новости? О подкреплениях ничего не слышно?

— Нет,— вздохнул Фойяш.

— Что ж, подождем...— Гомбаш сказал это деланно-спокойно и вышел. На душе у него вновь заскребли кошки. «Почему же не шлют помощи?»

Вокруг стояла сонная тишина, только слышалось, как неподалеку от погреба медленно ходит часовой да где-то в гуще виноградника изредка робко подает голос какая-то неугомонная ночная птица.

Гомбаш сел на землю, почувствовал, как прогрета она за день щедрым июльским солнцем. «Самый разгар лета,— подумалось ему.— Крестьяне местами уже начинают убирать пшеницу. А созревшие пашни — все еще поле боя. Об этом с грустью говорят бойцы. Особенно те, что из деревни. Надеялись, что к уборочной страде война закончится. А положение сейчас хуже, чем когда-либо. Отброшены за Тису, противник наступает... Бойцы удруче-

ны. Еще бы: сражались, себя не жалели, рвались вперед... А в результате — снова на этом берегу вынуждены отбивать атаки врага. Все больше разговоров об изменниках в высших штабах. И есть основания для таких разговоров. Ведь происходит что-то непонятное. Развели мост, возле которого готовыми к наступлению стояли части Красной армии, в том числе и Интербат. На другом участке дали противнику переправиться через Тису... Да, у врага больше сил, особенно артиллерии. Но и при таком положении можно было не уступать ему инициативу. Сейчас главное — удержаться на линии Тисы. К завтрашнему дню необходимы подкрепления. Успеют ли они? В батальоне большие потери, уже слышны голоса — не напрасны ли жертвы?.. Конечно, бойцы и завтра будут стойко отражать атаки. Но одной стойкости мало, чтобы одержать победу. Нужны решительные действия... Что можно сделать здесь? Только готовиться к новому бою. Вся надежда сейчас на Будапешт. Там, конечно, ищут средства выправить положение. Что принесет завтрашний день, последний день июля? Если бы знать, какие меры принимаются в Будапеште, и рассказать об этом бойцам... Но в Будапешт не позвонишь по телефону отсюда, за сто пятьдесят километров. Что-то же делают там?!»

Гомбаш, конечно, не знал и не мог знать, что предпринимается в Будапеште, для того чтобы спасти положение. А оно к вечеру тридцатого июля стало угрожающим. Этого еще в полной мере не могли представить себе те, кто находился на фронте и судил об обстановке лишь по тому, что видел своими глазами перед своей позицией. К тридцатому июля вооруженная Антантой румынская армия усилила натиск по всему фронту на Тисе. Возникла реальная опасность, что Красная армия не устоит перед этим натиском. В этот день Кун послал Ленину радиограмму с просьбой форсировать наступление против румынской армии, оккупировавшей Бессарабию, с тем чтобы отвлечь ее силы с фронта в Венгрии.

Ответная радиограмма Ленина последовала незамедлительно:

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим венгерским братьям, но у нас мало сил. Наша победа на Урале освободила венгерских военнопленных, и спешно посылаем их на украинский и венгерский фронты».

Но большей помощи Советская Россия в эти решающие дни оказать не могла. Еще в первых числах июля

Ленин в письме Центрального Комитета к партийным организациям писал: «Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции». В это время белогвардейская армия Деникина дошла уже до Царицына, начала наступление на Москву...

Венгерская Красная армия, надломленная в тяжелых боях, вынуждена была противостоять сильнейшему врагу один на один. Весы судьбы советской Венгрии к тридцатому июля угрожающе заколебались. Ближайшие дни, может быть, даже часы должны были решить, куда эти весы качнутся.

Глава двадцать первая

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ РЕСПУБЛИКИ

В ночь на 1 августа девятнадцатого года по дорогам, ведущим от Тисы на запад, к Будапешту, продолжался отход Красной армии, начавшийся накануне после тяжелых боев с численно превосходящим противником, который продолжал наступать. По одной из таких дорог шли те, кто остался от русской роты Интернационального батальона. Днем противник бросил против Интербата, позиции которого флангом примыкали к берегу Тисы, много пехоты при поддержке артиллерии. Как и другие, русская рота, хотя понесла большие потери, упорно удерживала свой рубеж, отразила несколько атак. К концу дня противнику удалось вклиниться между нею и польской ротой, он стал заходить в тыл. Свечкин с оставшимися бойцами занял почти круговую оборону. Связь с командованием батальона прервалась, не было известно, каково положение в соседних ротах, держатся ли они. Свечкин понимал, что необходимо отходить, пока враг не отрезал все пути, но без приказа дать такую команду не решался. Посоветовавшись с командирами взводов, он решил держаться до темноты, благо всех раненых удалось эвакуировать, а патроны еще не кончились. По опыту прошлых боев можно было надеяться, что румыны прекратят атаки, как только стемнеет. Свечкин полагал, что, когда наступит ночь, удастся установить связь с командованием и соседними частями, уточнить обстановку.

Но перед самым заходом солнца противник предпринял сильную атаку с флангов, видимо, рассчитывая еще засветло завершить окружение.

В самый напряженный момент боя, когда мелькавшие в кустарнике возле берега фигуры вражеских солдат заметно приблизились, Свечкин, стрелявший с колена, вдруг увидел невесть откуда появившегося комиссара. Он тяжело дышал, ворот куртки был расстегнут, в руках — винтовка.

— Батальон отходит! — сказал Гомбаш.— Отходите и вы!

— Помощи так и не будет? — спросил Свечкин упавшим голосом.

— Не знаю... Противник наступает по всему фронту, в нескольких местах прорвал его.

— Откуда вам известно, товарищ комиссар?

— Сообщили из штаба. Наши войска отступают повсеместно.

— Опять отдаем завоеванное...

— Как и вам, мне горько думать об этом. Но что нам остается? Сохранять силы и не терять веры в победу.

— Верить надо... Но примириться...

— Давайте команду на отход! Единственное, что мы можем спасти сейчас, — это людей.

Свечкин повернулся к лежавшему неподалеку бойцу:

— Передай по цепи...— и недоговорил, встревоженно оглянулся: из подступавшего к прибрежным кустам уходящего чуть ли не к горизонту кукурузного поля донеслись команды на чужом языке.— Обошли...— побледнел Свечкин. — Как же теперь, товарищ комиссар? До последнего патрона, а последний...

— Нет! Будем пробиваться! Я буду командовать сам,— добавил Гомбаш, увидев, как подавлен Свечкин.

Ошеломив противника неожиданной атакой, бойцы, прорвавшись сквозь смешавшуюся цепь вражеских солдат, бежали в теснине хрустких, шершавых стеблей. Вдогонку им разнобойно и все реже и реже стучали выстрелы. Когда они совсем смолкли, бойцы остановились. Кукуруза стояла вокруг высокой плотной стеной. Быстро темнело. Раскидистые метелки, венчавшие стебли, все менее четко прорисовывались на фоне неба.

— Сосчитайте людей! — попросил Свечкина Гомбаш.

Свечкин пробежал взглядом по лицам:

— Шестнадцать... Все, что осталось от роты.

— Возможно, осталось больше. Идут где-нибудь недалеко. Будем искать друг друга.

— Где искать? — В голосе Свечкина звучала безнадежность.— Все рухнуло!

— Не отчаивайтесь! — положил ему руку на плечо Гомбаш.— Не бывает безвыходных положений.

— Да, так говорится... Но что делать? Роты нет. Вы и дальше командуйте нами, товарищ комиссар!

— Пусть будет так... Не падайте духом!

Гомбаш с сочувствием смотрел на Свечкина. «Чем помочь ему? Кто бы мог подумать, что этот юноша может так быстро сникнуть. Порывистый, энергичный, он всегда выглядел таким подтянутым! Да, нелегкие нам выпадают испытания. Кого-то они могут и сломить...»

В душе Гомбаш понимал состояние Свечкина. Он и сам был крайне угнетен и, останься он наедине с собой, наверное, дал бы волю чувствам. Но когда на тебя смотрят люди, смотрят с надеждой, как на командира,— нельзя давать им повод думать, что у тебя опускаются руки. Надо заставить себя справиться со своими слабостями. Свечкину, видно, это не удается. Жаль его... Поговорить с ним с глазу на глаз? Но что это даст? Пустые утешения, голословные ободрения, если за ними нет ничего реального, конкретного, только раздражают...

Гомбаш поудобнее поправил на плече ремень винтовки, глянул на небо. В той стороне, где скрылось солнце, быстро гасли розоватые отсветы.

— Идем туда! — показал Гомбаш.— Будем искать своих.

Услышал это Кедрачев, и сжалось сердце. «Уходим от фронта, бросаем все... Что же будет дальше? Спросить Яноша? Он комиссар, должен знать больше...— Но удержался, не спросил.— Пусть не подумает, что я больше других боюсь. Да и его смущать не надо — вдруг не найдет, что ответить?»

Продираясь в чаще твердых, неподатливых стеблей с шершавыми листьями, уже влажными от только что выпавшей росы, шли в направлении, которое указал комиссар,— на запад. Шли цепочкой — так легче пробираться через кукурузу: впереди — Гомбаш, за ним — Свечкин, следом — Кедрачев и бойцы его отделения, за ними — остальные. Глухо звучали шаги по рыхлой, сыроватой земле, шуршали задеваемые на ходу кукурузные листья. Никто не знал, сколько придется идти этим бесконечным полем, которое словно поглотило их и никак не хотело выпускать. Но комиссар шел уверенно, словно знал, когда оно будет пройдено.

Кедрачев глядел в спину шагавшего перед ним Свеч-

кина. От этой сразу ссутулившейся спины, от безвольно опущенных рук веяло безнадежностью. «Переживает ротный... Когда с Яношем говорил, чуть не плакал. Понятно... Заплачешь! Воевали-воевали, а вот как обернулось!.. Куда теперь идти? Что дальше будет? Янош и то навряд ли знает. Правда, шагает так, будто ему все известно. Да, верно, он только для виду, чтоб мы духом не пали. Хорошо, что подоспел. Комроты наш ни за что не отдал бы приказ отступать. Так и погибли бы все ни за грош вместе с ним. Скоро ли эта кукуруза бесконечная кончится? На дорогу бы какую выйти да про батальон узнать. И об Олюньке тоже. Как бы не случилось с нею чего! Мало ли куда могла в такой круговерти попасть. Может, Янош знает? Спрошу-ка...»

В два шага обогнав Свечкина, Кедрачев поравнялся с Гомбашем, пошел рядом, раздвигая упругие кукурузные стебли. Спросил шепотом:

— Про Олюньку знаешь что-нибудь? Где она?

— Не знаю...— так же тихо ответил Янош.— С утра была на перевязочном пункте. Лишь бы не осталась позади, отошла бы с теми, кто раньше ушел. Нагоним своих — начнем искать. Я и так уж всех спрашивал.

— И я... А куда мы идем?

— К железной дороге. Должна быть недалеко.

— А потом?

— Там видно будет. Соберем людей, найдем командование... Где-нибудь же образуется новая линия обороны. Не верю, что Красная армия разбита окончательно.

— И я не верю.

Приостановившись, Кедрачев занял свое место в цепочке. Обратил внимание, когда Свечкин проходил мимо, что рука того лежит на расстегнутой кобуре, пальцы ощупывают рукоятку револьвера. «Чего это он? — не мог понять Кедрачев.— Потерять боится, что ли? Ну проверил, револьвер на месте, а он все шарит, шарит...»

Но вот Свечкин как будто успокоился, застегнул кобуру, рука опять повисла вдоль тела, покачиваясь в такт шагам. «Переживает...— глядел на эту руку Кедрачев.— Да как не переживать? Совсем по-худому наше дело оборачивается».

Кукурузой шли долго. Когда она кончилась, прошли еще немного открытым полем — и впереди на фоне ночного неба замаячили телеграфные столбы, а вскоре обозначилась и невысокая железнодорожная насыпь. Гомбаш повел всех вдоль нее.

Уже под утро, когда начало светать, увидели возле пути закрытый семафор. Все оживились — станция, там, наверное, удастся узнать: каково положение? где командование?

Станция оказалась небольшой — два-три домика возле путей. На одном из них стоял недлинный состав из товарных вагонов, головой на восток. Очевидно, он направлялся на фронт, а фронт катился ему навстречу...

Возле вагонов слышались голоса, мелькали силуэты людей. Похоже было, что состав отправляется.

— Быстрее, товарищи! — поторопил Гомбаш.

Все ускорили шаг.

Когда подошли к вагонам, оттуда кто-то окликнул Гомбаша. Оказалось, в эшелоне есть люди из Интернационального батальона. Остановившись, Гомбаш заговорил с ними. Это были бойцы-венгры из батальонной команды телефонистов. Не успел он расспросить, много ли здесь из батальона, как к нему подскочил боец невысокого роста, тоненький, как мальчишка.

— Олек! — Гомбаш схватил Ольгу за руки.— Я так боялся за тебя!

— А я — за тебя... Но теперь мы вместе. А где Ефим?

— Да здесь, вот он я! — подошел Кедрачев.

— А я здесь с ранеными,— спешила объяснить Ольга.— Уже погрузила всех... Раненых целый вагон! А в остальных — красноармейцы из разных частей. Здесь и наших вон сколько! — показала она на бойцов, обступивших Гомбаша.

А к нему, обрадованные, что появился их комиссар, все подходили и подходили интербатовцы: поляки, русские, сербы, венгры. На станцию они пришли разрозненными группами, а то и поодиночке. Здесь собралось их немного, но всем очень хотелось, чтобы их возглавил кто-то — бесприютно бойцам без командира, особенно в трудную минуту.

Начались взаимные расспросы. Выяснить обстановку Гомбашу не удалось — никто не мог сказать, где находится командование, от которого можно получить указания о дальнейших действиях. Все в один голос утверждали, будто западнее, ближе к Будапешту, создается новая линия обороны и все направляются туда. Почему начальник станции так долго не отправляет эшелон?

— Ждите здесь! — сказал Гомбаш своему увеличившемуся войску.— Схожу выясню, когда двинемся.

Вернулся Гомбаш хмурым и озабоченным:

— Сейчас поедем. Путь был занят эшелоном, шедшим сюда. Его повернули обратно. Станция позади нас уже в руках противника. Он приближается. Патронов у нас нет, держать оборону нечем. Остается одно — двигаться на запад. По вагонам!

Состав задом наперед, толкаемый паровозом, тронулся.

Гомбаш полагал, что на одной из попутных станций представится возможность связаться с командованием, отправить раненых, а со здоровыми встать в оборону там, где будет указано. Он продолжал надеяться, что свежие части, подошедшие от Будапешта, уже заняли новую линию обороны, что все еще образуется. Но на каждой станции, где останавливался состав, в него добавлялись люди из разных отступавших разрозненных частей, и все говорили одно: под натиском противника отступление продолжается повсюду, никакой линии фронта нет, никаких приказов не поступало и неизвестно, откуда их можно ждать.

В середине дня, когда до Будапешта оставалось километров сорок, состав внезапно остановился в поле, перед однопролетным деревянным мостом, перекинутым через неширокую речку: мост был взорван. Чуть в стороне, на довольно большом плоту, собранном из обломков моста, переправлялись на ту сторону красноармейцы какой-то части. Оказывается, мост взорван неизвестно кем утром, когда к нему с противоположной стороны, от Будапешта, подходил эшелон с артиллерией — его отправили обратно. Неподалеку есть брод, но довольно глубокий.

Из всех вагонов торопливо выпрыгивали бойцы, спеша переправиться на западный берег. Выгрузился и Гомбаш со своими людьми, в первую очередь позаботившись о раненых — среди них было несколько неспособных передвигаться. Под присмотром Ольги их вынесли и по одному, по два стали переправлять на плотиках. С последними ранеными переправилась и Ольга. Гомбаш предполагал, что где-нибудь в ближнем селе удастся раздобыть для раненых повозки.

Вскоре все, кто выгрузился из вагонов, были уже по ту сторону речки. Когда переправились последние, на оставленном берегу показалось несколько всадников — они скакали рысью к мосту.

— Румынская кавалерия! — крикнул кто-то.

— По берегу — в цепь! — скомандовал Гомбаш.— Огня не открывать, подпустить ближе!

Собственно, кавалерия была не очень опасна — на ее пути небольшая, но река. А если кавалеристы воспользуются бродом?

Выполняя команду, бойцы рассыпались по редким прибрежным кустикам.

Всадники приближались. Теперь было видно, это свои: серые венгерки, фуражки с красными кокардами — кавалерия Красной армии!

Минута-другая — и всадники уже на берегу. Бойцы подымались, махали им:

— Давайте сюда!

Всадники, что-то крича в ответ, поскакали вдоль берега, наверное, они знали, где брод.

Вскоре кавалеристы присоединились к бойцам. Их было немного — с десяток, среди них два донских казака. Этих сразу обступили бойцы русской роты, стали расспрашивать.

От конников узнали, что войска интервентов большими колоннами кавалерии и пехоты движутся на запад от Тисы по всем дорогам, следом подтягиваются артиллерия, обозы. Кое-где наступающий противник натыкается на красноармейские заслоны, но эти заслоны отходят — нет патронов, нет артиллерийской поддержки. До моста противнику остается пройти не больше двадцати километров. Движется он не быстро, с некоторой опаской, но так или иначе, к концу дня наверняка дойдет до этой речки.

Посовещавшись со Свечкиным, который держался уж совсем безучастно, и со старшим из конников, Гомбаш принял решение: послать нескольких кавалеристов в ближайшее село, чтобы раздобыть повозки, погрузить в них раненых и всем двинуться дальше на запад.

Часа через полтора посланные конники вернулись с тремя повозками, раздобытыми в бывшем помещичьем имении, которое, как и другие, при советской власти стало государственным хозяйством. Руководителя, поставленного народной властью, в хозяйстве уже нет, он куда-то исчез, как только стало известно о приближении интервентов, верховодит его заместитель — бывший помещичий управляющий; он не хотел давать лошадей, пришлось брать силой.

Не теряя времени, погрузили раненых и двинулись в путь. Вперед поскакали трое конников — для разведки. Временами Гомбаш посылал кого-нибудь из всадников вправо или влево — были основания опасаться, что противник может обойти стороной.

К середине дня, двигаясь проселками на запад, вышли на шоссе. По нему в том же направлении шли отдельные группы бойцов, тащились обозные повозки. Как ни пытался Гомбаш выяснить, строится ли где-нибудь новая линия обороны, узнать ему ничего не удалось.

Под вечер шоссе привело к небольшому городку, стоящему на железной дороге. Со своими людьми Гомбаш направился к вокзалу в надежде, что там, может быть, удастся узнать, до каких же пор придется отступать. Должна же быть, в конце концов, какая-то определенность!

На маленьком вокзальчике было немноголюдно: отступающие, не надеясь, что будут поезда до Будапешта, продолжали двигаться, не задерживаясь, своим ходом, через городок по шоссе. Придя на вокзал, интербатовцы увидели, что на путях стоит санитарный поезд-летучка из трех вагонов, в них идет погрузка раненых из госпиталя, находящегося в этом городке. Гомбаш поспешил договориться, чтобы раненых интербатовцев тоже забрали в поезд — так они скорее, уже сегодня, попадут в какой-нибудь из будапештских госпиталей. Вскоре всех раненых погрузили в вагоны, хотя они и без того были переполнены — летучка шла почти от самой Тисы, подбирая раненых на попутных станциях. По-видимому, это последний состав, идущий в Будапешт. О положении на фронте и на этот раз ничего нового узнать не удалось. По слухам, в Будапеште происходят какие-то серьезные изменения в правительстве. Какие?

Гомбаш обсудил со своими людьми создавшееся положение. Решили, что нет смысла задерживаться на станции — реальных надежд на то, что будет какой-то поезд до Будапешта, нет. А за сутки можно дойти до столицы. Может быть, где-нибудь перед Будапештом все же строится оборона, тогда все определится, кончится это странствие без ясной цели. Горько сознавать, что вот уже второй день они только и делают, что уходят от врага, вроде лишь спасают себя. Но что они могли сделать еще? В условиях безостановочного массового отхода войск оставаться с горсткой бойцов в ожидании подавляющего числом врага было бы донкихотством.

Интербатовцы продолжали путь. До Будапешта оставалось уже километров тридцать, но никаких признаков, что фронт как-то стабилизируется, не встречалось. Посовещавшись, решили идти прямо в Будапешт, уж там-то можно будет как-то определиться...

С Гомбашем шли теперь человек сорок — по пути примкнули еще несколько бойцов из разных подразделений Интербата. Но шестеро конников покинули отряд — по дороге они встретились с большой группой бойцов своего эскадрона и вместе с ними ускакали вперед.

Чем ближе подходили к Будапешту, тем сильнее полнились тревогой сердца: в попутных селениях жители сообщали, что как будто в Будапеште переменилось правительство. Что это значит? Переменились ли только люди в правительстве или переменилась сама власть? Толком узнать не удалось.

Ночь застала интербатовцев километрах в десяти от Будапешта. Хотелось как можно скорее выяснить, каково положение в городе. И все-таки решили остановиться на ночлег: все устали.

Заночевали в крестьянском дворе, стоявшем на отшибе от придорожного селения. Хозяин, сам бывший солдат, оказался приветливым, не пожалел соломы на подстилку, улеглись кто во дворе, кто в сарае. Но тревога о том, что ожидает впереди, оказалась сильнее усталости. Многим не спалось. Поднялись чуть свет и тронулись в путь.

Еще до восхода солнца подошли к окраине Будапешта, к парку Неплигет, — отсюда лежал кратчайший путь через дунайский мост в южный пригород Будапешта, Келенфельд, где находились казармы, в которых весной формировался Интернациональный батальон. Гомбаш намеревался привести людей туда, считая, что келенфельдские казармы станут сборным пунктом для всех интербатовцев и что там-то, несомненно, можно будет установить связь с командованием.

Прежде чем направиться в город, решили на всякий случай узнать, какова там обстановка: слух о переменах в правительстве не мог не насторожить.

— Пока привал! — объявил Гомбаш, остановив людей на окраине парка, еще дышавшего ночной сыростью.

Расположились в аллее — кто на скамейках, кто прямо на земле. Двух бойцов-венгров Гомбаш послал на прилегающую к парку улицу, одноэтажные домики которой виднелись за деревьями. Послал, чтобы они попытались узнать у жителей, каково положение в городе, что означает смена правительства; у Гомбаша были свои опасения, которыми он пока не хотел делиться с остальными.

Посланные вернулись очень скоро, взволнованные, расстроенные: вместо советского правительства в Будапеште какое-то другое, называющее себя профсоюзным. На зда-

нии местной Красной охраны — милиции — красный флаг спущен.

Спущен красный флаг!

Это известие ошеломило. Может быть, теперь небезопасно идти в город и надо принимать какие-то новые решения?

Посоветовавшись со всеми, Гомбаш сказал венграм, которых уже посылал на разведку:

— Отправляйтесь в Келенфельд. По пути постарайтесь выяснить, какая же все-таки власть в Будапеште. На дорогу до келенфельдских казарм и обратно вам даже пешком хватит два часа. Мы подождем вас здесь, в парке. Будьте осторожны. Оружие держите наготове.

Разведчики ушли. Томительно тянулось время. Бойцы сидели кучками, тихо переговариваясь. Рядили-гадали: что же будет дальше, если власть действительно переменилась?

Гомбаш отозвал Свечкина в сторонку, под сень старого раскидистого дуба. Они присели на траву и о чем-то заговорили вполголоса. Кедрачеву, то и дело поглядывавшему на командиров — откуда же еще можно было ждать какой-то определенности? — бросилось в глаза, что Гомбаш говорит горячо, увлеченно, близко придвинувшись к Свечкину, а тот сидит с безучастным, неподвижным лицом, с плотно сжатыми губами, через которые время от времени как бы с усилием проталкивает два-три слова в ответ,— даже, кажется, и не глядит в лицо Яношу, а куда-то в сторону...

«Как же легко наш ротный беде поддался! — с жалостью подумал Кедрачев.— Может, как-то оно и обладится. Чего ж загодя голову вешать? Некрепкий характер у него, однако... шибко тонкого воспитания, не то что наш брат солдат. А Янош, верно, увещевает его...»

Гомбаш действительно увещевал Свечкина, стараясь найти самые убедительные, самые впечатляющие слова. Это ему не вполне удавалось, так как, если говорить честно, его собственное душевное состояние было отчаянным, и только крайнее напряжение воли, сознание ответственности перед людьми, которые верят ему, ждут от него единственно правильного решения, помогали ему держаться. Убеждая Свечкина, стараясь вселить в него бодрость, он, пусть не вполне осознанно, уговаривал, убеждал, ободрял и самого себя.

— Мне не менее тяжело, чем вам, поверьте, — говорил он. — Прибавьте ко всему, что Венгрия — моя родина, моя

родная земля... Не исключено, что революции на время придется отступить. Но нельзя впадать в отчаяние. История революционной, освободительной борьбы, к сожалению, знает немало отливов, жестоких поражений. И это неизбежно, потому что революции совершаются в ожесточеннейшей борьбе. Вспомните девятьсот пятый год на вашей родине. Революция потерпела поражение, но если бы ее деятели, большие и малые, опустили бы руки, впали в отчаяние или, того хуже, думали бы о последнем патроне?.. Свершилась бы революция в октябре семнадцатого? Победила бы советская власть? Вероятно, нет... Наконец, мы с вами — не сами по себе. Мы — командиры, отвечаем за людей. Мы обязаны действовать. В любом положении принимать решения и действовать.

Гомбаш продолжал говорить, но по застывшему лицу Свечкина видел, что слова его не достигают цели. И ему самому уже начинало казаться, что утешения его совершенно неубедительны, что все это пусть справедливые, но общие слова... Если положение непоправимо — что делать, куда вести людей? «Да что я... Найдется выход: партии не привыкать действовать в подполье».

— Пойдемте,— мягко коснулся он плеча Свечкина.— Что-то долго нет посланных.

Солнце уже высоко стояло над деревьями парка, чувствовалось, каким жарким будет день.

Гомбаш все чаще поглядывал на часы. Восемь. Половина девятого. Девять. Давно пора вернуться посланным. А их все нет. Что делать, если они не вернутся еще через час? Послать других? Сколько можно сидеть здесь, в безлюдной аллее? Сколько можно бездействовать, когда революции, быть может, так нужна сейчас каждая пара рук, умеющих держать оружие?!

Но вот в дальнем конце аллеи, со стороны города, показались фигуры двоих с винтовками, идут быстрым шагом. Возвращаются! Все поднялись в напряженном ожидании: какие новости несут они? Все тесно обступили вернувшихся разведчиков. Те стали докладывать Гомбашу, он задавал вопросы. Кедрачев с товарищами внимательно слушали, но понимали мало — разговор шел на венгерском языке. Видя, как бледнеет лицо Гомбаша, как все сосредоточеннее сдвигаются его брови, нетрудно было догадаться, что известия очень нерадостны.

Вот Гомбаш обернулся к бойцам роты Свечкина, заговорил по-русски:

— Тяжело говорить вам это, товарищи... Правительст-

во советской Венгрии вынуждено было сложить свои полномочия. К власти пришло так называемое профсоюзное правительство. Оно будто бы обещает не преследовать коммунистов. Но какие-то люди с повязками на рукавах уже пытались отобрать винтовки у наших товарищей, которых мы посылали в город. Наши товарищи все же сумели добраться до келенфельдских казарм. И повернули обратно: над казармами нет красного флага. Понимаете, что это означает? Идти в город нам всем, вот так, колонной, рискованно. Давайте посоветуемся, как быть.

Совещались недолго. Решили не входить в город, а предместьями пробираться в Чепель, до которого не более часа ходу. Среди интербатовцев есть несколько жителей Чепеля. И у них, и у Гомбаша там найдутся надежные товарищи, коммунисты. Связаться с ними, действовать по обстановке. Чепель — пролетарская крепость, там сами стены помогут...

— Идем пока организованно, как и шли,— сказал Гомбаш. — Будем готовы, в случае чего, отразить любое нападение. Помните, мы отряд Красной армии.

Двинулись в путь — от Неплигета напрямую, по дорожкам и тропам между садами и огородами, по окраинным улочкам. Вскоре вышли к берегу рукава Дуная, омывающего Чепель с восточной стороны, перешли мост. По пути почти никого не встретили — дорога не людная. Немногих встреченных по пути жителей Гомбаш расспрашивал, но удалось узнать только то, что, собственно, было уже известно. Новое правительство будто бы отдало приказ прекратить все военные действия против румын, красноармейцы расходятся по домам.

Прекратить военные действия... Значит, новое правительство открыло оккупантам дорогу на Будапешт, со дня на день они могут появиться здесь...

Когда перешли мост, Гомбаш, считая, что надо предпринимать меры предосторожности, не повел интербатовцев дальше, в кварталы Чепеля, а решил сделать остановку в укромном месте где-нибудь на берегу, окончательно уточнить обстановку и после этого уже действовать соответственно ей.

Укромное место нашлось в стороне от моста, где, уткнувшись носами в берег, стояло несколько пустых барж, на которых подвозят уголь для чепельских заводов. Вплотную к стоянке барж подходил железнодорожный путь, уставленный коробками хопперов — угольных вагонов. Между их колесами пробивалась травка, видно было,

что стоят здесь эти хопперы давно — нет подвоза угля на Чепель.

Расположив людей в этом безлюдном уголке и выставив на всякий случай часовых, Гомбаш с двумя бойцами — местными жителями — отправился на Чепель.

Прошел час. Потянулся второй...

Все с тревогой посматривали туда, где за железнодорожными путями виднелись вдалеке заводские трубы, из которых ни одна не дымила. Кто-то сказал Свечкину, что надо бы послать еще кого-нибудь из товарищей венгров, разузнать, что случилось с комиссаром. Но Свечкин коротко ответил:

— Подождем.

Было видно, как он волнуется. Ему не сиделось на месте, в сторонке от всех он непрерывно расхаживал возле стоявшей вплотную к берегу баржи, ходил взад-вперед с отрешенным лицом, словно не видя ничего вокруг, наедине со своими мыслями.

К Кедрачеву, который сидел возле вагонов с товарищами, обсуждая, как могут развернуться события, потихоньку подошла Ольга:

— Боюсь, Ефимушка, не случилось ли чего с Ваней? Может, схватили его?

— Не думаю... Янош — человек осторожный, и с ним двое чепельских, пошли к своему рабочему народу, он не выдаст и в обиду не даст. Успокойся, сестренка, не придумывай лишнего. И без того хватает...

Кедрачев видел, что его утешения помогают мало. В темных глазах Ольги застыл страх.

— Я за него, когда бой шел, наверное, меньше боялась. Близко к нему была, всегда могла узнать, что с ним, помочь, а сейчас...— Она прервала свою речь, воскликнула: — Ваня! — и метнулась в сторону, откуда послышались оживленные голоса.

Интербатовцы уже сгрудились вокруг комиссара. С жадностью ждали, что он скажет. Рядом с ним стояли два незнакомца, оба пожилые: один — в рабочей куртке, с кепкой в руке, другой — в очках, в пиджачной паре, с непокрытой головой, на которой под солнцем серебрилась седина.

Гомбаш представил этих людей, объяснил, что они — посланцы пролетарского Чепеля:

— Эти товарищи примут участие в дальнейшей нашей судьбе. Должен сказать с величайшей скорбью: известные вам самые печальные слухи подтвердились...

Каждое слово комиссара — сначала он говорил на родном языке, потом повторял то же самое по-русски — ложилось давящим камнем. Уже второй день, как коммунисты перестали быть правящей партией, у власти — правительство соглашателей. Оно уже показало свое истинное лицо: выпустило на свободу контрреволюционеров, взамен их тюрьмы заполняет коммунистами, восстановило старую жандармерию. Кто был в Интернациональном батальоне, рискует подвергнуться преследованиям. Поэтому нельзя терять ни часа, ни минуты. Рабочие Чепеля помогут укрыться, спрячут оружие, чтобы оно не досталось контрреволюционерам,— пролетариат Венгрии дал интернационалистам оружие для защиты советской республики, ему они и сдадут его. Надежно сохраняемое, оно будет ждать, когда пригодится вновь.

— Революция может потерпеть поражение,— говорил Гомбаш,— но убить революцию нельзя. Ее солнце уже взошло, и движение его невозможно остановить или обратить вспять. Наше время — утро революции. Есть неодолимые законы и природы, и истории человечества. Что с того, что утром небо может быть в тучах, которые заслоняют солнце. Да, мы вынуждены уйти, отступить. Но мы вернемся. Мы вернемся в полдень революции, когда солнце взойдет высоко, и никакие тучи не в силах будут преградить путь его лучам!

Закончив говорить, Гомбаш объявил: всем пока оставаться здесь. Постепенно, сегодня же, всех разведут небольшими группами и поодиночке, укроют — об этом позаботятся товарищи из Чепеля. С их помощью все получат необходимые документы, позволяющие свободно жить в месте, которое каждый изберет, а бойцы батальона — венгры смогут вернуться в родные места...

Неожиданный щелчок выстрела прервал слова комиссара. Все схватились за оружие, повернулись туда, откуда он донесся — со стороны порожняка, стоявшего на рельсах.

Но этот одинокий выстрел вовсе не означал внезапного нападения, как все подумали в первый момент. Подбежав к составу, увидели: меж двумя вагонами, зацепившись за буфер, повисло недвижное тело, почти до земли опущена рука, под нею на шпале валяется револьвер. Свечкин... Сгрудившись, сняли его с буфера, положили на скупо растущую из щебенки траву. На ходу расстегивая сумку с красным крестом, к нему протиснулась Ольга, присела. Все, плотно сбившись, наблюдали, как она рас-

стегивает на груди Свечкина его старенькую гимнастерку, на которой в ярком свете солнца четко выделяется алое пятно,— Свечкин выстрелил себе в сердце.

Стоявший рядом с Кедрачевым Никитенко прошептал:

— Примечал я, ротный наш словно потерянный стал, как отступать начали...

— И я... Только невдомек было, что на такое решится. А то бы глаз не спускать, оберечь...

— Жаль его, Ефим. Закалки не хватило, а так хороший человек был...

— Почему— был? Может, он еще живой?

Молча смотрели. Ольга, разорвав на груди Свечкина нательную рубашку, осматривает рану, берет запястье, ищет пульс, приложила что-то к его рту. Но вот она застегнула гимнастерку Свечкина на все пуговицы, тихо, размеренным движением — видно, ей приходилось делать это не впервые — сложила ему руки на груди. Тотчас же правая рука Свечкина откинулась в сторону. Ольга попыталась положить ее снова. Рука упрямо не сгибалась,— казалось, Свечкин никак не хотел теперь примириться с тем, что сам сделал с собой.

Глава двадцать вторая

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

Минули сутки, как те немногие, что остались от батальона, пришли в Чепель. Неразрывно связанные до этого единым делом, общей судьбой, теперь они вынуждены были разойтись разными путями. С грустью распрощался Кедрачев с Фаркашем — успели-таки сдружиться, повоевав вместе. Фаркаш хотел было вернуться домой, в маленький городок близ Балатона, но, сообразив, что там он может поплатиться за службу в Красной армии, передумал и решил уехать к брату в Печ, где его никто не знает. Бойцов русской роты развели по разным местам чепельские рабочие, взявшие над ними опеку. Распрощался со всеми Холонец — он отправился в село, где батрачил до вступления в Красную армию. Еремей Жуков заявил: «А я к своей пробираться буду»— и тут наконец открыл тайну своего необъятного вещевого мешка, развязав его. Оказывается, предусмотрительный Еремей хранил там на всякий случай свою крестьянскую одежду, которую, вступив в Интербат, сменил на военное обмундирование. Правда,

она была слегка подпорчена, после того как мешок, загоревшись во время обстрела, спас своего владельца от смерти, но Еремей не унывал: «Доберусь до своей — снова нарядит». Кедрачев нашел приют на Чепеле. Сначала он хотел поселиться в квартире, где прежде жил с Рекемюком, может быть, снова с ним, если тот еще там. Но оказалось, что Петро давно уехал куда-то в поисках лучшего заработка и комната сдана другим постояльцам. С помощью Габора Кедрачев поселился у одного из его друзей.

Гомбаш, проследив, чтобы были устроены все, отправился с Ольгой к своему товарищу, адвокату Фалви, у которого, был уверен, найдет приют. Ефиму он оставил адрес.

На следующий день после прихода в Чепель хоронили Свечкина. На похоронах были не все, кто со своим ротным пришел в Будапешт,— некоторые, как Холонец, отправились искать пристанища в других местах. На кладбище собралось всего человек пятнадцать из русской роты. Странно было видеть друг друга в штатском — не в привычной интербатовской форме. Кедрачев и вовсе неловко чувствовал себя в необычной одежде — в пиджаке и в шляпе, которыми снабдил его Габор. А Яноша, когда увидел издали, придя на кладбище, в первое мгновение даже не узнал: что это за господин в светлом летнем костюме, при галстуке, с белой шляпой в руке? Ольгу, стоявшую рядом, Ефим впервые в жизни увидел в шляпке, красноармейскую куртку сменили тонкая белая блузка, черная юбка и жакет, которые были ей очень к лицу.

После того как над могилой Свечкина в дальнем углу кладбища вырос свеженасыпанный холмик, Гомбаш произнес несколько слов.

— Мы расстаемся сейчас, товарищи,— сказал он,— может быть, очень надолго. Возможно, многие из нас уже не встретятся друг с другом. Очень вероятно, нас ожидают нелегкие судьбы, тяжелые испытания. Так помните о нашем братстве товарищей, сражавшихся под знаменем самой великой справедливости. И будем верить — красные флаги над Будапештом поднимутся вновь. Когда? Может быть, скоро. Но может быть, пройдут годы. Нужно время на то, чтобы осмыслить совершенные ошибки — не слишком ли мы были доверчивы и легковерны? — оправиться от поражения, собрать силы вновь... Самое главное — не терять мужества. И верить в конечную победу. Этого, к со-

жалению, не хватило нашему товарищу Свечкину, с которым мы простились сейчас. Он храбро воевал, честно, со всей порывистостью молодости, отдавал всего себя делу революции. Будем помнить его...

Когда расходились с кладбища, Ефим пошел вместе с сестрой и Гомбашем. Довольно долго шли в печальном молчании. Первым заговорил Ефим:

— Знаешь, Янош, нейдет у меня из головы наш ротный... Что это он — так уж...

— И я о нем думаю... Что ж, точно ответить на этот вопрос мог бы только он сам. Теперь уж не ответит... Мы можем лишь догадываться.

— Ты вроде его поближе знал?

— Да как сказать... Я знаю кое-что о нем, о его семье, о его взглядах — приходилось беседовать в спокойные минуты. Тебе-то он только командиром был: прикажет — исполняй. Много ли тут о человеке узнаешь? Видишь ли, Свечкин из семьи... потомственных революционеров, что ли. Бывают потомственные дворяне, офицеры, ну и рабочие, хлебопашцы тоже — кто угодно. Это когда из рода в род передается, от отца к сыну. Свечкин наш с детства, с молоком матери, как говорится, впитал любовь к свободе, ненависть к угнетателям. У него в роду кто-то давно даже народовольцем был — приходилось о таких слышать?

— Я читала,— отозвалась Ольга.— Они в царя стреляли.

— Верно. Ну вот... В юности еще, мальчишкой почти, наш Свечкин Маркса читал, да прямо-таки запоем, хоть и не все понимал, конечно; мечтал о мировой революции. И как же был горд, что довелось ему вот здесь сражаться за нее! Он ли один? А разве все мы не считали, что сражаемся за мировую революцию? Да так оно и было.

— Было-то было...

— Так и будет, Ефим, хотя сегодня нам очень тяжко. Надо верить. И бороться. А для Свечкина, видимо, это был крах, который он не смог перенести. Лозунг «Победа или смерть» по отношению к себе он понял слишком категорично. Еще когда мы полем шли, он сказал: «Рушится все!..» Да, для него это было крушением. Крушением его мечты, всего, к чему он готовил себя всю свою недолгую жизнь...

— Приготовил — сам себя сказнил.

— Таких людей, Ефим, не судят. Они достойны самого глубокого уважения.

...На следующий день после похорон интербатовцы, обосновавшиеся на Чепеле, по одному, чтобы не привлекать внимания, отправились в центр города, в русскую миссию международного Красного Креста. Теми, кто заботился о них, было предусмотрено, что каждый сможет получить в миссии документ, удостоверяющий, что он — военнопленный, подлежащий отправке на родину. Этот документ должен был прикрыть факт службы в Красной армии — мало ли пленных застряло в Венгрии после войны.

Отправляясь в Красный Крест, Кедрачев свою книжку красноармейца Интернационального батальона и временное партийное удостоверение отдал на сохранение Габору — тот обещал спрятать и сберечь. Держать эти документы при себе Кедрачев опасался: вдруг какая-нибудь проверка, обыск?

Получив в Красном Кресте справку, Ефим отправился на квартиру, где нашли себе убежище Янош и Ольга. Он спешил повидаться с ними, чтобы знать, где искать их в дальнейшем: Янош еще раньше предупредил его, что обстановка может сложиться так, что ему придется покинуть Будапешт, скрываться. Тогда он хотел отправить жену в Вашварад, к своим родителям.

Придя к Яношу и Ольге, Кедрачев увидел, что они ожесточенно спорят. В глазах Ольги стояли слезы, хотя была она в споре — это сразу заметил Ефим — явно не обороняющейся стороной. Оборонялся скорее Янош. Он настаивал, чтобы Ольга без промедления отправилась в Вашварад, хотел дать телеграмму отцу, чтобы тот приехал за нею. Сам же Янош собирался на следующий день уехать за границу. Он объяснил Ефиму: социал-демократическое правительство Австрии предоставило политическое убежище многим партийным и государственным работникам прекратившей свое существование Венгерской советской республики. В список тех, кого в Австрии согласны принять, внесен и журналист Гомбаш — о том, что он был комиссаром, упоминать в документах было бы небезопасно. Специальный поезд отправляется завтра вечером, медлить нельзя: к Будапешту движутся румынские войска. Янош хочет уехать один, чтобы не подвергать Ольгу случайностям и опасностям жизни политэмигрантов. Но Ольга — ни в какую. Многие, отправляющиеся этим поездом, уезжают с семьями, и она требует, чтобы муж непременно взял ее с собой, она не хочет снова мучиться неизвестностью, если вдруг между ними не будет никакой связи.

В спор на стороне Яноша включился и Ефим. Но и вдвоем они не смогли убедить Ольгу. Наоборот, в конце концов они вынуждены были согласиться с ее доводами: в Австрии жизнь мирная, спокойная, Янош будет где-то работать, найдет себе дело и она, как-нибудь проживут, главное — будут вместе. На том и порешили.

К вечеру следующего дня Ефим приехал на Западный вокзал проводить сестру и друга. Накануне он предложил заехать сначала на квартиру, помочь нести вещи. Но, как и можно было предположить, вещей у Яноша и у Ольги почти не было — в дорогу они брали всего один небольшой чемодан, Янош легко донесет его сам.

Когда Ефим пришел к вокзалу, то не удивился, что там совсем немноголюдно — поезда почти не ходят, отправляется только один, особый, на котором уезжают Ольга и Янош. У входа в вокзал стояла военная охрана — уже не в красноармейской, а в старой австро-венгерской форме. Охранники тщательно проверяли документы, войти в вокзал можно было, только имея пропуск. Кедрачев остановился на улице, неподалеку от входа, поджидая Яноша и сестру. Вот показались и они. Увидев Ефима, Гомбаш кивнул ему, передал чемодан:

— Подержи, я достану документы.

Он подал охраннику свой пропуск и пропуск жены. Охранник показал их другому, очевидно старшему, тот заглянул в какую-то бумажку, которую вытащил из кармана. Вернув Ольге ее пропуск, он движением руки показал, чтобы она проходила в вокзал. Яношу же приказал отойти в сторону, где стояли еще несколько охранников, те оттеснили его к стене. Он бурно запротестовал:

— Отдайте документы и пропустите!

Его не слушали. Старший из охранников показал на него другим:

— Комиссар!

И те еще плотнее обступили Гомбаша.

Ольга, побледнев, стояла недвижно.

— Проходите! — с язвительной улыбкой снова показал ей на вход в вокзал старший охранник.

Ольга бросилась к мужу. Ее вежливо, но настойчиво оттеснили.

В отчаянии бессилия смотрел на все это Ефим: чем он мог помочь?

Когда Яноша уводили, он обернулся, крикнул жене:

— Не беспокойся обо мне, поезжай к нашим!

Его взгляд нашел Ефима, и тот прочел в глазах дру-

га: «Позаботься об Олек!» Ефим взглядом же ответил: «Будь спокоен!»

Ольга продолжала стоять неподвижно, глядя в проем вокзальных дверей, поглотивших Яноша. Ефим взял ее под руку, повел от вокзала. Она шла как деревянная, с застывшим лицом, слов утешения, которые он говорил, словно бы и не слышала. Шла все медленнее, ноги словно отказывали ей...

Заметив на безлюдном бульваре скамейку, Ефим поспешил усадить сестру. Как мог, старался успокоить. Его увещевания не доходили до Ольги. Она сидела сгорбившись, закрыв ладонями лицо. В конце концов он замолчал: если плачет — пусть выплачется. Со слезами, говорят, горе скорее из сердца вытекает.

Так они сидели долго. Когда Ольга несколько пришла в себя, Ефим заговорил:

— Как бы Яноша выручить?.. Надо с хозяином вашим посоветоваться, он же адвокат, в этих делах дока. У него и ходы должны быть. Может, что-нибудь сумеет сделать. А тебе здесь оставаться совсем ни к чему. Давай поедем на вашу квартиру, поговорим с Фалви. Он по-русски может?

— Чуть получше, чем мы с тобой по-мадьярски. С Яношем они — по-своему. Но и со мной говорит — понимаем кое-как.

— Поговорим. А завтра отвезу тебя в Вашварад. Собирай вещички!

— Какие вещички...— сквозь слезы улыбнулась Ольга.— Ты же видел — один чемодан... Спасибо, жена Фалви добрая, одела меня. Куда я поеду? Нет, Ваню здесь не брошу.

— Но что ты можешь сделать для него? Ничего!

— Свидания буду добиваться. Чтобы знал, что я здесь,— полегче ему будет. Принесу в тюрьму что-нибудь. И хлопотать стану...

— Кто тебя слушать будет? По-мадьярски-то и сказать не можешь. Много ты нахлопочешь...

— Не одна же я! У Яноша товарищей много. Вот только найти их...

— Трудно сейчас их искать. Они же, верно, и сами опасаются. Вот и Фалви — еще неизвестно... Хороший-то он хороший, а вдруг испугается, как узнает, что Яноша схватили. Захочет ли, чтоб ты у него жить осталась? — Ефим сказал это с тайной надеждой, что таким образом скорее убедит Ольгу в необходимости уехать в Вашварад.

Но она сказала:

— Испугается Фалви, где-нибудь в другом месте устроюсь. Хоть в прислуги пойду, хоть на самую черную работу...

— Куда ты устроишься? Здесь безработных полно. Тем более женщин.

— Нет-нет, одного его здесь не оставлю!

Ефим счел за лучшее больше не спорить. Сестренка так расстроена... Обстоятельства покажут, как поступить.

Когда они пришли к Фалви и, как могли, рассказали ему о случившемся, тот очень расстроился. Однако ничем не дал понять, что присутствие Ольги в его доме теперь нежелательно. Наоборот, предложил, чтобы она жила у него и впредь, мало того — сказал, что постарается навести необходимые справки о том, что и как можно сделать для Яноша. Было ясно, что он занимает довольно прочное положение и далек от опасений, которые предполагал Ефим. Условившись, что будет наведываться к сестре, Ефим ушел. Надо было возвращаться в Чепель и как-то устраивать свою жизнь.

А устраивать ее было довольно сложно. Завод, на котором он работал прежде, теперь из-за прекращения подвоза угля стоял. Лишь в одном цехе, в кузнечном, еще шла кое-какая работа — из прежних заготовок. Габор, который и сам был пока что безработным, старался найти Кедрачеву какой-нибудь заработок, хотя бы на кусок хлеба. Но старания его оставались безрезультатными. Единственное, что он мог сделать для Ефима,— это продать его новые, еще ненадеванные сапоги, которые Ефим оставлял Габору весной, когда вступил в Красную армию. Надолго ли хватит выручки от этих сапог? Правда, Ефим знал, что среди рабочих идет тайный сбор денег для помощи таким, как он. Но он не хотел рассчитывать на пособие — не привык жить на чужой счет. Можно было, как Холонец, податься куда-нибудь в деревню на батрацкие хлеба. Однако, пока сестра в Будапеште, об этом нельзя и помышлять: кроме Фалви, здесь у нее нет никого.

Острее заботы о хлебе насущном, сильнее тревоги за судьбу Яноша, Ольги и свою собственную точило душу Кедрачева горькое чувство утраты того, за что он и его товарищи сражались, готовые отдать жизнь. Горечь поражения была как ноющая, непроходящая, усиливающаяся, охватывающая все существо боль. Горько было и оттого, что все они, так долго жившие, воевавшие локоть к локтю, теперь были разобщены, и даже душу отвести в разгово-

ре имели возможность не так уж часто. За три дня Кедрачев встречался два раза лишь с Никитенко — они в самом начале уговорились не терять связи.

Что будет дальше? Как жить? Как действовать? На эти вопросы искали они ответа в своих разговорах. В Будапеште с каждым днем тревожнее. Все, кто служил советской власти, не чувствуют себя в безопасности, новое правительство все жестче преследует их. А к городу все ближе и ближе подходят румынские войска

На четвертый день после прихода в Чепель, рано утром, Кедрачев вышел на улицу купить что-нибудь съестное на базарчике у перекрестка. Подходя к нему, услышал слаженное цоканье копыт о камни мостовой. Глянул и замер: вдоль улицы шагом ехали, держась в ряд, четыре румынских кавалериста, ехали спокойно, как у себя дома...

Болью зашлось сердце. «Воевали мы, воевали, товарищей теряли, и вот...»

Долго, словно не веря своим глазам, смотрел он, как едут по улице Чепеля чужие солдаты. Так расстроился, что, не дойдя до базарчика, в досаде махнул рукой и повернул обратно. Но на полдороге к своей квартире спохватился: надо немедленно сходить к Ольге — мало ли как теперь будет? Живет она, можно сказать, на птичьих правах, у нее нет даже надежных документов. А оккупанты могут начать всякие проверки, и еще неизвестно, как они отнесутся к жене комиссара. Увезти ее надо было в Вашварад хоть силой...

Когда Кедрачев пришел к сестре, она уже знала, что в город вступили румынские войска. Это ее очень встревожило и огорчило, но все же она казалась спокойнее, чем ожидал Кедрачев: оказывается, Фалви уже раздобыл для нее за соответствующую мзду вполне надежные документы, и, если будет какая-нибудь проверка, ей ничто не грозит. Ефим заикнулся насчет того, чтобы ей уехать в Вашварад. Ольга и слушать не захотела. Стала убеждать Ефима, чтобы он о ней вовсе не беспокоился: семья Фалви — верные друзья Яноша, очень заботливы, она живет у них как за каменной стеной. Самого Фалви никто не тронет — он ни в каких партиях не состоит, хотя негласно и сочувствует коммунистам. Адвокатская контора унаследована им от недавно умершего отца, который был человеком в Будапеште влиятельным; многие сильные мира сего пользовались его услугами, подчас в весьма щекотливых делах, и свою благосклонность к покойному перенес-

ли на его сына. Он уже предпринимает шаги, чтобы выяснить, какое обвинение может быть предъявлено Яношу и что ему грозит. Новое правительство заключило в тюрьмы многих коммунистов и собирается судить их по старым имперским законам. Как предполагает Фалви, если следствию станет известна вся деятельность Яноша, ему могут предъявить обвинения в подстрекательстве к убийствам и грабежам — так старые судейские крючкотворы определяют теперь деятельность коммунистической партии.

Фалви узнал, что Янош содержится в следственной тюрьме. Ольга собирается отнести ему передачу, но купить не на что, а одалживаться у Фалви, при всей его любезности, она не хочет — и так чувствует себя нахлебницей, старается отблагодарить гостеприимных хозяев хотя бы работой по дому.

Выслушав, Кедрачев, несмотря на протесты Ольги, отдал ей почти все деньги, какие у него были, чтобы она купила для Яноша необходимое. Пришлось соврать, что скоро он наверняка устроится на работу, так что беспокоиться о нем нечего.

На самом деле Кедрачев не знал, когда, где и какую получит работу. Все старания, его собственные и его чепельских покровителей, пока что оставались безрезультатными. Приходилось потуже подтягивать пояс, жить буквально впроголодь. Хозяева квартиры, где жил Ефим, видя его положение, всегда приглашали его к столу, хотя и сами питались весьма скудно. Ему было неловно обременять их, и он благодарил, уверяя, что сыт, или же старался заблаговременно уйти из дома. Хорошие люди были его хозяева. Именно поэтому, не желая создавать им дополнительные трудности, он хотел переменить жилье на такое, где оставался бы лишь сам с собой. К сожалению, в эти дни на Чепеле, как и во всем Будапеште, квартирный вопрос сделался неожиданно очень острым: новое правительство вернуло домовладельцам все национализированные дома, одновременно объявило о повышении квартирной платы. Тысячи рабочих семей оказались выброшенными из квартир, предоставленных им при советской власти, и вынуждены были возвращаться в лачуги и подвалы — где уж тут русскому пленному, который чуть богаче нищего, искать более удобное жилье!

Да и не до того стало, чтобы хлопотать о перемене квартиры. На третий день после прихода оккупантов вечером к Кедрачеву пришел Никитенко. Он был очень взволнован.

— Выйдем-ка!

Они уединились во дворе.

— Попрощаться пришел,— сказал Никитенко.— Ухожу...

— Почему? Куда? — Кедрачев меньше всего ожидал такой новости.— Ты же механик на все руки! Тебе устроиться легче, чем другим.

— Не о работе речь... Хозяин мой квартирный, мужик хороший, предупредил сейчас — спрашивали его обо мне. Какая-то стервь, видно, опознала меня и донесла. Может, кому надо, тот знает, что я не только в Красной армии был, а еще и большевик. Что ж, ждать, пока сцапают? Здешних коммунистов уже вовсю хватают.

— И куда же ты?

— Подамся в город Татабанью, на шахты. Здешние товарищи адресок дали. Там меня никто не знает, а документ, как у всех бывших пленных, в порядке. Устроюсь.

— Может, и мне куда-нибудь податься, пока не поздно?

— Ну тебе не обязательно срываться. Тем более сестра тут. Живи тихо да лишнего не болтай при ком не надо. Я-то сам виноват. Вчера, как стало известно, что заводы прежним хозяевам возвращаются, разговор тут завязался среди здешних. Ну я и встрял, привлек внимание... Ладно, бывай! — протянул он руку.— Случится мне быть в Будапеште — найду тебя здесь или через Габора твоего. Напишу, как устроюсь. А если подашься куда — адресок ему оставь. Мало ли что... Гора с горой не сходится, а человек с человеком... Может, и послужить снова вместе придется.

— Надеешься?

— Без этой надежды я и жить не хочу. За что же мы с тобой под пули шли? Не может же все на том кончиться, чтобы мы только прятались. Придет и на нашу улицу праздник. Веришь?

— Верю...

На следующий день произошли события, взволновавшие весь город: стало известно, что случился переворот — свергнуто так называемое профсоюзное правительство, просуществовавшее всего шесть дней, из них только два после оккупации Будапешта. Во главе нового правительства, видимо более удобного для оккупантов, стал некий Иштван Фридрих, фабрикант. Ясно, кому станет служить его правительство. Во всяком случае, быстро распространились вести, что правительство этого фабриканта еще крепче завинчивает гайки, намерено решительно пресе-

кать всякое недовольство, быть более жестким по отношению к сторонникам свергнутой советской власти.

Не ждали добра от нового правительства и соотечественники Кедрачева, осевшие на Чепеле. Прошел слух, что всех бывших пленных передадут, захотят они того или нет, генералу Деникину, а служивших в Красной армии заключат в концентрационные лагеря. Может быть, этот слух родился потому, что было объявлено: все бывшие военнопленные должны пройти регистрацию. Кедрачев сначала решил на регистрацию не ходить, а от греха подальше убраться из города. Но куда уйти? В деревню, гнуть спину на какого-нибудь хозяина? Порассудив, он решил остаться: ведь в деревне даже больше будешь на виду у полиции, в случае чего еще скорее заметут, да и один там как перст,— а на Чепеле все-таки есть люди, которые могут помочь, и с работой, глядишь, как-нибудь образуется: идут разговоры, что завод скоро пустят вновь, хозяин спешит наверстать свое. И к сестренке, пока можно, надо держаться поближе.

Он остался.

Но с каждым днем жилось все труднее. Он голодал. И не только потому, что не имел заработка, а скрепя сердце, вынужден был пользоваться тем скудным вспомоществованием, которое тайно от властей давал таким, как он, рабочий Чепель. Даже имея достаточно денег, в Будапеште в те дни трудно было раздобыть что-либо съестное: подвоза продуктов из разоренной войной деревни почти не было, мифическими оказались и эшелоны Антанты с продовольствием, якобы готовые двинуться в Будапешт, едва падет советская власть. Магазины и лавочки были пусты, по карточкам выдавалось всего сто двадцать граммов муки на человека в день, и больше почти ничего; с едой было значительно хуже, чем еще недавно при пролетарской власти,— таково было благоденствие, обещанное народу врагами советской республики в том случае, если она падет.

Не сидел Кедрачев сложа руки, старался найти работу. Но безработных хватало везде. Правда, однажды ему повезло: вместе с еще двумя «чепельскими русскими» Ефим подрядился строить новый дом в Шорокшаре — городке на противоположной Чепелю стороне дунайской протоки — местному лавочнику, на хозяйских харчах. Пока работали, можно было не заботиться о пропитании. Учтя их бедственное положение, хозяин, следуя примеру других работо-

дателей, заплатил русским меньше, чем заплатил бы своим соотечественникам. Тем не менее Кедрачев заимел все же какие-то деньги, и они позволили ему на этот раз воздержаться от получения пособия, которое ему время от времени вручал Габор.

После окончания работы у лавочника Ефим продолжал наведываться к Габору: тот обещал устроить его на завод. Да и просто хотелось отвести душу с человеком, с которым уже связывала какая-то давняя ниточка. Встречался Ефим и с некоторыми из своих: на Чепеле оставалось довольно много соотечественников Ефима, бывших красноармейцев, после падения советской власти укрывшихся здесь. Как-то ему повстречались товарищи из первого Интернационального батальона. И Кедрачев первым долгом спросил у них о Дужникове. Оказалось, Дужников совсем недавно был убит.

В одно из посещений, было это уже в начале сентября, Габор рассказал Ефиму, что недавно получил письмо от Лайошне. Старик совсем расхворался, делать уже ничего не способен, а работы по хозяйству, как всегда осенью, много: надо заготовить на зиму корм для скота, починить обветшавшую крышу скотного двора, собрать урожай. Лайошне бьется из последних сил. Да разве ей управиться одной с несмышленым ребенком на руках? Она зовет Габора, пока он без работы, приехать помочь по хозяйству, хотя бы на неделю-другую, обещает снабдить продовольствием. Габор сказал, что думает принять предложение, и добавил, что Лайошне из его писем знает, что Ефим снова на Чепеле, и шлет ему привет. Габор спросил: не думает ли Ефим вернуться в дом Мадача? Сейчас его руки были бы там весьма кстати.

Для Ефима это предложение не было неожиданностью — ему приходила такая мысль, но, обдумав все, он решительно отмел ее, потому что слышал, будто международный Красный Крест собирается отправлять бывших пленных в Россию кружным путем — через Австрию и Германию. Правда, Ефим этому слуху не очень верит. Габор рассказывал, что в газетах пишут, будто Советская Россия обложена фронтами — Деникин, поляки, Юденич,— и предвещают скорую гибель большевиков. Может, газеты врут? Может, все обстоит иначе? Ведь о том, что Советская Россия вот-вот рухнет, буржуи твердят уже почти два года, а она стоит! Однако дыма, как говорится, без огня не бывает: вдруг в слухе о Красном Кресте есть доля истины?

После разговора с Габором Ефиму стало и грустно, и тревожно. «Бедная Лайошне... Что Габор? Приедет и уедет, а ей опять биться в одиночку. Поосновательнее бы помочь...»

Ефим обманывал себя, стараясь свести свои мысли к тому, что Лайошне трудно справляться с работой. Его все-таки тянуло к ней. Когда был на фронте, о днях, проведенных вместе, вспоминал редко — другие дела и заботы заполняли его. Но сейчас, в довольно унылой жизни, в одиночестве, память все чаще возвращала его к той, по-своему счастливой поре, когда он был с Лайошне. Ему и хотелось вернуть эти дни — сейчас это было вполне возможно, но он понимал, что делать этого не должен. Ему было жаль Лайошне. Вправе ли он вновь подвергать ее испытанию — надеждой и новым, неизбежным, он знал это твердо, расставанием? Ведь остаться у нее он все равно не сможет — слишком прочны родные корни. Или слишком слабы нити, привязывающие его к Лайошне? Нет, нельзя расслабляться! Как можно меньше думать о ней — что отрезано, то отрезано, все равно не приживется. «Больше об Олюньке беспокойся! — твердил он себе.— Ей-то я, может статься, даже очень нужен буду, а значит, и Яношу».

Навещая Ольгу, Ефим знал, что последнее время она все больше тревожится за мужа. Все попытки Фалви прямыми или косвенными путями добиться освобождения Яноша оказались неудачными — настолько неудачными, что это стало грозить благополучию самого Фалви, которому намекнули, что слишком уж рьяно хлопочет он за коммунистов. Янош все еще в следственной тюрьме, готовится процесс над ним и другими, служившими советской республике, но когда он состоится — неизвестно, во всяком случае, как полагает Фалви, еще не скоро.

Поскольку положение Яноша в ближайшее время едва ли изменится, Ефим решил воспользоваться возможностью устроиться на временную работу в отъезд, куда его позвали с собой знакомые солдаты, тоже обосновавшиеся на Чепеле. Работа нашлась в помещичьем имении вблизи Будапешта. Именно потому, что недалеко, Ефим и решился поехать: если возникнет надобность — вмиг доберется до Ольги. Уезжая, Ефим условился с ней и с Фалви, что в случае необходимости они известят его телеграммой, а до Будапешта на пассажирском поезде он доедет за час.

Кедрачев с товарищами проработал в имении больше месяца, до середины ноября,— рыли пруд, строили скотный двор. Как-то дошла весть: румынские войска покинули

Будапешт, вместо них пришли войска адмирала Хорти. Сообщение встревожило Ефима. О Хорти он слышал, когда служил в Красной армии. Русские товарищи Кедрачева между собой называли Хорти «венгерским Колчаком»: армия Хорти, которую он взрастил на юге страны под крылом французских оккупантов,— главную роль в ней играли отборные офицерские отряды,— после крушения советской власти прославилась своими зверствами к коммунистам и к тем, кто их поддерживал. До поры до времени головорезы Хорти свирепствовали только в южных областях, сейчас они в Будапеште. Как это отразится на судьбе Яноша и Ольги? Известно, хортисты расплавлялись с коммунистами без суда и следствия.

Обеспокоенный, Ефим поспешил взять расчет и вернуться в Будапешт. Еще по дороге он узнал, что там идут многочисленные аресты. Ефим сознавал, что спокойнее было бы оставаться, пока можно, на работе у помещика: здесь никто не знает, что военнопленный Кедрачев служил в Красной армии, да еще командиром, пусть и небольшим. В Будапеште, пожалуй, труднее сохранить эту тайну, особенно сейчас. Риск возрос, однако тревога за сестру и друга оказалась сильнее. Да и удостоверение, выданное Красным Крестом, все-таки прикрытие надежное.

Приехав под вечер в Будапешт, Кедрачев прямо с вокзала направился к Фалви.

Ольгу он застал в большой тревоге — прошел слух, что в других городах хортисты врывались в камеры и убивали заключенных. Фалви не разделял ее опасений, утверждал, что новым властям нужен процесс над активными деятелями советской республики для демонстрации законности и порядка, правда, после прихода Хорти репрессии ужесточились, и это, возможно, скажется на приговоре, который вынесут Яношу. Судя по обстоятельствам дела, а о них дотошный адвокат кое-что сумел-таки разузнать, смертная казнь Яношу едва ли грозит, но срок заключения могут дать большой. Однако потом, когда все уляжется, можно будет попытаться добиться смягчения приговора.

Фалви сообщил Кедрачеву, что следствие по делу Яноша окончено, он переведен в другую тюрьму, здесь же, в Будапеште, удалось добиться свидания с ним. Ольга со слезами в голосе рассказала, что Ваня похудел, хотя держится бодро, даже утешал ее и настаивал, чтобы о нем она не беспокоилась и отправлялась бы в Вашварад. Ольга заявила, что никуда не уедет, пока не завершится суд.

Ввиду позднего времени Фалви предложил Кедрачеву переночевать у них, а не ехать на Чепель, на квартиру, в которой он жил до отъезда и куда его приглашали вернуться. Ефим не стал отказываться. За ужином Фалви рассказал, что войска Хорти вошли в Будапешт с благословения Антанты, которая для этого предложила Румынии вывести свою армию. Американский генерал Бадхольц, председатель военной контрольной комиссии Антанты и глава американской миссии, всячески способствовал прибытию Хорти и приветствовал его.

Ефим чуть не выругался со злости, когда услышал, что Хорти с его палаческими отрядами официально приглашен в Будапешт не только буржуазными партиями, но и руководством партии социал-демократов, благополучно существующей при власти отъявленных врагов революции. С приходом Хорти формируется новое правительство, главным образом из представителей буржуазных партий, прекративших существование во время советской республики, а после ее падения возникших вновь. В этом правительстве, по имеющимся сведениям, будет дано местечко и правым социал-демократам. Кедрачев этому даже поверить не мог: до чего же ловко переметнулись господа правые — от сотрудничества с коммунистами к союзу с самыми ярыми реакционерами!

На следующий день Ефим поехал на Чепель, заглянул на свою квартиру и решил сразу же сходить к Габору — тот должен был уже вернуться из деревни. Может быть, он посодействует насчет работы? Завод, как узнал Ефим, уже возобновил работу. Да и вообще хотелось повидаться с Габором: пожалуй, это самый близкий ему человек.

День был воскресный, Габор оказался дома. Приходу Ефима он обрадовался. Узнав, что тот работал в помещичьем имении, Габор стал полушутливо выговаривать ему: лучше бы поехал помогать Лайошне. Ефим сразу догадался, что он в курсе их отношений и явно сочувствует Лайошне. «Может, уговаривает уехать, чтоб не хлопотать насчет работы для меня?» — мелькнула мысль, но Ефим тут же устыдился ее: мало ли Габор сделал для него, да и готов сделать! А советуя поехать к Лайошне, конечно, прежде всего желает добра ему и ей. «Она все-таки надеется,— напомнил Габор.— Может, поедешь?» «Нет,— ответил Ефим.— Так будет лучше». Он нашел-таки в себе силы сказать «нет».

Через несколько дней после возвращения на Чепель Кедрачеву удалось устроиться на постоянную работу. Она

заключалась в перегрузке угля. Занималась этим артель, состоявшая в основном из венгров и нескольких русских. О том, что кто-то из них служил в Красной армии, вслух не говорили.

Работа была тяжелая, грязная, оплачивалась скудно, но приходилось радоваться и такой.

В первый же день Кедрачева вместе с другими послали перегружать уголь из барж в вагоны — на то самое место на берегу, где остановились они, придя на Чепель, в начале августа, когда перестал существовать Интернациональный батальон.

Грустно стало Ефиму, когда он вновь увидел приткнувшиеся к низкому берегу железные баржи, ржавые рельсы, пустые хопперы на них. Где-то здесь, между двумя вагонами, застрелился Свечкин. Здесь, возле пути, стояли и слушали Яноша, прежде чем расстаться. Давно ли это было? Во всех опасностях и тревогах — вместе... А теперь разбрелись по городу, по стране, на Чепеле почти никого не осталось. Где вы, друзья боевые? Что с вами? Как сложилась судьба каждого? Ни от кого ни весточки. Никитенко обещал написать, но письмо так и не пришло. Не случилось ли чего с ним? Характер у него огневой, мог погорячиться из-за чего-нибудь и себе навредить. Запросто сграбастают при такой-то власти...

Новая работа выматывала Ефима, хоть он не мог пожаловаться на здоровье. Платили мало. Поэтому, чтобы заработать, гнули спину по десять — двенадцать часов, не видя света божьего — начинали, когда еще только светало, кончали затемно,—работали в любую погоду. Было начало зимы. Часто сыпал холодный дождь с мокрым, липким снегом. По чавкающей под ногами, раскисшей от влаги земле таскали по двое тяжелые дощатые носилки-ящики. В короткие обеденные перерывы, если с хмурого, серого неба сыпалась мокреть, прятались под вагоны и там, скорчившись на шпалах, жевали всухомятку у кого что было. А было мало: паек получали по-прежнему скудный, с него не наберешься сил.

Все невыносимее становился тяжкий труд. Но все теснее он сближал. Если до этого Кедрачев, проживший в Венгрии уже больше двух лет, с трудом мог объясниться по-венгерски, то теперь после полутора месяцев работы на разгрузке он разговаривал с товарищами-венграми уже довольно свободно, да и они поднаторели в русском, особенно в тех выражениях, которые у русского человека рвутся с языка, когда приходится тяжело. Все чаще говорили меж

собой, что дальше так невозможно, надо требовать облегчения работы, прибавки пайка, увеличения заработка. И требовали, вернее, просили — все просьбы оставались безрезультатными. Хозяин знал, что в условиях безработицы неопасно поприжать работающих: если проявят строптивость, можно запросто от них избавиться и нанять других, таких же бедолаг.

В конце концов терпение товарищей Кедрачева иссякло. Посоветовавшись между собой, выработали требования к хозяину и решили для изложения их послать в контору выборных и, пока требования не будут удовлетворены, приостановить работу, не допускать к ней стачколомов. Выбрали двух венгров и Кедрачева, поскольку он был одним из самых ретивых застрельщиков этого дела.

Кончилось все весьма плачевно. Когда выборные пришли в контору, их никто не стал слушать. Явилась срочно вызванная полиция, потащила всех трех делегатов в участок. Увидев это, товарищи, ожидавшие во дворе, попытались заступиться. Началась свалка. На помощь полицейским прибыло подкрепление. Один из полицейских хотел скрутить Кедрачеву руки, тот вырвался и заехал полицейскому в ухо. Другие полицейские набросились на Ефима, и ему досталось так, что потом в участке он долго отлеживался на холодном цементном полу. Через три дня его выпустили, приказали в двадцать четыре часа покинуть Будапешт и добавили, чтобы он был доволен, что его не упекли в тюрьму.

Куда идти? Оставалось одно — попрощаться с Ольгой, с Габором и отправиться в село, наниматься в батраки.

Когда он пришел к Габору, тот, выслушав, опять посоветовал поехать к Лайошне: недавно она прислала письмо, спрашивала, что с Ефимом, где он. Теперь она с Еником совсем одна: старик умер.

Не сразу решился Ефим, но, поколебавшись, все-таки попросил Габора написать Лайошне, чтобы не ждала. Сказал — и словно что-то оборвалось внутри. Понял, до глубины сердца дошло: теперь уж окончательно, навсегда.

Побывав у Ольги, заверил ее, что постарается устроиться по возможности ближе к Будапешту — в случае чего приедет, хотя и есть риск угодить в полицию за нарушение предписания: на его документе сделана соответствующая запись, скрепленная штампом.

Стылым, ветреным декабрьским утром покидал Кедрачев Будапешт. Он решил направиться в сторону, противо-

положную той, где находится село, в котором живет Лайошне, на всякий случай, чтобы не возник соблазн поехать к ней,— видно, не вполне надеялся он на твердость своего решения. Он намеревался искать работу способом, испытанным многими его соотечественниками, да и им самим: зайти в ближайшую корчму на железнодорожной станции, до которой доедет, или в большом селе поблизости, расспросить корчмаря, который о сельских делах знает все: кому требуются батраки и что представляют собой возможные хозяева?

Так и сделал.

Но с первой же попытки не повезло. Едва он появился в корчме при станции и заговорил с корчмарем, как его повелительно окликнул жандарм, который, оказывается, сидел за одним из столиков среди других посетителей. Кедрачев, входя, его не заметил. А жандарм, видимо, сразу же обратил внимание на незнакомца, плохо говорящего по-венгерски.

— Кто такой? — строго спросил он, когда Кедрачев подошел.— Документы!

Проверив документы, жандарм, не возвращая их, вперил в Кедрачева многозначительный взгляд, и тот сразу же понял: «Хабара ждет!» Что дать? В кармане-то гроши...

Жандарм подождал, подождал и, ничего не дождавшись, сердито сунул Кедрачеву его документы:

— Проваливай отсюда, пока не посадил! Да поживее!

Кедрачев не заставил повторять приказание, тотчас же ушел.

В следующем селе он побывал в корчме, поспрашивал и по дворам, но работы не нашел и вынужден был направиться дальше. Ему сказали, что надо пройти в следующее селение — там как будто нужны батраки. Добравшись до селения, он и здесь зашел в корчму — погреться, а заодно и расспросить, где можно найти работу.

Какой-то шустрый человек, услышав, о чем спрашивает Кедрачев, подбежал к нему, дружески хлопнул по плечу и позвал за собой, многообещающе улыбаясь.

«Никак, к хозяину отведет?» Кедрачев повеселел: будет работа!

Нечаянный благодетель действительно привел его в один из богатых дворов и с рук на руки передал хозяину.

Они быстро сговорились, хозяин велел жене хорошенько накормить нового батрака и, когда Ефим поел, сразу же поставил его на работу — выгребать навоз из хлева.

Он проработал день, а на следующее утро появился местный жандарм.

— Новый работник? — спросил он, увидев Кедрачева.— Русский? Все вы большевики!

Жандарм с необыкновенной тщательностью проверил документы Ефима. Не вернув их, приказал следовать за собой и привел его на жандармский пост, где представил старшему.

— Не из тех самых? — спросил старший, подозрительно оглядев Кедрачева, и тот догадался, что жандармы кого-то ищут и поэтому чрезвычайно бдительны по отношению к незнакомцам.

Не слушая ни оправданий, ни протестов Кедрачева, жандармы старательно выворотили его карманы и тощую котомку, досконально прощупали все содержимое. Особое их внимание привлек его затрепанный бумажник, в котором лежали документы и совсем немного денег. Деньги старший сразу же, только глянув на них, смахнул в ящик письменного стола, а бумажник начал тщательно обследовать. И Кедрачев порадовался, что не взял с собой, оставив на хранение Габору, книжку красноармейца и временное удостоверение, полученное вместо партийного билета. Но он совсем забыл, что за подкладкой бумажника лежит маленькая фотография, которую подарили ему Ольга и Янош. До этой фотографии и докопались жандармы. На ней Янош был запечатлен в новой — тогда, на отдыхе, только что получили — красноармейской форме, в такой же форме и Ольга, а на обороте рукой Яноша была сделана надпись на русском языке: «Другу и боевому товарищу Ефиму».

Старший, до этого невозмутимый, глянув на карточку, побагровел и, тыча в фотографию пальцем, заорал, свирепо уставившись на Кедрачева:

— Красный! Ты — красный! Коммунист? Комиссар? — Никаких объяснений он и слушать не стал, приказал: — Запереть его!

Кедрачева втолкнули в темную каморку, захлопнулась дверь, проскрежетал запор.

«Вот и устроился, Ефим, на работу!» — вздохнув, сказал он себе.

Больше суток продержали его в холодной, неотапливаемой, без окон каталажке, дав за все время только два сырых кукурузных початка. Потом под конвоем отвели на станцию, посадили в вагон. По дороге Кедрачев пытался расспросить сопровождавшего его жандарма, куда и зачем

его везут, но тот отмалчивался. Казалось, жандарм был напуган тем, что ему приходится конвоировать «красного», да еще русского,— всю дорогу не спускал с арестанта глаз, держа руку на кобуре. Вот на одной из станций жандарм велел выходить. Станция показалась Кедрачеву знакомой. Кажется, проезжал ее когда-то. За станцией виднелся небольшой городок, за ним, совсем близко, белели покрытые снегом невысокие пологие горы.

Держась подальше от тротуаров, жандарм провел Кедрачева через городок на пустырь, пересекая который тянулась высокая каменная стена с рядами колючей проволоки поверху. Кедрачев, только глянув на эту стену, сразу вспомнил: в самом начале его плена, в семнадцатом, когда их привезли с фронта, они были помещены здесь, в распределительном лагере, и только потом их отправили дальше,— вот почему станция показалась знакомой! «Ну вот, — вздохнул он, — снова за ту же проволоку...»

Жандарм подвел Ефима к дощатым воротам, на которых был прибит старинный венгерский герб: поддерживаемый двумя ангелами щит, разделенный на две вертикальные половины, на одной из которых — поперечные полоски, на другой — крест на трехглавом холме, а наверху щита — корона со скособоченным крестиком на макушке; этот герб теперь повсюду. Припомнилось — в семнадцатом, когда их привезли сюда, на воротах красовался другой герб — растопыренный австрийский орел. Тогда целый час, наверное, перед этим орлом на жаре простояли, пока раскрылись ворота и втянули в себя их колонну.

Жандарм постучал в ворота, они распахнулись...

Так началась новая, самая тяжкая полоса жизни Ефима Кедрачева на чужбине.

Лагерь, в который он попал, оказался лагерем, специально устроенным для русских солдат, служивших в венгерской Красной армии: не всем им удалось, как Кедрачеву и его товарищам по Интербату, получить удостоверения Красного Креста, позволявшие жить легально на положении обычных пленных. Многих взяли под стражу и водворили в этот лагерь сразу же, после того как пала советская республика. Значительно пополнился лагерь в последнее время, уже к зиме, когда новые, хортистские власти стали еще сильнее преследовать всех, служивших Советам.

Помнил Кедрачев, как тяжело было в лагере военнопленных под Секешфехерваром. Но там жизнь была куда легче, чем в лагере, в котором находился он теперь.

Условия здесь ничем не отличались от тюремных — разве только тем, что можно было свободно ходить из барака в барак. На трехэтажных нарах, не застеленных ни тюфяками, ни соломой, было битком набито, и только это помогало переносить холод: бараки почти не отапливались. Кормежка была из рук вон плоха — вареная кукуруза, да и той далеко не вдоволь,— а работа, на которую гоняли, тяжелой: в каменоломнях неподалеку от лагеря приходилось долбить ломами и кирками неподатливый камень, ворочать тяжелые стылые глыбы голыми руками — рукавиц не давали, кто умел — ладил самодельные. Не выполнившим установленной на день нормы урезали наполовину и без того мизерный паек, тех, кто роптал, сажали в холодный карцер, а тех, кто вызвал особенное недовольство лагерного начальства, подвешивали, захлестнув веревкой под мышки, на специальном столбе, стоящем на плацу возле конторы,— уже через несколько минут после подвешивания охватывала нестерпимая боль, отекали ноги так, что потом сразу нельзя было на них встать.

Причинять только страдания физические власти считали, видимо, недостаточным. На все попытки выяснить, до какого же времени продлится заточение, был один ответ: до особого распоряжения. А это распоряжение, как намекали лагерные начальники, может последовать и через годы. Правда, узники уповали на то, что родина их помнит и постарается выручить. Но когда это станет возможным? Только после гражданской войны, которая полыхает по России. А когда эта война кончится и, главное, чем? Газеты в лагерь не проникали. Охранники, как на подбор — а может быть, и в самом деле на подбор,— злющие, говорили со злорадством, что скоро и в России с большевиками будет покончено. Не верил этому Кедрачев. Как и другие, еще не павшие духом, убеждал товарищей по бараку: «Брешут наши псы цепные, выстоит Советская Россия, победит и нас выручит!»

Видно, нашлись в бараке подлые уши — в один из дней стали вызывать в лагерную контору по одному тех, кто старался ободрить товарищей, призывал к стойкости и к вере в победу большевиков.

Дошла очередь и до Кедрачева. Следователь — хмурый, тощий, с таким лицом, будто он все время страдает несварением желудка, в мундире, висящем на нем, как на вешалке,— долго и нудно допрашивал, повторяя на разные лады одни и те же вопросы. К удивлению Кедрачева, следователь начал не с расспросов, кто в бараке большевики

и что они говорят заключенным. Прежде всего он вытащил из какой-то папки фотографию, которую жандармы отобрали у Ефима, и стал спрашивать, как зовут изображенного на ней командира Красной армии, откуда он родом, какую должность занимал, знает ли Кедрачев, где этот человек теперь. То же спрашивал и об Ольге.

Кедрачев назвал первую пришедшую в голову венгерскую фамилию, на все вопросы отвечал уклончиво, отговаривался незнанием — бил, главным образом, на то, что изображенные на карточке — случайные знакомые, просто сослуживцы. Следователя он довел до белого каления. Тот вскочил, проорал:

— Ну ты у меня подумаешь, заговоришь! — и крикнул конвойных.

В подвале с полом, покрытым льдом, Кедрачева, на котором было только заношенное, на рыбьем меху пальтецо — чепельский подарок, продержали три дня и прямо оттуда унесли в лазарет: у него началось воспаление легких, более тяжелое, чем в лагере под Секешфехерваром.

Томительно тянулись дни и ночи на лазаретной койке. Первое время, когда Кедрачев метался в жару, мыслей не было никаких, или они были только об одном: выжить, не окочуриться, не попасть туда, где нашли свой последний приют уже многие его товарищи по лагерю,— на дальний, примыкавший к болоту край городского кладбища, где тянулся, вырастая, ряд холмиков — безымянных могил.

За время болезни Кедрачев очень ослаб, поправлялся медленно. Опасался, что, как только поправится, его заново потянут к следователю и, наверное, опять повторится то, что уже было: снова ледяной карцер, а то и что-нибудь похуже — в лагере уже были случаи, когда особо строптивого, тайком забитого насмерть или застреленного охраной, исключали из списка узников, объявляя, что он умер от сердечного приступа или убит при попытке к бегству. Но Ефим твердо сказал себе: что бы с ним ни делали, он не наведет полицейских ищеек ни на Яноша с Ольгой, ни на кого-либо из тех, кого знал по батальону.

Каждый день и каждую ночь он ждал — вот-вот, не дожидаясь, пока он встанет на ноги, явятся за ним, потащат на новый допрос.

Но проходил день за днем, а за Ефимом не приходили.

Ефим начал уже понемножку вставать с постели, когда рядом с ним, на освободившуюся койку, положили нового больного — солдата Веденеева, которому на работе сорвавшейся глыбой покалечило ступню. Очень разговорчивый и

знающий все лагерные новости, Веденеев в первый же день подробно рассказал Кедрачеву о себе. Оказалось, что и он, видимо из-за бойкости своего языка, тоже был удостоен внимания следователя, но все обошлось: Веденеев наболтал следователю нестоящего, тот поверил в его искренность и отпустил, а вскоре вообще перестал вызывать коголибо — как стало известно, следователь уехал, видимо решив, что больше он здесь ничего вызнать не сможет. Это несколько успокоило Кедрачева. Мысли пошли в другом направлении. Больше стал задумываться, когда и чем кончится его лагерная жизнь. Чаще стали приходить мысли о родных краях. Вместе с Веденеевым они строили предположения, как идет война в России, скоро ли и чем она кончится. Как и другие в лазарете, о происходящем в России они толком почти ничего не знали. Правда, иногда к ним подсаживался побывавший в русском плену санитар Вайдаш, добродушный толстячок лет сорока, довольно сносно говоривший по-русски. В плену он жил неплохо, пристроившись к дому какой-то вдовой купчихи, и о русских сохранил наилучшие воспоминания, но на революцию там был несколько обижен.

— Понимаете,— не раз объяснял Вайдаш слушавшим его больным,— во Львове у меня была сестра, я должен был унаследовать от нее большой доходный дом. Если бы большевики не протестовали против войны, Россия не вышла бы из нее, значит, не потеряла бы Польшу, французы не придумали бы польского государства, Львов не отошел бы к Польше, а остался бы в нашем государстве, и я запросто стал бы владельцем дома и получал бы уже сейчас от жильцов квартирную плату. Теперь неизвестно, кто собирает ее...

Зная, как его больные жаждут вестей с родины, Вайдаш охотно пересказывал им новости, которые узнавал из газет или из разговоров в городе. Хотя газеты, как он говорил, по-прежнему уверяют, что большевистский режим в России непременно падет, они все же сообщают о том, что говорит, скорее, об обратном: Красная Армия не только остановила Деникина, шедшего на Москву, но и сама перешла в наступление, бои идут уже на Украине. В Сибири восстановлена советская власть, а Колчак взят в плен и расстрелян.

— Вот увидишь, к весне война у нас непременно кончится! — уверенно говорил Веденеев, когда они обсуждали услышанные от Вайдаша новости.— Признáют все буржуи советскую власть, признáют, как пить дать! Куда им деть-

ся? Установится граница, и поедем мы с тобой домой, новую жизнь строить...

Кедрачев разделял надежды Веденеева. Эти надежды так помогали бороться с болезнью...

Все в палате горячо и подолгу обсуждали, когда же наступит желанный день их освобождения, когда же откроется путь на родину. Дожить бы, не сломиться... Долгими зимними ночами, лежа без сна, пытался Кедрачев представить себе тот радостный день, когда вступит на родную землю, увидит близких. Как встретит дочка, примет ли жена? Может, совсем чужим для них стал за годы разлуки? Да пусть хоть что будет — только скорее бы домой, под родимое русское небо!

В лазаретных думах и снах день, когда он вернется на родную землю, представлялся Кедрачеву только весенним — ясным, солнечным, непременно с запахом расцветающей черемухи, которой так много в Ломске,— в мае ее белой кипенью полны палисадники, сады, рощи, а за городом — берега Ломи. Принято считать, что запахи не снятся, но аромат черемухи снился ему...

Глава двадцать третья

НИКАКАЯ СИЛА...

Прежде чем выйти из общежития, Кедрачев остановился перед зеркалом, висевшим в раздевалке, и особо придирчиво осмотрел себя. Как будто все в порядке: аккуратно надет серый суконный шлем с красной звездой, за туго затянутый ремень тщательно заправлена шинель с «разговорами» поперек груди, блестят с великим старанием начищенные сапоги. С удовлетворением постоял перед зеркалом еще несколько секунд, хотя и не великий охотник в него смотреться — не барышня. Но сегодня случай особый, торжественный, можно сказать: ему, слушателю московских командирских курсов, выпала счастливая доля — пойти по гостевому пропуску на Одиннадцатый съезд партии. Не каждому пропуск дают, только самым передовым в учебе. А Ефим Кедрачев хоть и не из самых грамотных, а от них не отстает...

Улыбнулся себе и даже козырнул шутливо, но тотчас же отдернул руку — как бы не увидел кто, мальчишество не к лицу, ведь не малец — двадцать семь лет, боевой командир Красной Армии!..

Строго глянул на себя, резко отвернулся от зеркала. Поспешай, Ефим. А то как бы не опоздать.

...В самых смелых своих мечтах и надеждах, которые, может быть, и помогли ему выжить в лагерном лазарете два года назад, не залетал Ефим Кедрачев в Москву. Только одним жил тогда: остаться живым, вернуться на родину и сразу же уехать в свой родной Ломск, прижать к груди дочурку, глянуть в глаза жене. Но судьба по-своему распорядилась им.

Оправившись от болезни и выйдя из лазарета, Кедрачев оставался в лагере еще долго. Вместе с товарищами радовался вестям, доходившим из России: прекратили существование почти все фронты, кольцо которых три года полыхало вокруг Советской России. Но чем вероятнее вырисовывалась возможность вернуться домой, тем мучительнее становилось ждать. И все росли, росли ряды русских безыменных могил на краю городского кладбища. Начальник лагеря, злобный тюремщик, люто ненавидевший своих узников, при каждой возможности повторял им, что венгерских красных, слава богу, всех пересажали или переказнили, а им, русским большевикам, вмешавшимся в венгерские дела, тоже пощады ждать нечего. Но через высокие стены лагеря, через колючую проволоку проникали вести, что по всей Европе ширятся протесты против расправ над сторонниками советской Венгрии. Амстердамский интернационал профсоюзов призвал пролетариев всех стран к бойкоту хортистской Венгрии, ставшей страной террора. Со всеми этими протестами вынуждено считаться венгерское правительство. Стало наконец известно, что Советское правительство настойчиво добивается возврата русских солдат из плена, обещая со своей стороны способствовать возвращению на родину венгров, которые задержались в России из-за гражданской войны.

Какой же радостью была для изнывавших в лагере весть, что начинают отправлять домой!

До Кедрачева очередь дошла только к концу лета двадцатого года. Когда стало известно о предстоящей отправке, он стал думать, как бы ему после освобождения по пути на родину заехать в Будапешт, хоть что-нибудь узнать о сестре и Яноше да заодно заглянуть к Габору — повидаться и взять у него свое партийное удостоверение. Сделать этого не удалось — прямо из лагеря под конвоем погрузили в эшелон и под конвоем же повезли. Кедрачев намеревался сразу, как только окажется на родной земле, без задержки ехать домой. Большинство его товарищей по

эшелону предполагали поступить так же — соскучились солдаты по семьям, по родным местам.

Эшелон, благополучно миновав границу, прибыл в Киев, недавно освобожденный от белополяков. Всех из эшелона на короткое время, пока будут оформлены документы для дальнейшего следования, поместили в казармах. Сразу же было объявлено: всех партийных созывают на собрание. Партийных в эшелоне оказалось немного, но все же набралось с полсотни: одни вступили в партию большевиков еще до плена, в семнадцатом на фронте, другие, как Кедрачев, были приняты, когда служили в венгерской Красной армии. Пошел на собрание и Кедрачев, хотя документа, удостоверяющего его партийность, при нем не было — у кого, побывавшего в таких передрягах, как он, документ мог сохраниться? Хорошо уже то, что его партийное удостоверение осталось у Габора — иначе оно неизбежно попало бы в руки жандармов.

Собрание вел комиссар Красной Армии — молодой, чернявый, с красной звездой на рукаве, с наганом в кобуре на боку,— чем-то он напомнил Ефиму одновременно и Самуэли, и Яноша.

— Товарищи! — пылко говорил комиссар.— Советская власть вырвала вас из кровавых когтей венгерской белогвардейщины! Понятно — каждый из вас спешит домой, к женам и детям. Но время ли отсиживаться дома, когда еще идет война с польскими панами, которые зарятся на наши земли? Я сам семьи не видал вот уже три года. Повидаем, когда добьемся мира. Призываю вас как членов партии большевиков, не дожидаясь приказа о мобилизации — считайте, что приказ партии на это есть,— добровольно вступить в Красную Армию и отправиться прямо отсюда на польский фронт, который сиюминутно требует пополнений. Все, кто не сильно болен и годен к службе, записывайтесь сейчас, здесь, у меня. И побуждайте беспартийных!

Кедрачев не стал размышлять, записался сразу и в тот же день получил назначение в часть, отправляющуюся на фронт. Ехал на восток, да судьба повернула на запад.

Уезжая на фронт, написал Ефим письмо жене на адрес ее родителей — он предполагал, что она, скорее всего, живет с ними. Только месяца через полтора, уже в Польше, куда к тому времени дошла Красная Армия, получил ответ, но не от жены, а от ее матери, Лукерьи Ильиничны. Она сообщала, что Наталья, прождав его еще год после окончания германской войны и уверившись, что он не вер-

нется, поддалась уговорам отца и вышла за давно сватавшегося к ней солидного человека, механика с той же лесопилки, где служит отец, и уже имеет дочку Леночку, младшенькую сестренку Любочки, которой теперь уже шесть годков. Отца своего, Ефима, Любочка, конечно, не помнит, папой механика зовет — так ее Наталья научила, а живет она с мужем хорошо, душа в душу.

Больно резанула по сердцу полученная из Ломска весть. По сути, ничего нового, неожиданного для него она не содержала: и о настойчивом механике с лесопилки, и о том, что Наталья, прождав его год, выговорила себе второй, после чего согласилась вновь выйти замуж,— обо всем этом Ефим узнал еще в девятнадцатом от Ольги. И все же надежда не покидала его. Думал: вот вернется домой — и все наладится. Утешал, конечно, себя — ведь понимал, какая глубокая трещина прошла через его семейную жизнь...

Загрустил Ефим: что же теперь рваться в Ломск? Остался там единственный его корешок — Любочка, дочка, но для нее он теперь чужой дядя... И грустно было, и вместе с тем вроде облегчение почувствовал: ведь самое тяжкое — томиться неизвестностью. Лучше не теряться в догадках, а по-новому строить жизнь. Впрочем, особенно задумываться над тем, как эта жизнь пойдет, было некогда: наступали, отходили, снова наступали...

К концу войны с Польшей Ефим дослужился до командира роты, получил награду — именные часы.

Когда польская кампания закончилась, полк, в котором служил Кедрачев, перебросили на Южный фронт — начинались бои за Крым. Кедрачев участвовал в штурме Перекопа, снова отличился. Когда закончились бои в Крыму, его, как и некоторых других командиров, в большинстве сибиряков, направили на восток, в армию Дальневосточной республики. Как хотелось ему по пути хотя бы на день, хоть на несколько часов заглянуть в Ломск! Это оказалось невозможным — он ехал не один, в составе команды, и отлучиться было никак нельзя.

Довелось Кедрачеву повоевать и на востоке. А потом, когда война там подошла к концу, его послали учиться на курсы комсостава в Москву. Теперь он ехал один, имел в запасе время и мог исполнить свою давнишнюю мечту — побывать в Ломске. Приехав туда, он сразу же с попутной крестьянской подводой, которую отыскал на городском базаре, отправился за тридцать верст от города, на лесопильный завод, где жили Наталья и ее родители. Не

желая осложнять положение Натальи, он решил, что сначала тайно, чтобы никто не заметил, повидается с ее матерью и попросит показать Любочку, но так, чтобы она не увидела его и ничего не могла рассказать матери и отчиму.

Трудно было не обратить на себя внимание в поселке при заводе: поселок мал, каждый новый человек на виду, тем более военный. И все же задуманное удалось. Лукерья Ильинична ахнула, увидев его, испугалась, что он приехал предъявить претензии к Наталье. Ефим успокоил ее, сказав, что семейного мира нарушать не намерен и просит вообще не говорить Наталье о его появлении.

Беспокоясь за благополучие дочери и сочувствуя Ефиму, Лукерья Ильинична исполнила его просьбу. Он затаился в условленном месте, а бабушка провела неподалеку внучку, не подозревавшую, что на нее смотрит родной отец. Едва сдержал себя Ефим, чтобы не броситься к Любочке, не схватить ее, не прижать к сердцу,— кто на свете остался ему роднее ее, доведется ли вновь ее увидеть?

Повидав дочку, Ефим решил, не медля ни минуты, уйти: тяжело оставаться и ни к чему. Еще увидит кто, начнет расспрашивать: зачем да к кому? Дойдет до Натальи или, того хуже, до ее мужа...

Быстро шагал Ефим, спеша поскорее покинуть поселок. Можно бы поискать попутных лошадей. Нет, лучше не привлекать к себе внимания. Пройти три версты до тракта, а там многие едут в город, подвезут...

Вышел за поселок и сбавил шаг. Хотелось собраться с мыслями, окончательно подвести черту подо всем, что связывало его с Натальей. Когда добирался до лесопильного, еще теплилась надежда: может, Лукерья Ильинична написала неправду и Наталье живется несладко. Вот повидаются — и произойдет нечто такое, что сделает его счастливым... Как мучительно хотелось Ефиму после стольких лет скитаний и одиночества быть не одному, чувствовать возле себя близкого, родного человека, ощутить тепло семьи!.. Но встретился с Лукерьей Ильиничной, обменялся несколькими словами и понял, что несбыточны его с такой острой силой вспыхнувшие желания, невозвратимо все утраченное.

Медленно брел краем проселка, задумчиво смотрел себе под ноги, наблюдая, как пыль с невысокой, чуть привядшей придорожной травки оседает на носках его так тщательно начищенных в Ломске сапог. Был уже послеполуденный час, и в поле кругом стояла тишина.

Скоро вечер, а до города еще далеко. Да и нет желания спешить, не хочется видеть людей, слышать их голоса. Надо побыть одному... Мысленно проститься со всем, что осталось позади, в поселке лесопильного завода, успокоить душу. Ведь все, что было, чем жил он долгие годы,— невозвратимо...

— Ефим!

Он вздрогнул. Что, показалось? Так бывает, когда задумаешься,— вдруг мерещится, будто кто-то тебя позвал.

— Ефим!

— Ты?..

Его догоняла Наталья. Платок, видно слетевший с головы, развевался в руке.

С разбегу припала к его плечу, взволнованно дыша. Слова беспорядочно сыпались с ее уст:

— Мне мама сказала... Боялась — не догоню... Да как же ты, Ефимушка? Я долго ждала... Война проклятая все спутала...

— Давай распутаем! — в какое-то мгновение неожиданно для себя решился он, положив ладонь на ее плечо.— Распутаем — и свяжем, что порвано...

— Родненький мой! — Он увидел в ее глазах прежний теплый свет.— Как я перед тобой виновата! Прости меня за ради господа!..

— Да что ты, Наташа! — перебил он ее.— Может, я перед тобой не меньше виноват. Что виниться друг перед другом?! Не о том сейчас надо... Только согласись — уедем! Забирай дочек — и поедем! Хоть сегодня, хоть сейчас! Ты собирайся, а я подводу найду...

— Да что ты?.. Да как же, милый ты мой... Леночка-то ведь его. Не станешь ты ее любить. Память-то какая, всегда перед глазами будет...

— Он же принял Любочку? А я что, хуже его к Леночке буду?

— Там другое дело было...

— Твои дети — мои дети! Обе вровень!

— Ой, да не знаю уж и как!..

Наталья зарыдала. Ноги ее подкашивались. Ефим осторожно обнял ее, посадил на призолоченную предзакатным солнцем траву, сам опустился рядом, торопливо заговорил, пытаясь успокоить:

— Ну чего ты? Ведь все в наших руках! В твоих, вернее...

— И тебя жалко, и его...— шептала Наталья,— тебя жальчее! Сколько я о тебе передумала, похоронила сколь

разов! А все надеялась, два года ждала, как тебя забрали!.. Я ж не хотела вдругорядь замуж выходить...

— Да что сейчас о том, что было! — увещевал он.— Что быть должно — вот о чем говорить надо. И не говорить — решать! Сразу, без откладки...

— Да куда же я с тобой сейчас поеду? С девчонками-то малыми! У тебя ж ни двора, ни крыши, жизнь военная, сегодня здесь, завтра там...

— Что ж, военные не люди, что ли, без семей живут? Устроимся, как другие командиры устраиваются. Командование поможет.

— Боюсь я...

Долго сидели они рядом — уже легли у их ног предзакатные тени.

— Поздно, Ефим...— сказала она наконец.— Не проклинай меня!

Словно подброшенная пружиной, вскочила — Ефим едва успел подняться вместе с ней,— вскинула руки, порывисто обняла его, скользнув горячими губами по щеке, и, низко нагнув голову, неверными шагами, как больная, еле двигая ногами, пошла обратно.

Ефим хотел окликнуть ее, да перехватило дыхание. Схватив себя за горло, нашел силы крикнуть:

— Наташа!

Но она уходила, не оборачиваясь, не замедляя шагов.

— Наташа!..— повторил он.

Побежать вслед? Остановить?.. Понял — бесполезно.

Уже поздно ночью на попутной подводе добрался он до города. Скорее уехать, чтобы ничто уже не напоминало о том дорогом, что он оставляет здесь навсегда! У него едва хватило терпения дождаться ближайшего поезда до узловой станции Айга, где он мог пересесть на поезд, идущий в Москву.

И вот уже несколько месяцев он в Москве...

...До начала заседания съезда еще оставалось время, но Кедрачев торопился занять место, откуда получше была бы видна сцена: хотелось рассмотреть Ленина. Ему еще ни разу не удалось увидеть Ленина хотя бы издали.

Кедрачев впервые был в Большом театре. Быстрым шагом он подымался по широкой лестнице, ведущей в фойе. Вдруг сквозь шум множества голосов услышал, как кто-то нерешительно спросил:

— Товарищ Кедрачев?

Знакомый голос... Он повернулся — и увидел рядом с собой человека в темном костюме.

— Янош!

— Ефим!

Обнимая друга, Гомбаш слегка отстранился, оглядывая его, широко улыбнулся:

— Гляжу, идет какой-то бравый командир, очень на тебя похожий. Сомневаюсь: ты это или не ты?

— Как видишь! А я тебя сперва не признал.

Они стояли, забыв, что надо идти в зал, поток идущих туда обтекал их.

— Чудо какое! — Все не мог прийти в себя Кедрачев.— Второй раз вот так с тобой нежданно-негаданно встречаемся. Помнишь, в Келенфельде, когда формировался Интербат? Счастливый случай!

— Счастливый — верно. Но не случай, пожалуй... Случайно мы могли встретиться где-нибудь в поезде, на улице, на рынке. Или в бане, например. А в Келенфельде и здесь — это, мой друг, вполне закономерно: мы там, куда влечет нас сердце и долг,— цель-то у нас одна. Ты, Ефим, давно в Москве? Откуда?

Кедрачев ответил, затем спросил:

— А ты?

— Уже второй месяц. В Коминтерне работаю.

— А Олюнька?

— Здесь, со мной. Она, как приехали, сразу в Ломск написала твоим родным, чтобы сообщили о тебе. Ответ еще не пришел, а ты — вот он!.. Ефим, слышишь, уже звонок! Пойдем в зал, займем места получше...

— Я Ленина хочу видеть. Ты его видал?

— Забыл? Я видел его еще в восемнадцатом, когда эсеров успокаивали. И в последнее время приходилось.

— А все-таки как ты в Москве оказался? — спрашивал Ефим уже на ходу.— Как вы из Венгрии выбрались?

— Ефим, смотри, уже все в зале, пойдем скорее!

— Да, проговорили мы... Ты расскажешь?

— Конечно. Но потом, потом!

...Позже Гомбаш расскажет другу обо всем, что приключилось с ним и Ольгой, после того как Ефим вынужден был покинуть Будапешт, и этот рассказ займет действительно немало времени...

Гомбаш еще долго ожидал суда в одной из будапештских тюрем, где содержалось много венгерских коммунистов. Наконец суд состоялся. Верный друг Гомбаша, адвокат Фалви, изо всех сил старался нажимать на все явные

и тайные пружины, с тем чтобы приговор был менее суровым, и в какой-то степени добился цели: прокурор требовал для бывшего комиссара смертной казни, но Гомбаш получил только десять лет заключения. Десять лет! Ольга была в отчаянии. Фалви пытался убедить ее, что ей надо радоваться тому, что жизнь мужа уже вне опасности — ведь в стране террор, десять тысяч казнено, семьдесят тысяч — в тюрьмах.

Когда Яноша осудили, Ольга по его настоянию и по просьбе его родителей уехала к ним в Вашварад и устроилась работать в швейной мастерской. Каждый месяц — чаще свиданий не давали — она приезжала в Будапешт, чтобы полчаса повидаться с мужем, иногда вместо нее приезжали отец или мать. На каждом свидании Янош уверял Ольгу, что полного срока он не просидит,— Советская Россия, Ленин выручат его, как и других таких же узников. Ольга верила и не верила — может быть, Ваня говорит это, чтобы утешить ее? Но Фалви, у которого она неизменно останавливалась и который продолжал принимать деятельное участие в судьбе Яноша, сказал ей, что надежды ее мужа — не беспочвенны.

Прошло два года после осуждения Яноша. Летом двадцать первого года, когда Ольга в очередной раз приехала в Будапешт, Фалви обрадовал ее: между Советской Россией и Венгрией подписано соглашение об обмене находящихся в тюрьмах коммунистов на бывших в русском плену венгерских офицеров, возвращение которых на родину было задержано Правительством РСФСР после падения советской Венгрии. Венгерское правительство вначале ни на каких условиях не хотело освободить коммунистов, потом вынуждено было принять предложение об обмене. Этому поспособствовали влиятельные родственники некоторых венгерских офицеров-аристократов: они настойчиво требовали от правительства, чтобы оно пошло на обмен.

Когда Ольга пришла в тюрьму на свидание, дежурный надзиратель, сверившись с какой-то бумагой, направил ее в тюремную канцелярию. Ольга забеспокоилась: зачем? что-нибудь случилось с Ваней?

Об этом она спросила у начальника тюрьмы, едва переступив порог его кабинета. Отечески улыбнувшись, он поспешил ее успокоить, заявив, что желает добра ей и ее мужу. Яноша Гомбаша, сообщил начальник тюрьмы, надлежит отправить в Советскую Россию, и она, как жена, может поехать туда вместе с ним. Что ждет их в России? Там голод, от которого уже погибли тысячи людей, свиреп-

ствуют эпидемии. А главное, ее муж едва ли вкусит плоды свободы, если приедет в Россию. Не исключено, его сразу же арестуют и отправят на свинцовые рудники или казнят — такая участь ожидает многих, если не всех, кто окажется в России в результате обмена. Да и зачем, убеждал начальник Ольгу, им с мужем покидать Венгрию? Для мужа — это родина. Она уже здесь прижилась, как он видит, неплохо знает венгерский язык, дом родителей мужа стал для нее родным — зачем же пускаться в столь рискованное путешествие? Если Гомбаш откажется уехать в Россию, это будет должным образом оценено, как патриотический акт, и он сможет уверенно рассчитывать на амнистию — зачем же ему искать сомнительной свободы в чужой стране, когда ему готовы дать ее в своей собственной?

Слушая все эти доброжелательные речи, Ольга изо всех сил старалась выглядеть спокойной. Это давалось ей с великим трудом — вся она кипела, с губ готовы были сорваться резкие слова. Но, понимая, что малейшая ее несдержанность может повредить Яношу, она заставила себя подавить возмущение, ничем не выдала своего состояния и даже ответила согласием на просьбу повлиять на мужа во время свидания — чему начальник чрезвычайно обрадовался и обещал продлить время свидания.

Во время свидания Ольга сообщила Яношу о только что состоявшейся беседе, не преминув, хотя и негромко, чтобы не расслышал надзиратель, но в самых энергичных выражениях, высказать свое отношение к предложению тюремного начальства. «Меня тоже обрабатывают,— сказал на это Янош.— И уговаривают, и пугают. Хотят, чтобы я променял убеждения на спокойную жизнь здесь. Ничего у них не выйдет. Я поеду! Поедем вместе!»

После этого свидания потянулись дни, полные для обоих великого напряжения в ожидании отъезда. Хотя Фалви, у которого Ольга поселилась вновь, уверял, что соглашение будет выполнено, она все время ожидала какого-нибудь подвоха от венгерских властей, в результате чего Янош так и останется в тюрьме. Опасался этого и Янош.

Несколько месяцев тянулось изнурительное ожидание. Сроки отъезда назначались и вновь откладывались, и не проходило опасение, что отъезд и вовсе отменят.

Только в начале двадцать второго года стало известно, что отъезд наконец-то состоится.

В хмурый зимний день с Восточного вокзала Будапешта отправлялся специальный поезд, состоявший из пассажирских и арестантских вагонов. В пассажирских ехали

семьи заключенных, по соглашению передаваемых советской стороне; в зарешеченных вагонах, под строгим конвоем, закованными в цепи, везли самих заключенных. Видеться с ними родным в пути не разрешали, и Ольга все время тревожилась: едет ли с нею в одном поезде Ваня? вдруг его оставили в тюрьме?

Янош и Ольга увидели друг друга только в Риге, где, с согласия правительства Латвии, происходил обмен. Увиделись пока лишь издали, когда заключенных, сняв с них цепи, вывели из вагонов.

На просторной площадке, вплотную примыкавшей к железнодорожным путям, с одной стороны выстроили тех, кого передавали советской стороне, с другой — кого возвращали в Венгрию. В стороне стояли несколько венгерских, советских и латвийских дипломатов, контролировавших ход обмена. Янош был среди своих товарищей-заключенных. Он взглядом отыскал в пестрой толпе женщин и детей Ольгу. Она тоже нашла Яноша. Броситься бы навстречу друг другу! Но еще нельзя.

Вызывали по списку. Одновременно называли и членов семьи. И вот свершилось: перейдена условная линия, за которой — долгожданная свобода!

...Заключительное заседание съезда шло к концу. Ефим и Янош сидели рядом в одной из лож верхнего яруса. Они ловили каждое слово Ленина. Его невысокая, подвижная фигура, полускрытая трибуной, была сейчас средоточием всех взоров, средоточием внимания всего огромного зала, слушать его нельзя было без волнения, великой силой убежденности были наполнены его слова:

— Никакая сила в мире, сколько бы зла, бедствий и мучений она ни могла принести еще миллионам и сотням миллионов людей, основных завоеваний революции не возьмет назад, ибо это теперь уже не «наши», а всемирно-исторические завоевания...

— Слышишь? — шепнул Кедрачеву Гомбаш.— Никакая сила!

— Слышу! — откликнулся Ефим.

1979—1981 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Юрий Федорович Стрехнин
ВЕРНЕМСЯ В ПОЛДЕНЬ
Редактор *А. П. Рогова*
Художник *Н. Н. Пшенецкий* Художественный редактор *Е. В. Поляков*
Технический редактор *Н. Я. Богданова* Корректор *И. П. Винникова*

ИБ № 1666

Сдано в набор 31.08.82. Подписано в печать 11.01.84. Г-63101
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарн. обыкн. нов. Печать высокая.
Печ. л. 11½. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,32. Уч.-изд. л. 21,68.
Тираж 65000 экз. Изд. № 4/6582 Цена 1 р. 60 к. Зак. 6506/46

Воениздат, 103160, Москва, К-160

Отпечатано с матриц в Подольском филиале ПО «Периодика»,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 25